

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

1971

6



1971

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 6

Июнь, 1971 г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
МИКОЛАС СЛУЦКИС — Чужие страсти, роман. Авторизованный перевод с литовского Феликса Дектора	3
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — Из книги «Листва», стихи	119
П. МИРОНОВ — Якутские страницы	122
ИЗ СТИХОВ МОНГОЛЬСКИХ ПОЭТОВ: Пурэвжавын Пурэвсүрэн — Хочу мира. Перевел Юрий Александров; Л. Хуушан — Играют дети..., Солдат; Л. Тудэв — В день выборов. Перевела В. Острогорская	157
НАДИН ГОРДИМЕР — Рассказы. Перевел с английского Ф. Мендельсон	160

ПУБЛИЦИСТИКА

В. СМОЛЯНСКИЙ — Стратегия антикоммунизма	179
Н. ПЕТРАКОВ — Потребление и эффективность производства	192

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ДРАГУНСКИЙ — Осенью сорок первого. Страницы из военного блокнота	207
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Наука о литературе сегодня

Д. БЛАГОЙ — Душа в заветной лире	220
ИРАКЛИИ АНДРОНИКОВ — Читатель и сто шестьдесят миллионов	228
В. ОЗЕРОВ — Мера уважения. Высота требований	234
От редакции	244
<hr/>	
Л. ЛАЗАРЕВ — Сороковые, фронтовые...	246

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	262
-------------------------------	-----

М. Кузнецов. Живая вода революции.— А. Марченко. Возвращение.— Д. Биленкин. Так что же такое фантастика? — Н. Павлова. Об обязанности жить.

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	278
В. Григорьев. Наука побеждать.— М. Соловьев. Голос древних народов Африки.	
КОРОТКО О КНИГАХ — Б. Исаев. — Фонд документов В. И. Ленина. ♦ В. Енишерлов.— Н. Некрасов. По следам некрасовских героев. ♦ И. Киришкин.— Н. Страхов. Александр Неверов. Жизнь и творчество. ♦ Н. Лейтес.— Т. Мотылева. Роман Анны Зегерс «Седьмой крест». ♦ Л. Антопольский.— Камил Икрамов. Круглая печать	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

МИКОЛАС СЛУЦКИС

★

ЧУЖИЕ СТРАСТИ

Роман

Пролог

В перелесках, тихо роняя лист, желтели березы и вязы, вдоль дорог шелестели клены, забрызганные густым, как медь, багрянцем, а прямо над сырым гравием дороги вставало большое белесое солнце. Его чуть теплые лучи высветили поредевший сад, и потянуло яблоками. Из-под тенистых заборов и сараев шел горьковатый запах преющей листвы, а в полдень, когда уже ничто не заслоняло солнца, в полях стало уютно и грустно, как дома в эту пору.

Марите остановилась смахнуть паутину, которая пристала ко лбу и мешала глядеть; белая нить тончайшей шерстинкой опутала ладонь. Там, откуда она пришла, сейчас тоже убирают картофель; смотришь, один ли, двое ли копошатся в борозде, а тут, на пригорках и в низинах, стоят подводки, лошади выпряжены, серыми валунами громоздятся мешки и неторопливо, упорно роются в земле склонившиеся над бороздами люди. (Латыши свое дело знают!) Эту дань уважения и зависти она приготовила заранее, как и слезную историю про себя: мол, сирота, разыскивает тетю.

Паутинка намокла от пота, и Марите с сожалением, будто эта тоненькая ниточка и в самом деле связывала ее с тем, что осталось позади, растерла пальцами серый слипшийся комочек. Она прибавила шаг, чтобы ничто не мешало идти и идти вперед. А ноги сами собой невольно останавливались то на крутом повороте дороги, то возле торчащего у обочины знака, изжеванного ревевшими здесь когда-то голодными машинами войны, то при виде все той же картины уборки картофеля, каждый раз по-новому волнующей.

Вот лощина, узкая и глубокая, прорезанная извилистой жирной колеей... Тяжело груженный воз переваливается по косогору, его так и притягивает стоящий поодаль дом... Дом как дом, как многие из тех, что видела и позабыла, но озаренный радостью встречи с этой большой пароконной подводой, этим приземистым человеком с непокрытой головой, размахивающим скрученными вожжами, с этими мокрыми от пота, подсакивающими лошадиными гривами. Даже крыша, аккуратно выложенная красной черепицей, будто вздымается навстречу высокому возу, словно сделанная из легкой стеганой материи. Марите вдруг кольнула мысль о дяде Куйнялисе. (Кто ему поможет выкопать картошку?)

Так славно поскрипывали туго натянутые взмокшим конягой постромки, так плавно проплывали за картофелищем плоские поля с посевленной стерней и только-только проступившей озимью, что Марите не сразу вспомнила: не понадобится дяде Куйнялису картошка; ни картош-

ка, ни возок ячменя, который так и не успели обмолотить, ни хмель, посаженный для красоты вокруг избенки. Но вот мелькнули перед глазами трещащие под чужой рукой тычины, вместе с гроздьями хмеля обрываемые шнуры — она помрачнела и больше не смотрела на кивающие лошадиные головы, не слушала шороха борозд и вываливающихся наружу ялубней.

Жестом или веселым окликом ее там и тут приглашали помочь. Она лишь крепче прижимала к себе узелок — белый, перевязанный крест-накрест, слишком маленький для такой крупной румяной девушки, пустившейся в дальний путь,—и начинала быстрее перебирать ногами. Пробежав немного, оборачивалась, будто дожидаясь похожую на себя попутчицу, которую запросто могли подманить чужим, но все же близким, с детства знакомым «мейтене»¹. Марите любит копать картошку — хоть и работаешь не разгибая спины, и вся в земле с ног до головы, даже волосы и брови, когда теребишь ботву. И весело и печально почему-то, когда задерешь голову, чтобы смахнуть пот, и услышишь не только скрип несмазанных колес — крик журавлей над вскопанной равниной; тянется, тянется живая ниточка, один конец ее в твоей пылающей, черной от земли ладони, а другой — в дальней дали, высокой выси.

Небо здесь — ни облаков, ни птиц, хорошее для уборки картофеля. (Кому нужны эти журавли? И без них тоскливо.) Девушку нагоняет мягкое постукивание наполовину пустой телеги, оглобля проплывает мимо ее плеча, съезжает назад, снова движется вровень с ее плечом. Две конские головы со спутанными гривами какое-то время мотаются рядом, резное кнутовище указывает на передок: садись, мейт!² Она останавливается, отвернувшись к кювету, по которому вьется ручеек; откормленным лошадям надоедает топтаться на месте. Как знаешь, литвинка! А Марите хотелось, чтобы все тут было по-иному: усадьбы угрюмые, собаки злей, а колодцы цементные и на запоре. Правда, кони здесь сильнее и дороги лучше, словно их не утюжили чудовища танки, но щиплет глаза от горького сходства, хотя черепица алеет не только на жилых — и на хозяйственных постройках, а подвезти предлагают, не дожидаясь, когда попросишь. Сходство-то больше всего и пугает Марите, напоминая о том, что уже отрезано, а все еще так и манит, точно глаза на фотокарточке, глядящие и на тебя и ни на кого.

Фотографий была целая стопка. Марите растеряла их по своей оплошности. Жалела теперь, что их нет, но жалела как о привычной, не раз побывавшей в руках вещи, а не утехе в горький час. Чужие лица уже и раньше не грели. Выдохлась мечта сделаться такой же, как одна из тетей, чье гладкое фотографическое лицо с застывшей улыбкой часто видела во сне. Когда изба наполнилась вооруженными людьми, Марите выдернула захватанный множеством рук альбом и завязала в поспешно сорванный с головы платок. Завязала вместе с дешевенькими черными бусами, туфлями и молитвенником, да не уберегла — посеяла на дороге, безжалостно измолотив тяжелыми подводами с картошкой.

Марите замедлила шаги и повернула к югу — теперь уже вели не знакомые названия, а только солнце. Встала на цыпочки, словно еще можно было увидеть белые точки на мягком проселке или мощенном булыжником большаке. На той стороне, где говорили по-литовски (Неужели это было только вчера — не месяц, не год назад?), вызвался подвезти ее старик в рыжем кожушке. Она бы не села, если б не улей — человек вез пустую некрашеную колоду для пчел. Забравшись в повозку, пахнущую клевером и дегтем, она струхнула: кожух старый, замызганный, а сам старик — сильные руки и живая синь глаз. По обоим сто-

¹ Девушка. (Здесь и далее в сносках перевод с латышского.)

² Дочка.

ронам дороги чернели ельники, пролетела, припадая к земле, сорока, чуть не запуталась в лошадиной гриве. Старик не верил ни одному слову Марите, скалил выщербленные трубкой зубы:

— Только, ради бога, не говори, что к тетке. Ври, да поумней!

— Я и врать-то не умею, дядя.

— Кто не умеет, у того из спины ремни режут. Нно-о!

Он подхлестнул лошадь, повозка дернулась, и на дорогу выпала белая фотография, а Марите не посмела попросить, чтобы оставил.

Уже давно не слышать было Литвы, хоть и по-литовски выглядели поля, скот, люди, у которых она спрашивала дорогу, и поэтому даже недоверчивого старика вспоминала с охотой, точно дядю, который, когда еще маленькой была, угощал горохом — не Куйнялис, а какой-то другой из ее дядьев. Запомнилась скрипучая дядина ладонь, а на фотоснимке, оставшемся где-то белым отсвечивающим пятнышком, не было ни рук, ни запаха табака, от которого приятно кружилась голова. Обернувшись назад, Марите смотрела на извилистую ленту дороги и удивлялась, как далеко ее занесло, а еще больше — что не очень убивается на чужой стороне, словно вместе с фотографиями растеряла и тоску по дому. Старик лихо щелкал кнутом, едкий запах кожаной царपाल горло. Она не шевельнулась, когда на дорогу соскользнула еще одна карточка: нестареющая девушка в национальном костюме и с переброшенной на грудь толстой косой — какая-то двоюродная сестра, которую Марите никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит.

— Ищу одного человека, зовут Антанасом, — призналась она чужому старику, хотя все еще побаивалась его. — Так мне тетя Аугусте сказала. Он все уладит, говорила...

Старик больше не уличал во вранье — верил, с самого начала верил, — но не перестал смеяться.

— Что за пан начальник такой — на чужбине все может?

— Хозяйство у него там. Литовец... Дядя Куйнялис добро ему когда-то сделал...

Слова надежды отскакивали от крепкой спины старика и звонкого пустого улья. Ничего больше про могущественного Антанаса Марите не было известно, и она чуть-чуть сама не вывалилась вместе с последней фотографией, самой любимой, самой дорогой: тетя Аугусте со смеющимся ямочками полных щек; теперь тетя улыбалась снизу, с земли, еще более веселая, озорная.

— Добрый человек всегда пожалеет.

Слова были не ее — дяди Куйнялиса, но старик молчал, и Марите вдруг разочаровалась в них, как в фотографиях. (Неужто у меня и слов своих нету, как нет ни родителей, ни дома, ни подруг?)

— Проверила, что добрый? Вместе свиней пасли?

— Не-а, говорят.

— Говорят, кур доят, — пробурчал старик. — Не будь дурой. Девка молодая, здоровая, видать, работы не боишься, чего тебя жалеть? Только гляди, от волка уйдешь да на медведя нарвешься.

Марите неловко скорчилась, застыла, а кнутовище уже гнало ее с повозки.

— Чужого добра не надо! — Старик черным, потрескавшимся ногтем подцепил ее узелок — сама не догадалась выудить из клевера.

Пока Марите стояла, держась за повозку и не решаясь выговорить слова обычной благодарности, старик буркнул свою фамилию и назвал какую-то деревню. Она постаралась забыть о том, что слышала, но мысли бежали за такой уютной, тряской повозкой. (Ночлег, что ли, предложил?)

Щелкнул кнут, и опять она осталась на дороге одна.

Марите вспомнила, как, проشمгнув мимо часового, щелкавшего зажигалкой, она сперва ждала: вот-вот придет кто-то, весело захохочет, и больше не надо будет прятаться. Уже не раз бывало: прибегут хозяйки к дяде Куйнялису, похвалят Марите, посетуют на свои невзгоды и уведут ее дня на два, на три, а то и на неделю. Когда ей становилось невозможно — из-за скудной еды или крутого обращения, — появлялся дядя Куйнялис или посланная им новая хозяйка, которая, ласково улыбаясь, прерывала монотонное течение времени. Новые лица, новая постель и деревянная ложка, потом опять кто-то новый улыбнется ласково и освободит. Марите и теперь ждала, удивляясь, что не может никого дожидаться, хотя сама напрашивается, чтобы взяли ее. Вот и очутилась среди незнакомых людей, говорящих пускай на понятном, но другом языке, и изъеденная ложка, которую ей когда-то силком совали — только бери, — стала такой же недосыгаемой, как крыша от дождя и жалкая постель. Всю ночь дрогла в незапертом дровяном сарайчике.

Не меньше дюжины телег, одноконных и пароконных, обогнали ее или попались навстречу, но слышала она только повозку бойкого старика. А та свернула на тропку, колеса стихли, словно куда-то провалились, затем выскочили из рытвины и покатались по кочковатой просеке, снова весело тархтя — ведь лошади легче без нее! Рядом с рыжим пятном кожанка маячило что-то знакомое. (Что увез с собой старик? Узелок мой — вот он, в руках...) Удалялся перестук колес, и казалось, будто меж стариком и колодой улья так и осталась сидеть большеногая, нескладная девушка с непокрытой головой. Такая знакомая, своя и такая покорная, что першит в глазах, когда на нее глядишь. Марите почти не жаль ее — кроме назиданий дяди Куйнялиса да наставлений тети Аугусте, ничего ведь не знает. Не жаль, но как-то обидно, словно взяли и отдали кому-то ее еще совсем хорошее платье, из которого внезапно выросла...

Марите заставила себя забыть название деревни, которое бросил вместе с узелком бойкий старик. (Ежели буду все стоять да на каждом шагу глазеть по сторонам, так и до ночи не доберусь!) Эта мысль утешила, как будто девушка нашла какое-то важное решение или выход из затруднительного положения. Поплевав на ладонь, пригладила растрепанные ветром волосы и двинулась вперед. Вдоль дороги, как и на той не видной отсюда литовской стороне, кудрявились тронутые первыми заморозками клены, белены камни жались к придорожным канавам, словно собаки, уткнувши головы в траву и прижав уши. Впрочем, до тех деревьев и камней было далеко, гораздо дальше, чем считалось на километры, а где-то тут, вблизи, может, совсем рядом, стоит на холме латышская усадьба с чудным названием. Так говорила тетя Аугусте: на холме, с которого далеко видать, стоит именье...

1

— Скажите, здесь живет?..

На холме было тихо, и, казалось, люди должны услышать громко произнесенное имя, но как раз на имени она и запнулась. Вынырнул из борозды шуршащий плуг, перестала бежать струя земли, и было слышно, как встряхивает гривой беспокойный чалый трехлеток. Ничего, она откашляется и скажет громче, могла бы даже крикнуть, ведь женщины в платочках, небось и не слышат ничего, кроме того голоса, который скоро кликнет их ужинать. Все еще никто не отозвался, но хотя бы заметили Марите — тишина так и впивается в нее. Девушка шагнула к груде картошки. Желтая, крупная, точно кормовая свекла. (На то они и латыши!) Испугалась, будто вслух проговорила, — эти слова всю дорогу ползли за ней, как назойливая песенка, которую не позабудешь,

пока сама не убежит. Нехорошо, если кто-нибудь сейчас по глазам прочтет. Марите нагнулась, подняла откатившуюся картошину, бросила в кучу. (Затопчут, или телега раздавит, зачем пропадать?) Картофелина упала на другие картофелины. Марите проследила взглядом за ней, за своей картофелиной, и почувствовала себя смелее. С ней не заговорили, но она уже не сомневалась, что выговорит имя этого незнакомого могущественного человека.

— Дома ли господин? — И, поправившись, повторила: — Господин Падваретис?

По имени так и не назвала, имя еще пугало — слишком простое, чтобы означать избавление.

На богатое имение, о каком рассказывала тетя Аугусте, не очень было похоже: ни большого здания, ни парка, только наполовину заросший пруд тускло поблескивал среди широко разбросанных строений; там и сям выступал закопченный фундамент, груда камней — не то разрушили что-то, не то строить начали.

— Что она бормочет? Что?

Женщина — Марите видела только широкую, обтянутую розовой кофтой спину — обернулась. Запястьем одной руки — пальцы были в земле — провела по лбу, а другую потеряла о домотканые коричневые брюки, стянутые внизу резинкой. Заблестело золотое кольцо, женщина взглянула на него, словно кольцо показывало время, и не спеша поправила уложенные по-городскому волосы, посередине перехваченные красной косынкой, сложенной как лента. Кольцо, желтые, точно воск, волосы и малиново-красная косынка не вязались ни с картофельным полем, ни с вечерующим небом и свидетельствовали о совсем другой жизни. (Настоящая барыня... Вот угораздило меня!)

Женщина, снова глянув на кольцо, еще решительней провела рукой по лбу, очевидно отбросив прочь усталость или воспоминания, заставившие оторваться от борозды. Ее глаза остановились на ожидавшей ответа девушке, синие и молодые, они казались гораздо моложе одутловатых, от работы и воздуха посвежевших щек. Ни благожелательства не было в этих глазах, ни того неоскорбительного деревенского любопытства, которое связывает человека с человеком еще до того, как познакомиться, — одно лишь желание остановить чужую на почтительном расстоянии. (Красивые глаза, да недобрые...)

— Это Путнини Маяс³, да? — Наконец Марите выговорила то, что нужно, то, что нужней всего, пока этого Антанаса не видно и не слышно; впрочем, хозяев она не так боялась, как хозяек. — Я туда попала? — продолжала громче, смелее. — Вы не скажете, где мне найти господина Антанаса?

— Сударыня мама, отвечайте, пожалуйста, — услышался молодой, слегка запыхавшийся голосок, — ей Антон нужен!

Марите приободрилась, будто нащупав что-то важное — не только передланное на латышский лад литовское имя. (Антон, а не Антанас — вот оно что!) По-прежнему угодливо улыбаясь, чтоб не злить женщину, Марите перевела глаза на девушку с корзиной. Очень похожа на старшую, но помельче и белее, даже свежий воздух не раздумянил сахарных щек. (Ну и чистое личико... Как беленое и небеленое полотно рядом!) Покоренная, очарованная этой белизной, Марите немедленно отдала предпочтение молоденькой. (Волосы у обеих светлые, но у старшей дымчатые, как воск, а у младшей желтые, как солома. Хорошо, наверно, такие гладить...) Даже ее кофта, синяя, расшитая белыми цветами, понравилась больше, чем розовая, с отвислым передом, у старшей. Барынина дочка (ясно как день!) улыбалась и могла бы сойти за млад-

³ Птичий Дом (название усадьбы).

шую сестру, а имя Антанаса, или Антона, пропела тонким голоском балованного ребенка. Это тоже, видно, кое-что означало. (Но что, скажи-ка на милость?)

Марите потупилась, как будто ее наблюдения могли обидеть женщину. Спешила все подметить, не выдавая себя. Ноги лошади, затоптанная борозда, картошка. Везде такая картошка — и в Вальгенае, когда большая вырастет. Марите снова отыскала глазами картофелину, которую мысленно уже назвала своей, — смешная картошина, с носом. Не меняя затвердевшего выражения лица, старшая улыбнулась дочери, потом жесткими губами — девушке, мявшей узелок в руках.

— Ах, Антон? Жаль, жаль, уехал по делам в Ригу. Вы с его родины? Весточку или поручение хотите передать?

Женщина заговорила по-литовски, но таким тоном, будто находилась в конторе, а не на поле рядом с пофыркивающим, не стоящим в борозде конем, которого сдерживал, натянув поводья, худой и высокий темноволосый парень; он тоже улыбался из-под надвинутой на глаза заячьей шапки, недобро выпятив зубастую нижнюю челюсть. (Чудной парнишка! То ли укусить, то ли погладить хочет...) Разглядывать было некогда, слова женщины, не смолкавшие в ушах, заставляли сосредоточиться, резкие ноты чуть охрипшего за день голоса старались справиться с каким-то беспокойством. (Чего ей беспокоиться? Разве только чтобы погода не испортилась... Картошки прорва, да за нею вон свекла...) Надвинулось облако, и подул ветер, зашуршал подсохшей ботвой на выкопанном краю поля, облизал кучу картошки, а также переминавшегося жеребца, унося запах его пота. Точно пальцами одной руки, прошелся и по очень похожим лицам обеих женщин — в это мгновение они думали, должно быть, об одном и том же, только неизвестно о чем. (Нет, не погода беспокоит их!)

— Сама не знаю. Дело или так... — Марите видела, как поджимаются, чтобы, не дай бог, не улыбнуться, губы старшей женщины, заталкивая куда-то крупные красивые зубы. — Дело у меня к нему, важное дело!

— Вот как, важное?

Насмешливо, чуть ли не сердито дернулось плечо женщины; ни голос, ни пренебрежительное движение уже не скрывали тревоги, и в это время новая волна ветра взъерошила высокие тополя, высаженные по сторонам поднимающейся к усадьбе дорожки (Вот и деревья, как в настоящем именье, — не только пруд!), зарылась в вишеннике, который весной, наверно, окутывается белым облаком (Вишен небось и не съесть им!), пронеслась над горбатым каменным погребом (Что в нем держат?) и, потеряв силу, выплеснулась на луг, где паслось стадо (Какие коровы, да сколько их!).

И в самом деле, что такое ее важное дело по сравнению с целой шестеркой коров (успела сосчитать, и испугаться, и сообразить, что забот здесь уйма; если б даже и решилась рассказать про себя, с первого раза не поймут)!

— Не так уж важное... Только вот Антанас... Он...

Марите стеснялась этого имени, которое, видимо, было связано со всем тем, что обежал и чего не успел обежать ветер, а также, разумеется, связано и с женщинами, одна из которых стара (Ой какая еще нестарая!), а другая молоденькая (И очень, очень красивая!). Тетя Аугусте ничего не знала про женщин: ни как они выглядят, ни как могут встретить разыскивающую Антанаса, тем более что здесь он уже и не Антанас — Антон.

На западе высыпала груда облаков, разметалась по небосводу. Будто из горна вывалилось солнце, раскаленное и полопавшееся. Кровавым багрянцем залило жилой дом, растеклось по окнам, женщины

одинаковым движением наклонили головы. Марите смотрела во все глаза, как на пожар.

— Такой дороги не побоялась, а слова не выдавишь! — Старшей был неприятен испуг девушки, даже неприятнее, чем наглое, как ей казалось, запирательство; она принудила себя улыбнуться. — Зачем тебе понадобился Антон? Говори, мне можешь сказать. Я — Валдмане, хозяйка Путниней.

Марите чувствовала, как холодный взгляд скребет по ее грязным мужским полуботинкам, по плащу дяди Куйнялиса, выменянному у спекулянта из Шауляя на сало, — плащ был широк, болтался, но не доходил до колен, как нарочно обнажая их; глаза хозяйки несколько дольше задержались на ее высокой не по годам груди, распирающей жестяной плащ, и загорелой шее. На лицо, казалось, вовсе не обратили внимания, будто ничего не стоил ее широкий, распаленный от дороги и переживаний лоб, из-под которого глядели сероватые, недоверчивые и в то же время покорные, привыкшие полагаться на других глаза и выступал прямой, со слегка вывернутыми ноздрями нос, свидетельствующий о мирном характере.

— Значит, молчать будем, время терять, и чего ради?

Хозяйка смотрела уже не на нее, а мимо ее налитого кровью, горячего уха — на аллею и еще дальше, в темнеющую долину, словно Марите явилась не одна, а те, кто послал ее, притаились за деревьями и кустами, дожидаясь тьмы. Прежнее беспокойство из-за чего-то более важного и затаенного, нежели появление посторонней девушки, уже откровенно отражалось в настороженных глазах женщины и старило ее живое лицо. Побавиваясь старшей, Марите инстинктивно потянулась к молодой; та насвистывала какой-то мотив, отвернувшись от пыляющих закатом окон дома, очевидно, заботы всерьез ее не донимали.

Взгляды девушек встретились, точно спущенные с поводков собачки. Не будучи искренней сама (поди знай, чем тебе отплатят), Марите и не считала, что заслуживает особенно любезного приема, но в то же время ее совершенно очаровали эти прекрасные волосы, эта чистая синева глаз, даже узорчатая кофта с высоким воротом; ненамного старше ее, но куда красивее, латышка показалась Марите созданной не для простой жизни деревенской девушки — для прекрасного, головокружительного полета, кончающегося неизвестно где. И прохладное любопытство ее продолговатых глаз как бы надломилось, точно фарфоровая чашка от неосторожного прикосновения. Красивые губки перестали насвистывать.

— Ах, сударыня мама, — насмешливо зазвенел тонкий, уже прочистившийся, почти детский голосок; лицо старшей не дрогнуло, не помяло чело. — Ма-ма!

— Я могу осведомиться, что нужно посторонним в Путнинях? Имею я на это право или нет?

Женщина презрительно откинула голову, и это должно было означать, что она самая настоящая барыня — не она, ломая ногти, только что выковыривала из земли невыпаханную картошку, а если и она, то от нечего делать. Правда, если приглядеться к усадьбе, могло возникнуть некоторое сомнение: все здесь было разворочено, полуразрушено или недостроено, как будто через двор прошли танки и никто потом не собрал раскиданные камни, не высадил сломанные яблони. Поваленных деревьев не было видно, однако яблонь явно не хватало возле дома, хотя вишен — целые заросли, и перед глазами Марите мелькнули расщепленные белые стволы, даже грустный шелест деревьев услышала.

— Да мне велено Антанасу сказать... только господину Антанасу...

Марите виновато сопела носом, чтобы хозяйка не считала ее поведение наглым и упрямым. (Тогда не будет мне тут жизни. Заест...)

— Вот как!— Женщина боролась со своим тайным беспокойством.— А что мы о тебе знаем? Пришла и молчит! Может, ты?..

Невысказанные слова она придержала, точно камень за пазухой, и Марите с ужасом представила, как ее отяжелевшие ноги побредут обратно: катятся под гору гонимые мужскими полуботинками комья земли, но почему-то не ударяются о тополя, беззвучно проваливаются куда-то. Нет больше ни тополей, ни дороги, ни плоской равнины, по которой она пришла и топая по которой еще могла раздумывать: садиться или не садиться в чью-то повозку.

— Ма-ма, Антон рассердится,— весело пропела молоденькая, украдкой послав Марите одобрительный взгляд, и привстала на цыпочки в своих высоких сапогах, тоненьких, как бутылки, и таких же блестящих. Просто так поглядела вдаль или действительно соскучилась по этому Антону, которому может что-то нравиться— не нравится. (А это, видимо, важно, может, не менее важно, чем хозяйкина гордость?)

— Хорошо, литвинка!— без спора уступила хозяйка, передернувшись от неожиданности или возмущения — точно залубеневшей картофельной ботвой хлестнула по лицу Марите.— Антону так Антону! В таком случае придется подождать, я не знаю, когда он придет. Сейчас его нет, понимаешь? — Она чувствовала себя достаточно уязвленной и могла не церемониться с незваной гостьей.— Подождешь! А покамест...— Она окинула взглядом двор, догоравшие, начисто растаявшие окна и вернулась к этому полю, к лошадиным копытам, как будто искала занятие для гостьи, чтобы та не скучала без дела в ожидании Антона, хотя на самом деле все решила в первую же минуту.

Марите не медлила — как спасательный круг, схватила брошенную девушкой корзину. (Хитра хозяйка, точно лиса, но и доченька не лыком шита...) Она несколько не обижалась. Право жить, радоваться, даже грустить всегда надо было заслужить работой. (Ничего другого не предложит и Антанас, даже если он добрый, как говорила тетя Аугусте. Работу, черную работу!) Марите шмыгнула в борозду, желая как можно скорее слиться с чем-то более привычным и постоянным, чем бегущая, режущая глаза дорога, хоть и понимала, что в один прекрасный день картошка будет выкопана. Нетерпеливо заржал застоявшийся жеребец, чудной парень тарашил на Марите пустые глаза. Пускай он чудной (Кажется, подбежит и укусит!), пускай от женщины веет неприязненным холодом и хитростью (Лиса, ой, лиса...), а от барышни (Наверно, еще девушка, не замужем...) снисходительным, почти веселым равнодушием — все равно работа принесет забытие, успокоение:

Жеребец так и поволок зубастого парня. Марите опустила на корточки и почувствовала, как ее тянет, тащит куда-то,— не скоро, видно, наступит передышка и освобождение, как бывало раньше, у дяди. Когда накопила первую корзину и понесла высыпать, увидела рядом с хозяйкой высокого старика. В такой большой усадьбе было бы неуютно без пожилого человека, и Марите захотелось улыбнуться ему. Старик даже не глянул — точно ее здесь не было или, наоборот, была, но слишком знакомая, успевшая надоест. Не смотрел он и на хозяйку, которая что-то рассказывала ему, словно гвоздь, вбивая одно и то же слово «Антон». (Похоже, будто не слышит, уж не глухонемой ли? Вот жалость...) Но тут же поняла, что ошиблась — потеряв терпение, Валдмане зашипела:

— Ка па сапнем!⁴

Марите опорочилась уже не первую корзину, а старик как стоял, так и продолжал стоять, правда теперь один. Почерневший, с глубоки-

⁴ Как спросонья.

ми глазницами и запавшими глазами, он как будто и впрямь спал стоя, опершись на тяжелую узловатую палку. Все звуки ударили в него как в оборотный, еле державшийся корнями пенек: твердые шаги уходящей Валдмане, вороний крик на деревьях, радостно дребезжащий смех идущего за плугом мальчишки — вдруг почему-то развеселился. (Да ведь старик-то знакомый! Часа два-три назад разговаривала с ним... Неужели совсем уже выжил из ума, ничего не помнит? Я ведь не овца, не телка — человек...) Это он, как журавль, расхаживал днем по опушке леса, только не в чистой одежде — оборванный, босой, это его она спросила, как пройти в Путнины, и он сказал. (Не сказал, нет... Покосился исподлобья и ткнул палкой в небо. Сама что-то пробормотала за него, лишь бы не было страшно... Ведь рядом лес был. Даже не лес — перелесок, убежавший от темного бора, который, так и не догнав беглеца, мрачно насупил вдали.) Она вспомнила, как обрадовалась, повстречав старика, и потом еще больше радовалась, когда вышла на дорогу, а он не стал гнаться за ней, даже не проводил ее странным, как у незрячего, взглядом. Теперь у нее в руке покачивалась корзина с картошкой, и было уже не страшно.

— Дедушка, забыли меня? Это я, дорогу мне показывали!

— Да, да!

Он наконец проснулся, узнал Марите, но не улыбнулся. Расправил спину, далеко вперед выбрасывая палку, направился напрямик через борозду к парню, который мгновенно сделался похожим на него — такое же серое лицо, те же глубоко посаженные глаза. Мальчишка вдруг состарился, а старик уже не казался совсем дряхлым. По спокойному поглаживанию большой, точно коряга, ладони, по тому, как чутко повел ушами конь, Марите поняла: это и есть хозяин Путниной. Он — господин Валдманис, отец этого все еще глазевшего на нее парня. (Такой старый и сморщенный, между тем как барыня — молодая и белая, в дочери ему годится.)

Было тревожно и славно в тот первый вечер посреди большого поля, под чужим, холодным и переменчивым небом, один край которого, если повернешься к югу, вероятно, касается Вальгеная. Захотелось еще раз убедиться в этом, но не давали шевельнуться немигающие, пристальные глаза старика, словно и не узнал ее вовсе! Марите вздрогнула, будто что-то в ней — выражение лица или движения — выдало ее истинные намерения, которых до этой минуты она и сама за собой не предполагала: отсидеться за чужой спиной, пока не стихнут раскаты грома, а там пуститься по дороге, не важно какой, не унося с собой даже воспоминаний. Чужих воспоминаний — дяди да тети, тети да дяди — у нее было по горло, только они не грели, скорей мешали. Она ощущала свое лицо, словно вылепленное из глины, одежда и та была подарена другими: мужской, как из жести, плащ, полуботинки с приставшей к ним грязью. (Это он и видит своими совиными глазами? Но что еще, что?) Чувствуя на себе давящие дыры глазниц, Марите долго противилась настойчивому велению старика, хотя понимала, что он не отстанет, потом нагнулась и быстро сняла ботинки, уже не разбирая — из хитрости разулась или уступив нажиму Валдманиса.

— Да, да...

Старик, как бы предостерегая на будущее, поднял руку — большую черную руку — и, слегка оживившись, заковылял под навес. Повозки, жатка, валы большой машины. (Уж не чесальная ли? Богато жили...) Согнулся в три погибели, доставая что-то из-под сваленных орудий, и вернулся с кирзовыми солдатскими сапогами. Бросил брезгливо, точно падаль какую-то, — его собственная одежда была чиста, аккуратно за-латана.

Парень снова придержал лошадь и глазел через плечо, нижняя губа набрякла, как пивяка,— не мог оторваться от ног переобувавшейся Марите. Старый Валдманис нагнулся и ударил лошадь — борозда разъехалась, как рукав по шву, и парень запрыгал, ловя ручки плуга. Марите наклонялась, бросала картошку в корзину, довольная собой: все-таки не сдалась. (Есть корзина в руке — значит, будет и ужин и ночлег... Но Антанас, что запоет этот Антон? Увидим!) Никому ни о чем не проговорилась, кое-что о них разузнала и, несомненно, узнает еще больше, хотя именно этого начинала уже бояться...

2

Хлев не хлев, овин не овин: под стреху уходят необмолоченные снопы, тут же и скотина, а инвентарь беспорядочно свален, будто брошен впопыхах. Черенок вил, коса, лопата, если возьмешься за них, отдают прочно въевшимся дымом, хоть и не обуглены. Скорчившись на сеновале, натянув плащ на голову, Марите не может освоиться, забыть, что она тут временный гость. Здесь и тесно и просторно: нависают стропила, давящие сквозь темноту на грудь, в огромной боковушке не найти удобного места для гнезда, которое пропахло бы теплом и потом ее тела.

Она долго ворочалась, взмахивая полами плаща, как ветряк крыльями. В Вальгенае, когда, бывало, к чужим заманят, тоже спала на сене, но там чувствовала, что поблизости люди, знала, чем они заняты в избе, о чем говорят. Даже что думают. Здесь дом смутно маячил какой-то горой, а люди были непонятными и чужими, стоило им выйти из борозды и забраться в свое угрюмое жилище. В Вальгенае она не вздрагивала, если ночью скрипнет дверь, догадывалась, когда собака с другой собакой перебрехивалась, а когда лаяла на высунувшуюся из дупла сову; и о чем люди думали, заслышав плач совы, тоже знала. Здесь же вскакивала каждый раз, когда Чалый стукнет копытом, а от человеческих шагов или послышавшегося среди ночи голоса сохло во рту, в горле и под ложечкой. Ее собственный вздох, сонное бормотанье, кашель возвращались чужим, пугающим, грозным эхом. Марите снилось, будто она катится с сеновала прямо под страшные копыта жеребца — его держали в тесном, как загон, простенке, чтобы не покалечил коров и другую лошадь — Каштана. Дрожмя дрожала загородка от ударов копыт, на насесте не вовремя орал петух, куры хлопали крыльями, и сквозь сон гоготал гусак. (Если я закричу, никто даже не услышит!)

Вот и снова бухает этот неугомонный, не похожий на лошадь трехлеток. (Ведь нажрался, чего ему еще?) Сотрясаются прислоненные к стене бороны, проволочные сита и прочая утварь, которой не видно в темноте, но дребезжанье ее разбегается мурашками по телу. Протерев глаза, Марите первым делом ищет своих коров, от которых за день можно без рук остаться,— они спокойные, теплые, с ними не боязно в темноте. (Да, спокойные, теплые. Вот Белянка посапывает и хмыкает... Как человек.) Не Белянка она — это Марите прозвала ее по-своему, чтобы время от времени звучало родное слово. Но белого, как сыр, Белянкиного лба никак не выхватить из пронизанной странными звуками и тенями темноты, и, снова разбуженная ветром, который теревит крышу и постукивает неплотно прилегающей дранкой, Марите не сразу вспоминает где она. Все, что за день трогала, носила, поднимала сильными руками, вечером становится чужим. Сама себе чужая. В Вальгенае, бывало, умаявшись, валилась на подстилку, и всей ночи едва хватало на один сладкий зевок; здесь же она зевает и зевает со страху, обливаясь холодным потом. (Молитвенник полистать? Попробуй прочти малюсенькие букочки. Ни зги не видно.)

Марите, пошарив под головой, вытаскивает узелок: вот туфли, в них набилось сено, вот пухлая книжечка... Обложка уже не пахнет печной глиной, которую любила грызть, когда была маленькой, а тяжелые, замусоленные страницы — трухлявым, источенным жучком подоконником. Домашнее тепло выдохлось, а здесь даже клевер не пахнет. Прежде было иначе. У одних хозяев она, глядишь, подружится с какой-нибудь старушкой, у других — с голопузой ребятей, где-то ей приглянется палисадник — сама, не дожидаясь указки, примется поливать, полоть; людскую доброту нередко заменяли березы у ворот, новые мостки в ольшанике, где и стирать удобно и глаз отдыхает. Наконец, везде найдется кошка с котятами или собачонка — хватало их и здесь, но рука не подымалась погладить. (Не могу привыкнуть, и все. Не мило здесь ничего...)

На самом же деле Марите боялась Антанаса; чем дольше его не было, тем больше становился страх. Самого сильного работника нет, и никто пожаловаться не смеет. (Ждать-то ждут его — очень даже! — но втихомолку...) Молчаливое ожидание оживает на лицах Валдманисов, когда смотря на нее — как будто бы она часть этого Антанаса, который понесся куда-то и нет его, но должен, непременно должен вернуться, и тогда... (Что, что тогда? Пусть он хоть с рогами будет, этот Антон, — не выгонит. Один с картошкой не управится. Еще вон свеклы целое поле!) Проходя или проезжая мимо Путниной, соседи с завистью косились на новую работницу. Никуда не выпускают — и все равно не спрячешь такую копну. Это Валдмане сказала — копна. (Везде хвалили, что большая, а здесь и этому не рады.) Жадные, деланно равнодушные взгляды соседней живо напомнили Вальгенай, и это немного подбадривало, помогало ждать. И еще...

— Эй, литвинка, тебе сколько лет? — как журчанье своенравного ручья, доносится голос молодой барышни, когда она, Марите, покачиваясь под тяжестью коромысла, тащит пойло свиньям. Чистая, душистая ручка не побрезговала — ухватилась за грязный плащ.

— Семнадцать...

Чистую правду сказала Марите, но сама в себе усомнилась, дивясь лучистой ее юности, сказывавшейся во всем — от выбивавшихся из гладкой прически волосок до поблескивавших носами сапожек.

— Не больше? Ты такая здоровая!

— Ну, может...

— Что — может?

— Может, и больше малость... — Она смутилась: и хотела бы угодить, да не могла врать такой славной девушке. — Только уж не семнадцать... Нет еще.

— А мне все девятнадцать!

Девушка была немного разочарована, что Марите не ровесница ей, выпустила схваченный цепкими пальцами рукав.

— Видишь, какая я старушка! — Вдруг захохотав, латышка потерла лоб двумя пальчиками, которые только что держали задубелый, твердый, как жезл, дождевик.

В битком набитом похрустывающем овине уверенность Марите в самой себе снова гаснет, не успев разгореться. (Терла лицо, как будто испачкалась... Я же не виновата, что пойло брызгается!) Все-таки думать об Аусме — так зовут барышню — боязно и сладостно. В детстве, бывало, думала так о куклах, которые видела в более зажиточных избах, — с расколотыми твердыми головами, с выданным нутром, они все равно были из другого, красивого, светлого мира. Марите очень хочется узнать: по своей охоте Аусма подошла к ней или мать подослала? (Не понравлюсь — выгонят, еще вруней обзовут? Нет, не похоже, чтобы Аусма шпионила...) А может, Марите потому не смела никому — даже

самой себе — довериться, что эти загородки, загончики и закоулки первым показал ей старый Валдманис.

Возможно, совсем по-другому отнеслась бы к дому, где спят люди — не призраки, если бы фонарь несла ручка Аусмы. Даже когда насмехается (Ведь в насмешку справлялась, сколько мне лет!), приятно слушать. Разве не посмеяться прискакала на следующий день, когда Марите кормила голодных свиной?

— Эй, литвинка, любишь танцевать?

— Что?

— Танцевать, танцевать! Вот так! — Аусма прищелкнула каблучками и повернулась раза два, подхватив пальцами широкую юбку.

— Смотреть люблю. (Еще потанцуй, Аусма!)

— А сама?

— Люблю, только не умею.

— Даже польку не танцуешь?

— Может, и станцевала бы, да кто меня пригласит?

— Тебя что, ни разу не приглашали?

Засмеялась и ушла, поблескивая своими негнушимися сапогами-бутылками.

Кажется, всех призраков, затаившихся под стрехой и в углах, разогнал бы этот насмешливый голосок. Сочувствия мало в нем, зато много веселости. (Пусть насмехается — ведь не будет все время насмехаться! Может, все же поладим?) Аусма такая красивая и так хорошо одета, что Марите не может представить ее и себя дружески шепчущимися. Только видит плывущий по хмурому, темному двору фонарь, который согрел бы, от которого посветлело бы в глазах... Так и вправду могло быть, потому что Аусме велели проводить Марите, когда все поели; Аусма не тронулась с места — сидела, подпершись, перед рамой старинного зеркала, будто весь день ее легкие ножки не скакали куда им вздумается. Все чесала и чесала алюминиевым гребешком, длинные волосы искрились и падали на плечи, вились их кончики. Измученная бесконечной ходьбой и картошкой, Марите таращилась на льющиеся волнами волосы, точно на красивую вещь, до которой боязно дотронуться. Аусма, чтобы подразнить ее, стала раздирать гребешком аккуратную прическу — только треск пошел, казалось, голова расколется, как у тех красивых кукол. Синие, еще синей, чем у матери, глаза равнодушно глядели на растрепанные и заново взбитые волны, а личико уже не было детски-нежным — по-женски капризным и упрямым.

— Я кому сказала, Аусма? — Валдмане раздражало, что дочь не может оторваться от зеркала.

— Мне, Анна, но я причесываюсь.

— Нашла время! Кто тебя ночью увидит?

— Кто? — Аусма загадочно улыбнулась сложенными сердечком губами, ее личико стало похоже на лисью мордочку. — Увы, никто, Анна...

— Не называй меня Анной. Я тебе мать! Ленишься задницу оторвать от стула, какая из тебя будет хозяйка Путницей?

— Слова, сударыня мама, громкие слова. Ах... — Аусмин вздох, как и веселье, был неискренен — ей нравилось дразнить мать. — Я не думаю о завтрашнем дне!

— Зато я день и ночь...

— Спасибо, сударыня мама! — Она присела, как это делают гимнастки — Марите видела.

— Лучше проводи девушку, не порть мне нервы! Она уже на ногах не стоит...

— Пускай здесь ложится, если не стоит.

— Чтобы слышать и видеть все, так?

Помрачневшая, посуровевшая хозяйка стала похожа на старшую сестру, которую младшая в конце концов вывела из себя детской своей беспечностью. Марите слишком устала, чтобы уловить суть разговора и обидеться.

— Танцевать не умеет! — засмеялась вдруг Аусма. — Девушка, каких много...

— Много! Забудь об этих многих. Еще какую-нибудь дурочку при- тащишь в дом. — Хозяйка спохватилась, сердито загремела алюми- ниевыми тарелками. — Ты отведешь ее, Аусма, или будешь нервы мне трепать?

— Не ругайтесь, сударыня мама. Я жеребца боюсь!

— Я никого не боюсь, — вскочил чудной мальчишка, выставив тор- чашие зубы.

— Чем не кавалер? Пусть привыкает, — смеялась Аусма.

— Я как двину жеребцу! — Имант потряс кулаком.

— Уймись, еще ребенка мне с пути сбивать будешь!

— Не заводитесь, сударыня мама, а не то...

— При чужих готова матери глаза выцарапать? Где гордость Валд- манисов?

— За всех Валдманисов гордо молчит сударь папа!

— Я, я хочу! — жалобно хныкал Имант.

— Цыц! — прикрикнула Валдмане, не глянув на него. — Отец, ска- жи ей, Артур!..

Валдманис не шевелился, сидя перед окном. Сквозь цветастую за- навеску ничего нельзя было разглядеть и почти ничего — сквозь не- занавешенное синее стекло. Не видны были даже высокие тополя, ше- лест которых доносился со двора. Вряд ли провалившиеся глазницы старика видели деревья, двор, поля, какие-то очертания знакомых стро- ений, хотя он и сидел прищурясь. Казалось, Валдманис прислушивается к своей боли, которая подтачивала его изнутри, оставив лишь кожу да кости.

— Артур! Как во сне! — вздохнула хозяйка, как недавно на дворе.

Валдманис вскочил, словно лошадь, разбуженная кнутом. Похло- пав по подоконнику, нащупал прислоненную палку, крепко сжал в руках и наставил на Марите; железное острие дрожало, медленно поворачи- ваясь к двери. В сенях Валдманис уже проворнее снял фонарь, зажег. Во дворе и вовсе оживился, как будто в темноте и сырости оттаяли его застывшие суставы.

— Маменькина дочка, — выдохнул он Марите на ухо то, чего не хо- тел или не смел выговорить в избе.

— Нет, хозяйин. — Марите отпрянула, потом снова приблизилась. — Я сирота! Отец с крыши упал, когда мне полтора года было, маму бык забодал в именье...

— Начинают с иголки, а кончают лошадью.

— Вы мне говорите? — Марите дернула его за рукав, чтобы почув- ствовать хотя бы грубость сукна. Ведь старый человек, пускай даже вор- чит, — все равно уютнее рядом со стариком, особенно на новом месте, где как на вилы наступаешь, не так повернувшись или не то словечко ляпнув.

Обычно старики сочувственно вздыхали, когда она говорила про своих несчастных родителей, которых не помнила и по которым почти не тосковала, а этот бежит, не разбирая дороги. (Чтоб не разжалобила его? Да я и не думала...) Фонарь удалялся, словно не он, Валдманис, не его скрипучий голос вложил угрожающий смысл в поговорку, ходив- шую по обе стороны границы.

Старый Валдманис толкнул ногой дверь гумна, быстро поставил фо- нарь. (Чтобы снова не хватала за рукав, ни о чем не рассказывала?)

Тыча палкой направо и налево, показал, где стелить постель, где лежат попоны, где стоит стремянка. И все это молча, беззвучно шевеля губами, точно за ним по пятам ходил кто-то невидимый, готовый помешать ему. Прибежавшая следом Валдмане бросила подушку — ее рука мелькнула и исчезла. Он придвинул подушку палкой. Казалось, громко сказанное слово может ударить старика в самое сердце, которое он время от времени потирал тяжелой, натруженной ладонью.

— Вам больно, хозяин? — Марите стало жаль его: старикам, извещное дело, худо. Дядя Куйнялис тоже прихварывал, особенно как выпьет свекловичного пива: поглаживая сердце, просил соды, Марите бегала за ней к соседям.

— Нет, уже не болит. — Валдманис ответил не ей — кому-то в той дали, с которой сообщалось сквозь расстояние, сквозь вещи и стены.

— Что с вами было? — Марите спешила заполнить пустоту словами — своими и чужими, чтобы, когда останется одна, было за что ухватиться.

— Горел... Ой, горел... Все сгорело!..

Луч фонаря пробежал по иссохшему, прошнурованному веревочкам морщин лицу Валдманиса. Марите показалось, что на дне его глаз поблескивают отсветы того, настоящего или воображаемого пламени.

— Путники Маяс горели? — Марите уже пожалела, что на ночь глядя завела этот разговор. (Ясное дело — не все дома у старика!)

— Трава горела... Небо... Все...

— А Антанас? — Марите услышала свой приглушенный голос и удивилась, что в силах говорить, несмотря на мелкий озноб, бивший все тело. (Небо и трава не могут гореть... Тронутый!) — Антанас был тогда?

— Что? Да, да... — Старик с грехом пополам выкарабкивался из воспоминаний, его вялые губы растянулись в улыбке, почти доверчивой и веселой. — Литовцы с давних пор на нас работают. Лину лейтис⁵, да, да!

Лучше издевка, чем загадки, от которых мороз по коже продирает. Старик подобрался к Чалому, долго скреб ему бок ногтями и что-то бормотал. Так разговаривают с лошадьми те, кого уже не понимают люди, и у Марите шевельнулась надежда. (Если бы фонарь мне оставил. Вот хорошо бы!..) Не зажженный, боже упаси, просто чтобы можно было для смелости потрогать холодное стекло кончиками пальцев. Старик успокоил жеребца и вернулся. Высоко подняв фонарь, пригляделся, словно вдруг усомнившись: ее привел или какую-то другую работницу? Сегодня, сейчас или десять лет назад? Потянув ноздрями, Марите уловила его запах: не табака, не лошадиного пота — холодного увядания, так пахли печальные придорожные тени. Валдманис убавил язычок пламени, коптящая лампа поплыла к двери. (Я боюсь! Погодите, дедушка!..) Еще чувствовала его стылый запах и не крикнула.

Тихо, как тень, вынырнул Валдманис наружу. Немного погода заговорила палка — медленно выстукивала по мощенной полевым камнем дорожке. Вот зашелестела трава у пруда, откуда черпают воду коровам... Старик кружил возле овина, как часовой возле пленного. (Не доверять? Боятся, удеру с курицей под мышкой?) Марите пригладила руками сено, взбила подушку. Зевнув, упала как подкошенная, но не растворилась в жарком шуршании сена, не слилась с поскрипыванием крыши, с множеством живых и неживых шорохов. (Что же получается? Антанас — такой же работник, как я?) Было неловко, словно кто-то

⁵ Льянной литовец (выражение, сохранившееся с тех времен, когда литовцы привозили лен на продажу).

чужой оговорил близкого человека, и Марите долго размышляла, может ли это быть. (Не посчиталась бы хозяйка с работником, нет... А тут сразу уступила, как только дочь сказала, что Антанасу не понравится, если ее выгонят. Так кто же он?) Почему-то хотелось, чтобы Антанас был всесильным, хоть и боялась этой его силы, как и всего, что ждет ее в новой неведомой жизни. (Дура я, дура, а думала, что дурость свою на попутной повозке бросила... Видать, ему сам черт не брат, этому Антанасу!)

(— Ты чего скисла? По Литве скучаешь?)

Марите еще не успела соскучиться, но не могла и солгать подбежавшей Аусме.

— Антанаса боюсь...

— Нашего Антанаса? Он не бодается и не лягается!

— Все равно боюсь...

— Мужик что надо, это верно! Недаром в штанах!

— Все мужики в штанах. И брат ваш...

— Сравнила! Антон — настоящий мужчина.— Аусма засмеялась и уже не закрывала рта, блестели мелкие ровные зубки.— У него щетина под носом! Морж!

— Так вы его ничуть не боитесь?

Аусма от удивления перестала смеяться, потом еще веселей расхохоталась, даже Валдмане, проходя мимо, одернула:

— Отстань. Не даешь работать девушке.

— Ой, не могу, лопну! Она Антона боится, мама...

— Правильно! Лентяев Антон не терпит. И гостье и тебе советую зарубить это на носу.)

В запутанный клубок сплелись дни и ночи, голоса дочери и матери. Марите уже и не знала, как лучше: чтобы Антон подольше задержался в дороге, совсем не вернулся или объявился немедленно. Цок-цок-цок! Палка Валдманиса скачет по камням дорожки, вызывая свои мрачные воспоминания и силой навязывая их ей... Марите уже знает, чем пропахли вилы. Пожар был, большой, опустошительный пожар, но это больше не пугает, почему-то даже успокаивает, а любопытство так и щиплет, словно пот кожу. (Ей-богу, что-то еще случится... Но что?) Ждать страшно и занятно — как смотреть те двигающиеся и горящие картины на полотне, которые однажды на базаре показывали солдаты...

3

Двор вдруг наполнился приехавшими откуда-то людьми, кто-то громко покрикивал, смеялся и кашлял, но странно, что не было слышно лошадей. Не фырчала и машина, на которой могли бы приехать гости, и Марите поглубже зарылась в сено — может, еще поймает ускользающую нить сна? Голоса не смолкли, но опасаться было нечего — подле чужих юлил бы Имант, осторожно выстукивал бы палкой свои круги Валдманис. Внезапно шум прекратился, будто укатился под гору, а когда снова донесся, голоса слились в один, который, казалось, и кричал и сам себя утихомиривал. Это было странно, как бывает иногда во сне, и голос, то густой и сочный, то надтреснутый, как слегка задетое топором звонкое сухое полено, застал Марите врасплох. Что-то грохнуло над головой — может, чей-то глухой смех, а может, хлопок ладоней. От резкого запаха — дорожной одежды, нездешней пищи и нездешних напитков — перехватило дыхание. Не успела ни сесть, ни укрыться и стыдилась себя, такой большой и нескладной, как та, что ехала недавно на чужой повозке, похожая на связанную, покорную судьбе овцу.

Сквозь дрожащие растопыренные пальцы — кое-как сумела прикрыть лицо — прямо в глаза летели острые искры. Марите чувствовала

себя как бы сброшенной на землю — вот-вот врежется страшное копыто жеребца...

— Ай! — взвизгнула она, заслоняясь локтем от спящего света. Упала ничком и терла, терла глаза, наполнившиеся слезами.

— Это еще что за сова? — весело гаркнул невидимый мужчина.

Марите стиснула зубы, чтобы не закричать, сидела и тряслась полу-голая, с раздвинутыми коленками. (Антанас! Антон! Больше некому быть!)

— Пугало какое-то, но работы не боится...

Он был не один, Антанас, которого все давно ждали, рядом стояла Валдмане. Марите чувствовала это с самого начала — от женщины по-иному шуршало сено, и дыхание ее было более частым, словно его придерживали рукой.

— Ты уехал, она и заявила. Я сказала: Антон вернется, тогда... — Голос невидимой в темноте хозяйки помягчел и согрелся от близости мужчины.

— Помолчи, Анна, — незлобиво остановил мужчину. — Не глухонемая? Сама расскажет!

— Из Вальгеная я. — Марите удивилась, что ее голос не дрожит. — Меня тетя направила...

— Из Вальгеная? — присвистнул удивленный или прикидываясь удивленным Антанас. (Это он, точно он!) — Что еще за тетя, девонька? Всякие нынче и тети и девушки. Прими, обогрей, а она тебя зарежет или ограбит! — охотно рассуждал, разгоряченный дорогой, а может, и соскучившийся по родному языку. — После насыпь ей, птичке, соли на хвост!

Марите моргала, онемев от страха и неожиданности. (Неужели я и впрямь похожу на такую птичку? Может, оттого, что не причесана?) Засунула пальцы в полные сена волосы.

— Что, вши завелись? — расхохотался Антанас, и его безжалостный смех ударил по руке Марите. (Камень, а не сердце.. Как же я ему угожу? Надо было уходить не дожидаясь. Только куда уйдешь?..)

— Пугало, но чистеха, — заступилась Валдмане тем же помягчевшим голосом. Электрический фонарик Антанаса метнулся к ней — волосы накручены на бумажки, белый шерстяной платок, розовая, в цветочках ночная сорочка... Скромно, как молоденькая, засмеявшись, хозяйка поправила платок на оголившемся плече. — Полощется, как гусь, я видала.

Антанас, легонько покачиваясь, все еще, казалось, несся бог весть куда — словно стоял, расставив ноги, на пустой, весело катящейся с горы телеге. Но приехал он на машине, которую Марите проспала, — еще пахнул бензином и одет был не по-крестьянски: блестящая кожанка, тоже кожаная фуражка, сбитая набекрень; из-под козырька выглядывал треугольник темных волос, под носом блестело от пота пятно подстриженных усиков. (Не щетина, как говорила Аусма... И на моржа нисколько не похож. Красивые усики!)

— Я кому сказал, Анна? Не можешь помолчать — уйди!

— Антон!

— Не дразни меня, Анна...

— Антон, мы тебя так ждали! — Женщина льнула к нему и голосом и всем телом. Марите удивила ее угодливость — на минуту даже забыла свой страх. — Почему ты меня гонишь?

— Не заводи старую песенку. — Мужчина снова повернулся к взъерошенной, выбирающей сено из волос Марите. — Так что за дядя тебя прислал?

— Не дядя — тетя... Тетя Аугусте из Ванайгайча, — проговорила Марите неуверенно, сама сомневаясь в силе этого имени.

— Так ты из Вальгеная или из Ванагайчая? И не пялься на меня, как на людоеда. Девочек не жру! — Жесткая кожанка захрустела от смеха. — Вообще мяса мало ем. Желудок. Врачи говорят — язва. Ранило в спину, а рана в брюхе, — что ты скажешь? Ну и чего этой тете Антосе нужно?

— Аугусте... Тетя Аугусте. Говорила, может, вспомните, говорила, дядю Куйнялися...

— Дядю Куйнялися? Так бы сразу и говорила! Кто же дядю Куйнялися не знает? С ним что-нибудь приключилось или с этой твоей Аугусте?

— Не могу я при ней говорить. — Марите покосилась на хозяйку, которая до того удивилась, что не сообразила разозлиться. Марите даже стало жалко ее, но решения своего не изменила: выложит все только Антанасу, только своему. (Свой? Этот грубый, провонявший кожей горлопан — свой?)

— Выйди, Анна.

Антанас опустил руку с фонариком, вынырнула засиженная курами балка, лоснящиеся крупы лошадей, коровьи рога. Тяжело дышала хозяйка. (Что я наделала! До гробовой доски ненавидеть будет...)

— Я кому сказал?

— Не будет этого! — пронзительно завопила хозяйка. — Не позволю валяться с ней, с этим пугалом!

— Анна, ты рехнулась? — Антанас схватил женщину за плечи и, шлепнув по спине, подтолкнул к лестнице. — Тут политика, пойми!

— Проклятая политика!

Все же Валдмане съехала вниз, послушно скользнула к двери.

— Ну! — Антанас ткнул Марите в бок, та все еще не могла очухаться. (Что я наделала, что наделала... Она ведь меня живьем сожрет!)

Шмыгая носом от страха (разве поверит тебе такой крутой мужик!), она рассказала все.

— Не думал я, что дядя Куйнялис снюхается с бандитами! — Антанас вдруг сделался серьезным.

— Нет, нет! — Марите мотала головой, не зная, как уверить его, такого жестокого, бессердечного. — Дядя Куйнялис хороший...

— Не хнычь, девонька! Будто сам я этого не знаю. Твой дядя Куйнялис много добра мне сделал... Я помню! Но хороший ли, нехороший... Сколько ни мекай овца — перед волком не оправдается!

— Антон! — В дверную щель протиснулась голова Анны.

— Так что же с тобой делать? Паспорт есть?

Странно, Антанас не рассердился, что у Марите не оказалось с собой ни паспорта, ни какой-либо другой бумажки.

— Может, и ничего, йо лабак⁶, — бормотал он наполовину по-литовски, наполовину по-латышски.

— Антон! — громче и раздраженнее донеслось от двери.

— Слышишь? — Дорожный азарт снова овладел Антанасом, он засмеялся громко и зло. — Тесто подходит, через край лезет... И все из-за тебя, девонька! Что ты скажешь?

Пальцы, щелкнув, сжались в кулак, поднялись вровень с головой Марите и, очертив круг, чиркнули ее по кончику носа. Она отшатнулась и упала на спину.

— Хо-хо-хо! — гоготал Антанас, похлопывая себя по звенящим карманам кожанки.

Не решив еще, смешно ли то, что происходит, или нет, кудахтала вполголоса Валдмане. Марите не заметила, когда та снова очутилась на

⁶ Тем лучше.

сеновале. Не смела ни о чем думать — сгорала от стыда за то, что такая неуклюжая и не умеет смеяться. Антанас опять захохотал. Этот смех сулил пристанище. Марите встала, стараясь не смотреть на Антанаса, чтобы у него снова не возникло желания мазнуть ее по носу, но ее притягивало это худощавое темное лицо, выглядевшее в неверном свете то молодым и бодрым — густые брови, ястребиный нос, усики, то старообразным и усталым — мешки под небольшими глазами, потная складка подбородка над не слишком чистой, поношенной солдатской гимнастеркой... Изо рта, когда смеялся, выглядывали металлические зубы — два или три, шел винный дух, а от высоких сапог, кожанки и фуражки несло сырым мясом. Так пахло от вальгенайских мужиков под рождество.

— Пошли в горницу, Антон! И завтра день.— Валдмане вцепилась в жесткий рукав, уже забыв нанесенное ей оскорбление. (В самом деле забыла, как ее гнали вон, или из страха? Чего ей, хозяйке, бояться...) Марите хотела одного — чтобы они ушли, оставили ее в покое.— Усталый, голодный... — заискивала Валдмане.— Вторые сутки сычуг в печи грею...

— Сычуг? Вот вкуснятина! — Антанас даже облизнулся, но тут же подозрительно уставился на женщину.— А ее... кормила?

— Что? — Валдмане смутилась, правда ненадолго.— В Путнinx никто не ложится спать голодным! — В ее голосе прозвучала горделивая нотка, как у старого Артура, когда тот говорил про литовцев, с давних пор работающих в Путнinx.

— Хвастай, хвастай! Что я, Путнinxей не знаю, что ли? — Антанас, фыркнув, пригладил усики.— Будь добра, Анна, позови и ее.

— Да она поужинала! — не знала, оправдываться или возмущаться, хозяйка.

— Ничего, ничего,—басил Антанас.—Я сказал, значит, зови. Жалованья лишку не попросит — не обеднеешь. Сама говоришь, пугало, а может, и дурочка...

— Я не дурочка.— Марите больше, чем насмешки, обидела внезапная доброта Антанаса. (Дразнит, дразнит хозяйку, а та возненавидит меня, как гадюку... Чего он хочет от меня? Как я тут буду жить?)

— Кто знает, не дурочка ли, кто знает! — Антанас весело подталкивал женщину в бок, неизвестно над кем — над Анной, над ней, Марите, или над собой — посмеиваясь.— Что она умеет, что может? Разве коты в мешке покупают? Помнишь, Анна, как господин Валдманис батраков нанимал? Посадит, бывало, за миску с мясом — лопай... Кто хорошо ест, тот хорошо работает.—Он, понизив голос, передразнил старого Валдманиса: — Диевам лиелс приекс!⁷ Сажай девку за стол, посмотрим! Ну, красавица, подымайся! Какой работник от жратвы откажется, ежели хозяйка предлагает?

— Да хозяйка мне вовсе не предлагает.— Единственный способ выгородить себя — показать уважение к хозяйке; Марите села, скрестив ноги,— переждет нежданно нагрывшую грозю.

— Ну так как, Анна? — Фонарик залил белое, еще больше побледневшее от волнения и яркого света лицо, мясистое плечо, с которого соскальзывал платок.— Ах, не нравится? Тогда я приглашаю. Имею я право пригласить девчонку за стол или нет? Отпразднуем мой приезд!

Он кричал во весь голос, слышно было взволнованное дыхание Анны, похожее на едва сдерживаемые стоны. В гулкой тишине Антанас скатился с сеновала, злобно отшвырнул что-то мягкое, попавшееся под ноги. Анна поспешила за ним, цепляясь за корзины, лукошки. От удара ногой вздрогнула и распахнулась половинка двери.

⁷ Богу большая радость!

— Не желаешь мою гостью приглашать, Анна? Нас Аусма покормит! — бросил Антанас в темноту, где сопела хозяйка.

— Я, лучше я! Спит — из пушки не разбудишь. Она даже плиту разжечь не сумеет. Я тебе сычуг поджарила, ты ведь любишь! — Антанас сердито молчал, и Анна прошипела в темноту, в которой, точно мышь, шуршала сеном Марите: — Вставай... Идем... Я приглашаю...

Марите не торопилась увидеть их обоих при свете лампы. Понимала, что слышала больше, чем положено, хоть и не все. (Странный дом... Не знаешь, кого слушаться, кого нет...)

— Скорей, скорей, — искал Марите голос Антанаса, довольного своей выдумкой и победой. — Сама хозяйка Путниней приглашает, а ты упираешься. Большая честь тебе, девушка!

Женщина и мужчина маячили впереди. Анна что-то рассказывала и смеялась, уже забыв об обиде. (Вправду забыла или только делает вид?) Следом плелась девушка, ставшая невольной свидетельницей и даже орудием ее унижения. По дороге сюда и здесь, в Путнинях, Марите чувствовала, что обрастает грубой корой и что в ней набирает силу упрямство, а сейчас была готова заплакать. Не оттого, что над ней глумились, — по привычке, от боязни чего-нибудь худшего. Однако глаза были сухими, а в дом ее гнала и прихоть Антанаса и любопытство.

Дом встретил их протяжным храпом; спал, накрывшись шубой, старик, спал, свесив длинную ногу, Имант — их кровати разделял большой трехстворчатый шкаф, а по эту сторону, ближе к двери, стояли еще две кровати, на одной спала Аусма, даже дыхания ее не было слышно.

— Я помогу, хозяйка. — Желание искупить или хотя бы смягчить свою вину дрогнуло в голосе Марите.

— Нет, нет — ты же гостя! С родины Антона! Не трудись. — Губы Валдмане перекосились и куда-то спрятали белые крепкие зубы.

Среди ночи странно выглядела светлая лампа на застланном скаatteredью и уставленном яствами столе. Такой большой лампы с зеленым абажуром и таких красивых, расписанных цветочками тарелок Марите еще не видела. Все это мигом появилось, и мелькало, и рябило в глазах, а раздумываясь, помолодевшая Анна, торопливо выдергивая из волос закрученные на ночь бумажки, металась между тем концом дома, где была кухня, и этим, где спали и ужинали. Когда она потянулась к буфету, выпала из волос последняя бумажка. Антанас засмеялся, клацнув железными зубами; видно было, что пил, может, даже перебрал лишнего, но, должно быть, несколько часов назад. Вынырнул из своей кожи — выгоревшая гимнастерка, широкий ремень и болтающаяся на груди медаль, которая звякала при каждом движении. (Ой-ой, и на фронте-то он был... Ну и ну! Поэтому такой боевой?)

Пока Анна брэнчала горшками и чашками, Антанас то и дело поглядывал на кровать, где лежала Аусма. Поглядывал, будто не узнавая, будто не веря, что этот свернувшийся под одеялом комочек, детски-беззащитный и нежный, и есть Аусма. Она вряд ли спала, потому что Антанас разговаривал громко, мешая в кучу литовские, латышские и русские слова. Почти так же ясно, как волостной городок, видела Марите эту подпирающую башнями небо Ригу, о которой он рассказывал — с ее мостами, поездами и пароходами, — разинув рот, порой забывала, почему и как здесь очутилась. (Ему что, некому все это рассказать?) У памятника Свободе чуть не обокрали Антанаса: пока он, задрвав голову, читал надпись, кто-то чиркнул бритвочкой по карману, набитому сотенными бумажками; он цап за руку и — в морду, а морда — двенадцатилетнего изголодавшегося мальчонки; сунул ему полсотни и побежал в городскую уборную руки мыть — кровь была на них.

— Тыфу, не могу забыть. — Его передергивало, и звякала медаль. — Синий, как вощеная бумага. Когда все насытятся, отмоются от грязи?

— Нищие всегда будут нищими.— Анна внесла окутанный паром сычуг.

У Антанаса дрогнули усики, но ее замечание пропустил мимо ушей.

— Какой город! — Он все еще не мог успокоиться, при этом жадно ковырял вилкой полопавшийся, с коричневой корочкой сычуг.— Чего там только нет, чего только не увидишь! Пароходы у самой улицы якоря бросают... Оранжерей для цветов! Розарии...

— Нет больше нашей Риги... Разве это Рига? — вздохнула присевшая к столу хозяйка.

— А что же она — Шауляй, Жагаре? — Антанас вспыхнул.

— Сравниваешь с какими-то деревнями. Рига до войны была маленьким Парижем!

— Нюхала ты Париж! Ковырялась в навозе, и все.

— В газетах писали.

— В газетах и теперь пишут! С тобой, Анна, про политику толковать — только зря язык мозолить.

Было ясно — хочет разбудить Аусму, поделиться с ней своими впечатлениями; девушка не спала, но и не выдавала себя, отвернувшись к шкафу, распущенные волосы ручейком падали вниз.

— Аусма здорова? — хмуро спросил Антанас, не глядя на нее, и было странно, что он, решительный и говорливый, не смеет обратиться к ней прямо.

— Здорова, здорова! Она не надорвется. А тут еще эта напросилась. (Марите поймала растерянный взгляд Валдмане.) Аусма больше играет, чем работает. Совсем от рук отбилась, хорошо, что ты приехал. Только-только с картошкой управились, другие уже свеклу везут на станцию.

Анна затараторила о хозяйстве — спешила перевести внимание Антанаса на другое, перечисляя людей, которые, проходя или проезжая мимо, справлялись о нем; каждое имя вызывало на живом лице Антанаса тень заботы или довольную улыбку, соскакивавшую с усиков, как солнечный зайчик с тусклого зеркала.

— Чуть не забыла. Твой мед! — вскочила Анна, когда новости кончились, а глаза Антанаса снова зарылись в волосы Аусмы.

— А...— Наевшись вдоволь мяса и сычуга, он отяжелел, распустил ремень гимнастерки...

Несмотря на это, Анна принялась выскребывать мед из бидончика. Марите часто потом видела под столом этот бидончик, и никто — даже Аусма — не смел к нему прикоснуться, разве только старый Валдманис, уловив момент, засунет нож или ложку. Вытряхнув в стакан несколько ложек, Анна залила горячей водой, помешала. Антанас осторожно приблизил усики, словно это был яд — не лекарство, вот-вот хлебнет, хоть и через силу. Но тут под одеялом засмеялась Аусма — стакан дрогнул в руке Антанаса, а в потеплевшем взгляде вдруг отразилось такое страдание и желание провалиться сквозь землю, что Марите стало не по себе. (Чем не пан этот хозяйкин баловень Антон? Что еще ему надо, чего не хватает? Тяжко мне, бездомной, но не легко и тому, у кого всего в избытке, даже мед?) Снова и снова удивлялась. (Какие кровати, какая посуда на столе, пусть из щелей в стене торчат клочья пакли. Наспех сложили дом вместо большого, сгоревшего...)

— Водки! — Антанас выплеснул желтоватую жидкость в угол, где стоял чахлый фикус, стукнул стаканом по столу. Марите от неожиданности шибанулась головой об стену — покосилась застекленная икона.

— Разобьешь, пугало! — громче, чем следовало бы, прикрикнула Валдмане.

— Не цепляйся к девушке. Я тебе сказал. Водки!

— Антон, твой желудок.

— Желудок, желудок... Душу изъели, а о желудке заботитесь. Неси без разговоров!

Пухлая рука хозяйки наклонила пузатую бутылку. Антанас отхлебнул полстакана, перевел дух и допил оставшуюся половину; успевшее было остыть лицо налилось темным румянцем.

— Еще!

Не следовало Аусме смеяться. Марите не раз видала, как мужики, залив глаза, становятся страшными. Почему-то ей не хотелось, чтобы и Антанас был таким же.

Медлила и Анна, умоляя взглядом успокоиться. Вырвав у нее из рук бутылку, Антанас поставил стакан. Перелил через край, по столу побежала струйка.

— Такая дорога... Все кости ломит. Бррр! — Но ему было жарко, хмель ударил в голову, взгляд бегал по стенам, пока не впился в замолчавшую, испуганно притихшую Аусму.

Антанас встал во весь рост; точно лесное дерево, выросла и переломилась, ударившись о потолок, его тень.

— Значит, ты не спишь? Очень хорошо. Слыхала, что я замерз, из-за вас таскаюсь? Согрешь!

Мелькнул, прячась, пук волос, но было уже поздно — Антанас шагнул к постели.

— Ради бога, Антон! При этом пугале? — Между столом и шкафом растопырила руки Валдмане, выражение лица было такое, как будто ее побили и плакать не велели. — Антон, не дури!

— Прими, Аусма, не пожалей! Вот сколько я вам загреб! — Антанас не обращал внимания на Валдмане, словно она была какой-то вещью, но вещь мешала подойти к Аусме, и он злился, нетерпеливо показывал ей рукой, чтобы посторонилась. Вспомнив что-то, отступил на шаг, схватил кожанку, из глубокого кармана выскочил перевязанный шпагатом кирпич денег. — Не будешь нос воротить, Аусма, свою долю тебе отдам! Тебе!

— Антон, опомнись! — Валдмане, навалившись грудью, отвела его протянутую руку. — Хвалишься деньгами при чужих... Откуда ты знаешь, кто придет и ограбит, зарежет всех? Ты же первый раз ее видишь. — Она повернулась, опять обрушилась на Марите, хотя вряд ли видела ее очумелыми глазами: — Пожрала — и вон. Не знаешь, где твое место? Вон отсюда, дуреха!

Марите не могла с места сдвинуться, тем более понять, какие узлы тут развязываются или завязываются. В эту минуту ее удивлял не только ошалевший Антанас — разбушевавшихся мужиков она видала — и не только Анна, покрывшееся пятнами лицо которой дышало ненавистью, — старый Валдманис, который все слышал, ведь не мог не слышать такой крик! Самое странное, что он даже не шелохнулся. Поднял голову Имант, поморгал испуганными гноющимися глазами, а старик как лежал под шубой навзничь, с задранными кверху пальцами желтых ног, так и продолжал лежать, и было страшно, что эти минуты канут в его безмолвное, неизвестно что скрывающее нутро, и никто уже не сможет извлечь их оттуда.

— Подвисься, Аусма, я иду! — Антанас оттолкнул Валдмане, судорожно вцепившуюся ему в плечо.

— Что делать, — послышался отчетливый голосок, а в нем смешанная с презрением покорность. Аусма сидела на кровати, прижав к груди одеяло. — Ты теперь наш господин... Мы твои слуги, а ты — всемогущий барин! Что еще прикажешь?

Антанас покачнулся, как дерево, которое подрубили, но еще не свалили.

— Аусма, что ты... Какой я барин? Ох, устал... — Он обмяк, опали жилы на лбу, и мускулы лица расслабились. Наотмашь бросил деньги.— Трое суток без сна... Пес с вами, завалюсь...

— Отдохни, отдохни, Антон! Так ждали тебя, так соскучились! — Анна старалась разогнать неловкую, все еще грозную тишину, задабривая Антанаса.

Опершись о стену, он пошатываясь подошел к свободной кровати и рухнул на нее так, что заиграли все пружины.

— Вон, девка! Вон отсюда, пугало! — взвизгнула Анна, никого уже не стесняясь, в ее вопле хлопотала радость, от которой Марите стало легче на душе.

Она нисколько не злилась, что ее грубо гонят, даже медлила, чтобы хозяйка могла досыта накричаться.

— Твое место в хлеву, не забывай! Вон, вон!

Марите нырнула в звенящую от ветра темноту, над низкими яблонами, чуть ли не цепляясь за них, ползли вздувшиеся облака, как тяжело груженные возы без лошадей. Падали на землю зимние яблоки; в одну сторону, словно приготовясь к бегу, клонились большие деревья, которые были и выше и старше отстроенных на скорую руку, таких неуютных временных строений. Скрип и шелест не пугали, суля забытые подымавшиеся на сеновал Марите.

Она зарылась в сено, ее постель постепенно углублялась, отогревала щеку, лоб, икры, только пальцы ног были как ледышки. Ее пеленал сон, но внезапно мелькнувшая тревожная мысль прорезала мягкую плену сна. (Пусть грызутся хозяева, мне-то что? Ох и страшный он был, когда шагнул в расстегнутой гимнастерке, с мокрыми усами! Ну и картинки! Ну и дождалась!) Марите старалась забыть все, что видела и слышала. (Какое мне дело и до него и до остальных — пускай хоть удавятся. Только вот Аусма...) Дремота, обдавшая волной тепла, еще не заглушила сознания. (Главное человеку — рубаха на теле, в рубахе даже без шубы не замерзнешь. Своя рубаха!) Это был отзвук речей дяди Куйнялиса, а она не хотела думать, как дядя, который сумел дать ей только молитвенник и никому не нужные фотокарточки. (Странно, этот крикун Антанас уважает его. Огонь и вода — как они только ладили?) Тепло все еще не захватывало пальцы ног, но сон вот-вот высосет усталость, вытащит впившиеся, как заноза, мысли. (Ох и страшен был, когда держал перед собой деньги! Хозяйка и та обомлела! Потому и ластилась, чтобы не был таким?) Одни деньги могли бы вызвать страх (такая пачка!), только еще страшнее был старик, который храпел не переставая, — Марите видела непросвечивающий, натянувший кожу мощный хрящ его переносицы. (Ничего я не знаю, ничего... И при чем тут я? Пускай на головах ходят, если им нравится. Но Аусма, почему Аусма его дразнит?) То, что Марите видела и слышала, порядком ее отпугнуло, но, странно, она не перестала ждать, как будто еще должен был вернуться другой Антанас. Марите глубоко вздохнула, а выдохнула уже во сне, так и не одолев загадок, которые нанизывались друг на друга и бесконечной поблескивающей цепочкой уходили в пугающую, но такую манящую даль.

4

Что-то острое и твердое вроде кнутовища поскребло по ее огрубевшей подошве, затем ткнулось в пятку — легонько, не больно. (Небось крысы бегают... Чтoб им пусто!) Марите поджала ноги, острие, шурша, потянулось за скрюченным большим пальцем. (Господи, вдруг это уж?) Крыс не очень боялась, ужей — смертельно: дяде Куйнялису, вздремнувшему однажды после стаканчика пива на сене, уж в рот заполз, чуть не задушил.

Опершись на руки, вскочила, откинулась назад всем телом, чтобы уж не достиг лица.

Выставив перед собой палку и склонив голову набок, в ногах стоял старый Валдманис. (Чего ему? Что? Я закричу...)

Стоял, увязнув по колено в сене, и ничего не говорил, за него действовала палка. Даже в глаза не посмотрел, как не смотрел вчера на своих женщин и Антанаса, хотя наверняка все слышал. (Вчера? Ночью это было. Несколько часов назад...) Марите все вдруг вспомнила, будто опять звякнула поблескивающая цепочка, и то, что происходило теперь, уже не казалось кошмаром.

— Ой, как напугали! — Она виновато улыбнулась, ожидая, что и он улыбнется. (Спасибо доброму старичку должна сказать. Проспала бы, а ведь приехал этот страшный Антон...)

Убедившись, что она уже не заснет — повязала платочек и теперь ищет ботинки, — Валдманис сполз с сеновала.

Марите некогда было зевать — едва попевала за цокающей палкой.

— Что? Мне говорите?

Старик ничего не говорил, тыкал палкой направо и налево, показывая, что она должна делать. Если отставала, подгонял, вцепившись в плечо жесткими, загнутыми, как крючья, пальцами. (Старая развалина, а руки железные! Синяки останутся... Ну и старик!) Она невольно прибавила шаг. В глубоко запавших глазах Валдманиса загорелись искорки, когда она кивнула головой, окончательно стряхнув сон и все уразумев. (И вчера и позавчера наставлял этой своей клюкой. Чего тут не понять? Я же не дурочка. Подоить... выгнать на пастбище... пропустить молоко через сепаратор... покормить свиней... Картошка, может, сварится, пока с луга вернусь, а может, и нет...) По указке все той же клюки Марите сняла с крючка вымытый подойник, сдвинула бидоны.

— Глаза боятся, руки делают, — прошелестел за спиной Валдманис, и девушке показалось, что старик наклоняется, чтобы погладить ее по плечу.

Дядя Куйнялис почти то же самое говорил, но не стоял с палкой у нее за плечами. Марите втянула голову — ладонь старика застыла над похолодевшим затылком. (И чего я напугалась? Старый ведь что малый.)

— Марите, завтракать! — ворвался Имант в одной рубахе, со свитером в руке.

— Черт побери! — с досадой буркнул Валдманис: девка угреется перед дойкой и будет потом дремать возле теплого вымени. Серdito ударив по подойнику, побрел к Чалому, который молотил копытами, — Каштана старик не любил.

— Я быстро, дедушка! — Марите пожалела, что его рука-коряга не опустилась на ее плечо, вот и опять обидела старика. (Лучше сердитый, чем такой, как вчера, будто мертвый...)

— Тронутый... Ты не бойся его, — скалился Имант, прыгая вокруг нее, как мальчишка, но под расстегнутой рубахой виднелась крепкая мужская грудь. — Пожрешь хотя бы!

— Сам ты тронутый, бесстыдник!

Моросистый туман омывал крыши, начищал до блеска стены, густая серость, выпиравшая из земли кустами, деревьями, и не собиралась рассеиваться. Шлепая по мокрому двору, где не видно было даже кур, Марите чуть не радовалась ненастью. (В самый раз погода! При желании каждый сможет спрятать глаза...) Она не представляла, как после вчерашнего все сойдутся, станут разговаривать. На плите бурлили горшки, источая душистый пар. Марите склонилась в углу над месивом, уже который день киснушим в бадье, зачерпнула краешком большого половника, налила в алюминиевую миску.

— Черпай гущу — не воду! — заметила вошедшая хозяйка, в ее голосе не слышно было ни униженности, ни стыда, не чувствовалось и злости.

— Да я не привыкла, хозяйка...

Марите в нерешительности поболтала половником над поднявшейся гущей, которая пугала, точно заросли вереска, где, того и гляди, наступишь на змею. Еще больше удивляла девушку почти дружественная настойчивость Валдмане.

— Не бойся, мы котят в скабпутре⁸ не топим. — Хозяйка добродушно усмехнулась. — Вечно хлопот не оберешься, пока приучишь литовцев к этой похлебке. Литовец не латыш, все ему сало подавай! Зато у вас и крыши соломой крыты... Не так ли?

Эти слова были не очень-то по душе Марите, но Валдмане безмятежно улыбалась, и девушка не могла сердиться на нее, тем более что вспомнила, как вчера невольно способствовала унижению хозяйки.

— Привыкнешь и перестанешь нос воротить. Будешь здорова, как корова! — Хозяйка, ухватив ее руку с черпаком, погрузила в самую гущу, потом вывалила в миску распадавшуюся кусками простоквашу.

— Ешь досыта, чтобы после из подойника не хлебала — молоко не гадила.

Валдмане разговаривала, как в тот раз, на картофельном поле, когда Антона еще не было, а она не бежала за ним по двору чуть не плача. Сидя напротив, закинув ногу на ногу, смотрела, как Марите ест. Из-под цветастого халата выглядывал розовый шелковый лиф, каких Марите еще не видывала.

Ей казалось, женщина ведет себя так странно, что не стоит обижаться на ее слова. Вот вынула из кармана халата коробочку, плоскую и беловатую, как будто из серебра. (Может, это и есть серебро? Бывают ведь богачи!) Щелкнула невидимой защелкой, и коробочка распахнулась, точно ракушка, — обе створки тесно набиты сигаретами. Оттянув резинку, Валдмане ногтем выковыривает одну, постукивает по краю звякнувшей коробочки, нагибается к плите и сует закушенную в зубах сигарету сквозь раскаленную конфорку в огонь. Красный отблеск заливает ее лицо и грудь.

— Ну вот видишь, вкусно, — хвалит хозяйка, выпуская струйку дыма в опорожненную миску, а может, прямо в покрывшееся испариной лицо Марите. Та кашляет, но не смеет разогнать дым, дожидаясь продолжения странного поведения женщины. — Ты что — не куришь? Даже если парень угощает? — Выщипанные брови Валдмане приподымаются, и Марите понимает, что над ней смеются. (Нарочно допекает, место мое указывает... Чтобы я скорей забыла, как она перед Антанасом стелилась? Не забуду... Ни за что не забуду!) — Еще налить, мейтене? Ты ведь большая, как копна. Но с парнями советую не водиться. Если будешь слушаться меня, то...

Валдмане захлебывается словами — не дымом. (Не всё здесь так, как она старается представить. Только прикидывается самоуверенной и спокойной? Поздно хватилась!) Из комнаты, шлепая босыми ногами, выходит всклокоченный Антанас, почесывает волосатую грудь. Стоя на пороге, втягивает ноздрями дым. Смотрит на обеих прищурясь и что-то ворчит сквозь зубы. (Снова всем нагоняй устроит? И днем никому покоя не даст? Правда, с похмелья... То-то и оно, еще страшней!) Марите ждет злых, бранных слов — ночью-то всю разорался! — ждет и хозяйка, выдернувшая изо рта сигарету. Но Антанас подходит молча, шуршат штрипки солдатских галифе. Кухня мгновенно наполняется тяжелым запахом винного перегара.

⁸ Национальное латышское блюдо. Жидкая ячневая каша с простоквашей.

— Дымишь с утра пораньше.— Антанас с отвращением щелкает по дымящейся на краю стола сигарете.

— Поторапливайся,— приказывает девушке Валдмане, подняв окурок и бросив в ведро.

Марите вскакивает: уже не ее приказа боится — тусклого лица Антанаса.

— Сиди,— бурчит он, ни на кого не обращая внимания, только наперекор женщине; когда Марите снова встает, не выдержав пылающих глаз Анны, он дрожащей рукой задерживает девушку.

— Ах, ты бы полежал, Антон! С дороги...

— Полежишь, когда такой базар... Девку смолить приучаешь?

— Наша еда ей не по вкусу!

— А коврижек заяц не испек еще, также и пирогов,— мрачно сказал Антанас, не глядя на Марите.— Анна, соды!

— Я не жалуюсь.— Марите пыталась вернуть его вчерашнее расположение.

— Жаловаться? А кому ты хотела жаловаться?

— Да я ничего не говорила... Молчала я.

— Молчание — золото, девушка.— Заблестели и клацнули во рту металлические зубы.— Я долго буду ждать соду, Анна?

— Ах, Антон, я тебе меду натопила... Принести?

— Соды! — Скрипучий, как у всех мужиков с похмелья, голос — не то что у вчерашнего молодца, швырявшего пачку денег. (Все же Аусма не напугалась вчера, только вся как-то одеревенела... Может, Антанас шутил, разве поймешь его пьяного, если трезвого не раскусишь!) За ночь на щеках и шее выступила чернота, неприглаженные усики топорщились. В сером утреннем свете он казался не слишком сильным, не слишком молодым, и было жалко не его, а какого-то другого, может быть, и вовсе не существующего Антанаса, который представлялся ее воображению, пока его ждала.

— Пусть девка сперва уйдет. А то глаза испортит, если начнет слишком рано на мужиков заглядываться,— пошутила Валдмане, приглашая и Антанаса посмеяться, а в то же время напоминая Марите, чтобы та не забылась.

На этот раз Антанас и не думал вступаться за девушку, тем более ругать хозяйку. Марите стоя дождалась, когда он велит ей выйти. Казалось, он забыл про нее — сидел, недовольный и собой, и занимающимся серым днем, увеличенный залысинами лоб морщился гармошкой, под желтоватыми набрякшими веками прятались, не выдавая себя, глаза. Вчерашнего, пускай разочаровавшего, но уже чем-то близкого, тоже не было — словно тот нашумел, наорал ночью и, всех растравив, напугав, опять уехал.

Тем временем Валдмане принесла стакан воды с содой. Антанас жадно выпил, хмурое лицо немного прояснилось, но не согрелось. (Тертый калач... Не иначе врал про того мальчишку из Риги. Небось поймал да исколошматил, как яблоко...)

— Попаришься, Антон? Имант баню затопит.— Лицо Валдмане мерцало затаенным светом.

— Некогда... потом... Работы сколько,— почему-то смутился Антанас.

— А мы живенько — раз-два...

— Парься, ежели тебе приспичило, не до того мне! — точно топором отрубил Антанас; его лоб, как глыба, навис над Марите, и показалось, будто руки заныли от тяжести.— Ты еще здесь? Вынюхиваешь, шпио-нишь?

— Так вы же не пускали...

— Я за тебя доить буду? Или она?

— Задай, задай ей, Антон. Чуть к ней с душой — она тут же рожки...

— Лентяйка нам не нужна. — Стол затрещал под локтями Антанаса. — Заруби себе на носу! Я еще не сказал, что ты и сегодня останешься ночевать в Путнинях.

— Я работать буду, дядя Антанас...

— Повтори!

— Работать буду, хозяин...

— Так, так, Антон! — Валдмане подкралась, положила пухлую руку ему на плечо. — Сегодня утром она меня совсем не слушается...

— Отстань, — отвернувшись ворчал Антанас. — Табачищем прово няла... Фу!

— Всего разик затянулась. Ну, не сердись. Не буду курить, — слышала Марите, выбегая во двор. — Как мы ждали тебя, Антон... Ах, Антон!

— Антон! Антона! Антону!

Как прозвучало это имя в предрассветном сумраке, так и склонялось радостно весь день, словно вместо собиравшегося ненастья дождались ведра, или веселого праздника, или известия о том, что чужие люди не будут больше топтать землю Путниней, а от них, этих чужих, некуда было спрятаться. Чужие гомонили по краям поля, копали картофель, разъезжали по дорожкам Валдманисов на своих или отобранных у хозяев повозках, больно уж скупно, чуть слышно роняя «лабрит»⁹ и неохотно снимая шапку перед Валдмане. Прочих обитателей Путниней они вроде бы и не замечали, особенно Антанаса, который тоже не поворачивал головы при встрече, а только жгучим взглядом впивался в чужой затылок.

— Погодите, приспичит — на брюхе приползете! — с сердцем плюнул он, когда подросток, везший свинью к ветеринару, взмахнул кнутом под самым его носом и ударил лошадь; жиденькая немецкая шинель чуть не спорхнула с плеч лихого подростка — так ударил.

— Скажу отцу, что лошадь лупишь! — не удержался и крикнул ему вслед Антанас.

Малец не слышал, как не слышали или делали вид, что не слышат, и другие чужаки, обгрызшие Путнини, точно сыр, будто клещами сжавшие их со всех сторон. Не потому ли Валдмане, а по ее наущению и Аусма с Имантом так громко выкрикивали Антанасово имя, что хотели заглушить враждебные голоса?

С этими чужаками, копошившимися вокруг, вскоре пришлось столкнуться и Марите. Когда она вбила кол и привязала последнюю из шести коров, выскочил незнакомый мужик в коричневой шляпе и с колом в руке: дескать, это его луг. Валдманисов за канавой, а что когда-то их был — ему плевать, у него черным по белому... Ей-то что, она человек посторонний, отвела корову чуть подальше, но огрызнулась:

— Я все скажу, старик!

— Старик? Я старик? — Мужик сорвал шляпу, и засиял его молодой синий глаз, другой был словно иглой зашит. — У тебя что — не все дома? А кому ты будешь жаловаться, кому?

— Антанасу, — пробормотала она: неоткрывающийся глаз наполнил ее жалостью.

— Ну и выкладывай этому подкулачнику! — Одноглазый хватил шляпой о землю так, что вылезла дырявая подкладка, а на голове поднялись мягкие светлые волосы, не стриженные добрых полгода. — Скрутим и его в бараний рог — не думай. Барон нашелся! Тьфу.

⁹ Доброе утро.

Напоминание об Антанасе все же остудило не в меру горячего незнакомца. Обмахиваясь шляпой, поплелся к своей коровенке, похожей на козу рядом с тяжелыми путнинскими коровами.

— Новая батрачка, да? — Он вернулся уже без кола, в здоровом глазу горела искра недоброго любопытства. — Брось ты этих своих помещиков, переходи ко мне! Скабпутру и у меня будешь есть. Баба моя померла, с тремя детишками оставила. Хоть бы два глаза было — всех кур растерял за лето.

Марите отбежала в сторонку, настырный сосед не отставал.

— Не бойся меня, я — Эзеринь. С твоим Антанасом не один год вместе навоз месили. Большим бароном заделался — это ему боком выйдет! А ты литвинка? На кой черт тебе их болячки?

— Я ничего не знаю... — Марите обуял страх: как бы из-за этого настырного человека не лишиться крыши над головой.

— Не будь дурой! Станешь угождать, всего бояться, так и жалованья из них не выжмешь... Заездят тебя, как лошадь. Ты все мне говори... Я и Антону в глаза скажу! Ты кто такая?

— Дурочка! — вырвалось у Марите хозяйское слово, невольно застрявшее в памяти. Неожиданно для самой себя она хлопнула в ладоши, привстала на цыпочки и жалобно, визгливым голосом затянула пахнувшее потерянными домом песнопение:

Тот, кто деве Марии служит,
Через нее и спасенье заслужит...

Спела еще строфу и понеслась домой. (Как Антанасу грозил! Если он узнает, мне не поздоровится... Выгонит к чертям собачьим!)

Эзеринь стоял разинув рот, глаза моргали, лицо под шляпой вытянулось. Марите бежала все быстрее, подпрыгивая, с трудом неся легкомысленно взваленный на себя груз. Обернулась. Человек махал шляпой. (Не поверил! Кто же тебе поверит... Что делать?) На мгновение та же самая шляпа мелькнула на усыпанной гравием дороге, которая, петляя, ведет в волостной городок. Еще раз обернулась. Все машет шляпой. (Может, не выдаст меня?.. Станный человек... Антанасов друг, говорит, да не похоже.) Заставила себя вновь вслушаться в его задиристый голос («Я — Эзеринь!»). Слово тайну, доверил свою фамилию, за что и она должна была отплатить откровенностью. (И у таких бедняков есть тайны? Хоть и в шляпе, а голоштанник!) Засмеялась и почти успокоилась, но увидела кислого, с непокрытой головой Антанаса — сердито закладывал в плуг Каштана, — и екнуло под ложечкой. (Видел с тем чудачком, потому и не в духе? Но я ведь ничего лишнего не сказала!)

— Эзеринь, кто его не знает! — отмахнулся Антанас, затягивая шлею (она на всякий случай все ему рассказала, чтобы потом не винил ее). — Отрезали мужичонке ломоть от путнинского пирога, еле-еле заглотнуть сумел — восемь гектаров суглинка, да что проку, ежели вместо головы горшок?

— Такой смешной... — Марите попыталась смягчить приговор Эзериню.

Антанас не дал ей договорить.

— Чего тебя понесло на луг? Кто велел?

— Хозяин...

— Кто-кто?

— Господин Валдманис...

— Нашла хозяина! Моя молодость в эту землю вбита, вся жизнь моя! С шестнадцати лет тяну лямку. Я!.. Мое тут все! — Антанас кричал, словно Марите сомневалась в его правах, и потянуло вчерашним необузданным гневом, только пропахшим землю, потом. — Все это я за-

работал, я! Анна! Анна! — Он искал взглядом Валдмане, как будто та должна была вбить в голову новенькой эту неоспоримую истину, и когда донесся радостный отклик Анны, вслед за которым прилетела и сама она, придерживая толстую юбку, он погрозил кулаком. — Чем вы все заняты, что на девку валите все? — Заискивающее лицо и пальцы Валдмане, нервно мявшие юбку, немного успокоили его. — Лучше ей никуда не лазить. Без моего разрешения чтоб ни шагу со двора!..

— Ах, Антон, надо было сразу сказать. — Анна подняла съехавшие на землю вожжи и вложила ему в руку.

— Я сказал.

— Ты сказал, Антон, и мы будем знать, а теперь...

— Теперь за работу. Все! Возимся с картошкой, когда другие уже со свеклой...

— Я только переоденусь, Антон...

— Давно пора. И ее кликни сюда. — Почему-то он не назвал Аусму по имени. — А ты, — он пристально посмотрел на оторопевшую Марите, — погоди, что ты ему сказала?

— Эзериню? Ничего... Сказала, что дурочка. Псалом ему спела.

— Хорошо придумала! — Антанас повеселел, почесал Каштанов бок; дернулось вытертое или выжженное пятно на крупе, серые губы лошади ощупывали приласкавшую руку.

— Это не я, а вы придумали...

— Я? — искренне удивился он. — Не может быть. Но хорошо. Разрази меня гром — хорошо! — Легко закинул плуг в борозду и, веселый, зашагал за громадной лошадей.

В работе за Антанасом никому не угнаться, все делает быстро и ладно, словно играючи. Не остановится покурить или словом перемолвиться. Анна, Аусма, Имант и она, Марите, тянулись за ним, доканчивая то, что уже намечено, начато, наполовину сделано. Валдманис и тот принюхивался к его следам, как старый дряхлый пес, — правда, на порядочном расстоянии. Антанас не любил объяснять — сама догадывайся что к чему по взгляду, полуслову или незаметному подергиванию усов. Вместе с прояснившимся днем распрямлялись его плечи, светлело, молодеело лицо, омытое потом, хоть он уже и не казался Марите таким бравым, как ночью, когда, затянутый в кожу, ворвался к ней с выставленным, точно оружие, электрическим фонарем. (Просто так дурачился, наверно... Разве такой работник может быть злым, как собака?) Она готова была забыть непристойную пьяную возню перед Аусминой постелью, как все, похоже, забыли, а также его хвастливые речи, от которых делалось не по себе. (Заявляет права на Путнини, а Валдманисы лебезят да помалкивают... Правда здесь все его? Говорил, с шестнадцати лет служит...) Каждый мускул этого худощавого, не один год пекшегося на солнце лица дрожал от напряженной работы, пот сочился и капал в вывороченную плугом борозду... Такой он больше нравился Марите, такого уже не боялась. Чтобы потом не таскать картошку и свеклу корзинами, он в обед поставил в овине загородку — теперь все под руками будет. Цепкие быстрые глаза Антанаса видели все, что прохунилось, покосилось, износилось, нуждалось в топоре или молотке.

— Стоит уехать, как все прахом идет, — ворчал он, наводя порядок, и по голосу чувствовалось — доволен тем, что незаменим в Путнинях. (Это верно, без него пропали бы Валдманисы... Потому и слушаются? Терпят его горлопанство?)

Когда кто-нибудь задержится или не сделает, как приказал, его горбатый нос загибался, точно клюв, усики топорщились, а с губ срывалась мешанина из русских, литовских и латышских проклятий. Одну только Аусму он не распекал — кричал что-то, глядя прямо перед собой на ту-

манящееся позднее солнце, в пропахший дымом воздух. Она хоть и работала вместе со всеми, не отлынивала, но делала все невероятно медленно.

— Ну, Антон, ну не будь таким букой! — точно избалованная кошка, мяукнула Аусма, когда Антанас вырвал у нее из рук дырявый мешок.

Сам схватил иголку с ниткой, мигом зашил.

— Ну, Антон, улыбнись! Тебе не идет злиться... Сморщился как пареная репа.

— Отстань! Некогда! — Он выпустил в воздух залп ругательств, кося глазами от злости. — А-ан-на!

Аусма весело хохотала, и Марите вспомнилось ее недавнее: «Видишь, какая я старушка!» Сквозь смех и кокетливый блеск глаз пробивалось нечто другое, не совсем понятное, чем-то неуловимым напоминающее ночь. И поэтому Марите глядела на нее, как серьезная степенная деревенская женщина, которая сама никогда не шалила.

— Стыдись, Аусма! — Анна привычным жестом потеряла кольцо о сползающие лыжные ботинки.

— Сударыня мама не в духе? Ах да, я забыла. Не ходили в баню с Антоном...

— Молчи, бездельница! Вырастила я тебя на свою голову! — Высоко над головой угрожающе блеснуло кольцо.

— Э, эй! — Антанас бросился между ними. Марите решила: на этот раз достанется дочери — не матери. — Распустила язык, Анна, как базарная баба.

Валдмане, дернув плечом, увернулась от его успокаивающей ладони. Аусма подставила спину для ласки и сама погладила локоть Антанаса.

— Цаца, хороший наш Антон... Хороший! Не сердись, что на полу бока отлежал...

— А-ан-на!

— Не ваяля дурака, Аусма! Сама задом не повернешь, еще и другим мешаешь, — без воодушевления пришла на помощь Валдмане.

— Почему же, сударыня мама. Могу и повернуть, пускай Антон полюбуется, как я умею... Умею, Антон?

Упершись руками в бока, Аусма повиляла бедрами, выгнула длинную спину; со смехом повернулась несколько раз, взмахнув распущенными волосами.

Марите-то думала: после этой ночи Аусма будет обиженной, оскорбленной, а она кривляется, задирает Антанаса. (Не боится ни подергивающихся усов, ни глубоко утопленных в мешок рук? Как бы плакать не пришлось...) Бог весть чем бы все кончилось, но в это время Иммант, вернее сказать, Чалый сломал оглоблю — Антанас еще раньше велел запрягать.

— Не я буду, если не выхолошу проклятого! — Антанас, вскинув кулак, словно булаву, бежал к навесу.

Только удивительное снисхождение к Аусме смягчало не совсем обычные отношения Антанаса и Валдманисов, когда уже не ясно, кто же тут настоящий хозяин, кто правит, а кем правят и на чем держится этот странный союз.

Аусма жалобно мяукала, как кошка, которую долго держали под дождем, едва притащилась к столу и Марите — все силы выжала уборка картофеля, тяжелая, без дыма костра и без веселья по окончании, какая-то неистовая, словно последняя в жизни. Картошки накопили прорву, хоть и не перепаживали картофелища — не хватало рук у Валдманисов. Насыпали огромный погреб, загородку, три гигантских бурта —

падая с ног от усталости. Марите не могла надивиться, как аккуратно Антанас насыпает бурты: разравнивает, укладывает, подтыкает.

— Вот что, мейтене,— сказал Антанас, когда Анна снимала с огня котел с картошкой, а его отмытые руки лежали на столе, подрагивая от тяжелой работы.— Если тебе вправду некуда деваться, оставайся.

Все звякали ложками, шмыгали носами — Марите громче всех: простудилась; она не сразу поняла, что этот вспыльчивый человек, наперекор хозяйке тащивший ее среди ночи к столу, весь этот день еще раздумывал. (Вот тебе на! Значит, если бы я не угодила, так вставай и убирайся. А куда? Вот злодей, вот кремень...)

— Здесь тебе не курорт Кемери. Сама видишь.— Он, топорща усики, дул на большую горячую картофелину.— Будешь работать, как я, как они. Нет! — Он фыркнул.— Больше, чем они обе. Теперь другая сторона медали. Будут приставать, расспрашивать — кто ты, говори: племянница Антанаса, сирота из Литвы. При людях с оружием — ходят здесь и такие — вовсе не показывайся. Будь ты покрасивее — другое дело.— Антанас усмехнулся, и, будто ее пощекотали, засмеялась Валдмане.— Принесет кого-нибудь нелегкая, так ты уж лучше притворяйся дурочкой.

— Ей и притворяться не надо!

— Сударыня мама,— вставила Аусма, во всем перечившая матери,— вы слишком хорошего мнения о людях!

— Помолчите! Обе вы не умней ее! — Антанас стукнул ложкой по крынке с кислым молоком.— Счастливее всех на свете — знаете кто? Сумасшедшие! Ехал я однажды мимо большого такого дома... Железные ворота, высокая стена из бетона... Бедняги, думаю, как под арестом. А они на стене уселись, точно птички. Ухмыляются, поют себе... Стало быть...

— Стало быть, Путнини Маяс — сумасшедший дом! Где еще так весело и хорошо?

— Не слушай ее, девушка.— Антанас вспыхнул, но не приструнил Аусму.— Сойдешь за дурочку, ежели приспичит... Так надо! Ты недовольна? И без того на меня косятся, как на волка. Какого черта мне из-за тебя шкурой рисковать? Понятно?

— Да, дядя Антанас.— В голосе Марите невольно прозвучала нотка униженности.

— Ты не у дяди в гостях! — Развалившись на стуле, Антанас повел усталыми руками, с удовольствием прислушиваясь, как ходят под кожей клубки мускулов.— Нищих со всей Литвы кормить не собираюсь. Мне не родичи нужны — работники!

— Верно говоришь, Антон,— со смехом поддержала Анна.— Баню на завтра истопить?

Антанас вздрогнул, точно застигнутый врасплох, тряхнул головой.

— А, можешь. После картошки грязь отмоем...

5

Злой ветер с севера мел по раскисшим дорогам, безжалостно терзал и без того уже сголенные, почерневшие от дождя деревья. Хрустевшая под ногами трава торчала щетиной; в это утро коров не повели на выгон. Марите кашляла, все глотая и глотая слюну,— первый морозец вгонял в стены овина остро отточенные ножи. Не выдержав под крышей, она перебралась пониже, там, рядом с коровами, было теплей — Антанас, не дожидаясь зимы, обил стойла новыми толстыми досками.

Марите попеременно бросало то в жар, то в холод, она время от времени дремала, но и сквозь дрему прислушивалась к стальным ударам ветра — словно человек вызванивал косой, висевшей у двери. Ма-

рите целый день ничего не ела, ее мутило при одном воспоминании о скаблуптре. Она старалась не думать про несъеденный ужин, а также про хозяев, потому что те не довольствовались ее сильными руками — захватывали всю целиком, прибирая к рукам даже мысли и чувства, которые она не хотела ни показывать, ни отдавать кому бы то ни было. Сами Валдманисы тоже не полностью принадлежали себе: неизменно кружились вокруг оси, имя которой было Антанас, или, вернее, Антон, — это кружение захватило и Марите, хоть она упиралась, закрывая глаза и затыкая уши. (Работаю за кормежку. Хозяевам выгода, и у меня другого выхода нет... Чего же им еще?) Лежала всеми забытая на подстилке из сухой соломы, еще пахнувшей белой летней пылью и повизгивающими тележными осями, а все равно время от времени думала об Антанасе. Нет, не думала — стеснялась его, сильного, неутомимого работника. «Такая здоровенная, мясо, хлеб за двоих уплетает, и вот те на — с детским кашлем слегла! — так, а может, иначе пробасит он, пригладив кончиками пальцев усы. — Скажу Анне, чтобы потоньше ломти резала. Проку от тебя как от козла молока». Больше боялась, что застанет ее сопливую, оба носовых платка куда-то засунула и не могла найти. (Поесть люблю, не спорю... А кто им столько, сколько я, картошки, свеклы накопал? Перетаскал? Может, Имант?.. Аусма?)

При мысли о работающей в поте лица Аусме рассмеялась, но своего голоса не услышала. (Аусма!.. Пока та одну свеклу выдернет, землю с нее стряхнет... Но так красиво, когда белой ручкой волосики за ухо откинет, уж до того красиво! Кажется, отдыкала, пока рядом с ней работала.) Нахлынула волна жара, унесла куда-то далеко-далеко. В сиянии тумане растаяли путниньские коровы, и было хорошо, что не надо никого стесняться. Уже не пахнет увядшим летом подстилка, сухо шелесят комнатные цветы, и тетя Аугусте, еще красивее, чем на фотографии (карточка пахла засиженным мухами альбомом, а тетины волосы — ромашкой), широко распахивает объятия. Пышная грудь тоже пахнет не побудничному, и боишься, чтобы, прижавшись, не испачкать чистое тетино платье.

— Какая ты большая, Марите! Садись, поболтаем! — долгожданым смехом смеется бездетная тетя. — Хорошо сделал Куйнялис, что дал тебе отпуск. Ты, может, прясть, ткать умеешь? Конечно, умеешь! Есть у меня и лен и шерсть, а уж времени... Возьмемся в четыре руки, ладно? За работой и наговоримся вволю. Скажи, тебя песням учили? Есть у меня целый сундучок самых редких, отборных. — Тетя кладет руку на свою вздымающуюся грудь, словно на крышку сундука. — Затянем в два голоса, как жаворонки, с самого утра. Хорошо, что у тебя отпуск!

— Не отпуск у меня, тетя Аугусте...

— Все равно! Куйнялис — человек незлой... Наврем чего-нибудь. Грех на себя беру, немало их за жизнь накопилось! Значит, не забыла ты про тетю Аугусте?

— Как можно, тетушка...

— Так чего же ты не рада? Стаскивай мокрое пальтпшко... Фу! Под дождем? Всю дорогу под дождем мокла? Так что, дядя Куйнялис подвезти не догадался?

— Дядю Куйнялиса уже неделя как забрали...

— Забрали? Что ты болтаешь! Такого смиренного человека...

— Половицы отдирали, подушки пороли, а потом увели...

— А ты... Как же ты?

— Сбежала я, тетя Аугусте! Меня в хлев пустили, к буренке. У нас корова как раз болела — лекарство дать. Я и не вернулась в избу.

— Ну и слава богу. А за тобой не гнались, не искали? Где ты столько времени блуждала?

— Я к Великене побежала, прошлый год всю молотьбу у них отбыла...

— Ну и что, Марите?

— Не приняли. Говорят, в волости на них косятся. Вместо овечьей шерсти сноха собачью подсунула, так их накрыли... Тогда я к Кукулюсам. Каргошку весной им сажала...

— Что же они, что Кукулюсы?

— Жалели очень. Хлеба и сала дали. Дескать, у них у самих двоюродного брата разыскивают... Так они ничего не могут.

— Погоди, не тараторь.— Тетя Аугусте сердилась.— У Кряунене была? По неделе, по две проводила там, когда ее матушку удар хватил... Дерьмо да блевотину за ней убирала.— Тетя не заметила, что грубо выразилась.— А их зять в самой милиции...

— То-то и оно что в милиции! Беги, говорят, девка, пока домой не заявился, он нас, отца с матерью, не слушает больше, порченный какой-то — зубами скрипит только...

— Деточка моя, сиротка моя! Куда же ты денешься, куда пойдешь? — Тетя Аугусте прижимает ее к себе, целует, от запаха ромашки растворяется тяжесть, которую носила, как камень, на душе.

— Мы с вами прять будем, ткать будем, тетушка. Я и шить в людях подучилась. Вы все одна и одна...

— В том-то и дело, что не одна уже.— Тетя покраснела, задышала пышной, как пирог, грудью.— Жил тут у меня один землемер на квартире... Так ему мои вареники очень понравились. И что блох нету... Немолодой, под шестьдесят, но мужчина еще не дряхлый... Написал: приезжаю навсегда, любезная Аугусте! Сама понимаешь — для тебя места...

— Ну спасибо, тетушка, большое спасибо вам — пойду я...

— Куда ты, не обсохнув, пойдешь, куда полетишь? Кто тебя ночью гонит, как собаку? Да разве я тебя отпущу на все четыре стороны! Слушай хорошенько, Марите! Ежели твой дядя Куйнялис рохля, так это еще не значит, что и я буду молчать, не скажу, куда тебе податься... Есть такое именье! Не близко, но и не так уж далеко. На той стороне, в Латвии. Хозяиничает в том именье один литовец... Когда-то твой дядя Куйнялис большую услугу ему оказал... Кто ты, что ты — там, в Латвии, никто не будет пытываться... Свои перво-наперво своих же топят, а потом уже за чужих берутся! Ты чего задумалась, Марите?

— Ничего, тетушка... Грустно мне.

— А мне? Мне-то каково! Не сердись, Марите, на свою тетку! Думала одна я век доживать, да на грех потянуло... Лучше, хуже ли сложится — не знаю. Попытаю счастья, а ты?

— И я попытаю, тетушка...

— Хорошо, что ты умная девочка, Марите... У меня от сердца отлегло.— Тетя Аугусте радостно просияла; блестел выскобленный добела пол, блестели чисто вымытые кактусы и цикламены на всех подоконниках, и было душно, словно ты не в гостях у чистой, толстой тети, а в путнинском хлеву. (Что это я в хлеву развалилась? Заругается Антанас...)

Марите рада, что проснулась здесь, а не на выскобленном полу у тети, под лопухим фикусом, который казался ей похожим на землемера (какой пан — землемер!); всю ночь он не переставал шуршать листьями, чтобы не загорелась. Белая, как сметаной облитая морда, теплый шершавый язык — тот самый, который иногда во время кормежки лизнет ее руку... Что-то женское проглядывает в добрых, с поволокой глазах Беянки. (Придет срок, не бойся... Принесешь красивую телочку, ее не зарежут!) С гулом накатывается новая волна жара, и Марите цепляется за проконопаченные паклей доски, чтобы не смыло, не вышвырнуло на угрюмо-пустынную дорогу. (Антанас работающий... Ла-

тыши все работающие!) Со страхом в сердце пустилась в Латвию, хоть и рядом с Вальгенаем жили латыши. (Люди как люди, только хозяйство ведут получше, а в самой Латвии, слышать, одни богачи — бедняка с огнем не найдешь... Ага, а Эзеринь?) Нет, она не у тети под фикусом и не в продуваемом насквозь деревянном сарае, а в Путнинях. (Спасибо Антанасу... Не выгнал! А я, неблагодарная, лежу...)

— Как вам это нравится!

Монотонное шуршание соломы прерывается шорохом клюки, она шарит, шарит, пока не стучается о что-то твердое, наверно брошенное ведро. (Кто там? Уж не старый ли Валдманис бродит в темноте?) Он доверяет только твердым вещам — камню, железу, оцинкованной жести. Марите представляется, как он, сложив руки на набалдашнике палки, вытягивает шею и нацеливается на что-то дырами глаз. (Интересно, что он видит сейчас, о чем думает? Когда открывает рог, так только чепуху какую-то городит или слюни пускает...)

Тут-тук палка, тяжело хлопает откинута крышка ларя. (А там овес насыпан, его нельзя трогать — Антанас строго-настрого запретил!) Ржет Чалый тонко и чутко, лапаясь к балующей руке. (Неужели старик возьмет?) Почему-то ей это важно, как будто она сама без спросу хозяйничает. Шуршит зерно, бежит из пригоршни струйками, скачет по глубоким яслям. (Вот упрямый старик!) Фыркает Каштан, почуявший овес, ему старик ни зернышка — ненавидит, словно заклятого врага. (Как Антанаса.) Она пугается промелькнувшей мысли, хотела бы стереть ее. (Мне мерещится... И вообще моя хата с краю, ничего не знаю!) Слышно, как старик чешет бок жеребца, ударяя о ребра своими скрюченными пальцами.

— Как вам это нравится! Как! — Валдманис уже здесь, с фонарем в руке — успел зажечь фонарь, в шерсти расстегнутого полушубка застряли зерна, и она не может оторвать от них горячечных глаз.

— Почему, хозяин, Каштану не подсыпали?

— Дракон... Ненасытный змей... Что от Путниней осталось — все сожрет! — Старик захлебнулся от злобы, потом хрипло выкрикнул: — Дьявол в нем, дьявол!

Марите не ожидала ответа, и ей было бы еще страшнее, если б не зернышки овса, которые свидетельствуют о простой человеческой слабости Артура Валдманиса. Она вообще не посмела бы заговорить, если б не валялась, одурев, сопя заложенным носом. Все было ясно и легко в этот вечер, словно птичке с ветки на ветку перепорхнуть, а потом опять лети куда захочешь. Даже руки развести не требуется — кто-то подхватывает и переносит.

— Солдаты бросили дохлятину... — Валдманис выковырнул из шерсти зерно и закинул в рот. — Антон его за два ведра самогона... Выбракованного, загнанного, с драным боком... Рысаков наших на фронт... в пекло... — Валдманис говорил все более складно, уставясь на лежавшую Марите. — Бока пролежишь, литвинка. На овсяную похлебку налегай — болеть не будешь. Дел по горло — некогда батраков выхаживать...

— Сирота я, дурочка, а не батрачка.

— Ну нет уж, ты, литвинка, не дура. — Он мотнул головой, как лошадь, продолжая жевать. — Кто я — знаешь?

— Как же, хозяин Путниней.

— Хозяин, ага! Если Артур Валдманис — хозяин, то ты батрачка... Заруби себе на носу!

— Тогда почему жалованье не платите?

Он сплюнул, ногтем поковырял в зубах.

— Сапоги тебе дал, забыда? Ого сапоги! В Риге за такую пару сапог зуб вырвут.

— Так я ведь и женскую и мужскую работу делаю...

— Обязана, вот и делаешь. Мы тут жизнью, домом рискуем, пока тебя прячем... Какого ты семени, какого дерева отросток — разве мы знаем?

Марите тарачилась, не веря своим ушам. (Вот так старик! Шпарит как по писаному... И разговаривать вслух умеет, и спорить? К тому ж неглупо, именно так, как и должен говорить владелец большого хозяйства.)

Валдманис пропал, как будто приснился, — ни фонаря, ни палки, а Марите закружил водоворот — душил, уносил с собой. Вынырнув, чтобы хлебнуть воздуха, увидела Аусму: набросив пальтишко с серым каракулевым воротником, топчется по навозу. (Если бы не ты, добрая Аусма, Валдмане прогнала бы меня! В тот день, когда я пришла... Помнишь? Так и не дождалась бы Антанаса.)

— Не подходи близко, — предупреждает Аусму, — тут грязно!

Та качает головой, даже кудряшки подпрыгивают, пальчиком показывает на ноги — на ней высокие боты.

— Что тебе принести? У меня есть шоколадные конфеты. Хочешь?

— Шо-ко-лад-ные? — Марите обсасывает неслыханное слово, словно тугую ириску, других конфет никогда не пробовала.

— Подарок Антона. Целый подол насыпал мне.

— Подарки нельзя раздавать.

— Что? Антон еще привезет. Он что хочешь купил бы мне... Слононка из зоологического сада!

Аусма смеется, но на глаза наворачиваются злые слезы. (Почему же злится, если он для нее такой хороший?) Марите слыхала: в Риге есть такой сад, там в клетках львы ревут. (Одним глазком через забор взглянуть бы, и то... Слоны, говорят, спокойные, траву едят... Но коровы испугаются слоненка — не надо...)

Марите, опершись на руку, тянется к морде Белянки, от нее уже не пахнет сметаной — веет холодным заснеженным льдом, а когда она подымает тяжелую голову, Аусмы и след простыл. (Чего бы она здесь делала, в хлеву? Приснилось...)

— Кто в овес лазил? — гаркнул голос, прогоняя милую картину (они с Аусмой болтают о невиданных зверях), на стене вырисовывается темное, жесткое лицо. — Будто курам, насыпано!

От стыда Марите вспыхивает, как сноп соломы, даже глаза пылают. (Антанас! А я развалилась, как барыня...)

— Старик! Этот старый хрен! Ты зачем позволила? — Антанас вне себя от ярости. — А что ты тут делаешь? Ты со мной шутики не шути, девушка!

Приложил руку ко лбу, к щекам.

— Бери! — Антанас вынырнул из своего ватника. — И побежали!

Дом показался Марите большим и холодным, холодней овина. Антанас вытащил откуда-то полосатый сеник, набил соломой.

— Только не здесь! Расхрапится ночью — не уснешь!

Анна перетащила разбухший сеник на половину старика и Иманта. Со строгим, не сулившим особого радушия выражением лица постелила латаную, но чистую простыню, сверху кинула одеяло. Велев Марите ложиться, Антанас выдвинул тяжелый скрипучий ящик комода. Долго бренчал какими-то ключами, пуговицами, пружинами, пока не извлек с десяток банок. Каждую разглядывал на свет — запыленные, с обитыми краями.

— Дай помою, — предложила Анна, немного успокоясь.

— Только не мешайте!

Он сам мыл, вытирал, снова рассматривал перед лампой. Корявым

ногтем откупорил принесенную Анной бутылку и не нюхая поморщился — самогонный спирт.

— Хорош! — Попросил льна и тщательно намотал на лучину, раздувая усы. Потом присел, аккуратно расставил банки. — Пойдите, а мазать чем? — Он стукнул себя кулаком по лбу.

— Подумаешь, какая недотрога... Не изжарится без вазелина!

— Неси, Анна, не учи меня!

— Вазелин не мой — Аусмы... Жир не сойдет?

— Ну и ведьма! — разозлился Антанас, но Аусма быстро подала синюю коробочку.

— Задирай рубаху и ложись на живот!

Марите не тронулась с места, уже не от жара — от стыда сгорая.

— Не бойся -- не съем. Я не голодный! — фыркнул он. — На фронте выучился. Когда в болотах мокли. Хлопцы как примутся кашлять, будто из противотанковых орудий бухают, немец даже отстреливаться начинает... Ну не ерзай!

Антанас ставил банки неловкими, отвыкшими руками. Стекланные пузырьки принимались неодинаково, скользили, он ловил их, снова прижимал, и Марите, ни жива ни мертва от стыда, все равно чувствовала, что Антанас не здесь, возле нее, а где-то далеко, в другом времени и в другой жизни. Из той же недосыгаемой дали была и вылинявшая гимнастерка с дырочкой для медали — завернутая в несколько бумажек медаль со странно звучащим названием «За отвагу» пылилась за балкой, — тогда, в первый вечер, она молодецкато позвякивала на его груди, и все было иначе, хотя еще более непонятно, чем теперь.

— Думаю, думаю и не могу понять. — Антанас подержал ладонь над спиной Марите, будто над раскаленной плитой. — Чего он сунулся к бандитам?

Марите задрожала всем телом, звякнули банки. (Что ему такой бедняк! Неужели все еще думает о дяде Куйнялисе? Говорят, лесовики за богачей, за хозяев, — так почему же Антанас их бандитами называет? Да за одно такое слово можно головой поплатиться...)

— Дядя Куйнялис хороший, — возразила Марите, а сама расстроилась: все реже вспоминает она дядин домик и Вальгенай.

— А то я не знаю, что хороший. В сорок первом спас меня от белоповязочников. Пришел я из Латвии маму навестить, а тут дружок на маевку позвал. Сели на велосипеды и отмахали восемнадцать километров. Это было в субботу, а в воскресенье — война... «Большевистский агент, скрываешься!» И ни одного знакомого в Вальгенае, кто бы мог хоть слово замолвить. Дядя Куйнялис шапку долой — и к ихнему начальнику...

Грустные воспоминания не молодили, старили живое, бойкое лицо. Марите отвернулась, чтоб не видеть Антанаса.

— Все равно хороший...

— Хороший, хороший! Теперь важно, чтобы спина гибкая была да голова во все стороны вертелась, как флюгер, — не то сшибут. Держатся? — Снова принимаясь за лечение, он неловким движением приподнял одеяло. — Вон как вздуло! — радовался Антанас и приглашал поближе подойти Анну с Аусмой; те, вытянув шеи, наблюдали издали. — Шишка на шишке! Завтра будешь, как Чалый, скакать. Нет, нет, сегодня еще рано... Переворачивайся — на грудь поставлю.

— Не дамся. Хватит...

— Цыц, доктор велит! — смеялся Антанас, сморщив щеки. Не дожидаясь согласия, спустил с ее плеч рубаху.

Марите зажмурилась, но и сквозь веки видела, как косится Валдмане, не скрывая досады и отвращения.

— И ты хочешь, Анна? — шутил Антанас, словно затылком все видел, а в то же время отчего-то смущался. — И тебе жар сниму! Банки всем хороши. Наш капитан не кашлял, а банки просил поставить... Теперь девушке меду с горячим молоком! — строго приказал он, смахивая банки.

— А мне? Мне бы тоже поставил? — знакомым тоном избалованного дитяти пропела Аусма. (Опять! Что ей опять взбрело?.. Не пойму. Неужели не была она в хлеву? Привиделось мне?)

Антанас выронил стекляшку, присев на корточки, молча стал шарить возле сапог.

— Почему не хочешь, Антон? — Аусма капризно топнула, и Марите решила, что ей действительно почудилось — не была дочка Валдмане у нее в хлеву.

— В другой раз. — Антанас только покосился на Аусму и встал, отряхнув колени. Радостное выражение исчезло с его лица вместе с нырявшими в мешочек потускневшими банками.

Марите было чего-то жаль, не себя и не его, а доброго, всех сближавшего дыхания, которое исчезнет, как и запах перегоревшего спирта. Уже не рука Антанаса, а Анны — с кольцом — подняла закопченное блюдо. Хозяйка молча грела молоко, набирала мед и подносила к вспотевшим губам Марите. (Недолюбливала меня, а теперь возненавидит. Я ей как соль, что въелась в живую рану... Но почему? Ведь Антанас ей не муж. Вот этот — муж. Этот?) Дрожала вислая губа старого Валдманиса, похожая на распухшую пиявку, и к горлу Марите подступила тошнота.

— Еще пить будешь или вылить? — цедила сквозь красивые белые зубы Валдмане. — Я вижу, ты умеешь пользоваться случаем. На что это ты уставилась?

«На пиявку», — чуть не вырвалось у Марите.

— Быстрее, ну!

— Я пойду на сеновал.

Марите села, красная, в прилипшей рубашке, и сдерживаемое бешенство Анны прорвалось, как нарыв:

— Вот айтасгалва!¹⁰ Привыкла в навозе, так уже не можешь в чистоте! Постелено, подано, как барыне, чего еще? Лежи где лежишь! А потом будет звонить на всю волость: Валдманисы — кровопийцы, Валдманисы — убийцы, больную с коровами держали! Того и гляди власти явятся следствие проводить! Вот взяли на свою голову!

— Действительно страх берет, стоит тебя послушать, Анна.

Аусма насвистывала, как тогда, в поле, и Марите улыбнулась запекшимися губами.

— Не называй меня Анной, слышишь?

Антанас ничего не сказал, молчала и Марите, сполна расплатившись за вынужденную доброту хозяйки. (Когда ругают, не чувствуешь, что ты в долгу. Злость берет...) Марите не хотела быть кому бы то ни было должной и даже немножко гордилась этим.

Антанас зевал, старый Валдманис не раздеваясь вытянулся на своей кровати, скользнули в свои постели и Анна с Аусмой; вначале еще шептались, Анна жаловалась на ноги, вздыхала — за день, конечно, и ей доставалось. Марите уснула, обливаясь потом, не холодным, липким, а легким и хорошим, как после бани. Среди ночи она услышала, как рядом кто-то скребется. Везде, где ей приходилось ночевать, было полно мышей. (Только у тети Аугусте их не слышно... Зато фикус!) Дядя Куйнялис отшучивался: дескать, мышка — тварь божья, — и не ставил мышеловок. Но сейчас кто-то, тихо копошившийся в ее сеннике,

¹⁰ Баранья башка.

еще и сопел. Вдруг она почувствовала на своих волосах пальцы. Не открывая глаз, высвободила руку и двинула... Склизкое, потное лицо...

— Не дерись,— жалобно шмыгнул носом Имант, отскочив на почтительное расстояние.

— Чего тебе, сопляк?

— Чего, чего? Будто не знаешь, чего мужикам от девки надо! Мурлыкала, как кошка, когда он тебя тискал...

Марите натянула одеяло на голову, отвернулась к стене.

— Сопли подотри сперва! — буркнула из-под одеяла.

— Антону все можно, да? — канючил Имант.— Он и маму тискает и сестру... А мне даже к дурочке не подступись! Слушай,— он подполз поближе, прикрывая лицо,— я денег натаскал! Говорят, в Риге девки за деньги... Все тебе отдам, на! — Он протянул завернутый в тряпку комок.

— Врешь!

— Что?

— Что Антанас...

— Ха! А если не вру — дашь?

Марите повернулась и треснула наотмашь в хнычущую сопящую темноту.

— Кровь... Юшку пустила... Скажу маме — выгонит тебя, бандитку! — Тихо шмыгая носом, чтобы не разбудить мать, Имант отступил к своей кровати.

Теперь, когда он ощупывал нос и похлюпывал в своей постели, Марите пожалела парнишку. (Его даже в армию не берут, хоть и не прячется, как вальгенойские парни...) Еще и больше пожалела бы, если б не ляпнул про Антанаса. (Анна и верно ластится, точно кошка, да он ее сторонится...) Что-то у них, видать, было, когда Марите еще не жила в Путниях. (Мое какое дело, они хозяева, пускай хоть удавятся!) Но за ней ухаживали руки этих людей, она впервые в жизни испытала такую заботу о себе и не могла так просто отмахнуться. И про Аусму не думать не могла. (Молоденькая, добрая и с пригожим личиком — не поверю! От скуки ко всем цепляется... И к Антанасу тоже...) Такие мысли и раньше приходили на ум Марите, которая всякий раз терялась, словно глядя на фотокарточку, где все красиво, да не верится, что и в жизни так. Теперь, все еще чувствуя костяшками пальцев мокрое, может быть, даже окровавленное лицо Иманта, она уже не могла отделаться от этих мыслей, как от фотографий, которые остались белыми пятнышками на пыльном большаке. Было тревожно и стыдно, словно к ней подкрадывался не этот склизкий поганец — пнешь ногой, и отвалится,— а другой, большой и сильный, которому вряд ли сумела бы противиться. (Чужие, чужие... И эта Аусма бессовестная. Если уж на банки сама напрашивалась, значит... Сегодня я за крышу над головой руки-ноги им целовать должна, а завтра или послезавтра... Уйду, и больше не надо будет голову себе морочить!) Забыла, что сама ждала чего-то интересного, каких-то картинок, что ли. (Не дай бог! Не надо, нет...)

Вскоре ее опять разбудили — уже не Имант. По приглушенному шепоту Марите определила, что встала Анна. Не шурша сорочкой, белая, как рыба, женщина проплыла к постели Антанаса. (Господи, голая, в чем мать родила?)

— Подвинься, мне холодно.

— Какой леший тебя принес! Разбудишь всех. Спи здесь, если хочешь, но не приставай! — Антанас, зевнув, отвернулся — голос шел от стены.

— Ах, Антон! Ты не жалеешь меня...

— Не заводи, а то выгоню!

— Не буду, если не хочешь. Есть другие дела.— Она тихо, с горечью усмехнулась.

— Говори и...

— Слушай, Антон. Давненько ты не был в волости, а? Нацепил бы медаль... Там все твои друзья, фронтовики,— убеждал теплый, приторно сонный голос женщины.— Посидели бы за бутылкой, побеседовали...

— Ты скажешь! Я не знаю, куда глаза спрятать, когда их вижу.— Антанас повернулся к женщине.— Антон — труженик, это да, но Валдманисы — кулаки недорезанные... Все знают, что мы заодно! Сдадим как-нибудь эти проклятые дополнительные поставки. На других больнее жмут, и ничего — держатся.

— Тебе не жалко Путниной. Что останется от хозяйства, если все до последнего зерна подчистят? С чего начнем, когда этих нахлебников, как вшей из рубахи, вытряхнем? Тебе, конечно, плевать...

— Будь человеком, Анна, пойми! Грудь мне жжет эта медаль... Для того я кровь проливал, чтобы твое имущество, как пес, зубами защищать?

— Не мое — свое, Антон. Ну, не сердись, поцелуй меня... Разве не твое?

— Не лезь! Дурень я был и есть. Иной раз думаю: правда мое. Ору, кричу: мое! Шалею от крика... Мое, мое!.. Да не лезь ты, утро уже! Ну не дурак, скажи? Не видать мне Путниной как своих ушей, если когда-нибудь, как ты говоришь... Рабочая скотина вам нужна — вот что! Собака с медалью! В Сибирь по ягоды отправились бы, не будь меня... Разве ты сама не смеешься надо мной втихомолку?

— Бог с тобой, какой уж смех... Твои Путнини. Ты — хозяин!

— Да ладно, ладно... Умеешь зубы заговаривать. Мягко стелешь... Но разве я и не хожу как за своим? Не лезу вон из кожи?

— Антон, дорогой! Мы готовы молиться на тебя, не знаем, как господу благодарить... Если б ты захотел, я не на словах...

Два человека взволнованно дышат, кажется, сейчас их неровное дыхание сольется в одно. Но они чего-то ждут еще, долго блуждают как потерянные и внезапно вновь ударяются друг о друга... Трещит кровать. (Провалиться... не слышать... Не люди — животные...) Так тревожно и душно, что Марите вскочила бы и в ночь бегом — ведь еще ночь,— как вдруг:

— Убери руку, Анна. Задушишь...

— Антон, милый... Единственный!

— Не доводи до греха, Анна, мне и так тяжело. Не выдержу — двину!

Анна заплакала; и хитрость, и злость, и бессилие слышались в тихом рыдании.

— Ну, ну... Чего ты раскисла? Я же ташу ваш воз! — Антанас хлопнул тяжелой рукой по одеялу.— Изю всех сил ташу... И буду тащить, пока не издохну. Намолотили немало — сдадим сколько положено... А денег достанем, не первый раз. Туда-сюда обернусь, в Ригу смоताюсь — и хоть стены оклеивай деньгами. Чего тебе еще?

— Ничего, Антон, только не бросай нас. Боюсь, как бы ты не попался... Не выдержу я без тебя, хоть ты и остыл, не хочешь больше... Когда эту девку щупал вчера, я чувствовала — задушить могу... Ничего мне не надо, только не уходи!

— Щупал, щупал... Тьфу! Готовы хворую на мерзлой земле держать... Говоришь, ничего тебе не надо? А кто меня втянул в эти делишки?

— Шш, тише, эта дурочка услышит — проболтается...

— Не она, а мы дураки! Мы!

— И надо же нам было такую... Вот и ссоримся из-за нее.

— Не прикидывайся. Будто не видишь, работница какая? Ты отъелась с тех пор, как она здесь... Халат не сходится... Только маникюра и не хватает, как рижской барыне!

— Работать, может быть, и не ленится, я не говорю. Да как бы по ее следам не нагрязнули...

— Э! Наши следы похуже смердят...

У Марите кружилась голова, уже не от болезни — от тайн, в которых больше не было тайны, было лишь то, что видела, слышала и безотчетно чувствовала изо дня в день, чем все они и сама она дышали. Много открылось, будто взрезанное ножом, но, конечно же, не все, и Марите догадывалась, что каждый припрятал нужную карту, чтобы бросить на стол в решающий момент. Она уж было попривыкла к странностям этого дома, но ее снова взбаламутила эта ночь, которая тянется невыносимо долго. Она прижала пальцы к сухим глазам, а когда снова открыла их, по стенам и потолку металлись искры света. Валдмане несла в руках лампу, рассеивая остатки тьмы. (Может, приснилось? Хорошо, если бы это действительно был сон!..)

— Как спалось, маменька? — с усмешкой осведомилась Аусма.

Анна, тяжело ступая, прошла мимо — не ответила.

Через день Марите встала и удивилась, что ничего не изменилось, кроме погоды. Снова чернела оттаявшая земля, черные деревья роняли листья, которые, падая, уже не вспыхивали и не шушали. Листву было жалко, как людей. Старый Валдманис, едва Марите показалась, заковылял следом за ней, словно боялся, как бы она, не дай бог, не забрела куда-нибудь еще — не к коровам. (Чует и он, что я много знаю? Да где там... Старый хрыч!.. Просто зло берет!) Пока сильные струйки позванивали в подойнике, старик сутулился за ее спиной, время от времени меняя положение рук на палке.

— Почему в Риге старые сапоги? — Марите резко обернулась, и в это мгновенье корова дернулась, едва не опрокинув подойник. — Стой, ведьма! — Она шлепнула по боку. — А вы отойдите. Видите, беспокойная!

— Что? Какие сапоги? — пролепетал старик, тыча палкой вокруг себя. — Страда, страда, мейтене¹¹.

— Я работаю, а вы, дядя, мешаете!

Даже не проворчав, почему называет дядей — не хозяином, Артур Валдманис еще больше сгорбился и вышел. (У, старый хрыч! Бойтся выдать себя, что в хлеву разговаривал со мной... Значит, и Аусма тогда прибежала... Точно прибежала. Аусма — это тебе не Анна. И неправда, что Имант болтал...) Марите, словно извиняясь, погладила коровий бок.

6

И снова забрезжило утро, такое, что не тянуло даже нос на двор высунуть.

— Надо ли выгонять на пастбище, хозяин? Недоедают коровы, тощуют только.

— Делай как знаешь, девушка.

— Я?

— Сбегай, спроси у Анны.

— Да хозяйка молчит...

— Так чего ты ко мне пристала? Что у меня, других забот нет?!

— Старик не дает покоя. Тычет и тычет своей палкой.

¹¹ Работай, работай, девушка.

— Старик? Какой старик? — Встряхнувшись, Антанас сообразил — в дверях овина, как обломок дерева, торчал Валдманис. — А... Старика испугалась! Ну да ладно уж, сегодня еще выгонишь...

На следующее утро снова пришлось его за полы хватать — Антон и Анна дулись друг на друга, ни в чем не соглашались, хотя всю ночь за милую душу шептались. Было и любопытно и стыдно слушать, как потрескивает этот почти угасший, подернувшийся пеплом костер, который тщетно пытаются разжечь женской страстью, даже бесстыдством; одно неосторожное слово или движение — и от расставленных сетей остаются лишь жалкие ошметки... Антон как приступом взялся за дело — только трещало все вокруг, — так же внезапно и острый к работе. Собрался было куда-то ехать (С медалью в волость, как уговаривала Валдмане? Ведь отказался наотрез!), да передумал и велел Иманту распрягать.

Будто накатанный склон ледяной горы, все яснее, чище становилось небо, коровы медленно выбирались на холод, и Марите надеялась: вдруг Антанас велит загнать их в хлев и не терять время попусту. Стукнул топор, еще и еще раз: стоя на одном колене перед толстым бревном, Антанас рубил хворост; покончив с хворостом, пустил под лезвие сухую вишню, которую сначала выдернул из земли и приволок сюда же. Жались в кучу коровы, не спешила и Марите, удивляясь Антанасу: рубит хворост с таким видом, словно и стесняется, и в то же время гордится непроставшим серьезному хозяину занятием. (Дрова колет Имант, вязанку-две приносит старый Валдманис... Так чего же он схватился за топор?) Придавив коленом, откатывает вязанку, ровную, аккуратную — такие заготавливал и дядя Куйнялис; правда, большого хозяйства дяде видеть не довелось — в Вальгенае богатеи не было, а он за две войны и шагу не ступил из деревни. (Теперь-то уж поездит, посмотрит белый свет, сам того не желая...) И она поспешно оторвала взгляд от стоявшего на колене Антанаса — тюканье топора напомнило еще и треск голых тычин хмеля у дядиной избы, которые вряд ли снова когда-нибудь обовьются зеленью.

Корова по кличке Милда задела рогами яблоноу, сквозь ветви камнем прошуршало яблоко. Так и хотелось взять его, поддержать в ладонях. Чужое яблоко, не замеченное людьми, с печалью напомнило об ушедших в прошлое днях. Валдманисы не запрещали подбирать с земли, но Марите не нагнулась за паданцем. (Вот если бы Аусма подбежала и дала яблоко...) Вроде недавно Марите в Путнинях, а уже отложились воспоминания, принадлежащие не дядям и тетям — только ей. Окруженная хитрыми лицами, смущенная неслыханными признаниями, она чувствовала, как в ней нарастает ожидание чего-то ясного, светлого, но связано это, может быть, не столько с ее собственной жизнью, сколько с хозяйской дочерью. (Когда же мы с тобой, Аусма, разговоримся по душам?.. Нет, я чересчур проста для нее.)

Лениво шагали коровы, пахнущие теплым хлевом. Марите подумала, что сегодня встретит Эзериня, и улыбнулась, вспомнив свой давешний испуг.

— Ба, кого я вижу! — Он и вправду выкатился из-за куста, словно из засады, все в той же шляпе, с веселым и недоверчиво сердитым лицом. — Яункундзе айтасгалва?

— Я не барышня и не дурочка. У меня есть имя.

— Ого-го... Так скажи мне его!

— Не скажу. Разве недостаточно того, что я человек?

— Достаточно, достаточно, — смеялся зазябший Эзеринь, должно быть, долго ждал. — А то — дурочка. Думаешь, Эзеринь так и поверил? Здоровая девка, кровь с молоком, — и дурочка? Я нюхом чую тут какую-то каверзу проклятых Валдманисов. А Антон тоже сволочь... Мы

с ним как братья были, ничего не скажешь, но и на него не посмотрю. Я все их осиное гнездо выведу на чистую воду!

— Поэтому и паровое поле пахать им не стали?

Ее губы улыбались, и на лице Эзериня тоже ширилась доверчивая улыбка.

— Что, сильно Антон бесился? Я обещал, правда, дети когда еще задаток сожрали — прошлогоднего сала полть. Не видала моих галчат? — Его глаз заблестел. — Без хлеба умяли! Слушай, может, пойдешь за меня? Ребята и готовят сами, тебе с ними хлопот не будет... Трудно мне без жены на восьми гектарах!

— Опять что-нибудь случилось? — Марите уже наслышалась о злоключениях Эзериня.

— Летом, в самую страду, лошадь охромела. Знаешь, чуть было не потерял полученную от власти лошадь! А тут неделю назад поросенок издох. Краснуха. Поздно прививку сделали. Думал, сперва самогонки сварю, а тогда уж ветеринара вызову — что ни говори, большой барин. Напился как свинья и уехал, а поросенок окочурился.

— Надо было не ждать, Эзеринь!

— Оно конечно... Жена бы посоветовала, а когда один... Что мне было делать? Артур Валдманис мне бутылку не одолжит, хотя его винокурня, чую, частенько в деле...

— Что вы, старик уже людей не узнает...

— Ха, таких, как я! А всех прочих... Не тебе, литвинка, раскусить Валдманисов. Давай поженимся, — он ткнул себя в грудь, — без меня ты пропадешь! Я, Эзеринь, тебе говорю, меня тут все знают!

— Паспорта у меня нету, сосед!

Прошло много дней, и Марите могла уже отделяться шуточками; она запрокинула голову и увидела стройную одинокую сосну. (Каждый день хожу здесь — и такой красивой сосны не замечала... Потому что я возле пуши выросла — там одно дерево не в счет! А прямая, как свечка... И ветви раскинула на высоте, словно руки...)

— Хватит одной ложки на двоих да одной постели и, стало быть, одного паспорта! Латыши с литовцами — одной крови. Не учила в школе? А нас, бедняков, нужда крепче всякого рода-племени роднит!

И дикую яблоню увидела Марите на краю поля — обобранную, ободранную, но широко раскинувшую ветви, приготовившуюся к схватке с зимними ветрами. Марите засмеялась, вовсе не беспокоясь, что выдала себя. Ведь без паспорта — значит, нигде не приписана. Такая веселость — ни с того ни с сего — подошла бы скорее Аусме с ее губками и с волосами, рассыпающимися по плечам, на красивую кофту. И все равно Марите посмеивалась рядом с Эзеринем, нимало не заботясь о том, что унылое мычанье коров под бледным небом предвещает зиму, что у нее еще нет пальто. (Красивое небо в Латвии, только редко глаза подымеешь. Если хорошенько вдуматься, здесь все как в Липтве: те же деревья, заботы, радости... Люди редко улыбаются, чего-то ждут... Но ведь и я жду.)

— Ежели что — прибегай! — Эзеринь провожал ее по тропинке, его голос был теплым, и слова, которыми он ругал Валдманисов, в одно ухо влетали, в другое вылетали. — Я им, кровопийцам, покажу! И этому Антону, олуху царя небесного... Будут спрашивать — говори: Эзеринь за их ржавое сало весной отработает... А весна придет — посмотрим. Пусть радуются, что не сообщу куда надо.

— Не провожай! — Она махнула рукой и убежала, оставив его обмахивающегося шляпой.

Про встречу на выгоне Марите решила помалкивать, ведь Эзеринь не скупился на угрозы, которые и пересказать не осмелишься.

Антанас не обратил на нее внимания. Уже отлетели в сторону вязанки, врезался в колоду топор. Ухватившись за оглобли, Антанас выкатывал из-под навеса засиженную курами бричку. Кивком головы велел Марите обтереть ее, потом сам заложил Чалого.

— Где шоры, черт побери! — кричал, расшвыривая пинком седла и чересседельники. — Я знаю, кто унес!

Шоры как сквозь землю провалились, вместе с ними и старый Валдманис. Антанас с досадой хлестнул жеребца, тот рванул с места, птицей слетел с горы. Вот колеса с красными ступицами затарахтели по утопанной тополиной аллее, вот вырвались на большак и, как летом, подняли гучу пыли.

— Кто хлебает горячее, тот обжигает губы, — услышала Марите бормотанье Артура Валдманиса: он как из-под земли вырос, едва укатил Антанас.

— Что вы сказали, дядя?

— Пес тебе дядя!

Марите отпрянула, хотя был день — не ночь — и она уже успела привыкнуть к странностям старого хозяина.

Окинув ее мутным, ненавидящим взглядом — еще и за то, что испугалась его! — Валдманис убрался в дом. Будто какая-то сила заставила Марите последовать за ним. Старика не было ни на кухне, ни в комнате — исчез, как столб дыма при внезапно переменившемся ветре.

Хлопнула входная дверь. Марите, почувяв себя точно в западню, схватила ведро. (Скажу: ведро куда-то запропастилось... Что мне нужно от этого старого хрыча, что?)

— Эзеринь провожал тебя? — То была Аусма с озорными чертиками в широко раскрытых глазах. (Следила за мной? Вот посмеется теперь... От скуки!) — Жену уморил, а сам к девушкам пристаёт. Скажи, ты от женатых не бегаешь?

Аусма мелкими зубками грызла розовое яблоко, брызжа соком и веселыми словами; длинные, растрепанные ветром волосы цеплялись за ухо, за кончик покрасневшего носа; вместе с ожившим доверием в Марите вновь проснулась нежность к Аусме. (Какая она красивая и негодная! С батрачкой как с подругой шутит.)

— А ты, Аусма? — выпалила она в ответ и съежилась. (Она ведь из тех же Валдманисов. Сейчас такое скажет, что только искры из глаз посыплются...)

Аусма выковыривала мизинцем кусочек яблока из зубов.

— Как когда, Марите. Если стоящий, так почему бы и нет... Молодых парней, сама знаешь, не хватает. Одни в армию ушли, другие — в лес. Так что нечего зевать!

Марите нравилось как, а не что говорила Аусма, нравился ее голос, нравилась семечко яблока на губе, и поэтому она старалась, чтобы сблизившее их мгновение не сразу кончилось.

— Ко мне только старики лезут, — ей вспомнился Имант, когда никого не было, издали показывавший «червонец», — и еще недоростки. У меня и волосы плохие... Некрасивая. А ты, наверно, красивого ухажера себе выбрала? Кудрявого?

— Ясно, красивого! И молодого! А кудри как у барана! Единственный наследничек соседей Фрейманисов. Вместе в гимназии учились, теперь студент! Когда-нибудь познакомлю!

— Он тебя любит, этот кудрявый? Да чего я еще спрашиваю? Конечно, любит! (Наболтал этот поганец Имант... Антанас, правда, горазд пошуметь, когда выпьет, но голова у него не девками занята. Седой, а у нее ухажер есть. Может, ничего страшного и не было?) Тебя, Аусма, нельзя не любить!

Движимая нежным материнским чувством, Марите погладила рукав Аусминого пальтишка: гладкий, с блестящим ворсом материал — чистая шерсть.

— Марите, хочешь яблочка? — От прикосновения грубой ладони Аусма смутилась. Сунула руку в карман, не нашла яблока и засмеялась. — Сорви сама... Если захочешь что-нибудь, бери, ешь! Все гниет, все прахом идет, а они...

Что-то жалобное прозвучало в голосе Аусмы, и Марите снова захотелось ее погладить. У Аусмы влажно заблестели глаза, она увернулась.

— Ты не видела нашего старика?

— Был здесь и пропал...

— Ах вот как? Нет, не пропал... Идем, я тебе что-то покажу!

— Валдмане браниться не будет?

— Ты что, не знаешь меня? Я могу и приказать тебе.

— Так прикажи...

— За мной — марш!

Чердачный сумрак, приглушенный свет и пыль... Над ящиком с растрепанными книгами повисли серые веревки, стоит их тронуть — и вздымается рой пыли; в выдвинутом ящике стола — черная железная коробка.

— Телефон, Марите. До войны у нас была связь с волостным старшиной и с лесничим. С Ригой могли, не выходя из дому, говорить! — Аусма нагибается, приподымает выкрашенную в бронзовый цвет трубу, торчащую, как огромное свиное ухо. — Грамофон, трам-та-ра-рам! Сударыня мама любила задавать балы, во дворе бричке негде было стать!

Вот сепаратор для меда.

— Все ульи сгорели во время пожара! Если ульи, то, значит, и пчелы, глупенькая!

Вот совсем хорошие сани с загнутыми полозьями и кованой спинкой, только валяная полость для ног побита молью.

— Ух и катал же нас с Анной Антон!

— Вас с мамой?

— Ну да. Сударыню маму и меня. Ты чего уставилась?

— Ничего. А что это? — Марите тычет кулаком в грудь шкур, придавленную ржавыми весами.

— Да ну, ерунда! Антон скотом спекулирует, не знала? Когда ты у нас появилась, он как раз партию сбывал... Мясо продано, а шкуры ждут, когда покупатель явится.

Запах сырых шкур немного портит торжественное настроение (Денег, богатства ему мало, чего спекулирует?), но это лучше, чем задавшие загадку сани. (Их с мамой? Ну и что... Ведь она была ребенком. Да, да...)

— Дальше ни шагу. Зажмурься! — требует Аусма, прислонившись к печной трубе; за ней, как яма, зияет таинственный полумрак. — Скажи, ты боишься покойников?

— Не-ет.

Своих Марите хоронить не приходилось, а похороны у чужих были передышкой в тяжелой работе и поводом для встречи с людьми. (Что она мелет, чудачка? Небось готовит какую-то проделку... Все равно ждать приятно.)

— Не смотришь? Теперь на цыпочках, вот так... Я поддержу, если в обморок будешь падать...

— Я даже кладбища не боюсь, — храбрится Марите, послушно вручая свою руку, ей хорошо от жаркого Аусминого пожатия. Ради одного только такого прикосновения бог знает сколько страха вытерпела бы!

— Но живых покойников ты не видела, могу спорить!

— Ты шутишь, Аусма... Таких не бывает! — Пальцы Марите невольно собираются для крестного знамения.

Из полумрака выплывает гроб — большой, темно-коричневый, собственно, гроб стоит на месте, он даже вдавлен в костру, но исчезает все остальное и слышен только быстрый шепот Аусмы:

— Сгорел бы, когда Путнины пылали, но кто-то вынес из клетки... Коровы в хлеву погибли, опаленные свиньи катались по полю, а гроб целехонек!

Марите уже не надо объяснять, чей это гроб. Стынут на лбу капли пота, все, что удивляло с самого начала, с той минуты, как увидела старого Валдманиса на опушке леса, становится вдруг до жути ясным. Старик мертв, умер невесть когда, не важно, что ковыляет с клюкой, а по временам что-то бормочет и ест, глотая большие куски. Может быть, не может успокоиться окончательно оттого, что ему не отдают последней почести, положенной мертвым, либо не рассчитывает на такую — поэтому предпочитает скрипеть, стучать палкой и мешать людям, не подозревающим, что он мертв. (Даже я, приبلудная, требовала от него доброты как от живого!) Гроб крепкий, его надолго хватит, а крышка откинута и подперта для удобства.

— Тебе не жаль... отца? — Марите преисполнена сочувствия к тому, кого не желает принять земля; если бы только осмелилась, она попросила бы прощения за грубость.

— Почему я должна его жалеть? Он в этом гробу лежать будет! И на кладбище заранее место себе выбрал... А мы разве знаем, где наши кости истлеют? — Голос Аусмы не злой, даже чуточку шуточный, но жесткие слова — от матери, Анны. — Слыхала такое выражение: кто собрался умирать, тот всех переживает? У тебя слезы на глазах, а он, поверь мне, преспокойно спит...

— Иди, иди уж...

— Сделай еще шаг... Вот, развалился, как на перине. Выспится, выдряхнет, потом ползет, осовелый, на свет... Что-нибудь отчубучит и ныряет в свой гроб, как в омут, а потом опять слоняется...

— Все равно жалко...

— Хоть и жалко, палец в рот ему не клади — откусит. Ты знаешь, на чем он лежит? Не чувствуешь?

Марите трясет головой. (Пахнет плесенью, смертью...)

— Бутылки с самогоном там уложены.

Над головой с шумом проносится кто-то, девушки хватаются за руки, в чердачное окошко льется свет и воздух. Снова шум крыльев, раскачиваются веревки.

— Имантовы голуби, не бойся!

— Не жестко ему?

— Стружек набросал. Отличает мягкое от жесткого. И шоры под бока себе положил... Не выносит, когда Антон с новыми шорами выезжает. Все прочее — пускай, но шоры... — Аусма недоговорила, прижалась к Марите. — Знаешь, и я начинаю бояться...

Снова мелькает что-то белое, их руки переплетаются, хотя это всего лишь белый голубь Иманта.

— Тебе страшно?

— Страшно, а может, как ты говорила, жалко... Бежим!

Внизу стрекотала швейная машина Валдмане, и добрым, уютным был этот звук, шедший сквозь комнаты. Стучал молотком Имант, разбивая в кровь пальцы, — чинил проволочную стенку голубятни. В открытые сени влетела рябая курица. Марите, изловчившись, поймала ее и, прижав к себе, понесла кудахчущий, теплый, как тесто, комок. Было хорошо на дворе, где слышались живые голоса — собачьи, кошачьи, воробьи-

ные, где воздух струился, точно вода, омывая голые икры. Руки Марите все еще пахли курицей, вдоль изгороди вперевалочку вышагивали гуси. (Смотри, еще зеленая трава есть, в спешке не вижу ничего... Жалко!) Ей казалось, что раньше она вроде бы все это видела, а теперь ей завязали глаза чужие люди, их неприглядные тайны. Но отказаться от них не было сил.

— Антон... едет! — крикнул над ухом Имант, и Марите побежала встречать его с легким сердцем, надеясь на что-то новое, что отвлечет, а может, и развлечет, хотя наверное знала, что все эти отлучки и возвращения не сулят ей ничего, кроме новой работы.

Антанас пошептался с Валдмане, поел, напоил лошадь и снова укатил. Правда, успел исписать цифрами страничку, вырванную из тетрадки с розовой обложкой, такие тетрадки падали с переполненной этажерки, валялись по углам. Не очень-то грамотная — больше полы мыла учителям да окна, чем училась! — Марите почтительно засовывала тетрадки на место. У Антанаса, видно, что-то не сходилось, и скомканый лист полетел за дверь. Марите подняла его, разгладила, к корявым цифрам пристроились похожие на бочонки нули с обрубленными макушками, много нулей. (Что он считает? Может, собирается что-то строить? Материалов вон сколько понавалено...) Антанас вернулся лишь на третий день, и не один — за ним ехали еще две телеги. Был предвечерний час, время кормления скота, и тускло поблескивала у ворот куча камней. Шумели незнакомые мужики, мычали привязанные к задкам телег коровы. Анне было велено созвать всех домашних и вынести мужикам водки. Аусма повизгивала, как щенок, не желая выходить во влажный сумрак, но и ее вытащили.

Все собрались в ушедшем в землю каменном сарае — когда-то здесь хранили яблоки, потом использовали как клеть, а сейчас, наспех освободив, будут бить скотину. Густой дух крови вскоре перешиб чуть слышный запах яблок и лежалого зерна. Мужчины втаскивали корову, накиннув ей на рога веревку. Антанас бил с маху между рогов тяжелой острой железной, корова начинала валиться набок, а человек в толстом, домашней вязки свитере, с пышной бородой старовера, как пилой, чиркал ножом по ее отвислой шее. Хлестала кровь, стекая по длинному лезвию и по голенищам сапог; шнур лебедки, невидный в темноте — светили три керосиновые лампы, — подымал вверх судорожно дергающуюся корову; и вот уже она качается, неживая, на весу, падают на землю черные, запекшиеся капли. Шкуру сдирал тот же старовер, хотя у него это плохо получалось, он не бранился, но и за него и за всех остальных без передышки сквернословил парень, умело вспарывавший дымящееся брюхо; окунув руки, проворно выдрал что-то, оттащил в сторону.

— Стельная, мать твою!..

С сердцем ннув ногой по вспоротому животу, парень разразился такой бранью, что даже Антанаса передернуло.

— Слушай, Пранас, я тебе еще несколько червонцев добавлю, только, ради бога, заткнись!

— У кого уши закладывает, тому здесь делать нечего!

Пранас был литовец, Антанас называл его и по фамилии — Руйбис.

Туши не разделявали, мужчины выпивали, и снова метались их кровавые руки с засученными рукавами. Руйбис порезал себе запястье. Анна, подскочив, промыла рану водкой, завязала лоскутом полотна и вылила ему в глотку целый стакан. После новой порции Пранас пожелал петь. Из каждой песни он знал по куплету, начинал и тут же умолкал.

Марите никогда не видала, как режут скот. Барана, поросенка, петуха, иногда теленка приканчивал и дядя Куйнялис, а тут подвесили та-

ких больших смирных коров, одну даже стельную. Ни доброго смеха, ни доброй радости не слышно было, зато вдоволь напыхабничали мужики, когда вырезали и бросили на землю ядра бычка.

— Хозяйка, свари и дай Антону! Спасибо нам скажешь!

— Что у человека, а что у быка. Вот несправедливо господь устроил!

— Ага, а мне? — заканючил Имант.

— Хватит с тебя и петушиных. Отрежь да свари себе!

Антанас довольно хмыкал в усы. Аусма и Анна фыркали, немало удивляя Марите. (Над ними же глумятся. Как они могут хихикать? Особенно Аусма... Не поймешь ее!)

— Черт побери! Кончайте ржать! — рывкнул Антанас, чутким ухом уловив вдали гул мотора. — Машина ждать не будет!

Вскоре подъехал грузовик, мужчины даже не успели еще по разу хлебнуть. Когда у подножья холма вспыхнул свет фар, Антанас побежал навстречу машине, шофер, не выключая мотора, принялся торопить; пока мужики грузили завернутые в простыни туши, он озирался, словно боясь, что его застигнут на месте преступления, руку со стаканом отстранил от себя так резко, что тот выпал и разбился.

— Пар лайми!¹², — поспешно проговорила Валдмане, никто не смеялся, и она шепотом велела Марите собрать осколки.

Уже светало, выглядывал желтый месяц. Марите не терпелось, чтобы скорей увезли мясо, от которого все было в крови, даже белые руки Аусмы. Антанас влез в свои кожаные доспехи, затянул ремень и стал не похож на себя. Блестящий и скользкий, он, всех подгоняя, сновал между машиной и сараем, взволнованно бормотал:

— Даудз наудас... даудз наудас!¹³

Он топтался вокруг поклажи. Анна, проворная, как девушка, — вокруг него. Встречались их руки, плечи, слова, которые произносились то шепотом, то в полный голос. Оживление и какое-то жадное нетерпение необычайно роднило обоих, глядя на них, не верилось, что ни дневные работы, ни ночной сон не дают им близости.

— Даудз наудас... Даудз наудас... Проси, как договаривались. — Теперь это был женский шепот, полный нежности, доверия и ожидания.

— Хорошо, хорошо. — И мужской голос обещает как будто не только деньги — что-то другое, по чему так истосковалась эта деятельная, здоровая женщина, готовая, кажется, бежать за Антоном в Ригу, а если понадобится, и еще дальше, неведомо куда.

Мягко отстранив ее, Антанас нагнулся к колесу; захрустев кожанкой, ударил кулаком по резине, потом толкнул сапогом: надежно ли. Шофер, обидевшись, запер дверцу кабины. Антанас дергал ручку и просил прощения за задержку.

— Смотри, чтобы тебя не обчистили в этом Вавилоне! — наставляла Валдмане, торопливо засовывая что-то ему в карманы. (Еду? Нет, перчатки... Вот заботится!)

— Не впервой. Чего уж там! — Антанас горел предвкушением до роги, уже не похожий на хлебороба — лихой, снова куда-то наостривший лыжи, видно, что ему ненавистна любая опека.

Подбежала Аусма, потерялась подбородком о жесткое кожаное плечо.

— Гостинцы будут, Антон?

— Мои усы! Годятся? — Он ущипнул ее за щеку и расхохотался. — Чего ты хочешь? Некогда. Говори!

— Слышишь? Некогда! — тянула ее в сторону Анна.

¹² К счастью.

¹³ Много денег... много денег!

— Не горит. Теперь моя очередь... Не лезь! Ты сам должен догадаться, Антон, чего я больше всего хочу! — Аусма подставила ему дру- гую щечку.

— Хорошо, хорошо, поехали! И вам, мужики, по домам пора! — скомандовал Антанас: увидел, как Руйбис, пошатываясь, тянется к Аусме.

Воровато, с выключенными подфарниками грузовик сполз с холма, не зажигая света, юркнул в тополиную аллею. Шума не было слышно — то ли не включен мотор, то ли его заглушал шелест деревьев, — но вот взмыли к небу желтые лучи фар: грузовик выкатил на широкую дорогу, по которой кто угодно может развезжать без опаски. Вспыхнули встреч- ные огни — костер, еще один и еще, словно повторявшееся предостере- жение. Проводив глазами грузовик, затерявшийся в веренице фар, му- жики вернулись к своим телегам, неторопливо запрягли застоявшихся лошадей, не забыли и о недопитой водке. Руйбис полез было к Аусме, та схватила кусок легкого и шлепнула его по губам.

— Антанаса небось выменем угощаешь, а?

Руйбис захохотал, вырвал у Аусмы кусок и смазал не успевшей увернуться Марите по лицу. Что-то склизкое проехалось по ее рту; что- то темное и липкое, чего всю жизнь сторонилась, перехватилс дыхание и удержало руки, которые легко бы сладили с Руйбисом. (И эти налитые пьяной кровью уши тоже слышали все про Антанаса и Аусму? Иначе он вряд ли посмел бы, если б ничего не знал...)

— Сравнил! Антон — мужчина, на фронте был! А ты? Посмотрел бы на себя в зеркало. Бидон самогонный! — гордо отрезала Аусма, но и в темноте блестели еле сдерживаемые слезы.

— Вот тебе, вот!

Опомнившись, Марите выхватила из пьяных лап лопнувшее лег- кое, которое сочилось кровью, и била, била по пьяной роже, а больше по растопыренным пальцам, словно отрубая гадкие щупальца клеветы. Прикрыв голову, Руйбис пятился к телеге и покрякивал от удовольствия, будто венником хлестался в бане.

— Ну и бешеные вы обе. Что за сила у девки! Приезжай ко мне в Машенай — будешь с моим быком бороться! О-го-го...

— Не связывайся с этим подонком!

Аусма вцепилась в локоть Марите; затянувши песню из одного куплета, Руйбис повалился на свою подводу; сивый жеребец привычно тронул с места; подкрался Имант и ткнул его чем-то между ног — конь рванул в галоп, со стуком билась башка. Имант корчился от хохота.

— Дурак, а если убьется? — Марите отняла у Иманта проволоку и выбросила.

— Ага, а чего он к Аусме лез?

— Защитник выискался! — Аусма замахнулась.

Имант, хихикнув, отскочил.

— Послушай, Аусма... Он скоро вернется?

Марите сказала это, чтобы как-то замять грубый намек Руйбиса, но только раскрыв рот поняла, что ляпнула напрасно. То, что ходило кру- гами над свежим навозом и кровью, было так запутано и требовало та- ких обтекаемых и мягких слов, каких ей никогда не придумать.

— Чтоб он шею сломал! — Аусма обиженно топнула ногой, и не ясно было, к кому относится это пожелание: к Руйбису или Антанасу, пекущемуся о благе Валдманисов. — Чего ему торопиться, коль уж выр- вался в Ригу! В Латвии один только город и есть — Рига!

— А Бауска, Елгава? У нас Елгаву хвалят.

— Карлики перед великаном! Если б ты знала, какой город Рига! Мосты через Даугаву, парки, зоосад, где звери со всего мира... Села в вагончик — и ты на море: пляжи, виллы, рестораны! Телпы народа так и

плывут... Кто ты? О чем думаешь? Куда идешь? Никому, никому до тебя нет дела! Как легкая песчинка, скользишь, летишь, а тут каждая собака на тебя лает... Ри-га! — Казалось, она твердит зазубренный урок (Антанасов — чей же еще!), но слова набухали желчной тоской, болезненной мечтательностью и презрением ко всему, что не относится к великой Риге.

— Аусма! Аусма! — Валдмане уже звала дочь.

Аусма не шелохнулась, глядя горящими глазами на затихший, белесо отсвечивавший большак.

— Ты думаешь, я бы стала нюхать эту вонь? — Она пнула вывалянное в земле легкое, на которое целилась кошка. — Изучала бы медицину в Риге, если б не большевики... Мандатная зарезала: кулачка, помещица! — Она еще раз пнула ногой, на этот раз уже кошку — та покатила кубарем вместе с куском легкого. — А эти помещики батрачат на проклятого литвина!

Марите возразила бы, чувствуя себя обязанной Антанасу (ведь он и приютил ее и в обиду не дает), но не могла забыть его жадность («Даудз наудас... даудз наудас...»). Все же без его сильных рук и снеговки, а также без медали (да, да, без этого белого кружочка, который нацепил, уезжая!) Путники Маяс окончательно захирели бы. Но еще больше, чем Антанас, ее привлекала к себе красивая девушка, обиженная и откровенная как никогда. (Не может он такую обидеть... А сплетни нечего слушать... Но почему все только об этом и говорят?) Красавицы казались Марите похожими на игрушки — сначала каждый хочет поиграть с ними, а потом ломают и выбрасывают; красавиц в деревне быстро выдают замуж, они становятся толстыми и совсем некрасивыми.

— Все равно я здесь не останусь. Сбегу или сделаю что-нибудь с собой!

— Аусма! Ты идешь спать? — Валдмане, не полагаясь на голос, спешила к ним.

Аусма наклонилась к остолбеневшей Марите, на ее губах блеснула и застыла фальшивая улыбка.

— Ты так и поверила, Марите? Я пошутила. Не такая я дура, чтобы все бросить ради города. В Риге люди конину жрут — спроси у Антона, когда приедет, брр! Что проку в трамваях, если кирпич глодаешь? Говорят, молодежь ловят и на работы увозят... Мне и здесь хорошо! Да что это с тобой?

Марите не могла прийти в себя — вместо этой гордой девушки с растянутыми в улыбке губами ей вдруг почудилась другая, взрослая и коварная.

— И здесь весело. Увидишь! То в одной, то в другой деревне вечеринки. Попляшем с тобой! Парни везде одинаковы: что в городе, что в деревне. Я знаю! Ну как, пойдём на танцы?

— Я не умею...

— Какое там умение! Не мешай только нести, кружить тебя...

— У меня платья нет...

— Найдется! Чтобы в Путниях платья для тебя не нашлось? Работает — не даром же!

Сладкой, заманчивой, как мед, была бы речь Аусмы, если бы не застывшая улыбка. (Точь-в-точь на фотокарточках, которые смотрят и на тебя и ни на кого.)

— Спасибо, яункундзе Аусма.

— Фу, пехорошо, Марите. Называй меня как раньше! Разве мы с тобой не подруги?

Все, кто открывал душу Марите, спешили тут же ее унижить. Прежде если и огорчалась этому, то все равно была твердо уверена, что иначе и быть не может — сильные смеются над слабыми, богатые над бедняками.

ми, взрослые над детьми. Вот и опять ей оплатили вкрадчивой лъстивостью, и уже не утешает сознание, что это правило, а не исключение. Аусма, прощепетав что-то, убежала; юркнет в ночную сорочку, упадет на мягкую постель и забудет все: как целовала Антанаса, как поносила его. Забудет, как оплатила неискренностью ей, Марите... Валдмане, что бы ни делала, уже не удивит — ее не представишь без жала, без грубых слов или укора. (Но Аусма... Ведь и ее обижают. Почему же она вдруг повернулась спиной?) Визжат от голода свиньи, не поспешишь накормить — подоспеет стук Валдманисовой клюки. (Этого покойника тут еще не хватало!) Большие костры угасли на дороге, маленькие огоньки моргали, как площадки, их беззвучно давила синеватая тяжесть дня.

7

Рига, которая манила Антанаса и чрезвычайно волновала Аусму, не давала покоя и Валдмане. Раскинувшийся в невидимой дали город напоминал о себе даже звенящей тишиной полей. В Риге не только конину жрут; по рассказам очевидцев, и человечину добавляют в фарш — столько голодных сбегалось, набилось в этот Вавилон! Ночью в темном переулке прирежут какого-нибудь зазевавшегося прохожего или ребенка, а утром на базаре, смотришь, продают свежую колбасу... Марите слушала как сказку: хоть и страх берет, да не очень верится, примерно то же самое в Вальгенае рассказывали про Вильнюс («Не хочешь, детка, горбушку в деревне, будешь кирпич глотать на городских улицах»). Валдмане говорила сердито, серьезно, словно забыв, что Марите ей неровня, а та боялась улыбнуться. (Такая еще нестарая красивая женщина, одевается по-городскому, а говорит как бабка.) Марите не сразу разобралась, что Ригу Анна ненавидит за соблазны, подстерегающие мужчин, тем более денег у Антона будет сколько хочешь. Глубоко засевший страх перед Ригой не мешал Валдмане вести хозяйство — когда скотина была накормлена, она приставила Марите к потрохам. Печень, легкие и вымя вырезали, кишки хозяйка велела выскоблить.

— Зачем столько кишок? Не кишки, а жир мне нужен! Чего глаза таращишь, айтасгалва? — охотно ответила Анна на немой вопрос Марите. — В такой голод люди и за кружку лоя дерутся!

Марите чистила кишки на огороде, за плетнем и кустами крыжовника, скорчившись среди разрытых и затвердевших от мороза морковных гряд. Кто знает, сколько кишок придется проташить между двух прутьев, каждую выворачивая, словно чулок, а затем промывая холодной водой. Марите дула на застывшие красные руки, а хлюпающим кишкам и тошнотворной вони не было конца. Жир топила сама хозяйка, наливала в одинаковые зеленые кружки — такие продавались по ту сторону, недалеко от Вальгеная. Время от времени Марите призывали к неотложным делам, затем снова отправляли чистить кишки. Урчали вывалявшиеся в нечистотах коты, нагло шныряли над головой вороны.

— Идут... Истребители! — завопил Имант, скатываясь с голубятни. Помчался в дом, оттуда — в овин, потом к Марите. Запыхавшийся, с выпученными глазами, велел сидеть и не высовываться, пока сударыня мама не позовет. — Видишь, я тебя спасаю. — Он осклабился и ущипнул ее, странно веселый, как будто приближался праздник или ярмарка. — А что мне за это будет? Ну-ну, не вздумай драться, как тогда...

Она молчала, ошарашенная известием и непонятным оживлением Иманта.

— А ты не врешь?

— Маме, Антону часто вру, но тебе?

Имант начал снова приближаться, она взмахнула кишкой, как вожжами.

— Еще драться будешь? — удивился он. — А вот я возьму и скажу, что ты беглая!

— Скажи, скажи. — Ее глаза сухо блеснули, и Имант даже расстроился.

— Дура ты, что ли? Я только попугать... Сударыня мама убьет, если я рот открою... Не ори!

— Сам не ори на всю усадьбу!

Он не ответил — мужские шаги, голоса и особый лязг, издаваемый оружием, манили его больше, чем девичьи икры.

Марите физически ощутила, как начинает уходить из-под ног земля, а ведь только-только научилась по ней передвигаться. Эта земля была чужой, но похожей на ее родную землю, по которой она вдруг мучительно затосковала. Тогда, к дяде Куйнялису, истребители тоже нагрянули неожиданно, правда там их называли защитниками, то были литовцы, молодые парни из волости, и один русский, говоривший по-литовски. Человек, которого они искали, уже покинул тайник, сохранившийся со времен оккупации, вооруженные, очевидно, знали это — с притворной тщательностью отрывали доски. (Теперь за мной пришли. Имант и выдал? Ну нет...) То, что не оставляют в покое даже здесь, было непонятно и обидно, как повторное наказание за один и тот же проступок. (Но что я такого сделала, господи? За что меня преследуют?) Тогда, в Литве, не было ни обиды, ни злости, может потому, что парни с автоматами не рассчитывали на сопротивление — старый дядя с обвислыми седыми усами, бедная изба. (То ли дело здесь — поместье и от тайн голова кругом идет!..) Люди с оружием не будут стыдиться, как в тот раз, когда приказали старому дяде Куйнялису сидеть и не шевелиться, а то свяжут; неохотно, кривясь, но отпустили ее к корове — те парни с детства знали, что такое корова. (Тут такие жирные, такие большие коровищи — да целых шесть!) Даже тогда, в Вальгенае, когда защитники не особенно ругались, все равно трещали трухлявые половицы, отрывались старые обои и сыпались перья, хоть подушек не пороли — их сбросили с кровати и топтали при ходьбе; она же стояла, схватив несколько фотографий, и стеснялась, будто у нее на глазах раздевали дядю Куйнялиса, чью полотняную рубашку она стирала и чинила. Больше всего боялась, что вылезут старые заплаты, а может быть, еще что-то некрасивое, над чем чужие будут глумиться. А дядя Куйнялис, казалось, ничего не боялся — посмеивался в усы и, улучив момент, шепнул, чтобы не возвращалась из хлева: ему-де недолго жить осталось, а ей, молодой... И еще она удивлялась тогда, как много всюду пыли, хотя и пол мыла и потолок обмахивала: чего бы ни коснулись руки парней, все разлезается, исходит пылью. Это что же, всегда под чистой поверхностью пыль и гниль? Она смотрела во все глаза и тряслась, как бы и впрямь не велели дяде раздеться. За себя — что и ей могут приказать — в тот раз не боялась; еще не чувствовала себя отдельным, самостоятельным, ответственным за все существом — недолгими узами была связана с другими похожими на нее существами, как связана тень с отбрасывающим ее деревом. (Ни с того ни с сего покинуть Путнини? Оставить Аусму, Антанаса? Нет, нет...)

(— Выходил зверя, Куйнялис, — сказал тогда начальник защитников, стоя в туче пыли и дыма — все вооруженные курили.

Дядя Куйнялис покорно пожал плечами: и не отрицал, что у него в погребе кто-то был, и не утверждал; любой человек, какой он там ни будь, в беде — человек, не зверь... Этому и ее учил.

— Не признаешься, Куйнялис?

Округлое, ничего не объяснявшее движение руки Куйнялиса повисло в воздухе, слилась на стене тень от плеча и головы — казалось, у дяди вырос большой горб.

— Пора, детка, беги... — шепнул этот горб, и Марите больше ничего не слышала — бежала, стиснув сердце в кулаке.)

Теперь она сидела съездившись в кустах и с удивлением чувствовала: у нее есть что беречь. Слышала радостный голос Иманта, сопровождаемый бряцанием оружия, — должно быть, показывал дорогу к дому (Странно, должен бы не радоваться — огорчаться!), а в ней что-то потрескивало, словно разжигая мысль. Бояться не перестала, но дрожь страха, пробежавшая по спине и словно рукою сжавшая грудь, была осмысленной. (Только не влипнуть из-за ничтожной малости... не выдать себя... Чего им меня искать! Проходили мимо и зашли... Насчет поставок небось... Не выдать себя!) Она сидела с бьющимся сердцем подле кучи вонючих кишок, которые растаскивали мяукающие кошки, и даже не подозревала, что дорожит свободой мыслить, свободой заботиться о постиравшемся вокруг мире, пускай он тревожен, непонятен и полон опасностей...

Пожилой человек с серым морщинистым лицом снял зеленую шляпу, подскочившая к нему Валдмане хотела повесить ее, он не дал — вынул очки из футляра, протер носовым платком и только после этого открыл большой портфель. У него в бумагах было записано все: сколько Антанас Падваретис и Валдманис сдали зерна, мяса, молока, шерсти, на сколько подписались на заем («Наличными, — бормотал похожий на бухгалтера человек, — очень хорошо!»).

— Жалко, вы с Антоном разминувшись. Он был бы так рад, — умильным голоском пыталась подольститься хозяйка. Когда бумаги в порядке, такой гость не станет приходить; остальные гости — в солдатских шапках — стояли во дворе, иногда заглядывая в окна. — Такую дорогу пешком отмахали. Можем вас подвезти до волости.

Насмешливо блеснули и померкли очки человека — принялся искать еще одну бумажку. Долго рылся в старом портфеле, шуршал сколотыми и разрозненными бумагами. Даже крикнул, оттого что все время извлекал не то. Тетрадный лист в клеточку, пожелтевший, с загнутыми краями... У Валдмане сердце в пятки ушло, будто землю вдруг выбили из-под ног. Она отогнала прочь розовые круги, ее заострившиеся глаза впились в очкастое лицо, чтобы не прозевать то, чего не скажут слова. Теперь уже не было сомнений: только из-за этой замусоленной бумажонки и притопал из волости начальник, а поставками лишь прикрывался. В Путнинях предпочитали иных гостей — горячих, нетерпеливых, угрожающих. Сколько может человек бушевать, главное, не суйся ему под горячую руку, а потом, умиротворенный, он утихомирится и будет если не сговорчив, то, во всяком случае, терпим.

— Сигнализируют нам... Наемная сила... Нигде не зарегистрированная, вот! — Человек тыкал бумагой, а сам говорил по памяти. — Явное нарушение закона... Гражданка не получает платы, работает за кусок хлеба... Что скажешь, хозяйка?

Валдмане гадала, кто донес, все в ней кипело от злобы, но улыбка была любезной.

— И из-за этого такой шум, товарищ начальник? Жаль, нет Антона. Он бы вам объяснил...

— Значит, правда? — Человек снял очки и вместе с очками избавился от сходства с кропотливым бухгалтером: на него не произвело впечатления ни обращение «начальник», ни упоминание об Антоне. — Позвать упомянутую гражданку!

— Это не так просто. Она боится чужих, — усмехнулась Валдмане, скрывая беспокойство. — Я сама!

Не дожидаясь разрешения, поспешила во двор. Рослый парень-латыш с белыми, как вата, волосами последовал за ней, не выпуская из

рук автомата; женщина ускорила шаги, парень хотел было приказать, чтобы не бежала, да не осмелился — она и начальника-то не больно слушается. Шелестели задетые ее покатыми плечами ветви яблонь, на огороде копошились куры, гоготали гуси, в дверях овина стоял дряхлый старичок, свесив язык на палку, но из-за овина или вот из этих кустов может хлестнуть очередь — такое нередко бывало в Латвии, а еще чаще, как приходилось слышать, в соседней Литве... Расстояние между молодым, недавно взявшим в руки оружие латышским парнем и моложавой, соблазнительно виляющей бедрами женщиной все увеличивалось.

— Эй ты! — крикнул он не слишком уверенно.

— Там очень грязно.— Анна очаровательно улыбнулась ему.— Надеюсь, вы не думаете, что я убегу?

— О нет.— Он покраснел.

— Какой вы смешной,— Анна рассмеялась,— годитесь мне в сыновья!

И оставила его стоять в смущении.

— На тебя донесли.— Анна рванула Марите за шиворот, и та вскочила на ноги.— Если будешь помнить, что ты дурочка,— спасешься.— Она зачерпнула пригоршню помета, вlepила в Маритины волосы. Схватив одну, потом другую руку, обваляла их со всех сторон, словно рыбу перед тем, как бросить на сковородку.— Теперь ты хороша — настоящая сумасшедшая... Войдешь — ухмыльнись и протяни руку. Не мальчишке с автоматом — тому, что за столом сидит, начальнику. Выбирай: Путники Маяс или... Сама видала, что с твоим дядей случилось!

Голова Марите сгибалась под тяжестью заляпанных навозом волос. (Нет, только не так... Не так!.. Что про меня люди подумают?) Только-только ощутив свою ценность, она уже не могла смириться с таким унижением — не важно, что ей грозила опасность и, возможно, это был действительно единственный выход.

— Медлить не советую. Уведут под конвоем... Они шутить не любят, девушка!

— Но... Зачем вы так? Я бы сама...

— Ради твоего же блага!

Начальник отпрянул — к столу, выставив измазанную дерьмом лапу, приближалось грязное чучело.

— Бедная дурочка... Антон — ее единственное спасение. Дальняя родственница со стороны матери... Сиротка, куда ей деваться? — Валдмане обеими руками гнала девушку от стола, словно курицу, и сочувственно, почти виновато поглядывала на начальника, который, как и всякий внезапно столкнувшийся с безумием человек, растерялся: под примитивной, жалкой личиной почти всегда скрывается такая игра темных сил подсознания, что даже вооруженные люди чувствуют беспомощность оружия.— Не бойтесь, она не буйная, но кто захочет держать такую? Она это дерьмо, извиняюсь... Сейчас я проветрю комнату!.. Вы уходите? Не поели, не подкрепились?

Сдобренные издевкой последние слова Анны задержали начальника. Преодолев чувство непонятной вины, он внимательно посмотрел на чучело: дурочка уже не улыбалась. Что-то настораживающее почудилось ему в ее жалкой внешности — застывшие глаза безумной не защищались от желтоватых капель, бороздивших широкий лоб.

— Утрись! — процедил начальник: он был зол и на это чудовище и на себя за то, что поддался слабости, забыл о возможности обмана. Уже не садясь, прямой и резкий, приказал защитникам позвать Эзериня.

Марите топталась у простенка между двумя окнами, ярко освещенная, как на сцене. Чесалась кожа головы, немели брови, тяжелые, будто прилепленные.

— Слыхала, что начальник велел?

Держа двумя пальцами, точно боясь испачкаться, Валдмане протянула ей чистое полотенце; ослабевший, как бы придушенный голос хозяйки так и молил не слушаться — не вытираться. Марите и без того была не в силах поднести полотенце к чужому, изгаженному лицу. Больше, чем насилие и уничтожение, пришиб непритворный ужас, мелькнувший в глазах начальника, когда она совала ему свою изгаженную ладонь. Отвратительный запах уже не чувствовала — ноздри щекотала пыль, как тогда, у дяди Куйнялиса. И хотя никто не отрывал половиц, было неуютно, как в тот раз, но тогда многое казалось неясным, особенно ее собственное будущее, а теперь она уже не сомневалась в последствиях, если выяснится обман. (Кончено... Все кончено!) Марите и Валдмане одинаково жадно впитывали звуки, доходившие сквозь все более густевший и твердевший воздух комнаты; здесь ли уже этот Эзеринь? — эта гнетущая мысль невольно сближала обеих, смягчала обиду девушки. Что будет после того, как Эзеринь подтвердит, — уведут ее или снова придется блуждать по незнакомым дорогам? Едва слышав шаги в сенях, Марите забыла о самом главном. От глупой детской мысли, несовместимой с ее возросшим жизненным опытом, стало мучительно стыдно: как бы Эзеринь и впрямь не счел ее сумасшедшей! Вконец запутавшись, она бросила умоляющий взгляд на Валдмане, которая могла бы засвидетельствовать ее состояние. Хозяйка не откликнулась ни жестом, ни хотя бы движением губ — ее пожелтевшее, ссохшееся от напряжения лицо смотрело прямо перед собой, будто нанизанное на кол. Не разум — внутренняя тяга к более осмысленной, подвластной собственному сознанию жизни заставляла Марите противиться какому бы то ни было извращению ее мыслей. Ей давно уже казалось, что, отразившись где-то, мы не исчезаем — остаемся, как рыба в ячейках сети. (Я сумасшедшая, настоящая дуреха, хочу того, что может сгубить меня... Будь что будет!) И вместе со страхом она преодолела стыд перед человеком, который обезоруживал ее своей открытостью.

— Долго ждать тебя пришлось. — И начальника, видимо, томила гнетущая тишина, он потряс руку вошедшему в дом и с удивлением озиравшемуся Эзериню. — Ты писал, что у Валдманисов наемная сила?

— Что у меня, других забот нету! — Эзеринь переступал с ноги на ногу, словно змею затапывал. — У меня свинья околела... Кто за нее платить будет?

— Это твоя фамилия?

— Стыдно сказать, товарищ начальник, но неграмотный я. В газете, где буквы покрупней, еще разбираю, а карандаш вываливается из рук. Вот, — он показал свои почерневшие ручищи.

— Но это твоя подпись, твоя? Посмотри!

— Может, и моя. Кто умеет, тот за кого хочешь подпишется.

— Хм... Не писал так не писал, а где твое классовое сознание сельского пролетария? Скажи, эта девушка — сумасшедшая? — Начальник, явно разочаровавшись в Эзерине, повысил голос. — Сумасшедшая или нет?

— За классовое сознание мне глаз выбили. Так что давай не будем. А девушка, начальник, сумасшедшая, каких свет не видел. Я ей все во семь га предложил, троих детишек, корову, а она мне кадрили на одной ножке сплясала. Будь у нее хоть столечко ума, разве отказалась бы?

— Ты тоже очень умный, я погляжу...

— А что, только в городе умники водятся? Побудешь в мужицкой шкуре, живо соображать начнешь...

— А ты подумал, под чью дуду танцуешь? — Начальник нахлобучил шляпу, застегнул портфель. — И мне еще хвалили тебя как самостоятельного, сознательного крестьянина!

— Если танцую, так только под свою собственную дудку!

Начальник вскочил. Возле Марите остановился, взглянул резко, в упор, как бы решившись одним махом отсечь ложь от правды; она испуганно, себя не помня, качнулась в сторону, но он только устало махнул рукой. Так же, убегая за ним, махнул и беловолосый парень с автоматом, только еще почему-то буркнул:

— Эх ты, дурья башка!

Начальник так и не прикоснулся ни к водке, ни к закуске. И это было странно — чистый, нетронутый, как для торжества накрытый стол будто ждал кого-то еще более важного. Эзеринь сверкнул глазом вслед сердито скачущему через двор начальнику, за которым едва поспевали вооруженные люди, а вместе с ними Имант. Парнишка щупал оружие, дергал за ремни, — начальник, обернувшись, погрозил ему портфелем, мужчины прибавили шагу, и Имант поплелся к дому, как побитая собачонка.

— Ну и ну, — загадочно протянул Эзеринь, покосившись на Иманта; сплюнул и подошел к столу, швырнул свою облезлую шляпчонку туда, где только что лежала шляпа начальника. — Ты, Анна, лопнешь от злости, но я, твой заклятый враг, путниньского добра отведаю! — Эзеринь нахально развалился, повел плечами, не торопясь расстегнул пиджак. Ему нравилось смотреть на закрашенную вишней жидкость, на толстостенную, искрящуюся довоенную стопку, долго крутил ее в корявых, с чернотой под ногтями пальцах. Выпив, крикнул на весь дом и навалился на стол — тот даже затрещал, — проворно дотянулся до нарезанного окорока, нанизал на вилку сразу два ломтя. — Одна соль, сразу видно: не себе — для дорогих гостей, да? — Жевать, однако, не перестал, продолжая с набитым ртом: — Ох и умна ты, Анна... Я вот думаю, что не мешало бы тебе на сибирских курортах поумничать. Там хоть медведям мажь морду дерьмом! Тебя мне нисколько не жаль, Анна, хитрой бабой была и будешь... Но я не какой-нибудь Иуда — своего дружка Антона топить не стану. Слишком много навоза мы с ним перетаскали... — Эзеринь снова налил себе, высосал, смакуя, его глаз увлажнился, стал как бархатный. — Смотрю я, Анна, гляжу одной своей гляделкой и никак не пойму: какое сокровище он в тебе нашел, отчего прилип так, что не отдерешь?

— Ты прав, — рассмеялась Аусма, лежавшая на незастеленной постели. Марите только сейчас заметила ее — растрепанную, со спутанными волосами. Пока здесь были вооруженные гости, притворялась больной, даже не пикнула под одеялом. — Тоже мне сокровище! Сало не первой свежести! Но ты, сосед, лучше скажи, на что ей сдался этот Антон? Козел вонючий, и только!

— Э нет, не скажи. — Эзеринь, словно ожегшись, бросил вилку, вытер рот рукавом и встал. — За угощение спасибо, а свои счета, дамы и барышни, сводите сами! Не моего ума дело! А козел этот, барышня, сколько мне помнится, немало добра Валдманисам принес.

Возле Марите задержался, как и начальник, но глаз глядел куда-то в потолок.

— Мы с тобой неплохие артисты, а? Представление как в театре! Но пора и смуть хозяйкину парфюмерию, верно? Пошли, девонька!

— Нет, пускай он мне объяснит!

Аусма, мелькнув распущенными волосами, кинулась к матери. Она уже не смеялась и, почему-то привстав на цыпочки, дала волю бурной ярости, словно мстила самой себе. За пережитый страх, за опостылевшее притворство. Торопилась, пока не ушли чужие.

— Тебе, Аусма, объяснять? Да ты лучше моего знаешь, ты молодеж, — холодно ответила Анна, вытирая о передник сухие руки. — Ведь и ты с ним в баню ходила...

— Ты, а не я, ты! Ложь! Неправда! — вопила, потрясая кулачками, Аусма.— Если и ходила раз, то по принуждению! Чтобы не ускользнул он, этот твой Антон, бросив хвост, как ящерица...

— Заткнись, проклятая! — Медленно, словно собираясь погладить, Анна взялась за волосы дочери и, стиснув, как прядь льна, резко запрокинула ее голову.

— Эй, эй, полегче, Анна... За увечье дочери ответишь по закону, как за чужую, — проворчал Эзеринь.

— Стану я руки об нее марать...

Голова Аусмы дернулась, как у большой тряпичной куклы, в одну, в другую сторону; она стукнулась затылком о зеркало и с раскрытым ртом, с расширенными от ужаса глазами соскользнула по гладкой поверхности на пол.

— Держись! — Анна, нагнувшись, встряхнула дочь за плечи — хрупкое тело Аусмы расслабилось, обмякло, словно было без костей.— Встань, слышишь? — не повышая голоса потребовала Валдмане.— Не ломай комедию.

— Ладно, ладно..

Аусма засмеялась, но смех прозвучал как стон.

— Не «ладно, ладно», а «хорошо, сударыня мама».

— Хорошо, сударыня мама...

Когда Аусма, тихо постанывая, добралась до постели, очнулся от оцепенения старый Валдманис. И его Марите только сейчас разглядела. Что-то промямлив — никто не разобрал что именно! — он стал кашлять, как простуженный мерин, и тут же смеяться. Валдманис хохотал все громче, обхватив руками колени и задрав голову — выступил его громадный кадык, казалось, вот-вот лопнут набрякшие жилы. Старика так трясло и дергало, он так хватал воздух синими губами, что Марите на миг забыла про свое горе.

— Смотрите, как бы душу господу не отдал, — пробормотал Эзеринь, почесывая в затылке.— Может, воды ему?

— Воды, воды! — Марите схватила бы ведро, если б не вонючая слизь на руках.

— Ни черта с ним не делается, не бойтесь. Его и палкой не убьешь! — пренебрежительно отмахнулась Анна; тем не менее, сдвинув брови и выпятив подбородок, она медленно двинулась к мужу.

С каждым ее шагом смех старика слабел, захлебываясь слюной, его рухнувшее на лавку тело все меньше дергалось, все тише гремело костями. Наполненные слезами глаза испарялись, как две лужицы под безжалостно пекущим солнцем, пока не затянулись привычной дымкой.

— Чалый беспокоится, Артур. Поди задай корма лошадям, — сухо проговорила Анна, и старик, волоча палку, заковылял к двери.— А ты, литвинка, все кишки почистила? Врде осталось еще немало, — как будто ничего не произошло, обернулась она к Марите, с каждым распоряжением снова становясь собой, давая всем почувствовать свое превосходство.

К ее щекам, стирая пятна и жилки, прихлынул румянец, проступила живая белизна шеи. Лопатки уже не выпирали, под чистой цветастой блузкой обрисовалась грудь. В опустевшем, замершем доме даже ее дыхание свидетельствовало о возвращающейся жизни. Марите не двинулась с места, словно не ей было приказано, сама до конца не понимала, что ее удерживало: ввевшиеся в кожу нечистоты или ожившая сила Анны. Та направилась было к Марите медленным, не сулящим ничего доброго шагом, но передумала и не показала гнева.

— Ладно, не ходи, хватит и нагопленного сала... Ну что ты вытаращилась, как сова? Марш умываться, милиционеры больше не придут...

Имант! — крикнула она погромче, голос обострился от злости, которую не излила на батрачку. — Думаешь, я не видала, как ты за ними хвостом ходил? Хорошо бы это выглядело, что и говорить, всему уезду на смех: Имант Валдманис и... с этими!.. — Она с трудом проглотила подкативший к горлу ком ненависти, властно махнула рукой. — Возьми лопату и закопай эту вонищу!

Имант вскочил, словно его стегнули по ногам, хлопнул дверью; качалась приоткрытая дверь, в комнату врвался холодный, пахнущий коровьим навозом воздух, но не рассеивалось густое дыхание ненависти. Марите все еще стояла, глядя в одну точку, и Валдмане поняла, что лучше ее не трогать.

— Мы свои, потом сочтемся, — бросила она через плечо, видя, что Марите не шевелится. (Свои... Пес вам свой, как сказал бы Валдманис, пес!) Проговорить это вслух у Марите не было сил.

Валдмане не понравилась ее мрачная, вызывающая поза, однако чувствовала, что, если не дергать, Марите скорее отойдет, ведь у нее сердце мягкое, но что тут нужно этому барану в шляпе? Нажрался — и пускай умывается, чтоб и духу его не было! Уняв дрожь, она раздвинула губы в приятной улыбке.

— Ах, милый сосед еще здесь? Понравился театр? Если ты думаешь, что после того, как мы тебе отрезали восемь гектаров лучшей земли, будем еще поить и веселить тебя, то ошибаешься!

— Отрезали... На могилу не дали бы!..

— Так ли важно, из чьих рук взял? У нас отняли и в твою пасть впихнули. Надеюсь, на могилу просить не явишься?

Эзеринь поглубже надвинул шляпу и, согнувшись, бросился к выходу.

— Нет, это не просто хитрая баба... Это змея, чертово отродье! Бедняжка Ева, что в раю жила, и в подметки ей не годится! — Плюхнувшись на камень у пруда, Эзеринь обмахивался шляпой, словно после бани. — Недаром такого мужика, как Антон, скрутила... Скрутила и спеленала, как младенца. По-солдатски распоряжается: «Кому еще в зубы?» Огонь, отравы, а не женщина, мне такие не по душе. Лучше тихая, терпеливая, чтоб от моей болтовни не бегала... Вот эта литовка. — Прищурив единственный глаз, он с удовольствием наблюдал за плещущейся у колодца Марите; вода бежала ей за шиворот, румянила ее крупные руки, а она все лила и лила воду; набрав песку, чуть ли не до крови терла багровые ладони. «Классовое сознание, как говорил очкастый, шевельнулось и в ней? Не из глины — уперлась и не стала в кишках ковыряться! Нелегко тебе, пташка, у Анны в лапах, но когда ты моих деток на шею себе повесишь, Путнини Маяс курортом покажутся... Сейчас не буду трогать — нагадили ей в душу... Пускай отчистится!» — Ну и собачья жизнь, чтоб ее!.. — вздохнул Эзеринь вставая. — Пойду своих галчат унимать...

Он не сразу ушел, не в силах оторвать глаз от знакомой картины: как умывается здоровая, рослая девушка, поливая себя водой. Блестели мокрые камни, разбрызгивая солнечные лучи, отражавшиеся их неровной поверхностью, живительный плеск капель сулил в гнетущей тишине усадьбы что-то весеннее, ясное. Пылая не от холода и не от воды, Марите все скребла и скребла кожу. (Ну чего он пялится? Шел бы себе... Я как пугало...)

Эзеринь удалялся по тропинке, выгнувшейся седлом у подножья холма. По обеим сторонам зеленела озимь, красивая, ровная, будто причесанная, между тем как на его участке топорщились жидкие всходы. Почему? Он и сам не мог понять. Не видала и Марите на каменистых почвах Вальгеная такой сочной озимой пшеницы. Вылинявшая коричневая шляпа Эзериня, казалось, спорит с силой Путниней, пускай

урезанных и раздробленных, вздрагивающих от малейшего удара, но глубоко пустивших корни.

Марите мысленно проводила Эзериня до выгона. В беловатом, как дымок, небе растаяло мягкое тепло, и ее вдруг взяло зло. (Кто они мне тети, дяди? Кровопийцы! Плюну на них и уйду. Что, в других местах работницы не нужны?)

8

В темноте маячила изогнутая тень старого Валдманиса, она то приближалась, то беззвучно удалялась. Старик не скрипел и не кашлял, словно окончательно превратился в тень, которая вскоре навсегда нырнет в услужливо разинутую пасть гроба, — теперь, когда их отношения испортились, он уже не смел лезть на пятки и сопеть в самый затылок, как делал это раньше.

— Трудись, трудись, девка, во славу господу всевышнего!

Вот уж не думала Марите, что будет скучать по его кряхтению, и понимание того, что она нужна даже этим костям, покоящимся в большом коричневом гробу, смягчало перенесенный удар. (Не по мою душу приходи, нет... Латыши про дядю Куйнялиса ничего не знают. Так что надо мной не каплет. Еще побуду...)

— Холодно на дворе, дедушка?

Тень не ответила, и Марите медлила — не вставала. Вчерашняя тяжесть как будто опустилась и лежала где-то, словно камень на песчаном, почти прозрачном дне. Эту тяжесть она уже не забудет, как до сих пор легко забывала обиды, нанесенные тетями и дядями. Глубокий, без сновидений и пробуждений сон унял зудящую боль, она чувствовала свою гладкую шею, тугие жесткие волосы, уже зная бесценную стоимость этих простых вещей. (Вот бы в бане попариться!) Без отвращения, скорее с удовольствием ощупала свои бедра, грудь, радуясь, что она совсем не такая, какой хозяйка выставила на поругание.

— Какой сегодня день, не скажете? — Ей хотелось услышать свой голос, проверить, насколько он чист.

Ей представилась длинная вереница дней — это была почти ненужная уловка. Времени ведь прошло не много: принесенная с собой одежда обносилась, но была еще крепкой.

Валдманисова клюка тем временем выстукивала камни — издали настойчиво напоминала Марите ее обязанности. Тихо и быстро скользнула в кухню хозяйка, будто и не спала, только ждала утра. Марите не удивилась, что Анна, проходя мимо, не содрала с нее одеяло. (Отныне уже не будет гонять, как собаку... Поняла, что и я человек? Этого от нее не жди... Боится, что я слыхала то, чего не следует, — вот в чем дело!) Подумав, Марите решила, что Анна не так-то быстро испугается батрачки, это вчерашний день связал их иными, более тесными узами. И не потому, что обе одинаково лгали начальнику, хотя и по разным причинам. В здешней жизни, внешне похожей на вальгенайскую, струились такие сильные течения, что, если подольше к ним приглядеться, начинала кружиться голова и валило с ног. Жизнь совершенно чужих, ожесточившихся и запутавшихся людей переплелась с ее жизнью, только-только начинавшей тянуться кверху, как поздно пробившийся росток озими.

— Девки, завтракать будете?

Голос Валдмане не был искажен злостью, она одинаково подымала батрачку и дочь — досталось вчера обеим, и, как знать, не больше ли Аусме — ее, Марите, ведь не таскали за волосы. (Бедная Аусма... Твоя подушка, наверно, сырая от слез.) Марите шмыгнула за шкаф. Одеяло на земле, левая рука Аусмы будто заломлена за спину, из сорочки выпирает налитая, зрелая грудь... У Марите в сердце шевельнулось чувство,

родственное материнскому, которое подавляет всякие сомнения и упреки. Детски сияло спящее личико, нежно белела грудь, но изгиб плеча и полнота груди свидетельствовали о чем-то, чего Марите не довелось испытать и что, несомненно, было связано со вчерашней стычкой матери и дочери («Ведь и ты с ним в баню ходила...»). Что мать хотела этим сказать? За ее словами крылось что-то нехорошее. Накапливалось так много непонятого, таинственного, что это грозило ее восстанавливающемуся душевному равновесию, и Марите поспешила заслониться нежностью. (Какая ты белая и красивая... Как цветущая черемуха. Не поверю, нет!) Она мысленно шептала ласковые слова, словно красота была всего превыше и все оправдывала.

Стараясь не стучать кирзовым сапогами, прошла в кухню.

— Не спиши, поешь как следует.— Хозяйка убрала миску с остатками скабпурты и поставила на стол тарелочку с паштетом.— Не каждый день скот режем... Не обкормлю паштетами, не бойся.

Перед глазами Марите мелькнула грудa кишок, коты, стекающая по лицу навозная жижа — заныло под ложечкой.

— И так уже поздно, хозяйка... Коровы.

— Ни черта им не сделается.— Валдмане махнула рукой.— Посиди, коль прошу...

У Анны болела голова, обмотанная мокрым полотенцем; при свете лампы ее лицо было отекишим, нездорово-желтым, тяжелые веки прикрывали зрачки, которым, казалось, больно было смотреть на все, даже на штукатурку стен, безвольно обмякли щеки. (Что, надоело играть молодую, удалую?)

— Ешь, я буду говорить. Ты не дурочка, не айтасгалва.— Валдмане старалась смотреть не моргая, прямо.— Ты девушка толковая, каких мало. Вот уже и по-латышски всю болтаешь. Другие приходят и уходят с тремя словами... Так вот, толковая девушка, мое вчерашнее поведение ты поймешь: Не было другого выхода... Антон, как назло, не едет! Верись — растерялась. Ничего умнее, увы, не смогла придумать. Да разве это я придумала? Антон! Помнишь, как он тебя в самом начале наставлял? В конце концов, никто тебя не заставлял, ты сама перед Эзеринем кадрили исполнила... Ешь! — Хозяйка сама не ела, стыл ее кофе, хлопая по карманам широкого жакета, она искала портсигар.— Я могу считать, что мы с тобой закончили это дело?

Марите ковыряла вилкой паштет; вот не ожидала такой прямоты — она ведь и без извинений никуда бы не ушла отсюда. Слова хозяйки звучали торжественно, ее собственные были бы простыми, односложными, поэтому она только кивнула в ответ.

— Ты давно уже в нашем доме,— Валдмане понравилась ее сдержанность,— а по-человечески ни разу не посидели, не поговорили. Сделай, сбегай, подай! Разве это разговор? Мне знаешь что интересно? Вот ты все видишь, слышишь, а со стороны, известное дело, виднее... Скажи, что ты думаешь о нас?

— Я? — Такой поворот Марите и во сне не снился. (Какой-то подвох? Да если и от души — не мое это дело... Слишком дорого обойдется мне паштет!) Облизнула губы и положила вилку, выпрямилась, держась подальше от хозяйки.

— Ешь, паштет мне и гроша не стоил.— Анна усмехнулась, приглашая Марите тоже улыбнуться. Со всей своей женской пронизательностью стремилась проникнуть в такую, казалось бы, несложную — пальцами ощупаешь! — натуру и неизменно натыкалась на невидимую преграду.— Я вредная, могу и ни за что обидеть, это ты на себе испытала, правда? Но размазня — поверь! — не могла бы удержать в руках Пунини. В конце концов, когда выстрадаешь столько, сколько выстрадала я, не удивительно, что портится характер... Как грабят, на части рвут

хозяйство — сама видишь, а ведь Путнины — мое живое тело.. моя жизнь! Но я тебя спрашиваю не о том. Что ты, девушка, думаешь,— Анна поправила полотенце на голове, покосившись на дверь,— о... обо мне и Антоне?

— Вы — хозяйка, я,— Марите не сразу нашла для себя верное слово,— живу у вас... До этого жила у дядей, у тет. Я ничего не знаю.

— Скромность — редкое достоинство в наше время. Хорошо, что ты чувствуешь меру и расстояние. Не люблю нахалов и пройдох... Но — поверь, девушка! — перед тобой сидит не хозяйка Путниной, а, если угодно, твоя знакомая Анна Валдмане!

— Не знаю. В Вальгенае меня даже за девушку не считали — девчонка.— Она встала, и Анна почти силой усадила ее обратно.

— Смешно! Ты взрослая, вполне зрелая девушка. Скажи...— Анна отхлебнула холодный кофе, не ставя чашку, отпила еще.— Вот ты бы стала жить с таким старым хрычом? Невар не савус каулус панест... невар¹⁴. От него могилой несет.— Пробежавшая по лицу Валдмане дрожь передалась и Марите — опять увидела густо покрашенный гроб и сивый затылок в стружках.— Он уже много лет полуживой... Еще до войны, а пожар и вовсе доконал его. Ну а чего хотеть? Когда я вышла замуж, он уже как тень слонялся по Путнинам! Меня не спрашивали: хочешь или нет? Такое хозяйство! Сейчас мы погорельцы, все поля урезаны, машины реквизированы, но ты можешь представить, какое тут было хозяйство? Можешь? — Подумав, Марите кивнула, хотя полностью и не представляла; в ее родных местах молодые, но бедные невесты тоже выходили за имущих стариков.— Так вот, все мне долбили: старик ноги протянет, все твоим будет... Поля, скот, постройки! Я была мертвецу продана, а он... Он, пока в силах был, в постель лез... И дети от него родились, хоть никто этого не ждал. Кожа да кости... Видела гроб?

Марите вздрогнула. (Что, заметила, как я лазила на чердак? Аусма рассказала? Как не сказать, мамаша ведь, хоть готовы глаза друг другу выцарапать. Нет, с ними будь начеку!) Было неприятно, как будто снова разочаровалась в Аусме. Анна почувствовала холодок и перегнулась через стол, ее дыхание шевелило Марите волосы, казалось, рука с кольцом стучит по лбу.

— Женская доля — не девичьи мечты. Тебе странно? Ты думаешь: вот айтасгалва, с жиру бесится! Если бы ты знала...— Голос Анны лился глухо, словно за ночь отсырел от слез.— Спрячется Артур — носишься по дому, ищешь, а найдешь в гробу и думаешь: чтоб тебе однажды не встать оттуда! Страшно, да? И мне страшно, поверь.— Анна вытянула сильную руку, сжала запястье Марите.— Тогда бы мы с Антоном хоть поженились! Страшные у меня думы, да? Но ведь так, как сейчас, еще страшней... Или не страшней, скажи?

— Да я...

— Не выпущу, пока не скажешь! — Кольцо Валдмане больно врезалось в руку.

— Я скажу, но вы рассердитесь. Грех...

— Что — грех? Спать с Антоном?

— Грех. И что ждете, когда муж...

— ...издохнет? Ха! Нас переживет... А не грех, скажи, самому подыхать и живых мучить?

— Не знаю... Но нехорошо это...

— Нехорошо, говоришь? — Глаза Анны заблестели, наполнились клокочущей яростью.— А что люди друг друга режут — не грех? Все эти войны, пожары, грабеж чужого имущества — не грех? Ходит, задравши

¹⁴ Не может даже свои кости таскать... не может.

голову, такой праведник Эзеринь, а чью землю он пашет? Мою, путниньскую! Это что — не грех?

— Я пойду, хозяйка, коровы недоены, непоены...

— Иди.— Анну трясло от обиды и гнева.— По твоим глазам вижу, что ты все поняла, только не хочешь посочувствовать мне... Чужие грехи считаешь, но что-то я не замечала, чтобы ты молилась! — В последних словах Валдмане прозвучал упрек.

Не только руку до плеча — все тело студило холодное кольцо Валдмане. Даже сочувствуя хозяйке, желая поверить ее гнетущей откровенности, Марите все же не могла связать слова Анны с суровым обликом этой женщины, который запечатлелся в душе ее с самого начала и с каждым днем становится все грубее, жестче. (Если бы все это говорила другая женщина!.. С мягким, нежным взглядом, без такого толстого кольца... Если бы не пахло сигаретами, если бы не лепила их на край тарелки!) Валдмане была Валдмане, владелица большого хозяйства, как ни называй ее мысленно — Анна, хозяйка или сударыня, — и Марите не могла отделаться от ощущения, что даже своей вроде бы ошеломляющей откровенностью она что-то прикрывает. Может быть, еще более запутанное и постыдное. Но смелые слова Марите были сказаны недавно: грех, словно лежавший в земле камень, наконец вылез наружу и при дневном свете показался пускай и непростительным, но как будто бы менее страшным.

Рябили непросыхающие лужи; Имантовы голуби над пустыми полями да несколько колышущихся на ветру стеблей с побурелыми цветками напомнили о том, что сегодня суббота. Ожило веселое и грустное ожидание воскресенья, в котором почти наверняка разочаруешься, но что-то все же останется — может быть, память об этом ожидании. Где-то неподалеку должен был находиться костел, хоть и не было видно колокольни, — из Вальгеная сразу три виднелось. (Интересно, пустила бы хозяйка? Сама попрекает, что не молюсь... Валдманисы не столь набожны, как вальгенайские католики, но все же единоверцы.)

Марите не догадывалась, почему ей захотелось в костел: там в сводчатом храме под гуденье органа всегда ясно, что грех, а что нет; сбросишь у исповедальни свою ношу и выходишь легким шагом.

— Марите, какая радость! Собирайся! — По двору порхала веселая, сияющая Аусма, словно и ее вознаградили за вчерашнее унижение. — Угадай, куда мы с тобой поедем? Ты чего так смотришь?

Марите сама смущалась своего придиричьего взгляда, но глаз не отвела. Именно Аусмы и не хватало ей в покаянии Анны — этой лучистой Аусмы, чье личико меняется от солнца и тени, от сказанного и не сказанного слова; так внезапны эти перемены, что не успеваешь понять ее, каждый раз другую, не знаешь, что взбредет ей в голову через минуту. (Действительно была с Антанасом... или Валдмане из ревности? Ведь она мать, не стала бы чернить родную дочь. Но разве Аусма могла бы не стесняться смотреть в глаза, если бы?..)

— Скажи, ты сердишься на меня? Во вчерашнем я не виновата... Если ты думаешь, что это я, могу попросить прощения у тебя.

— Что ты, Аусма...

Марите покраснела, словно ее уличили в чем-то нехорошем: ведь она не так искала приметы коварства Валдмане, как улики против Аусмы, хоть утром и глядела на нее всепрощающим материнским взглядом. (Ведь бедняжка и так настрадалась... Ее, такую нежную, избалованную, таскали за волосы...)

— Чудесно, что ты не сердишься. Знаешь, почему я так радуюсь? Сегодня вечером мы с тобой поедем на танцы. Я сто лет не танцевала, простое танго забыла! — Она, покачиваясь из стороны в сторону, обняла

торчащие из навозной кучи вилы, с кудахтаньем разлетелись куры.— Чувствую себя как старая паралитика!

— Я хотела позвать тебя в костел...

— Чего я там не видела? Бабы, кадило и духотища! Ты очень набожная? Все литовцы — ярые католики, только Антон нет...

— И я не очень, но грехи у каждого есть. (Как старая бабка говорю — и не краснею. Почему я так стараюсь поучать ее? У нее есть мать, отец. К тому же и училась...)

— Не смей меня! Какие это грехи? Что значат наши, маленьких людишек, грехи перед всей этой резней? — Серьезность не шла к веселому Аусминому личику, как не шли бы очки. (Материны, не ее слова. Удивительно, до чего они иногда похожи!)

— Грех, Аусма, всегда грех.

— Не будь столетней старухой, Марите! Кругом все ходят хмурые, мрачные... Кто на политике помешался, кто на деньгах. Я хочу танцевать, порхать, веселиться! Разве это грех? Нет, нет, ты не станешь портить мне сегодняшний вечер, правда? — Аусма продолжала раскачиваться с вилами в руках, и Марите стало жаль ее.

— Какая я тебе подруга... Танцевать не умею.

— Подумаешь, наука! — Аусма ухватила за нее, готовая тут же обучить, дернула в одну, в другую сторону. — Ну не будь ты деревяшкой. Куда тебя ведут, туда и двигайся. С хорошим парнем не упадешь, не бойся! А если и упадешь... — Она хихикнула.

— Стыдно... с чужим в обнимку...

— Стыд не дым, глаза не ест! Я тебе говорила, что там будет один студент? Глаза синие, кудри как у барашка... Ойяр Фрейманис! Мы с ним вместе в университет поступали, ему удалось — была поддельная характеристика! Все девушки облизываются на него глядя. Он и прислал сказать, что сегодня танцы!

— Правда? — Марите обрадовалась, что Аусмин избранник существует на самом деле. (Есть он, есть! Все остальное — сплетни!) — Шла бы ты лучше без меня... Я вся воняю, и платья нет...

— Сударыня мама приводит в порядок старое свое платье! Не рваное, не грязное — будет как новое! И от меня воняет — не только от тебя! Этому паршивцу Иманту велим баню истопить — вот уж попаримся, весь пот сомоем! (От нее не воняет — просто понимает, что у меня кошки на душе скребут после вчерашнего хозяйкиного угощения... Аусма хорошая. От всего сердца сочувствует!) Не заступись я за его голубей, давно бы в печи испеклись. Ты когда-нибудь ела голубятину? Вкусно!

— Что ты! Нельзя... Грех! — вырвалось у Марите злополучное слово.

— Ха-ха! — Аусма весело воткнула вилы в навоз. — Ты еще не жила, а тебе везде грехи мерещатся. Когда же и танцевать, дурачиться, как не в молодости? Хватит, Марите, не будем терять время!

— Сударыня мама нас обеих отпускает? И сама платье чинит? — не могла надивиться Марите. (Должно быть, подлизаться хочет. Боится, что лишнего наболтала... Ну и подозрительна я стала!)

— Скройтесь с глаз, говорит, надоели со своими капризами! — Воспоминание о вчерашнем дне краской бросилось Аусме в лицо. — Что угодно я захочу, не станет мне запрещать! Педали крутить умеешь? Есть у нас на чердаке старый драндулет. Договорились?

Имант поплелся выносить из бани сало, принес дров. Марите натакала воды, усадьба ожила от курящегося над баней дыма. Когда девушки туда вошли, жар, казалось, сорвет крышу; можжевельный запах сала не исчез, живительно пахло березовым веником.

Шипели камни, клубы пара били в потолок, можно было ходить в полный рост — не то что в баньке тети Аугусте. По желобам с журча-

нием бежала мутная вода, смывая грязь и пот, а также чувство неравенства, униженности. Освободившись от разделяющей их одежды, разгоряченные и оттаявшие, они щебетали, соприкасаясь локтями, как две давно не видевшиеся подруги. С веселым хохотом окатили водой Иманта, который, пробравшись в сенцы, припал к щелястой дверке, — тот с воем выкатился наружу. Спина Марите была широкой и белела, как свежеспиленная доска, а у Аусмы — узкая, с выступающим гибким позвоночником, в клубах пара она извивалась, как уж, когда Марите терла ей лопатки мочалкой. Зато у Марите не было живота, а у Аусмы был — кругленький.

— Ты картошку не ешь, а животик! — Марите шлепнула по округлости.

— Скажи, очень большой? Уже видно?

— Что видно? — не сообразила Марите.

— Ну живот мой! — Аусма высоко вскинула локоть, откинулась назад и едва не съехала с намыленного полка.

— Да я пошутила, Аусма. На другую смотришь — толстушка, а разденется — одни кости. Ты же наоборот: в одежде тоньше.

— Тоньше, говоришь?

Аусма задумалась, поплескала в шайке шелестящей пеной. Хорошее настроение улетучилось вместе с паром, которого больше никто не поддавал. Неуютно выступили черные камни. Марите плеснула кувшин воды, чтобы их снова окутал белый сумрак. Раздалось шипенье, но в жидком облаке уже не было прежней беспечности.

— Послушай, Марите. — Аусма, схватив с подоконника маленькие ножницы, старательно стригла ногти. — У вас, ну в Литве, живот у девушки только от картошки растет? А так, ни с того ни с сего?

— От картошки, ст борща... Да, еще была у нас такая Антося, у нее в животе опухоль завелась, как бочку раздуло.

— Опухоль, опухоль! — сердито прервала Аусма. — Это редко бывает.

— А так чтобы ни с того ни с сего — не слышала. Правда, во время войны немцы в соседней деревне склад строили... И к одной девушке, Бимбилайте, инженер приходил молока выпить... Ну...

— Ну? — Аусма стиснула скользкое плечо Марите, глухо усмехнулась.

— ...бабы заметили однажды в бане, что она брюхата. А потом...

Марите чувствовала, как судорожно сжимаются пальцы на ее плече, голос задрожал, и эта дрожь передалась Аусме.

— А что было потом?

— Аист ребеночка принес.

— И все! — Аусма разочарованно разжала пальцы.

— А что еще могло быть? Маета с этим ребенком...

— Скучная старая сказка! — сердито отмахнулась Аусма, почему-то задсагая этим рассказом.

— А вот и не сказка, — заупрямилась Марите.

— Так что же?

— Грех!

Марите сама испугалась своего злого голоса. (Как будто обвинила Аусму, даже не дав ей оправдаться...)

— Да ну тебя, заладила, как темная бабка деревенская.

— Грех, и все тут. (Обвиняю, обвиняю всех... Так въелось это в меня — не могу... Понапрасну обвинить кого-либо — тоже грех. Дядя Куйнялис говорил. Не хочу я ни думать, ни говорить, как дядя!..)

— Ничего ты не понимаешь! Жила в своей глухомани... А в наше время все ушло вперед, например медицина!

Аусма захохотала и принялась отчаянно брызгаться; когда она, откинувшись назад, с силой била руками по воде и потом, когда приподмалась на цыпочки, обдавала себя с головы до ног, живота и в помине не было. (Почудился мне этот живот, нет у нее никакого живота! Я стала подозрительна, как старая баба...) Они брызгались еще долго, но Марите плескалась не так весело, как час назад, когда они только-только нырнули в душный сумрак, Аусма же — раздраженно, словно бы мстя за что-то. Вскоре девушки оделись — одна в скромное платьице, другая в нарядное, шелковое, — и настроение у Аусмы исправилось.

— Ох и потанцуем, Марите! Если только Антона дьявол не принесет...

Антанас не вернулся — так что им никто не помешал, — и они пока-тили, провожаемые скачущим за ними Имантом. Тот дурным голосом просил, чтобы и его взяли. Аусма ехала на новом велосипеде, Марите нажимала на педали старого самоката. Тропинка вилась по бывшим землям Путниней: мимо нахохленного гнезда Эзериня, где в окошке мелькнули приплюснутые детские лица (А может, то были не дети, может, подоконник был заставлен горшками?), мимо межи, на которой стоял крепкий пожилой мужик с седыми висками, он держал на веревке большого пса, ростом с жеребенка — придерживал, пока они мчались мимо, но ни слова не сказал, только чуть заметно кивнул непокрытой головой. (Кто это? Стоит одинокий и печальный, словно у кладбищенской ограды.) Марите спросила, но Аусма ничего, кроме имени и фамилии человека — Янис Силис, — ей не сообщила; мимо черневшего в сгущающемся сумраке частого ельника, который недавно принадлежал Валдманисам, а вот на рождество им даже елочку не придется здесь вырубить... Так объяснила, приостановившись и ломая ветку над головой, Аусма, но тут же снова нажала на педали и, напевая, понеслась вперед, она мало беспокоилась о бывшем богатстве в предвкушении такого вечера, когда там и сям вспыхивают огоньки, свежий воздух, словно комьями земли, бьет в грудь, а пригорки так ловко перекидывают тебя друг другу, что не замечаешь, как летишь под гору и как опять вымахиваешь на гребень. Кажется, бог знает куда бы унеслась, если б не плетущаяся на расхлябанном драндулете Марите; ее то и дело приходится поджидать, а когда сбавляешь скорость, становятся слышны собаки, чей лай надоедает и днем и ночью: Силисова овчарка, какой-то черный кудлатый пес, бросившийся под колеса, еще один, которого не видно, заперт в риге и лязгает цепью от злости; вот потянуло жареной картошкой, сосет палец ребенок, стоя на пороге темной избы, — не слышать, не думать, пусть провалится все, что напоминает Путнини, где вернувшийся Антон загребущими своими пальцами будет считать деньги!.. «Позеленеет, когда увидит, что меня нет... Вперед, только вперед, туда, где веселье!»

— Ради бога, Марите, быстрее!

— Задыхаюсь, Аусма... Кавалер подождет. Ты сегодня такая красивая!

— Какой кавалер? Что ты мелешь?

— Ну соседский Ойяр, кудрявый...

— А, ты про этого? Да я только пальцем поманю — целые вереницы кавалеров потянутся... Вперед!

— Лучше уж один, Аусма...

— Спасибо, старая няня... Я знаю, что тебе сто лет, да мне-то всего девятнадцать!

И понеслась стрелой.

Обрывки музыки доносились из-за высоких деревьев. Марите показалось, что они с Аусмой попали в лес, но это был всего лишь парк, когда-то густой, тенистый, а ныне сильно поредевший. Сломанные дубы,

громадные пни лип — две бомбы угодили прямо в замок, засыпав лужайки, клумбы щебнем и кирпичами. Да, недавно здесь было поместье, и какое — поставляли за границу не только свиней, но и лошадей; уже не на бричке или в санях, как кундзе¹⁵ Валдмане, — в легковом автомобиле разъезжала благородная прибалтийская немка die gnädige Frau¹⁶ фон Дитерих, чьи предки были захоронены в каменном склепе; девушки проезжали мимо развороченного склепа — днем рабочие мостили кусками гранита выщербленный воронками въезд в совхоз, тут же валялся брошенный инструмент.

— Скорей, Марите, скорей!

Не переливаются огни электрических гирлянд, как в тот раз, когда она, гимназистка Аусма, ехала на бал по приглашению мраморной блондинки — госпожи Марии фон Дитерих. Даже окна не светятся, зияют страшные дыры, но хрипло тарахтит моторчик в укромном уголке парка, возле каменных конюшен, и мерцает лампочка. И хорошо! Хватит света, чтобы потанцевать сбежавшейся молодежи, а если не будет слепить глаза — еще лучше.

— Это и есть твои танцы? — удивилась Марите.

Аусме было некогда объяснять — ее подхватило, закружило веселье. А Марите мешали освоиться вывороченные с корнем деревья парка. Впрочем, здесь похозяйничали не только бомбы — и пилы: на земле валялись знакомые вязы, ели, клены и какие-то невиданные деревья — со странными стволами и листьями. Марите чувствовала холодок, идущий от полуразрушенной белой каменной стены с кольцами коновязей — множество лошадей привязывали здесь, а в войну и пленных тоже, шепнула Аусма, прибежав перевести дух. Топот, давка, возгласы разгоряченных самогонкой парней... Все, как на той стороне, в Литве, только странно, что похабничают здесь не по-литовски. Куда больше понравилась Марите дорога: все новые и новые картины, воздуху — сколько влезет в легкие и Аусма, посвежевшая на ветру. Здесь же — сплошная давка.

Марите встала на подножку старой кареты. С каменным лицом следила, как бы чего не приключилось с Аусмой.

— Не веришь? Я каталась в этой карете! Да! — Аусма теребила своего долговязого партнера, которого одолевала дрема.

— Ну и что?

— Карета фон Дитерих, запряженная тремя лошадьми! И повсюду гербы... На подушечках, на дверцах кареты, на полости для ног!..

— Начхать мне на гербы! Ты тоже панской крови, а я вот захочу и чмокну тебя в губы...

— Петерис! Петерис!

Аусма выскочила из кареты, и ее перехватил следующий — Петерис, толстоносый, на две головы выше нее тракторист в пиджаке нараспашку. Когда они проносились мимо Марите, от Петериса шибало смесью пота и самогона. Входили и выходили, гремя винтовками, вооруженные молодые парни; приглашенные для охраны вечеринки, они слонялись, завистливо ворчали, мешая танцующим и музыканту, не жалевшему аккордеона.

— Эге, путниньская ягодка? Хороша, чертовка, хоть и кулачка!

К ней протискивался беловолосый паренек с оружием, позавчера навестивший их усадьбу. Петерис натянул ему на нос шапку, тот погрозил автоматом; тогда Петерис медвежьими лапами сгреб в охапку парня вместе с оружием и, как куль соломы, выкатил его за дверь.

— Свой своего? — донесся скрежет зубов.

¹⁵ Госпожа.

¹⁶ Милостивая государыня.

— Едем домой! Тут без драки не кончится! — Марите выудила Аусму из толпы и потащила прочь.

— Отстань! Еще веселей, когда дерутся. Боже, как мне весело! Почему ты такая старая?

Вырвалась и убежала, промелькнув в луче фонарика помятой ночной бабочкой. Петерис чиркнул спичкой, зажал в зубах папиросу, вторую сунул в рог Аусме, а Марите обступили подростки — притворяясь пьяными, они шатались по темным закоулкам, тиская робеющих девчат. Она еле отбилась, но не уходила, преследуя какую-то ей самой еще не ясную цель. Она все еще ждала. Не Аусму, которая как с цепи сорвалась, а обещанного Аусмой кавалера — кудрявого студента Фрейманиса. Камень с души упадет, когда увидит рядом с Аусмой вежливого, хорошо одетого, приглаженного юношу. Но был пьяный Петерис, высоко задиравший ноги, словно прыгал через забор, была ошалевшая, забывшая о приличии Аусма, не было лишь студента, который изящно поклонился бы, приглашая на расчищенный пятачок для танцев, и прищелкнул каблуками, проводив на место. Не было никакого кавалера, тем более жениха Ойяра, и развязная, с растрепанными волосами Аусма, видать, хорошенько хлебнувшая из той же бутылки, что и Петерис, уже ничем не напоминала вчерашнюю Аусму, которая, прислонившись спиной к зеркалу, беспомощно соскальзывает на пол... («Какой кавалер? Что ты мелешь?» Лгала! Есть только та правда, которой швыряли друг в друга мать и дочь, сцепившиеся из-за Антанаса? Ну и пусть... Кто она мне? Хозяйская дочка. Поеду!) Марите все подбивала себя ехать назад и все не ехала, преданно дожидаясь Аусму сначала возле танцующих, а потом под большой парковой акацией, у сваленных в кучу велосипедов. Озябла под чужой кофтой, той самой розовой кофточкой, которая была на Валдмане во время уборки картофеля. (Дура я... какие женихи... Ведь в бане она почти призналась... И смеялась так нехорошо...) Когда совсем уже собралась уехать, окончательно разочаровавшись в вечере, который так много обещал — пусть не ей! — а принес одну только горечь, подоспела, хватившись ее, Аусма. Прильнула к Марите, потная, скользкая и чужая.

— Ты осуждаешь меня, да, осуждаешь? — бормотала, пьяная, всклокоченная.

— Нет, Аусма, поехали домой.

— Чудачка! Ты езжай, если по коровам соскучилась, а я на велосипеде не усiju...

— Я тебя повезу. Поедем только, Аусма!

— Чудачка! Найдется кому везти... Только не говори Антону, слышишь? Если будет спрашивать, скажи — у двоюродной сестры ночую. Я тебя не познакомила с моей сестрой Милдой?

— Едем! — Марите старалась собрать ее разметавшиеся волосы.

— Чего я там не видела? Всю осень как в тюрьме... Нет, буду веселиться до упаду!

Появился парень, уже не Петерис, схватил Аусму и с пьяным хохотом потащил ее через двор.

С трудом катила Марите свой велосипед по направлению к Путниям. Когда приехала Аусма, она не слышала, но уже рассвело. Свет безжалостно бил с голубеющего неба. После завтрака, вместе с негреющим колючим солнцем, с потрескиванием первого ледка, наполнявшего воздух бодрящим холодом, объявился, распродав мясо, Антанас.

Он выскочил из обитого фанерой «газика» и, кинув что-то в машину, помахал шоферу. Вбежал на вершину холма, расстегнув кожанку и с трудом удерживая в охалке свертки, — будто не степенный мужчина, а подгулявший на ярмарке паренек. На миг прижался к столбу ворот,

потеря лбом о кирпич — то ли шапку поправил, то ли перевел дух, чтобы кожанка не хрустела на бурно вздымавшейся груди.

— Аусма! Анна! — крикнул радостно посреди двора.

Из свинарника показалась Марите с пустым коромыслом. Помахал и ей занятой рукой.

— Имант! Губную гармошку тебе привез. Попрытались все, как барсуки. Э-гей!

— Антон приехал! Антон!

Мимо Марите пронеслась Валдмане. Антанас едва успел бросить на приклеток покупки, Анна повисла у него на шее, поджав ноги, как резвая девочка. Не отрывая ее цепких рук, он покружился на месте, а женщина кричала: «Ай, пусти!» — но сама лишь крепче прижималась. Стоя в сторонке, Марите видела: Антанас доволен, что Анна верещит, что рада и ему и подарку, который тут же развернула жадными руками, — темно-синий блестящий отрез. Анна разругивалась, голос будто через цедилку пропустили — такой чистый.

— Антон, я так ждала, так ждала!

Антанасу, опьяненному дорогой, нравилось, как Имант, подпрыгивая, вытряхивает из гармоника слюну — вмиг напустил, — нравилось, как она, Марите, разглядывает узор дешевого платочка — у нее был только один, а ведь и постирать надо. Разве без него Путнини Маяс не как без рук? Даже старик, гревший кости на завалинке овина, и тот оживленно чмокает синими, как пиявки, губами — давненько не сосал такой мягкой мятной пастилки, а тут целую пачку получил. И все-таки в частом дыхании Антанаса, распространившего аромат «рижского бальзама», в блеске темных быстрых глаз, все еще заполненных Ригой с ее башнями, трамваями, водной гладью и спекулянтами, — во всем этом так и сквозило тоскливое беспокойство: вокруг него не скакала, не радовалась подаркам Аусма, хотя ей предназначены самые дорогие — ореховый шоколад, ковкая брошка и высокие сапожки на меху.

— Можно в кино, в театр, и сугробы не страшны! — нахваливал он сапожки. — Чуть шею не свернули, пока достал!

— Отличные сапожки, очень понравятся Аусме. — Анна вместо дочери гладила подарок, лишь бы подольше задержать Антанаса во дворе. — Только вот отдохнуть легла...

Освободившись от свертков, уже не чувствуя себя обязанным радоваться чужой радости, Антанас кинулся в дом большими шагами, за которыми можно было угадать и тоску, и злость, и какой-то страх. Все побежали следом, вдруг преисполнившись его нетерпением. Анна не успела удержать — припав к постели, Антанас обеими руками схватил свесившуюся голую руку.

— Что с тобой, Аусма? Заболела? — Он перестал трести руку и невидящими глазами вперился в Анну. — Она больна?

Голос Антанаса срывался, руки ощупывали девушку, которая не могла открыть глаза, боясь встретить колючий, горящий тревогой и жалостью взгляд, — окунуться в его уже нетаящую любовь, опаляющую даже на расстоянии. Аусма лежала не шевелясь, затаив дыхание, и Марите, научившаяся за эти несколько дней разбираться в ее настроениях, поняла, что девушка боится. Страх, животный страх лишил Аусму дара речи. Марите снова слышала ее пьяный шепот на забитом шатающимися парами дворе («Только не говори Антанасу, слышишь? Скажи... у двоюродной сестры...»). Страх и ей не давал открыть рта, хоть чем-нибудь нарушить гнетущее молчание, которое тревожило Антанаса.

— Что с тобой, милая? Хоть словечко скажи... одно словечко...

Его ладонь перескакивала с плеча на лоб, растирала гладкое бледное лицо, терялась в спутанных волосах; в конце концов Аусма не выдержала:

— Отстань, Антон, ты холодный, как жаба!

Потянувшись, вырвала по-детски тонкую руку из жестких, красных лапищ.

— Я думал — заболела... — Антанас мелко дрожал, еще не понимая, радоваться ему или печалиться.

— Кто же так дергает больную? Голова всю ночь болела, так болела... Только глаза сомкнула, а он с криком, с грохотом... — Аусма стучала зубами от страха, словно у нее и вправду был жар. — Лезет холодными лапами! Что тебе нужно?

— Ничего, совсем ничего, Аусма... Лишь бы ты была здорова. Я испугался — нигде тебя нет... Вот смотри, что тебе купил!

— Ну и прекрасно. Положи на кровать. Я после посмотрю. Спать хочу... чертовски!

Аусма нервно зевнула и хотела было отвернуться к черной стене шкафа, но вдруг Антанас схватил ее за плечо и с силой посадил. Одеяло соскользнуло, и Аусма взвизгнула от ужаса. Антанас растерянно огляделся, сначала ничего не видя, кроме мрачнейших, вытягивающихся лиц Валдманисов, но вот его взгляд остановился на стуле. Измятое выходное платье, кофточка на полу, розовая нижняя юбка, шелковый чулок... Он трясущимися руками схватил платье — от складок несло табаком и вином.

— Опять была на танцах? Гуляла? Убью, сука!

Антанас дернул стул, кофточка соскользнула на пол, а ножки стула уже царапнули о потолок, но взбешенный Антанас вряд ли видел беспомощно лепечущую, прикрывающуюся подушкой Аусму.

— Антон, опомнись! Ребеночка своего убьешь!.. — раздался глуховатый, но отчетливый голос хозяйки Путниной.

— Что? Что ты сказала?

Лоб Антанаса был мокрым от пота, как будто он держал на весу гигантскую тяжесть, мутная капля застряла посреди лба, потом скатилась по горбинке носа в усы.

— Ты должен был знать, Антон. Слава богу, что я успела. У меня язык онялся, когда ты...

— Ты не врешь, Анна? Почему раньше молчали?

Стул закачался в воздухе, трясущиеся руки осторожно опустили его, поставили без звука, словно это и был тот ребеночек, которого надо беречь.

— Я, мать, не знала, а когда она с ревом прибежала ко мне и все сказала, у меня в глазах потемнело... Думала: сквозь землю провалюсь! Чего уж там... Чего уж... Не будешь ведь на всю волость звонить, хвалиться! Такой позор на нашу голову, такой позор...

— Перестань чепуху болтать! — Антанас нетерпеливо отмахнулся от ее жалоб, чтобы ничто не заслоняло невольное вырвавшихся у Анны слов. — Лучше... лучше ты мне всю правду... Всю!

— Как перед господом богом, Антон! Правда... У нее спроси, если мне не веришь. Ты же знаешь: лучше бы я себе язык откусила, чем... Антон, Антон, что нам делать?

— Не вопи, Анна, говори мне всю правду. — Он топтался на месте, не смея двинуться дальше — еще не знал, куда положит правду, если это правда, не обман.

— Аусма, признайся по-хорошему! — потребовала Валдмане, зорко следя за лицом Антанаса; неуверенность, чуть ли не испуг, мелькнувший в его глазах, ободрили женщину. — Молчишь, потаскуха?

— Не ори, Анна! Аусма, эй, Аусма... Она правду сказала? Ну хоть кивни... — призывал он дрожащим, нетвердым голосом, на его лице отражались и растерянность и какая-то смутная надежда, еще не перешедшая в сознательное ожидание.

Спина Аусмы сотрясалась от всхлипываний, все прислушивались, словно это был не ее плач, а будущего нового в этом мире жителя, — и сомнения Антанаса таяли. Разинув рот, он ловил воздух, поскребывал щеки отросшими в дороге ногтями, потом нерешительно поглядел на мать и дочь, словно впервые заметив их удивительное сходство, почему-то захотел взглянуть и на себя, но зеркало занимала отразившаяся в нем во весь рост Марите, которая была ни жива ни мертва от страха.

— Вот как!.. Значит, она... Значит, я...—Его голос переломился где-то в горле, и все клокотавшие в его груди противоречивые чувства смыло удивление, постепенно превращавшееся в радость.— Почему вы скрывали от меня? Да если бы я знал, разве я... Тс-с, не орите, а ты спи, малышка, спи... Отдыхай, если устала, отдыхай. Эй вы, убирайтесь все! — Он сложил на стуле ее одежду, прихлопнул руками, которые тоже как бы ожили, налитые радостью.— Что у вас, дела нет на дворе? Эй вы, дайте поспать ей и ребеночку! Ну чего уставились?

Антанас затопал новыми сапогами с подковками, купленными в Риге, благодушно, будто после удавшейся нехитрой шутки, рассмеялся:

— Неужто я такой страшный, что вы полные штаны наложили? Человек, как все люди... Слыхали, даже сын у меня будет, как у людей!

Нетвердыми шагами подошел к буфету, нашел бутылку, стакан, налил почти доверху, высоко поднял и уставился на него, словно в чистой, варенной для себя и несколько раз перегнанной жидкости искрилось его будущее — весело и ярко, после стольких лет путаницы и, может быть, отчаяния.

— Как же мне сына назвать? — со стаканом в руках обратился он к Марите, еще не опомнившейся от одного страха и уже объятой другим, еще более жутким.

«Ребеночек», тут же превратившийся у Антанаса в «сына», перчеркнул все сомнения, которыми она пыталась отгородиться от постепенно созревавшей и вырисовывавшейся правды, от тех нечистых и сложных отношений, самое подходящее определение для которых — грех. То, что случилось, чувствовала она, неизменно и необратимо, оно, в свою очередь, перевернет вверх дном жизнь этих людей и, безусловно, ее собственную жизнь. Марите не удивилась, что в такой важный момент, на виду у жадно слушающих Валдманисов, разговор идет литовски.

— Чего глазами хлопаешь, Марите, чего? Как литовец литовку спрашиваю: хорошо будет Пятрасом? В честь дяди Куйнялиса... Не забыла своего дядю? Хорошее имя — половина доли! — Антанас пьяно покачнулся, не пригубив стакан.— Ну как — Пятрас?

Марите молчала, не зная, что думать и что сказать. (Ну и Антон!.. То с матерью, то с дочкой... Как животные, боже, как животные!.. А имя дай ему хорошее, самое лучшее, чистое...) Надо было возмущаться, негодовать, она и впрямь горела негодованием, как будто осквернили и предали ее собственную жизнь, но против воли было жалко Антанаса, который вовсе не был обижен — какое там! — только внезапно расчувствовался, вылупившись из жесткой своей скорлупы, делавшей его неуязвимым. Рядом валялись брошенные им свертки, свидетельствующие о неумной щедрости, от звуков его голоса, словно от ударов, вздрагивала Анна, кусала подушку освобожденная от мучительной тайны Аусма, однако Марите жалела сейчас только его, как вчера и позавчера жалела осунувшуюся Аусму.

— Марите и ты, Анна, идите сюда! Выпейте со мной! Ну, скорее! — Антанас не замечал, что кричит в тяжелой, недоброй тишине.— За Аусму... за сына! Да если бы я знал, я бы как ошпаренный прискакал из Риги... Зато денег!..— Вытащил пачку, помахал ею, словно собираясь

швырнуть в угол, и громко, самодовольно захохотал.— Анна, Марите, вы что не идете?

Аусма плакала, зарывшись в подушки.

Анны в доме уже не было. Марите жалась к двери. Антанас махнул рукой в пустоту и выпил один.

— Ведра, горшки не вымыты, а ты ошиваешься где не надо! — накинулась Анна на Марите во дворе, и было ясно, что не о посуде она заботится.— Теперь ты все знаешь... Не таращи глаза! Все знаешь и понимаешь! Если будешь послушной, не будешь языком трепать, не будешь совать нос в чужие дела, справлю тебе зимнее пальто... Будешь болтать — поверь слову Анны Валдмане! — не сносить головы тебе.— Она бросила окурок, растерла ногой и уставилась на нее недобрыми, царапающими глазами.— Мне больше нечего бояться, понимаешь, айтасгалва?

9

Угроза прозвучала и повисла в воздухе, точно коса, что покачивалась от ветра, дувшего в дверь овина; пока была трава, косой накашивали для коров две-три охапки сена; весной косой будет выбривать крапиву у заборов; если солнце заглядывало внутрь, косовище таяло в ярких лучах и зловеще блистало одно только остро наточенное лезвие. Когда их взгляды — хозяйки и Марите — скрещивались, казалось, лезвие позванивает, словно его коснулась чья-то рука. И в постукивании палки старого Артура, кружившего подле батрачки, Марите также слышалось предупреждение. (Одной ногой в гробу лежит, но все-то он знает, за всем следит... Да что там одной ногой — весь как есть в гробу, а туда же — вынюхивает! Что я им сделала плохого? Ничего! Думать мне никто не запретит...)

— Отойдите, мешаает только! — отмахивалась она от старика, словно от назойливо жужжащей мухи.

Марите чувствовала, как сама черствеет, и это пугало ее, точно грех, замолить который пока что была не в силах. (Это они меня обманули, особенно Аусма! Я к ней всем сердцем, а она морочила меня, кривила душой... Дочь своей мамочки!)

Жизнь, однако, шла своим чередом, хотя Марите казалось, что должна остановиться после страшных слов Анны, против которых Аусма так и не возразила. Долгая осень позволила почти все убрать; лишь там и сям торчали кочаны капусты; газета обещала снег не раньше рождества, и в Путниях стало полегче с работами. Тем более что поездка Антанаса оказалась прибыльной — Анна целый час считала и пересчитывала твердые, как подметки, пачки. Правда, была и не денежная радость, только какая-то сплюснутая, однобокая, словно копченая камбала, три кило которой Антанас привез из Риги. Собственно, никто не радовался, кроме него самого да, пожалуй, Иманта, всем осточертевшего со своей гнусавой гармоникой. Остальные молчали, плотно сжав губы и остерегаясь заразиться его хорошим настроением, как остерегаются тифа, и опять лишь Антанас не замечал, что и он и его радость, будто стеклянным сосудом, накрыты напряженной, неверной тишиной. По углам здесь стояли покрытые пылью банки, бочки высотой в человеческий рост, когда-то в них держали вино, в изобилии солили, мариновали, квасили, теперь же нашинкуют два бочонка капусты, и хватит. Было неприятно смотреть, как Антанас, вынув из-под стола бидончик с медом, ставил его перед валявшейся в постели Аусмой.

А еще неприятнее смотреть в такие минуты на Аусму, которая очень странно, как-то исподтишка, немигающими глазами, разглядывает его изборожденный морщинами лоб, тронутую сединой прядь волос, грубые пальцы с синеватыми ногтями — все то, что есть у него, и то, чего он

сам в себе не подозревает. Как бы очнувшись от глубокого сна или обморока, Аусма спешит опознать в нем частицу чего-то знакомого, обычного, опознать и поставить на привычное место, но не может — не находит ни его, ни своих привычных о нем представлений, а та, что валяется в постели, ей самой чужда и противна. Ее всю передергивает не только от прикосновения — от его присутствия. (Оттого, что насильно пичкают медом? Может быть, и так, а может, просто от вида Антанаса — такого заурядного и невзрачного без своих кожаных доспехов, пропахших дорожным ветром... Мысли твои, должно быть, страшные, Аусма, злые и страшные!..)

Марите, ошарашенной неожиданным «ребеночком», которого еще не было, но который уже занял свое место в жизни и с каждым днем все больше и больше расширял его, казалось, что Антанас в такие минуты добрый и старый: куда добрее, чем Антанас — сорвиголова и спекулянт, погрязший в грехах, но в то же время гораздо старше себя, немолодого, еще не перевалившего за сорок мужчину. Она спешила отвернуться, лишь бы не видеть, как он, покряхтывая, несуразно большой ложкой скребет в бидоне и затем облизывает липкие от меда пальцы. Боялась, что ее возмущенные, удивленные и жалеющие глаза могут изобличить Антанаса, неожиданно размякшего, расслабленного. (Разве бдительная Анна не замечает, каким он стал? Даже Аусма и та будто видит его насквозь. А он — неужели он так и не прозреет, пока не уткнется лбом в стену? Только как бы не поздно было...)

Что именно может быть поздно, Марите не знала, ей и без того было страшно, ничего страшней уже не могла себе представить. А надежда, поселившаяся в сердце Антанаса, пробившая жесткую, запекшуюся кору, все распускалась, точно поздний цветок, не боящийся капризов погоды. Что бы ни делал, за какую бы работу ни брался, он не забывал, что является лишь ничтожным отголоском своего счастья. Радостный огонек плясал там, где была Аусма, и ему постоянно хотелось греться у самого пламени — только оно, обжигая, поможет Антанасу преодолеть сомнения, которые грызли и мучили его, несмотря на постоянную одержимость. Вдруг он начинал прислушиваться, приглядываться, переминался с ноги на ногу не в силах решить, сразу мчаться к ней или потом, и вот уже, все бросив, вваливается в комнату, где Аусма встретит его милой улыбкой или недовольной гримасой.

— Скажи, это правда? Уже шевелится, шельмец?

Топтался вокруг Аусмы могучий и бессильный, обезоруженный надеждой; то тянул дрожащую ладонь, то отдергивал ее от незаметно полнеющей под одеждой Аусмы.

— Отстань, дурак! Будет грязными лапами хватать...

Он отойдет, а потом забудется и опять заводит:

— Брыкается? Мой характер, а?

— Возьми нож, разрежь да посмотри! — Аусма наотмашь бьет по рукам, по расплывшемуся в улыбке потному лицу, и он, опомнившись, выскакивает за дверь, чтобы, остыв на дворе, встревожиться, а потом снова допекать ее своей нежностью, дурным, не знающим границ мужским любопытством.

Аусма распустилась, перестала причесывать блестящие, словно позолоченные волосы, не следила за ногтями, почти не мылась. Накинув поверх ночной сорочки теплый материн халат, слонялась по дому, застревая то у одного, то у другого окна. Она боялась теперь пространства, солнца и, должно быть, воспоминаний, выглядывавших из-за деревьев, из-за поворота дороги, из-за серой ленты горизонта. Потускневшая, как плохо протертое стекло, с недоеденным куском во рту, Аусма все равно сияла для Антанаса, и, убедившись в этом, она делала что хотела. Однажды вытащила груды старых нарядов; словно репетируя

представление, принялась вертеться перед зеркалом в ставших тесными блузках и платьях, потом закуталась в платки, в облезлые меховые воротники и сидела не шевелясь, пока черты ее лица не растаяли в сумерках. (Ждет чуда? Но какого? Хотела бы в самом деле исчезнуть?) Аусма удивлялась самой себе, удивлялась умирающим своим отражениям и тому, что возрождается такой же, какой была, в глаза Антанаса, которые схватили и крепко держат ее, не давая исчезнуть,— уж и не знала, как измываться над ним за эту верность.

— Аусма, ты почему не двигаешься? Вредно. Займись каким-нибудь нетрудным делом... Вышивай, что ли! — миролюбиво упрасивал нарочно приглушенный голос Антанаса.

— Как же я буду вышивать, если нитки куда-то запропастились! Может, под кроватью?

Антанас тут же опустился на четвереньки, стал ползать, ударяясь головой о перекладины матраца. Наконец встал, неуклюжий, с виноватым выражением лица.

— Не могу найти, Аусма. Может, под маминной кроватью? Погоди, я поищу...

— Ну да, найдешь там, если они здесь! — Аусма схватила со столика отделанную перламутром шкатулку и ткнула ему в лицо.

Антанас потемнел, втянул голову в плечи, казалось, вот-вот вылетит искра, как из кремня, по которому ударили кресалом, но еще не высеченную искру погасил Аусмин хохот, в нем было и милое извинение, и легкий испуг, и неисчезнувшая ребячливость.

— Хо-хо-хо! — гоготал и Антанас. — Нитки тут, а я, дурак, носом по полу вожу.

Когда такие выходки учащались — Аусма оправдывалась тем, что это-де связано с беременностью, — Валдмане, потеряв терпение, начинала кричать на дочку; Антанас становился на сторону Аусмы.

— Никому не дам тебя в обиду, даже Анне. Пусть не думает, что может тебя шпынять! — подлаживался он после подобных стычек к Аусме, съезжившейся, словно только что прогремел гром и сейчас должна блеснуть молния; ведь неизвестно, когда и в кого ударит. — Ты мне родишь сына, правда?

Ни малейшим движением не отвечала Аусма, будто не понимая, чего от нее хотят, но повернутое в сторону лицо, искаженное и дрожащее, яростно отказывало Антанасу в его великой надежде.

— Щенка тебе рожу, не сына! — бросила она однажды, когда Антанас прибежал к ней перепачканный землей, запыхавшийся, беспричинно улыбаясь до ушей. Ему показалось, что погода разгулялась — хотел выманить Аусму на улицу.

— Что? Щенка — мне? Щенка — не сына? — вырывал он из себя по слову, словно каждое изнутри душило его. — Повтори!

Тяжелые кулаки Антанаса сжимались, подымались, еще мгновение — и обрушатся черными гирями на узкие плечи Аусмы, раскрошат ее фарфоровое личико, а золотисто-блестящий оттенок волос смешается с густо-красным.

— Не шути так со мной! — громко попросил он, сам ужаснувшись, но еще владея собой. Открыл рот что-то сказать, но губы и трясущийся клок усов не слушались; Антанас вылетел за дверь, и было видно, как он кружит возле овина — крупными шагами, почти бегом, словно свай, вгоняя в землю боль, отчаяние, бешенство, все, что успел и не успел понять, чего, быть может, так никогда и не поймет до конца. Добрых полчаса топтался он по кругу, подавляя страшную муку и то еще более страшное, что могли наделать его кулаки.

— Убьет он тебя когда-нибудь! Ты видишь, какой он! — раскричалась Валдмане.

Придя в себя, притихла и Аусма, сначала весело наблюдавшая через окно за взбешенным Антанасом.

— А тебе какое дело — только радовалась бы! — устало и раздраженно пробурчала она: начала смутно догадываться, какую бурю подняла своим неосторожным словом.

— Так-то ты меня благодаришь? Я всем для тебя пожертвовала... Всем, чем может пожертвовать женщина...

— Ты моя мать, кажется?

— Слишком поздно вспомнила.

— Это ты слишком поздно...

— Молчи! А то я тебя убью, не придется Антанасу рук марать! — Валдмане вдруг спохватилась: — И это пугало здесь? Ты чего отираешься под дверь? Шпионишь? Ничего нового, как видишь... Тебя он не тронет — не бойся. Иди позови на ужин.

— Дядя Антанас, ужинать...

Он тяжело дышал и вздрагивал, как загнанная лошадь, пришлось дотронуться до его локтя.

— А? Что?

— Хозяйка зовет...

— А Аусма, как там Аусма? Не очень испугалась? Не повредит ей? — спрашивал Антанас, будто он уже успел умчаться далеко и вернуться.

— Ничего... Разговаривает с матерью...

— Разговаривает? Это хорошо, хорошо... Я сейчас!

За ужином Аусма не дурачилась, и Антанас понемногу оттаял, даже повеселел, словно самое тяжелое было уже позади, а Путнини Маяс превратились в безопасную пристань, где не хватает только смеха младенца. Ничего не хотел ни видеть, ни слышать — только Аусму, сколько бы та ни привередничала! — но считал себя зорким и внимательным как никогда, издали чующим любое посягательство на их с Аусмой будущее.

— Ты чего куксишься, Анна? — На другой день во время завтрака его голос звучал спокойно и уверенно, словно за ночь он обдумал все до последней мелочи. Аусмы не было за столом, Анна молчала, последнее время разговоры и начинал и кончал Антанас — не выносил тишину, ненавидел ее, как врага. Он чувствовал удовлетворение оттого, что может говорить без злобы и раздражения. — Насчет Аусмы, говорю тебе, не горюй... Не брошу с незаконнорожденным... Не такой я человек, чтобы бросить! — Он убеждал Анну, которая, казалось Марите, в том нисколько не сомневалась. — Попомни мое слово, Анна... Женюсь честь по чести... Заодно уж попляшем и на свадьбе и на крестинах! Дешевле получится, а?

От Анны веяло ледяным равнодушием, и было странно, что Антанас этого не замечает. Марите потрясало деланное спокойствие Валдмане, изредка вырывавшийся вздох должен был означать тяжкий, но все прощающий укор.

— Ну что же ты молчишь? — не унимался Антанас. — Скажи хоть что-нибудь...

— А наша любовь? — Она вспыхнула, в глазах загорелись злые огоньки.

— Пролитую воду не зачерпнешь. Что было между нами, то было! — Он поспешил загасить огоньки, чтобы не разгорелись, не превратили в пепел и согласие их и все его замыслы. — Теперь иная песня. Ребенок, сын — сама понимаешь, Анна.

— Ах, Антон. — Она покачала головой, будто давно уже отказавшись от своих прав. (Так легко и просто? Нет, не может быть! Хитрит же!..) — Какая мать не желает счастья своей дочери?

— Ну да, конечно! Ты же мать!

Он обрадовался, словно до сих пор не знал этого и вдруг получил то ли новый аргумент в споре с Анной, то ли новое доказательство своей правоты перед всем миром, а Марите угнетали страшные эти речи, и не только речи. (Как они смеют разговаривать друг с другом за едой или делая в четыре руки какую-нибудь работу? Пусть ругаются, ссорятся — все будет лучше, чем так!) На душе было тревожно, нарастал страх за этого сильного, ловкого мужчину, который теперь часто застывал столбом среди бела дня, даже не чувствуя, на чем стоит. (Не такая женщина Валдмане, чтобы все легко забыть, отказаться от того, что принадлежало ей... Ох, не такая!) Опасалась Марите и за Аусму, которая хоть и горько разочаровала ее, однако вовсе не думала каяться, то изображая маленькую, играющую в куклы девочку, то раздражаясь непристойной бранью, как настоящая блудница. Марите переживала за обоих, но сочувствовала и жалела каждого по отдельности, ибо то, что сблизило их и в будущем могло связать еще крепче, безысходно утонуло в грехе.

Белянку схватило в полдень, после всех сроков, отмеченных Антанасом в старом календаре; уже вечерело и смеркалось, а она все никак не могла разродиться. Сама бурая, а морда словно в белой краске или в густой сметане, она мелко дрожала, и казалось, будто из больших с поволокой глаз капая слезы, сбегая по гладкому переносью. Марите устроилась рядом на лежащем бидоне, засунула ноги в солому и дремала, то и дело просыпаясь от почти человеческих вздохов Белянки. Ездивший за ветеринаром Имант вернулся ни с чем, в другое время Валдмане всем задала бы жару за корову — двадцать пять литров, пятипроцентной жирности, и всего на третьем отеле! — а теперь постояла с сигаретой в зубах и ничего не сказала. (Что это с ней? Не жалеет лучшей своей коровы?) Марите чувствовала себя одинокой и слишком слабой. Встала, хотела побежать за кем-нибудь, но услышала, как у дверей кто-то скребется. (Хорошо, что хотя бы старик... Все-таки живая душа. Небось знает что и как...) Он держался у порога, но близость человека успокаивала, и Марите снова прилегла. Когда приоткрыла тяжелые веки, Валдманис по-прежнему был здесь.

— Уходите, уходите! — Марите замахала руками; старик смотрел не на мучающуюся корову — на косу у двери.

— Что такое, что такое?

Ей показалось, что он даже рукой касается лезвия.

— Убирайтесь! А не то позову Антона! — Она встала, с грохотом поставила бидон.

Старик, что-то пробормотав, подчинился, правда далеко не ушел — кружил поблизости, как в первые вечера, когда не доверял новенькой. Беззвучные шаги отдавались в голове — палка не стучала по оттаявшей земле, и Марите не сомневалась, что Валдманис подстерегает последний взбрык коровы, чтобы успеть подсунуть косу ей под горло. (Что я несу! Бедный старик, вставший из гроба... Но он смотрел на косу, и глаза у него были такие... Сроду не видывала более странных хозяев. Свалили все хлопоты на батрачку, а сами и в ус не дуют!)

По двору шел Антанас — узнала по торопливым шагам, — перед ним бежал луч фонаря. Широко распахнул дверь, словно вместе с ним должно было ворваться много воздуха и света. От свалившейся на него радости ожидания — другого, не этого! — ослабел и осунулся, словно разжалась в нем какая-то туго закрученная пружина. Обрадовавшись его появлению, Марите не сразу заметила, что он сбрил усы.

— Я так боялась, — призналась она, глубоко вздохнув; ведь старалась не дышать громко. Окончательно успокоиться мешала голая и поэтому странно выпирающая верхняя губа Антанаса.

— Ну вот еще. Никогда не видела, что ли?

— Все равно страшно... Ложится, встает — и ничего.

— Терпение, девушка! У меня на скотину легкая рука... Ты бы видела, каким я Каштана привел! А теперь что, плохой конь?

Упоминание о Каштане почему-то заставило ее прислушаться — не подалеку все еще бродил старый Валдманис. (Может, оно и так, может, и легкая была рука... пока усы не сбрил!) Марите беспокоилась так, словно только от усов, а не от его опыта и уверенности в себе зависит то, как кончатся и эта и другие тревожные ночи.

— Старайся, старайся, милая.— Антанас почесал белый плюшевый лоб коровы.— Потом мы тебе поможем. Все будет хорошо — подна-тужься.

Он перевернул ведро, щелкнул по вдавленному дну, осмотрел его и снова сел.

— Трудно появляется жизнь.— Его глаза остановились на фонаре, который Марите поставила на землю; раскачивалась провисшая от тепла паутина.— Ишь, как Белянка мается. Белянкой ты ее называешь, да? А в чем ее вина — безгрешной, всех питающей твари? А в чем вина человека, а? Ты еще молодая, Марите, не представляешь, сколько человек за свою жизнь натерпится. С кровью является на свет и всю жизнь в грязи, в крови мыкается... Кому повезет, тот выберется туда, где сухо, чисто, где его никто не топчет и он никого... А кому не повезет, тот до смерти не выкарабкается... Ну в чем же вина человека? Голый, глупый рождается на свет... Слабее теленочка новорожденного — даже на ноги встать не может. Только-только подыметесь — и бац по голове!

— Белянка сильная.— Марите сказала бы что-нибудь другое, но не нашла слов.

— Сильная — выдержит! — Антанас улыбнулся жалкой безусой улыбкой, как будто это слабое ободрение помогло приподняться ему самому.— Человека в бараний рог скрути, по шею в землю зарой — он все равно брыкается... На фронте, бывало, думаешь: конец, подлая мина прямо в тебя летит со свистом... Скорчился, зарылся, не дышишь — мимо! Вот и теперь... Думал, уже всему конец, как паклей облип ты, Антанас... Себя возненавидел... Казалось, возьму и запорю себя навозными вилами... Сам себя запорю или кто другой меня... Видишь ведь — нехорошо я жил, а как обернулось, а? К лучшему! Такая радость, такое счастье... Сын!

Марите было неловко, что он рассуждает о еще не родившемся на свет возле Белянки, которая так мучается, а сам трогательный, беспомощный — уж лучше бы кричал, ругался. (Почему он сбрил усы, почему? Помолодеть вздумал или Аусма велела? Ей всякие прихоти лезут в голову, он все под носом гладит — что, и ему неловко?)

— Ты понимаешь, что я тебе долблю?

Он вряд ли видел Марите — только зигзаги своей жизни, которые мысленно выпрямлял, сглаживал, поворачиваясь к свету, полный веры в нечто неуловимое, но существующее, что согревает и проясняет, как этот свет. Не переставая говорить, тыльной стороной ладони гладил круп Белянки, подбадривая ее перед последним усилием.

— Думаешь, я верил Анне, что, дескать, вернутся еще Ульманисовы порядки? Плевать мне на разных освободителей... Не стану отказываться: было время, когда она мне кружила голову — ходил и ног под собой не чувал... Давно это началось. Я тогда был молод, горяч, она, хозяйка, будто печь, натопленная березовыми поленьями... Муж — трухлявый пень... Как влип я, так уже и не вырвался. По привычке ли, из жалости или от жадности — сам не знаю, все никак не решался уйти. Голова в раю, задница в гаю! Вот так и со мной было. Осточертело все, и еще этот гроб перед глазами... Во время пожара я его своими руками вынес... Все равно уйти собирался и — ушел... Людей на фронт брали, ну и меня

забрали — подумали, что я моложе, дескать, подделал метрику... Вообще я молодо выглядел — седина потом уже пробилась... А я не очень-то и отбивался. Не спорил: думал, одним махом разделаюсь... На фронте недолго пробыл — тяжелое ранение, Анна нашла меня, привезла, с ложечки кормила... А у меня, кроме медали, шинели да раны, ничего не было — ну и опять остался. Этакое хозяйство, а в Риге за кусок мяса деньги не считая суют! Понимаешь? (Это Марите было нетрудно понять: хозяйство, земля, люди из-за межи друг друга убивают, а тут такое поместье!) Молодость я на Путнини положил, лучшие свои годы... Ты же сама батрачка — знаешь. Сообразил, что ежели делить будут, то мне как батраку да фронтовику и участок и инвентарь... Так оно и вышло, а только Анна не отстает: все твое, хозяйничай, одна погибну, бери все... Я и надсаживался! Теперь хватит — сыт по горло, а с Анной мы квиты! — Антанас говорил не очень связно, через многое перескакивал, словно через изгородь или канаву, ему-то все было ясно. Марите же с трудом разбирала, где его прошлое, где настоящее или будущее, а рука Антанаса все мяла и мяла выпирающий бок Белянки. — Разве мало всякого добра я Анне сколотил? И до пожара и после. Пропади оно все пропадом! Вот этот овин разве не я сложил? На голом месте... Скотину не я выходил? Все здесь мое, мое! Кто их от Сибири спас? Я! — По его лицу, передергивавшемуся от воспоминаний, раскрасневшемуся от надежды и решимости, проплыла горделивая улыбка; не одобряя все зигзаги и скачки его жизни, Марите все же была довольна, что он знает себе цену. — Чего улыбаешься? Смешной дядька, и только?

— Нет. Иногда хороший, вот как сейчас, а иногда...

— ...злой, жестокий? Режь правду в глаза, режь! Хорошего, тихого здесь бы с костями сожрали — и на холодец не осталось бы... А я, вишь, не поддаюсь. И поорать люблю — так веселее жить! Славно, когда я дома?

— Славно, дядя Антанас...

— Неужели я такой старый, что ты меня все дядей кличешь? — Он вдруг всполошился, словно это было важнее всех невзгод, которые выпали на его долю.

— Не старый вы и говорите хорошо. (Только усы не надо было сбривать, дядя Антанас, уступать не следовало.)

— Говорить умею, это верно, — похвалился, как мальчишка. — Кто живет у границы, того язык кормит. С малых лет жожу по именьям... Если надо, объяснюсь по-немецки, по-польски, в армии и по-русски научился... Теперь я знаю, чего мне все время хотелось. — Мучительный вздох Белянки вернул мысли Антанаса в прежнюю колею. — Сына, Пятраса! Петра Антоновича, как сказал бы мой бывший старшина. Вот будем так же когда-нибудь сидеть — он раз ко мне на колени и давай в рот заглядывать, как лошади, железный зуб смотреть... Тоже, что ни говори, чудо! Я ему не такие чудеса покажу! Сигулду, Ригу, родную Литву... Пятрас, может, иначе жить будет, не так, как я, — по-человечески! Родим и уйдем втроем! — Антанас говорил так, будто и он собирается рожать, терпеть родовые муки, и это было не смешно — трогательно. — В ту же Ригу — город большой, красивый, там завод на заводе. Или в Литву. Что-то на родимую сторонку стало тянуть... Ты не скучаешь?

— Хоть и скучаю, а в Вальгенай не вернусь. — Марите сама не заметила, как сказала вслух то, что мельком всплывало среди прочих забот, а когда сказала, на нее вдруг напала странная тоска: по Вальгенаю не по Вальгенаю, а скорее по такой жизни, которую могла бы определять она сама — не чужие люди — и потом когда-нибудь спокойно вспоминать об этой жизни.

— Там тебе не сахар! — Антанаса и сейчас волновала не Марите — она не обижалась на это, — а лишь великий его замысел, который вдруг

родился или, неразгаданный, тлел, как уголек под пеплом.— В Литву хоть завтра... Не устроюсь в своем краю — тоже не беда. Подамся на шахты или в Карелию... Говорят, в тамошних лесах не щепки — рубли летают. Всюду найдется работа для мужчины в расцвете сил! Анне, смотри, ни гу-гу... Не маленькая — понимаешь. Еще неизвестно, что ей может ударить в голову... Задел я ее за живое — вижу. Будешь молчать, так я тебе за это...

— Ничего мне не надо, дядя Антанас! — Марите старалась не быть обязанной — еще глубже затянет в грешный омут. Без всякого понуждения, подавши грустной теплоте слов Антанаса, она постепенно скользила к той грани, за которой уже принимаешь на себя чужую вину.

— Как это не надо, ты же голая, босая?

— Заплатите за работу, вот и не буду голой!

— Еще и лишку прибавлю, только бы все по-хорошему кончилось.

Снаружи у самой двери что-то стукнуло. Антанас вскочил, прислушался, вытянув шею.

— Тьфу, чтоб ему.— Антанаса передернуло.— Старик шатается. А мне почудилось... Так вот, говорю, и лишку не пожалею!

Не стал обяснять, что ему почудилось; Марите обожгла догадка, что Антанас предвещает и другую опасность, грозную, неотвратимую, которой он не в силах противостоять и поэтому пытается умиловить судьбу добротой и щедростью.

— Когда втроем будем, это не то что один,— утешал он себя, прислушиваясь одним ухом к сопению Беянки, а другим — ко двору, который наполнился угрожающей тишиной.— Ну, что ты думаешь, Марите?

— О чем? — Марите сделала вид, что не поняла.

— Ну обо мне, об Аусме... Вы с ней вроде дружите!

— Теперь уже нет. Не замечает меня...

— Не обращай внимания! Мало ли что взбредет беременной... Так что ты о нас думаешь?

— Не знаю что и думать.— Антанас недовольно поморщился, и она решилась: — А Аусма вас... она?..

— Ну чего замаялась? Любит ли меня, так? Шут знает! — Он пошевелился, забыв о тишине снаружи.— Иногда мне кажется — да, иногда — нет. Не поймешь, когда она всерьез говорит, а когда дразнится, играет... Не важно! — Он так хватил себя кулаком по колену, что даже что-то хрустнуло.— Потом полюбит. Ребенок, семья — это не шуточки. Полюбит, когда дурь из головы выветрится! Я ведь не старик, не инвалид — мужчина ого-го! В лепешку расшибусь, но все у нее будет. Что я, лодырь какой-нибудь? Как за каменной стеной укроется с ребеночком! Нет, со мною, девушка, она горя не будет знать. Что еще нужно женщине? Полюбит, когда дурь-то выветрится! — повторил он и поглядел на Марите подозрительно блеснувшими глазами.— Ты это сама болтаешь или она тебе что-то говорила?

— Сама, сама я.— Марите уже жалела, что задала вопрос. (Ошалел... Вконец ошалел!)

Он так уверовал в свою правоту, что почти нельзя было не верить в нее, но и признать ее было трудно, словно одобрить воровство какое-то, даже если воруют хлеб, чтобы утолить голод.

— Ничего, все будет хорошо.— Антанас обнял колени, покачался вместе с ведром — решил, что Марите одобряет его, хоть та молчала.— Человек человеку должен сочувствовать. Глядишь, и твой дядя Куйнялис цел будет... Такой хороший человек — и чтобы пропал? — Озаренный будущим своим счастьем, Антанас искренне желал, чтобы все были счастливы, а если не все, то хотя бы эта трудолюбивая девушка и ее праведник дядя.

Теленок уже шел, но задом. Оборвав разговор, Антанас засучил рукава и ухватился за копытистые ножки, одна из которых торчала кверху, другая свисала книзу, словно топорик. Затянул ремешок и, прихорюпавшись к потугам Белянки, дернул.

— Я ведь говорил, Марите, а ты все охала!

Белянка уже облизывала лежавшего на соломе теленка, белолобого, как и она, от грубых прикосновений ее языка дрожал бок теленка со слипшимися волосами, а в вылизанном глазу светился фонарь.

— Красавчик! — Марите, опустившись на колени, прижимала к своей шее влажную мордочку и, счастливая, глядела на Антанаса в полном восторге от его сноровки и силы. (Одна бы я не справилась... Задохнулся бы красавчик!)

— Ну что я тебе говорил, а? — Антанас вытирал испарину со лба. С веселой вестью побегал в дом. Заойкала Аусма, которую Антанас силой потащил в овин, сначала она боялась открыть глаза, кричала, что не хочет смотреть на кровь, а потом принялась гладить, целовать малыша.

— Бедненький беломордик... Тебя зарежут! — И она расплакалась, будто жалела не его — свою ношу, которую неизвестно как выносит.

Пока Аусма хлюпала носом, было решено теленка подкормить на мясо — сдать в счет поставок будущего года. Так предложила Анна, которая, видимо, не рассчитывала на счастливый исход и заранее простилась с лучшей своей коровой; Антанас радостно поддержал ее, усмотрев, должно быть, и в этом благоприятный знак судьбы. Аусма хлопала в ладоши, растроганная всеобщей добротой, и несколько дней подряд ни свет ни заря прибегала в овин. Теленок уже знал цвет молока и лизал белые полы ее халата, руки, щеки, даже волосы. Аусма любила смотреть, как он спит — словно ребенок, склонив голову и подогнув ножки; он тепло посапывал, и вздымался его бурый запавший бочок. Ей хотелось поносить его на руках. Антанас запрещал, и Аусма капризно шмыгала носом и поглядывала, как солнышко из-за тучки, которая не совсем заслоняет свет, но и не уходит. Марите последнее время больше сочувствовала Антанасу, готовясь отпустить ему грехи, в которых он погряз, а тут снова потянулась к Аусме. На ней построены планы и намерения Антанаса, на нее возложены его надежды, ну а что же она? Себя не понимает, тем более других, которые борются за нее и тянут ее куда-то. (Как она будет жить, бедняжка? Как вынесет все, если из-за рождения крепкого, здорового теленка такие слезы?)

Конечно, в большом хозяйстве теленок не в диковинку, но радость Антанаса не испарилась и после той ночи: куда бы он ни шел, зайдет посмотреть, как беломордик сосет мать. Анна хотела отлучить теленка от вымени — так в Путнинях делали издавна, — Антанас не позволил. Покачиваясь на тоненьких ножках, теленок тыкался мокрым носом в задубевшую, пахнущую хлебом ладонь Антанаса и чихал.

— Бойкий! — хвалил Антанас теленка, начинавшего иногда мычать густым голоском, и кого ни встретит, тащил в овин, как будто жирный, лоснящийся длинноножка свидетельствовал не о доброй породе, а о чем-то ином и сулил хозяевам не только хозяйственные удачи. Поэтому Антанас обрадовался, когда полями пришел к ним в сопровождении овчарки Янис Силис. Путниньские собачонки, куры, гуси, индюки подняли страшный шум, но ни сам Силис — высокий, прямой, густые седые волосы на ветру! — ни его овчарка с обвислыми, тяжелыми, как подметки, ушами не обращали на них внимания.

— Красавец! — Янис не выдержал, чтобы не погладить лоб беломордика. — Жаль, не телочка. А то просил бы продать. Моя-то меньше козы дает...

Долго стоял Силис, как в тот раз, на меже, когда Марите и Аусма мчались мимо; теленок подпрыгивал, тыкался белым лбом в коровье вымя.

— Весной приходи, Янис. У нас и остальные неплохи.

— С чего им плохими быть. Летом на клевере, зимой муки не жалееете...

— Корове дашь — и она даст...

— Да, да. Ну, с богом, Антон!

Давненько этот человек не называл его по имени, и Антанас засуетился.

— Может, зайдешь, Янис? Выпьем по рюмочке... Ветер насквозь пробирает. Анна, смотри, какой гость!

Анна выбежала с голыми, перепачканными мукой руками — катала тесто.

— Милости просим, — пропела она, завидев гостя, который прежде стороной обходил Путнины. — И молозиво свежее... Только что же ты, Силис, долго спал? О хорошем приплоде надо было заботиться, пока твой Валдис еще с винтовкой бегал. (Валдиса Силиса весной убили лесовики, это Марите уже знала.) Он бы у хозяев отнял и тебе привел.

— Анна! — Антанас почернел.

— А что я сказала? Ну пошли, мужчины, пока молозиво не остыло.

Что, уже и пошутить нельзя?

— Анна, замолчи! — гаркнул Антанас.

— Чего мне в своем доме молчать? Слава богу, по-латышски говорить еще не запрещено! А ты, Антон, не ори на меня, как на батрачку... Я здесь хозяйка, не забудь! Силис не такой горячий, как ты...

— Да, да, будем умнее рассерженной женщины. — Силис схватил подымающую руку Антанаса и тут же резко дернул за поводок — пес повис в воздухе в одном верхке от груди Валдмане; та, вскрикнув, отскочила. — Послушайте... Валдис, когда вот такой еще был, — Силис протянул руку к теленку, — принес однажды растрепанную книжонку. Восточные сказки, что ли... Так вот, там было про мудрого учителя и учеников... Школа у них под открытым небом, и приползла однажды ядовитая змея. Ученики вскопили и прижали ее к земле. А чтобы прикончить поскорее, чик — и отсекли ей голову. Учитель спрашивает: «Что вы засуетились?» «Змея, учитель, — отвечают ему. — Мы ей голову отрубили». Змея еще трепыхалась, и тогда ученики отрезали ей хвост. «Чем вы там занимаетесь?» — спрашивает через некоторое время учитель. «Ядовитого гада приканчиваем», — слышит в ответ. Но змея не переставала извиваться, и ученики разрубили ее на куски. Все равно куски шевелились. «Неужели, — говорит учитель, — я так плохо учил вас, что вы до сих пор не знаете: змея всегда останется змеей — даже разрубленная на десять частей, даже дохлая?»

Больше Силис ничего не сказал. Высокий, прямой, с растрепанными ветром волосами, повернулся и ушел, большая собака бежала следом.

— Как ты смеешь? Такого честного человека... Он траур носит! — Антанас был вне себя от гнева.

— Да Силис-то, может быть, и честный. У него одна рубаха, зато своя. Чего, к сожалению, нельзя сказать о тебе!

— Слыхала сказку? Я бы на твоём месте сквозь землю провалился...

— Хватит! Хватит с меня всего! Лучше бы мне с детьми там, у медведей, быть! — Валдмане показала на восток, где алело раздуваемое ветром небо, шмыгнула испачканным в муке носом. — Ни минуты покоя нет! Приходят к тебе во двор и...

— Анна, перестань пилить... Анна, я умоляю! — Антанас тяжело топтался на месте и сжимал кулаки. — Лопнет мое терпение — будешь локти себе кусать!

Марите сжалась: ударит, с ног собьет, изувечит. Он скрипнул зубами и, как уже было, понесся бегом вокруг овина. (Опять будет гарцевать, как лошадь на манеже? Думать надо, а не буйствовать...) Антанас остановился, сплюнул и, глубоко вздохнув, поплелся под навес, где принялся возиться с веялкой.

— Может, она только и хочет этого, а? Чтобы я кашу заварил сгоряча? — подмигнул он Марите, когда Валдмане ушла. — Не на того напада... Не выгорит! Я своего сына сам растить хочу... Качать, носить, за ручку водить!

Он стал явно уклоняться от ссоры, Анна же, почуввав силу, напротив — искала, к чему бы придраться. Антанас скрипит зубами, не выдержав, несется к овину, бегаёт, бегаёт по кругу, пока не выбьется из сил и не забудет, что гнало его сюда. Надежда на будущее смягчала все удары и уколы. (Чувствует себя виноватым перед Анной? Покорностью пытается примирить женщину с тем, что рано или поздно должно случиться: с окончательной разлукой?) Так думала Марите, видя, как быстро меняется все в Путнях: события, настроения, решения. (Где уж там угнаться за тайными мыслями! А может, он не думает ничего, просто плывет по течению, да и только?) Но вот в один из вечеров, когда Антанас метался между прикрытой, прорывающейся бранью ненавистью Анны и капризными выходками Аусмы, в дом постучались гости, о пребывании которых неподалеку можно было догадываться, но помешать приходу которых он был не в силах...

10

— Эй, господа дома?

Угас разгоревшийся было спор женщин: Антон не купил на станции того, что было нужно — олифы или скипидара, — зато привез конфет для Аусмы. Нагрязнули нежданные гости, однако женщины не окаменели и не заохали, хотя и обрадоваться тоже не обрадовались. Марите сбивала масло — не маслбойкой, как в Вальгенае, а машиной, которую надо вращать за ручку, — и не успела головы поднять, как ее обступили вооруженные люди; тут же сновал Иммант, его пустые глаза блестели, как в тот раз, когда приходили милиционеры. Словно пыльный занавес упал, и перед глазами Марите возник полузабытый, притулившийся к лесу Вальгенай. Дядя Куйнялис вздыхал, бывало, закрывая калитку за непрошеными гостями («Ночью и барана за волка примешь, да что ты ему сделаешь...»). Убаюканная дядиной добротой, его терпением, Марите совершенно бездумно смотрела на подобные приходы и уходы. Разбегались круги, и снова успокаивались воды лесного озерка, ночные перешептывания не мешали ей жить; даже спрятанный в подполье раненый мало что изменил в сонном течении дней; когда она бежала из дядино дома, ноги сами несли ее прочь, как несли бы от пожара или наводнения, — про то, почему вдруг начинают расходиться эти круги, почему заливают не спросясь и почему, в конце концов, залили, затопили ее маленький мирок, она почти ничего не знала. Теперь понимала гораздо больше, хотя о таких вещах с ней никто не говорил и она ни с кем не говорила. В отдалении ясней выступает из тумана прошлое: заброшенная к чужим людям, Марите на собственной шкуре убедилась, что запутанные человеческие отношения, чуть виднеясь на поверхности корявыми буграми, напоминающими корни деревьев на лесной тропинке, в глубине еще более извилисты и перепутаны. Марите уже не было любопытно, как тогда, в Вальгенае, и волновалась она не за себя, а за других, о ком ей вряд ли следовало заботиться: они у себя дома, а она — бесправная беженка.

Антанас был во дворе, когда вошли чужие. Сдав на станции сахарную свеклу, он хлопотал возле грязной подводы, и Марите почему-то захотелось, чтобы он подождал, не заходил в дом. Она попыталась прошмыгнуть за дверь, чтобы, если удастся, предупредить Антанаса, но сильная рука схватила ее за локоть.

— Красавица останется здесь.

— Имант позовет.— Валдмане не понравилось, что гости хозяйничают в ее доме.— Имант!

Имант не отозвался, зачарованный автоматами и гранатами. Анна строго свела подведенные наспех карандашом брови, и он стал пятиться задом, не отрывая от прищельцев горячо блестящих — уже не пустых! — глаз. (Ему безразлично: те или эти, лишь бы только понюхать оружие?) Марите со все возрастающей тревогой ждала Антанаса; видела его не таким, каким он приехал со станции — оживленным, горластым, с конфетами для Аусмы! — а застывшим возле Белянки, когда старик Валдманис скребся у двери: подбородок выдвинулся вперед, надулись жилы на шее, а в глазах застыло ожидание опасности. (Что, уже тогда он ждал и боялся этих? Но чего ему бояться, если он заодно с Валдманисами... Не слышать, чтобы лесовики прижимали богачей.)

— Здорово, здорово! Какие гости у нас, Анна! — не сразу, после долгой, растянувшейся для Марите минуты, проговорил, раскинув руки, Антанас.

Опасность, не вполне определенная, чувствовалась в лице, в голосе, стремление понять, оценить и предугадать, чем все это кончится, молниеносно промелькнуло и исчезло во взгляде Антанаса.

— Лазил под телегу, — объяснил, почему он топчется у порога, между тем как полон дом гостей.— Анна, дай какую-нибудь тряпку.

Анна кинула тряпку; Антанас поймал ее дрожащей рукой, и эта дрожь передалась Марите — словно ворвались в ее дом, на ее плиту побросали сушиться мокрые брезентовые плащи, а воздух, которого становится все меньше и меньше, отравили смрадом табака и пота. Она забыла, что у нее нет и не было дома.

— Горячую воду, мыло, йод! Заранее вас благодарим, сударыня! — приказывал не привыкший ждать голос.

— Сейчас все будет, — заверил Антанас, хотя обращались не к нему; бесцельно походив по комнате, хлопнул по карману, достал неначатую пачку сигарет. Протянул одному, другому гостю.

Он привык действовать, что-то делать, но боялся не угодить, и Марите думала, что заведенный в доме порядок рушится навсегда; лица, руки, голоса покрылись несмываемой пылью, хотя никто здесь не отрывал половиц и не порол подушек — никто даже не угрожал. На этот раз у нее и фотографии не было, чтобы унести с собой, а так и подмывало бежать как можно дальше. Снова вставало перед глазами растерянное лицо Антанаса. (Нет, не могу... Я должна остаться... Пускай это добром и не кончится!)

— В овине не замерзнешь — ступай, — сказала ей Валдмане, ловко доставая из стеклянной банки желтое, как воск, масло.

— Красавица останется здесь, — проговорил кто-то из мужчин, смазывая йодом обнаженное плечо.— Мы не любим, когда нас охраняют слишком длительно.

Другой неслышно подобрался сзади, схватил Марите за голову и подтащил ближе к лампе.

— Не из Вальгеная личность?

Обросшее бородкой лицо с приятными чертами, только глаза колючие и руки сжимают, словно клещами, — кажется, хрустнут шейные позвонки.

Она где-то видела этого человека с пронизывающими, будто отточенными глазами; вооруженные действовали по обе стороны границы— об этом свидетельствовали их знакомства, смешанный язык и одежда.

— Сирота,— вступился Антанас, не глянув на Марите, как будто та не стоила внимания.— Ее дядю забрали, а она вот убежала...

— Твой дядя Куйнялис?

Ее, не отпуская, привлекли поближе, повернули в другую сторону.

— Куйнялис... Пустите!

— Не вяжитесь к девушке.— Аусма подошла и оторвала руку бородатого.

— И вторую, пожалуйста, погладьте, яункундзе! — Человек засмеялся, и его лицо сморщилось, постарело.— Нас не балуют лаской.

Аусма, игриво улыбнувшись, хлопнула по второй руке.

— Вы довольны, господин... господин?..

— Как вам сказать...— Он пригладил волосатый подбородок.— Барышня ручается за нее? — Заступничество Антанаса было как бы не в счет.

— Даю вам честное слово, господин... господин Блюмберг!

— Ошибаетесь, яункундзе. Я Рог. Господин Рог! Так будет лучше.

Марите уже не сомневалась, что где-то видела его. Там, на той стороне, он тоже называл себя Рогом.

— А поцелуем не хотите скрепить свое ручательство?

— Извините, но мне не нравятся такие шутки.— Продолжая накрывать на стол, Валдмане обернулась, торопливо летали ее руки, щеки размялись.— Это вам не вертеп, а Путнини.

На минуту в комнате стало тихо.

— Гм... А как шутят красные?

Анна спохватилась, что переборщила, подвинула стол, чтобы нарушить неловкую тишину.

— Ну, не будем ссориться. Ваши люди, разумеется, не ужинали, господин... господин?..

— Рог! Господин Рог! Так будет лучше. Старое знакомство, как старая любовь, не ржавеет. Уверю вас. Но не голодать же нам теперь!— Он язвительно усмехнулся.— Меня зовут Рог! Вот этого,— он показал на парня с длинной гривой, смазывавшего йодом плечо,— Конь, кунгс вай биедрс Зиргс¹⁷, это,— он кивком указал на рослого парня с маленькой, будто прилепленной головкой,— Заяц. Я по-прежнему продолжаю коллекционировать фауну. Оригинально, не правда ли? Нет, они не из ресторана, сударыня, от ужина не откажутся!

— Накормим! — радушно засмеялась Валдмане.— Не по стольку коней, бывало, кормили в Путнинях!

Грянул миролюбивый смех. Анна сновала вперед-назад, гремела посудой. По ее распоряжению с чердака тащили копченое мясо, из погребки выносили горшки и банки. Имант, достав, что было велено, крутился возле оружия. Анна, пробегая мимо, стукнула его по рукам, мужчины, заметив это, дали ему потрогать карабин; подняв оружие, он водил дулом в поисках мишени; остановился на Антанасе, чьи глаза зло и удивленно расширились, потом нацелился в грудь Марите; она видела, как, тускло поблескивая, сыпались из обоймы патроны, слышала, как они постукивали на заскорюзлой ладони Зайца, но все равно немели руки и ноги.

— Дурак, положи! — Аусма вырвала карабин, стукнула Иманта стволом под зад.

Марите еще больше испугалась. (И как она не боится оружия? Схватила, точно палку...)

¹⁷ Господин или товарищ Конь.

Никем не званный, явился старый Валдманис. Вытирал пыль с бутылки, вытаскивал зубами бумажные пробки и ставил на стол. (Из гроба эти бутылки, из гроба, а пить будут живые люди...) Оживившись, он топтался вокруг стола, пытался сказать нечто иное, не то, что привык, и слова, вырываясь по одному, падали, расползались во все стороны, как слепые котята, лишённые подстилки. Его хлопали по плечу («Ладно, ладно, отец!», «Крепка, зараза!»), но даже Конь отворачивался от недобрых глаз, как от гнетущего напоминания о чем-то неизбежном и роковом, после чего уже ничто не мило, даже водка.

— Ступай, Артур, спасибо.— Анна тронула Валдманиса за плечо, когда он расставил бутылки и принялся мыча усаживать гостей за стол. Старик со злостью дернул плечом.

— Не знаешь, Артур, Чалому овса дали? — попыталась Анна выманить его из дома хитростью.

Валдманис что-то пробурчал, словно ребенок, которому пытаются подsunуть старую игрушку вместо новой.

— Сорвется с привязи — бед натворит! — настойчиво твердила Анна.— И тебе, Артур, отдыхать пора. Дриз яу бус гайлю лайкс¹⁸.

— Мультя сиева,— вдруг огрызнулся Валдманис.— То мультя сиеву юдз вай эцешас!¹⁹

Кто-то из гостей заржал. Анна прикусила губу, но отчитала уже не вышедшего из повиновения старика — Антанаса:

— За порядком не следишь, Антон. Такие гости, а ты...

— Пожалуйста, просим к столу,— словно его дернули за веревочку, подал голос Антанас. Старик его несколько не волновал — Аусма!

Каждый взгляд или слово, брошенное ей, а в особенности проворно возвращенное ею, врубалось в него, как топор в колоду. (Что, Аусма назло ему зубоскалит с Конем и Зайцем? Или просто развлекается? Ведь она жаловалась, что скучно...) Неловко ворочаясь среди чужих, Антанас старался заслонить ее от нагло заигрывавших глаз, истосковавшихся по женскому теплу и кокетству. Казалось, он готов упрятать ее, как насадка под крыло, чтобы ни малейший писк ее не был слышен чужим, но, как и все домашние, должен был угождать гостям. Может быть, еще усерднее, чем другие. И Марите без труда догадалась, что Антанас ненавидит их, а они — Антанаса. Когда он уговаривал Анну ничего не жалеть для дорогих гостей, что-то вздрагивало в его голосе. Несмотря на старания Антанаса, за его спиной то и дело прорывался смех Аусмы, залиvistый и манящий, как у опытной женщины. (Нашла время дурачиться. Не к добру такое веселье...)

— Сама знаю! — Анна не скрывала своего превосходства, но и она уже начинала побаиваться.— Ешьте, ешьте досыта. Еда горячая, свежая! Слава богу, еще не все у нас отняли!

Что-то переменялось — может, вечер, слившийся с ночью, может, настроение. Гости не донимали уже ни голод, ни тоска по чистоте, ни острый инстинкт самосохранения, который запустил когти в каждого из них, словно хищная птица. Насытившиеся, разомлевшие от тепла, лесные люди успели забыть про благодарность к тем, кто только что угощал их. Привыкнув к яркой лампе, к стульям с крепкими спинками, на которых так удобно сидеть, они не могли с досадой не чувствовать, что это обмен, признак замаскированного неравенства: потом, еще более неустроенные, они будут валяться в сырости и темноте бункеров.

— Дешево откупаетесь — едой! — тряхнул гривой Конь, пил и курил он без передышки.

¹⁸ Скоро петухи запоют.

¹⁹ Глухая баба. Эту глупую бабу хоть в борону запрягай!

Анна не спешила с ответом — отыскала тревожно бегавшие глаза Антанаса.

— В Путнинях всегда рады накормить гостей.

— И краснокожих, говорят? — Рог и не подумал одернуть подчиненного. — Верно, госпожа Анна?

Валдмане не ответила, молчание дорого стоило ей — дороже, чем угощение. Дым, висевший под потолком, оседал на загаженный, заваленный объедками стол. Уже нечем было оправдываться, угождать — оставалось только молчать. В эту минуту Марите могла понять Анну и даже посочувствовать ей. Нечто подобное испытывала когда-то и она, нет, не она — дядя Куйнялис. (Попросился к нему в тайник такой жалкий человечек, что сердце сжалось: грудь сипела, слезились воспаленные глаза. Догнивает он в бункере, все суставы ломит, в легких вода — чтоб им пусто всем было, за два года состарился на двадцать! Снедаемый вьезшейся в кости сыростью, трясущийся от кашля, этот еще нестарый человек и впрямь был похож на хворого, заброшенного старика, за которым не присматривают снохи. «Такой бедняга никому зла не сделает», — успокаивал себя Куйнялис; искупав гостя, как младенца, он застелил соломой тайник, оставшийся с тех пор, когда были немцы. Первое время человек радовался картошке, супу, каждому приветливому слову — Марите видит это явственно, как будто по-прежнему держит перед собой зеленую глиняную миску с борщом; постепенно радость стала меркнуть, пока и вовсе не стерлась с пополневших, лишившихся морщин щек. И взгляд, и рука, бравшая хлеб или ложку, и слова благодарности, что он все еще произносил, постепенно пропитывались озлоблением, которого она не понимала. Спрашивал о погоде — возят ли люди сено, потом — косят ли рожь, — она отвечала, как привыкла, без утайки, сама ведь пахла сеном, рожью, а руки и ноги были в царапинах. И чего спрашивает, если сначала вырывает миску из рук, а потом не притрагивается к еде, как будто Марите жестоко обманула его, не позволила выйти и увидеть все своими глазами. Однажды после обычных расспросов он стал браниться и угрожать, в руке у него блеснула металлическая штучка, из которой стреляют. Дядя Куйнялис сам спустился в погреб — просить человека, чтобы ушел, так просил, словно тот был хозяин подпола и всего дома.)

— Как Эзеринь?

— А, тот? — Анна ковыряла в зубах, еще не сообразив, что бы это могло значить, но тут все прислушались, и стало ясно, что это не просто гости, и никто не знает, что им нужно на самом деле — вряд ли только поужинать, хотя и уплели гору мяса; Марите стало не по себе, когда вдруг она представила Эзериня: стоит за дверью со своей дырявой шляпой в руке и ждет, что они тут решат...

— Бедняк. Каким был бедняком, таким и остался! — сердито проговорил Антанас, как будто это о нем самом нехстати спросили. — Неужто не знаете его, господин... господин?..

— Господин Рог! И поэтому я, господин Антанас-Антон, не знаком с господином Эзеринем, которого, возможно, и знал некий господин, любивший коллекционировать фауну... Короче, не слишком ли много для Эзериня одного глаза?

Взгляд предводителя как бритвой резанул по Антанасу.

— Никому не мешает Эзеринь, — уже не так громко, но снова повторил Антанас, косясь то на Рога, который неизвестно что задумал, то на вытирающую губы Аусму, раздумывавшуюся от выпитого вина.

— Так кто же мешает хозяевам Путниней? Может, мы?

— Что вы, что вы! Не надо нервничать. Лучше в картишки сыграем, что ли? Я из Риги новую колоду привез, еще не тронутая! — Антанас за-

суетился, бросил на стол новенькие карты, они раскинулись разноцветным веером.

Мужчины окружили карты, как дети игрушки. Антанас за сдвинувшимися спинами вытер взмокший лоб — понял, что влип со своим Эзеринем. В ту минуту он казался еще более беспомощным, чем сам Эзеринь, тот хотя бы языком молол. Почему-то Марите была уверена, что Эзеринь не молчал бы и этим противостоял угрозе.

— Ладно, сыграем, но на что? — Рог забрал у Зайца карты и ловко перетасовал. — Не на пуговицы, надеюсь!

— Гривенник хорошо катится... Можем и по полтинничку. Ну по рублю! — Антанас храбрился, потирал руки, его бойкость была деланной, как у связавшегося с мужчинами подростка.

— Наконец-то пошел разговор о деньгах. — Рог встал, потягиваясь и зевая, стала собираться и его свита. — Ночка — наш денек — короткая. Некогда картами шлепать. Тебя, впрочем, не вдруг и обыграешь. Ты ведь мошенник, Антон, а?

Рог громко рассмеялся, его лицо замаслилось, и Антанас, прикусив губу, угодливо улыбнулся.

— Так что деньги на бочку — и вся игра. Считай, что тебе не повезло: ты проиграл!

— Какие деньги, господин... господин?.. — Антанас, побелев, искал глазами Анну; та пожала плечами.

— Те, что привез из Риги. Зима на носу, мы должны кое-что купить... Вас раздевать не будешь ведь, а тряпье с голодранцев плохо греет.

— Разве мы не давали? — Анна подошла ближе, сердечно улыбнулась, отстраняя разводившего руками Антанаса. — И деньги и продукты — все давали. Но такую сумму?

— Мы жизнь отдаем, а вы — жалкие гроши!

— Не говорите так. Один бог видит, сколько нам приходится терпеть, бояться... И кто знает еще... — У Валдмане затряслись губы. — Между прочим, это не Антона — мои деньги.

— В Путниях уже не разберешь что чье.

— Спасибо. — У Анны поникли плечи. — Если уж и вы не разбираете... Власть как липку обдирает и еще вы...

— Давайте деньги и поступайте, как вам заблагорассудится. — Слова Рога сомкнулись, как железная цепь, которую не разогнешь. — Можете потом обращаться за содействием к властям, но не ранее чем двенадцать часов спустя. Общее правило, действующее по обе стороны границы.

— «К властям!» Боже правый! Отдай им, Антон... — Валдмане рухнула на стул.

— Не дам — мои деньги! — На бледной верхней губе Антанаса выступили мелкие бусинки пота, и Марите подумала, что, сбрив усы по своей охоте, он стал беспомощен, сам понимает это, да ничего уже не может изменить.

— Хитрую ты, Антон, игру ведешь. — Рог как бы невзначай положил руку на тяжелую кобуру у пояса. — Смотри, не прищепи сам себе хвост... Тогда даже сударыня Валдмане тебя не... — Он не закончил мысли, которая и так была ясной, как ясен добела раскаленный металл.

— Да что вы, люди... Я не говорил, что не дам.

Гости враждебно молчали, и Антанас, шатаясь, как пьяный, подошел к порогу, оторвал половицу и вынул затянутый резинкой пакет. Трясущейся рукой бросил его на стол.

— Доверяем — считать не будем. А если что не так сказали — приходится иногда... — Деньги скрылись в черном портфельчике, который был проворно подставлен Зайцем. Рог, видимо желая смягчить прозвуч-

чавшую в его голосе угрозу, невольно еще больше подчеркнул ее: — Как бы там ни было, мы не забудем вашей помощи, и когда пробьет час свободы...

— Где — в Литве или Латвии? — усмехнулась Аусма, у нее одной не испортилось настроение.

Не договорив заготовленных на этот случай слов, Рог помахал своим — в Путнциях громкие фразы были бессмысленны, люди из леса зря не мололи языком.

Анна сидела, подперев голову и прищурился тяжелые веки, — о чем она думала, было не понять. Антанас встал, чтобы проводить гостей, — так встает человек, которого хватили чем-то тяжелым по голове: ничего не видя и покачиваясь. Имант цеплялся за шуршащий брезент; что-то неразборчиво бормоча и отталкивая сына, вперед протискивался Валдманис. «Богу большая радость» — по движению губ угадала Марите его любимое выражение. (Противный старик!.. Даже лесовики им брезгают, как лягушкой...) Ковыляя, побежал за уходящими мужчинами, подняв свою палку, словно это было оружие, такое же, как у них; небось будет провозжать полями до леса, все тропки он здесь исходил, все межи, кусты, канавы облазил, каждую неделю курится над лесом дымок его самогонного аппарата.

— Имант, назад! — Анна вцепилась в сына, тот вырывался, брыкался. — Ах так! Всех нас погубить хочешь! Не выйдет по-твоему, нет! Не будешь с винтовкой бегать, лодырь несчастный!.. Работать будешь!

Прозвучала пощечина. Имант вырвался, но было уже ясно, что далеко не убежит.

— Что поделаешь, дорогой Антон. — Анна покачала головой, когда шум на дворе затих и навалилась невыносимая тишина. — Свои ведь...

Плавал дым, валялись окурки, с залитого самогонкой стола стекали капли. Казалось, незваные гости снова могут ввалиться в дом.

— Волки им свои! Волки!

Антанас хватил кулаками по столу, задребезжали грязные тарелки.

— Последний сервиз, гостю не на чем подать будет. — Анна обхватила руками грудь тарелок, словно спасая то, что еще можно сохранить. — Храбрец... Надо было в глаза им!

— Что? Что ты сказала? — Антанас вставал, наливаясь яростью и медленно клонясь к Анне отяжелевшим телом. — Повтори!

— Бей, Антон, бей и меня! — Аусма с веселым смехом кинулась между ними. — Все равно щенка тебе рожу — не сына!

В другое время Антанас озверел бы, потом принялся бы успокаивать ее и в конце концов просить прощения — теперь же стоял откинувшись назад, а потемневшее лицо было мокрым от пота, как будто не рассчитал и поднял слишком тяжелый груз.

11

С наступлением дня стал накрапывать дождь, размокли следы и людей и скотины; попробуй разбери — кто тут ходил? Люди с оружием исчезли, растворились в тумане и слякоти, однако не совсем ушли из Путнцией; женщины чуть ли не ногтями выскребли полы, но все же что-то от них осталось, и все, каждый по-своему, недоверчиво косясь друг на друга, спотыкались об это что-то.

— Столько денег... Уж лучше зуб потерять! — время от времени вздыхала Анна; из-под посиневших век, словно сквозь щель в плотной двери, следила за Антоном, подымавшим ложку несгибающимися, будто отбитыми костяшками пальцев. — Ты чего молчишь?

— Чем тут помогут... слова.

— Старался, рисковал. Помнишь, Антон, как тебя в Риге чуть милиция не схватила?

Поднесенная к губам ложка дрожала, простокваша пролилась.

— Когда это было...

— И мы не из колодца черпаем. Если с нами разговор такой, то как же они с другими, скажи?

Ложка плюхнулась в миску. Анна проворно выхватила ее.

— До войны я таких господ и в прихожую не пустила бы! — Она старалась вывести его из пугающего молчания. — Развешали свои вшивые отрепья под самым носом и еще...

Марите ела, не замечая что ест. (Интересно: это говорит обиженная, ограбленная хозяйка Путниной или важная дама, оскорбленная неподобающим обращением? А может... может, старается смягчить свои слова, которые убили Антанаса? — «Храбрец... Надо было в глаза им!» Но ведь не ее — Аусмины слова его доконали.)

— Какой-то вонючий коллекционер чучел! — Анна пыталась выговориться за Антанаса, непривычно безголосого.

— А мне он, представьте, нра-вит-ся! — капризно проскандировала Аусма. — Если на этого человека надеть чистый мундир айзсарга да нацепить шашку!..

Дрогнула небритая губа Антанаса, за ночь почерневшая, как от сажи, но он не вскинулся, не сжал кулаки.

— Шашку! — Валдмане всплеснула руками. — У тебя что, совсем в голове неладно?

— Это у вас неладно! Какой же освободитель без шашки, без белого коня?

Аусмина болтовня рассмешила Анну, но, даже смеясь, она не сводила неподвижных зрачков с Антанаса: не вспыхнет ли как спичка, не взревет страшным голосом? Ведь горла никогда не жалел: орал на радостях, орал со зла, орал просто так, не вынося тишины. (Она боится Антанаса? Он подавлен и расстроен больше нее... Станный он, все они странные! Их ограбили, унизили, хоть бы на денек они перестали грызть-ся... Так нет! И Аусма... Соль на раны ему сыплет!)

Да, что-то оставили ночные гости — не испачканный пол, который снова заблестел, выскобленный ножом, и не остатки мяса, которые догладывают уже который день. Это был не только страх перед новым приходом, как сначала думала Марите, или отчаяние из-за потери денег. (Небось не первое посещение и вряд ли последнее. Свыкаются люди, как с болезнью, — и они не исключение...) Конечно, Валдманысы убивались из-за денег, легче отдали бы зуб, чем тысячу рублей, но вряд ли это были их последние деньги. (При мне дважды в Риге побывал, да и раньше ездил. Тут и спекулировать не надо — такое хозяйство! Нет, не только денежки здесь плакали...) Она еще не могла допустить, что Антанаса подкосил намек лесовиков, который Валдмане неосторожно подтвердила, будто спасением своей шкуры он обязан ей, госпоже Валдмане. Неужели это не просто так, сгоряча, было сказано? (Наверно, ужасно проснуться с веревкой на шее... Еще ужаснее, когда конец ее видишь в чужих руках...) У Марите голова кругом пошла, пока она распутывала узел, завязавшийся вокруг Антанаса. (Руки Анны, разве они чужие, совсем чужие ему? Как нежно гладила, когда вернулся из Риги!) Если в намеке лесовиков была правда — упрямо забегала вперед мысль, от которой сжималось сердце, — то все мечты Антанаса похожи на хрупкое оконное стекло. (Даже камень не нужен, чтобы вышибить, — стукнут посильнее пальцем, и посыпалось...) Пусть никто бы и никогда не приходил, все равно не удалось бы, как на снимках, свести вместе эти две головы: темную, как туча, Антанаса и светлую, кружащуюся от впечатлений — Аусмы. (Где это слыхано!.. Сперва с матерью, потом с дочкой... Грех-то какой!) Марите против собственной воли и

желания почти поверила в добрые намерения Антанаса жить по-новому, не разрываться на части. (Может, это ему и удалось бы? Может, если бы все перестали распутничать, грешить, если бы остыли страсти? Может, и лучше, если у ребеночка будет отец?) Не Белянка словно очистилась, когда схлынула кровь, а этот крутой, способный вдруг остолбенеть среди бела дня человек может, неосторожно задев что-либо, обрушиться на себя и погибнуть под обломками. Как изливал он перед ней душу — седеющий сорванец, легкомысленно пустивший корни в чужую почву! Нет, Антанас тогда не каялся. Марите хотелось, чтобы так было, но он не умел каяться; усы сбрить и снова отрастить — да, но каяться? Кто знает, всю ли правду сказал ей, случайной слушательнице? То, что он говорил под боком у Белянки, было славно, приятно слушать, но лучше всего была его решимость. (Почему же теперь он как выжатый? Неужто до вчерашнего дня не мог раскусить Валдмане, с которой?.. Не год, не два друг друга знают — всю жизнь. А Валдмане что — действительно держит его при себе как щит от власти? И щит и рабочая лошадь? Конечно, такие работники на дороге не валяются, особенно сейчас, когда и подпаска не наймешь... А ее нашепывания и вздохи? В конце концов, Аусма — ее единственная дочь — ждет ребенка... от Антанаса! Этого не отрицают ни мать, ни дочь! Как же тогда понять козни Валдмане? Да она ведь ни одного злого слова Антанасу не сказала... Какие козни? Не иначе как я все выдумала!)

— Что вы молчите? Я сказала — душка военный был бы! — паяничала Аусма, глядя на мрачные, уткнувшиеся в тарелки лица. — Не понимаю, чего вы ноете. Все равно мир летит вверх тормашками! Спасибо, гости не все выпили — может, опохмелимся?

— Фу, весь дом самогонкой провонял, не дам! — возмутилась Анна. — Антон, вели ей, ты ведь мужчина — не пень!

Глаза Антанаса блеснули — казалось, попадетса на крючок.

— Успокойся, Аусма! Разозлишь, он тебе косточки пересчитает, — пригрозила Анна; Антанас не шелохнулся, и она льстиво продолжала: — Такое горе в доме, а у тебя все глупости на уме...

— Горе! Рассказывайте сказки кому-нибудь, только не мне! — Аусму раззадоривало угнетенное настроение Антанаса. — Что ваше горе по сравнению с моим! Если бы я не боялась могилы — повесилась бы... Ей-богу, не вру. Вот оно, мое горе! — Аусма уперла руки в бока, выставила живот, непристойная ухмылка перекосила ее лицо, и Марите не почувствовала отвращения, словно сама выкрикнула эти слова. (Быстро же я свыклась со страшным грехом... А что, если это не грех, а мука? Ничего уже не понимаю... Слезам я могла бы не поверить... Но когда она вот так стоит... Мука это, мука! И конца ей не видно...)

— Вот она, батрачка ваша! И не говорите, что сирота, приемыш... Батрачка! — Аусма издала ткнула длинным пальцем в Марите. — Все ее гонят, помыкают ею... Но, ей-богу, я готова поменяться с ней местами. Хоть сейчас! Марите, слушай, Марите, ты хотела бы быть такой, как эта сучка?.. — Она подбежала, осеклась на полуслове, хотела еще что-то сказать, но положила горячую голову на плечо Марите и застонала.

У Марите пересохло во рту, она удобнее подставила плечо — будет стоять долго, сколько понадобится; всем своим существом она вдруг ощутила: вот случай, который вряд ли повторится. (Ах, догадался бы об этом Антанас, у которого сегодня шея не ворочается, как у волка, а догадавшись, встал бы — тихо, мирно, чтоб не напугать девушку ни одним звуком, не задеть ее натянутые нервы. Не сразу, чуть погода, подошел бы, а там и заговорил — добрым голосом, как тогда, у Белянки, только, конечно, другими словами — Аусма не поймет такой исповеди, к тому же Анна ревниво слушает. Слова не так уж и важны — никто ведь не знает, чем все это кончится! — куда важнее голос: чтобы прони-

кал в душу, чтобы в нем растаяла горькая озлобленность Аусмы, ведь она хоршая, и нежная, и умная, когда захочет, а потом уже, когда при- тупится острота, они могут сесть вдвоем за пустой, залитый похлебкой стол, и стол будет уже другим, и они будут сидеть другие — удрученные общим несчастьем или счастьем — в конце концов, кто знает, как все обернется? — и если что-то и может их спасти, то лишь примирение.) Антанас кашлянул, словно прочищая горло, но не встал; тогда молча поднялась Анна, неуверенно направилась к двери, каждый шаг вырывая из себя; как бы ободренный неожиданным согласием Анны — да, да, это означало согласие, чтобы они поговорили, попытались объясниться без ругани и без ссоры! — оживился и Антанас, поглядел в потолок, в пол, прямо перед собой, потом на стенные часы, которые бойко выстуки- вали секунды и минуты, мысленно он уже подымал ногу, отсчитывая ша- ги, всего пять шагов, не более; левая свободная рука Марите незаметно скользнула вверх по Аусминой спине, тонкой, дрожащей, напрягшейся, и эта спина, самый изгиб ее, понемногу расслаблялась от дружеского прикосновения жесткой ладони. (Наконец и она прониклась ожида- нием — тем, что может случиться в тишине после того, как Анна гордо и важно удалилась?) Если понадобится, если Антанас, допустим, не одолев двух-трех досок, станет как вкопанный и ни с места, ладонь Ма- рите чуть-чуть нажмет на поддающийся изгиб спины, и, быть может, Аусма дрогнет, сделает шажок, на который Антанас не надеется и ко- торого, должно быть, боится. (Чего он сидит, почему не встает?) Ма- рите чувствует, как у нее начинает млеть плечо, словно от невыносимой тяжести, и, словно почувствовав ее настойчивые пальцы, вздрогнула, а затем стала твердеть спина Аусмы, но и сейчас еще, кажется, не было поздно, хотя Аусма теперь не смолчит — встретит его криком, градом злых слов... Если ничего и не изменится, не проявится их будущее, так, может, восстановится хотя бы то положение, которое существовало до прихода гостей из леса, когда можно было на что-то еще надеяться? (Лошадь, не желающую пить, или корову, не желающую отдать моло- ко, можно заставить добром или злом, а как — такого Антанаса?) Он сидел ежась за столом, неуверенный в себе; зевнул, а в глазах не рас- сеиваясь клубился серый, мглистый день. (Нет, уже не думает об Аус- ме, хотя еще мог бы заговорить с ней... Что заслонило Аусму — черный портфельчик? Тягость, которую оставили, убираясь, ночные гости? Пло- хо, если больше не видит Аусму... Совсем плохо...) Марите смотрела на безвольного Антанаса, и в ней нарастало возмущение. (Когда надо по- казать себя мужчиной, он раскис, как баба... Я то, я се, я ого-го... Уже забыл все, о чем мечтал возле Беянки?)

— Антон! Антон! Смотри, Антон!

Имант вбежал, сжимая в руке сизого голубя; Марите не успела его удержать, как Аусма вскрикнула — из прокушенной головки птицы ка- пала кровь, просачиваясь меж пальцев.

— Хорек, Антон! Беги бить хорька! — звал Имант, смертельно боя- щийся хорьков и крыс.— Подлюга, что он сделал... Половину голубей передушил!

— Кровь... Кровь! — взвизгнула Аусма, показывая дрожащим паль- цем и отчаянно зажмурившись.— Унеси быстрее! Унеси...

— Ага, а хорек? — шмыгнул носом Имант.— Кто хорька поймает?

— Зарой в огороде! — накинулась на него Марите.

Антанас позевывал и молчал.

— Зарой! Знаешь, сколько мне в Риге за шесть голубей дали бы?

— Не оживишь ведь, так чего ты с ним таскаешься? — Марите не боялась ни хорьков, ни задушенного голубя, но и ее била дрожь.

— Дура!.. Я его зажарю и съем!

— Поставлю капкан. Только не сейчас.

Антанас равнодушно махнул рукой, и Имант выкатился за дверь, на полу остались капли крови и несколько сизых перышек. Антанас стоял, покачиваясь из стороны в сторону, словно все еще раздумывая, куда направиться — возможно, еще ждал какого-то слова или знака Аусмы, — но все уже кончилось: говорить с ней в этом состоянии ужаса и тошноты было невозможно.

— Боже, боже! — Когда Антанас наконец ушел, Аусма бессильно сникла. — Вот и со мной — как с этим голубем! Я тебе наврала, Марите, мне еще девятнадцати нет, в январе исполнится, а горло уже перекушено... Боже, кто меня спасет, кто сжалится?

— Сепаратор не крутится, хозяйка.

— Это не моя забота — машины. Антону говори.

— Он не слышит...

— Громче скажи. Не глухой. Он — хозяин.

— Кричала и громче. Махнул, и только!

— Еще раз напомни. По-хорошему попроси. Или нет. Ты не умеешь.

Я сама!

Озабоченные глаза Валдмане прояснились решимостью, не тем жестким стремлением к цели, что поразило Марите, когда за столом сидел начальник, а нежной, подбадривающей настойчивостью.

— Антон! Антон! Где Антон? — вновь зазвенел, полился по усадьбе голос Анны, словно было только начало осени и зелень все еще радовала высушенные бессонными ночами глаза. (Спохватилась, что слишком больно натянула узду? Хоть и не сама она — Рог со своим зверинцем — все равно. Хотела придержать лошадку, чтобы не понесла, но зубы выкрошить не хотела? Какие страсти лезут мне в голову? С ума сойдешь в этих Путнинях...) Анна покорно следовала по пятам Антанаса, ласково заговаривала с ним и во всем советовалась, как нуждающаяся в наставлениях молодая невестка, не умеющая ни печь затопить, ни муки набрать. Пошатнулась опора Путниней, надо было во что бы то ни стало ее поддержать, вернуть на старое, привычное место — это Марите понимала, одобряла это, — но звенящее в устах женщины «Антон» проникало в запретную область, от которой оба отказались, предали забвению. (Хоть он и злой бывает, противный, хоть и вспылыв, как порох, да отходчив... На это и уповаешь хитрая Анна? Ой, лиса...) Журчали слова, ворковал голосок, то замутненный, то прочистившийся, как жилка родника, и тогда казалось, что зовет не она, а женщина, забывшая про свое положение, честь и даже имя. Ее уже не было — только голос, только старания воскресить, оживить, во что бы то ни стало напомнить, что и голос — не просто голос, а живое, истосковавшееся тело, вереница жгучих воспоминаний и растоптанных надежд, которые, однако, не умерли, готовы взойти, как напоенная влагой зелень. Анне не надоело подолгу кричать в пустоту, терпеливо дожидаясь ответа — не обязательно слова: какого-нибудь жеста, взгляда! Отклика не было, и она печально качала головой — стареющая, полнеющая женщина с утолщенным подбородком, и Марите вспоминался подслушанный стон («А наша любовь?»). И ответ — не тот мягко убеждавший, гладивший («Пролитую воду не...»), а тот, который выжали бы сейчас его посеревшие, как земля, губы; в такие минуты Марите торопилась напомнить себе, как непринужденно держалась Анна при лесовиках и как сдал Антанас да так и не оправился после этого...

Было странно видеть, как он, серьезный работник в загрубелой от пота гимнастерке, ладил капкан для хорьков — в углу под навесом копошился вместе с Имантом. Позвякивая, постукивая железками и деревяшками, они понимали друг друга без слов, изредка перемигивались. Время от времени это перемигивание становилось оживленнее, Имант

весело хлопал в ладоши. (Уж не выпивают ли тайком? Антанас от бутылки нос не воротит, но не пьяница, нет... И желудок у него больной...) Имант совсем зазнался: перечил матери, посмеивался над отцом, не пропускал ее, Марите, чтобы не ущипнуть или не дернуть за волосы. Но увлечение капканом скоро кончилось — у Иманта сорвалась пилка и чиркнула Антанаса по ладони. Анна побледнела, принялась дуть на руку, перевязывать, с проклятьями погналась за Имантом.

— Я тебе дам с хорьками воевать! Будешь лезть на глаза, надо-едать Антону, так я живо с твоими птицами разделаюсь. Ты убьешь их, Антон? Из-за этих пакостников ступить некуда. Весь двор об-делали!

Анна кипятилась, орала, сам же Антанас, беспрекословно отдавший ей руку, не обращал внимания на порез. Он осмотрелся, смерил взглядом притихшие в ожидании снега поля, серую прояснившуюся ленту горизонта.

— Крышу, что ли, починить? Скот прохудился, сено попортится,— вслух подумал он, отнял руку и развязал промокшую тряпку. Лизнул ранку языком, сплюнул.

— А БERTУЛИС что будет делать? Имант сбегает позовет... За овес нам должен, пусть отработает.

— Безделица.— Он разговаривал не с Анной, сам с собой.— Пару досочек и я прибью.

— С такой рукой на крышу лазить? И не думай, Антон! Заплатить нечем, что ли? Не хочешь трогать БERTУЛИСА, позовем Николашку-кровельщика! Ах, Антон...

— Ладно, ладно, кажется, и дранки нет...

Марите еще не видела Валдмане такой покладистой, но и такого равнодушного Антанаса — тоже. Словно выбитый из седла на всем скаку, он, правда, встал на ноги, но, поникший, одурелый, не зная, где его испуганный конь, а где вставшая дыбом, переломившаяся пополам дорога. Марите ждала какой-то встряски — того же, видимо, ждала и Анна, на время забывшая свои тайные замыслы, ждала, когда протрезвеет его осоловелый взгляд, прихлынет к мышцам нетерпеливая сила, которая распялит в крике сведенное спазмой горло. Как раз в то время, когда терпение Анны подходило к концу, на холм въехала цыганская повозка.

— Не найдется ли тряпья, хозяйюшка?

Валдмане хогела шугануть попрошайку, но одумалась — послала под навес к Антанасу, который насаживал новое колесо на бричку.

— Тряпье? Хочешь курить — пожалуйста,— Антанас, похлопав по карманам, вынул пачку сигарет,— бери все. Но тряпок... Если только штаны с себя снять...

Цыган был на загляденье — зеленая немецкая шинель, русские кирзовые сапоги и почти новая довоенная шляпа. Он улынулся до ушей, словно белого сыра откусил, и уже не закрывал рта. У глядевшей на него с любопытством Марите — цыгане всегда ее удивляли — шевельнулась надежда. (Может, не все еще потеряно, не совсем убит Антанас, если не разучился смеяться?)

— Откуда путь держишь, цыган?

— Из Жагаре...

— А, вишен там!..

— Вишен хватает, да тряпок мало, хе-хе-хе!

— Еще бы. После войны все с голым задом остались...

— Но живые! Люди живы — будут и тряпки, хе-хе! Так я говорю, хозяин?

— Так-то так, а почему без жены, без деток? Вот барышне погадала бы... На тебя одного небось и собаки не лают, а?

— Гитлера, этого гада, спроси, хозяин! Он своими кровавыми лапами... А барышня не промах — сама себе найдет кавалера, хе-хе!

— Гитлер, говоришь? Но ты по-прежнему едешь, цыганишь.

— Живьем в землю не ляжешь, хе-хе! Есть надо, лошадь надо кормить, напоить, хе-хе! Борода еще не совсем седая — наживу и жену и цыганят! Было бы только тряпье, хе-хе-хе!

Цыган уезжал, изрядно нагрузив свою повозку. Хотя Анна по любому поводу и без всякого повода вечно поносила нищих, дармоедов, однако на этот раз, чтобы Антанас видел, не пожалела старого белья, траченной молю шерсти. Антанас, попросив цыгана обождать немного, спустил с прясла охапку клевера.

— Видала, Марите? — Лицо его потеплело, он смотрел вслед повозке; глубоко дыша, отряхивался от оцепенения, вьезшегося, казалось, даже в суставы и мышцы. — Снова цыгане ездят!

— Ездят. (И солнце, глядите, светит! Будем как-нибудь жить, дядя Антанас, главное — не отчаиваться!)

В наступившей тишине долго позванивали цыганские бубенцы и звали, манили куда-то — туда, где больше воздуха, простора и людей. Разбуженный этим звоном, Антанас съездил на станцию, побывал на мельнице, а на другой день отправился в волость, куда обычно не заглядывал. Запрягал, воспрянув духом, с искорками яростной надежды в темных, каштаново поблескивающих глазах, хоть и не орал на всю усадьбу, что выхолостит Чалого. Марите провожала глазами его удаляющуюся бричку. Найдет ли он на этот раз то, что потерял или не потерял? Ворчал, сметая рассыпанный овес, старый Валдманис, с виду все еще скромная и покорная Валдмане жестким взглядом, словно граблями, прочесывала свежую колею, словно в нее могло просыпаться нечто тайное, способное выдать истинные намерения Антанаса. Уехал он с поднятой головой, а вернулся хмурый, усталый, жалуясь на боли в желудке.

— Хоть поговорил ли насчет зерна? — встретил его в сумерках обостренный ожиданием голос Валдмане, готовый растаять и запахнуть медом; ждала, весь день ждала, но, кажется, уже нет чуда, которое вернуло бы прошлое, — теперь беспокоилась только о поставках.

— Да уж.

— Ну и как? Скосят несколько центнеров?

— Может, и скосят...

— Когда?

— Разве их поймешь. Когда смогут, наверно...

— Ты бы прихватил с собой поросенка... Кто с пустыми руками просит?

— Верно говоришь, — неожиданно согласился Антанас, и Марите опешила. (За тем и ездил? И для него самое важное — несколько центнеров урвать? А я-то, дура, переживаю...)

На следующее утро он запряг Каштана и уехал, сунув в мешок поросенка, целого подсвинка. Марите помогала его ловить, завязывала мешок, снова на что-то смутно надеялась. Поросенок визжал на всю округу, Антанас сердито тыкал в трепыхавшийся мешок кнутовищем. Он уже сворачивал на усыпанную гравием дорогу, когда прибежал Имант с задущенным голубем.

— Шляется по девкам, хорьков не ловит! — Он, подпрыгивая, грозил кулаком телеге, затерявшейся среди других едва различимых серых телег. Не было ни дождя, ни тумана — серая непроглядная пелена застилала небо.

— Он же сделал тебе капкан. Чего тебе еще? — успокаивала парня Марите, чтобы Антанас не слышал крика. (Опять окровавленный голубь... Дурная примета... Не ехать бы ему!)

— Плохой! Нарочно сделал так, чтобы не ловил! Всех голубей погубит! — бесновался Имант. — Но я доберусь до хорьков... У меня для них вот что есть!

Сунул испачканную кровью руку за пазуху и выложил круглое, железное, нарезанное дольками яблоко.

— Что это, Имант?

— Граната! Чего там хорек — я и лошади кишки выпущу! О-го-го штучка! — От восторга парень, казалось, забыл про загубленных голубей. — Вон тот бугор в два счета разворотит! — Он уставился на нее оловяным взглядом. — А от такой, как ты... Бац — и мокрое место!

Прикрыв лицо рукой, Марите отступила на шаг. (Еще взорвется, как близнецы из Вальгеная... Глупый ведь, совсем дурак! Позову Валдмане — всыплет ему хорошенько... Нет, он со страху бросит, и все в воздух взлетит...)

— Вот не думала, что ты такой молодец, Имант... — Марите через силу улыбнулась, чувствуя, как подкашиваются ноги и приторно щемит под ложечкой.

— Все только и знают: Антон! Антон! А он посмел бы у лесовиков гранату свистнуть? Как бы не так!

— Значит, ты... взял? — Марите стукнулась затылком о столб на веса — дальше некуда было отступать.

— Цап — и за пазуху. Не веришь? — Он громко сопел, прижав ее плечом. — Анна, ведьма, не пускает, а то бы ходил с винтовкой, как настоящий мужчина. Тогда бы ты не брыкалась...

— Ты — настоящий мужчина! А они знают?

— Задницу теркой натрут, если узнают! Валдиса Силиса как поймали, так сперва натерли, а потом уже пристрелили, привязав к дереву... Да они не узнают. Потерял да и только растяпа Заяц! — Имант сжимал гранату рукой.

— А вот узнают! — Марите наблюдала, как пустеет лицо Иманта — блекнут только что горевшие глаза и отвисает нижняя губа. — Я скажу Рогу! Я!

— Ты? — Он не сразу сообразил, что ему грозит. — Чего я тебе плохого сделал? Не бью, не лезу к тебе... Будь добренькая, не говори никому. Не скажешь?

— Давай мне, я спрячу, а потом тихонечко вернешь им... Скажешь: в прошлый раз потеряли...

— Не выдашь Рогу? Он из меня чучело сделает. Я не хочу висеть, как сова...

— Не выдам, нет...

— Побожись!

— Но и ты не проболтайся, что мне отдал. А не то я Рогу...

Теплое, с рубчатой скорлупой яйцо невыносимой тяжестью легло в горсть Марите. Она не полагалась ни на свою сильную, натруженную руку, ни на закаленное лишениями, крепкое тело, которое вдруг стало хрупким — казалось, рассыплется от любого движения или звука. (Смерть у меня в руках... Неизвестно чья смерть...)

— Дуй отсюда без оглядки. — Она не узнала своего глухого голоса. — Если пикнешь кому-нибудь, не сбережь тебе своей задницы...

Имант попятился, потом юркнул в сторону, пригнувшись, как будто за спиной вот-вот должен раздаться взрыв. Положив гранату в корзину из-под картошки, Марите отнесла ее под навес и засыпала половой.

Антанас воротился в сумерках, и трудно было понять, доволен он или расстроен.

— Бери квитанцию! — Выскочил из брочки и сунул бумажку выбежавшей навстречу Валдмане.

— Какую квитанцию? Получилось? — Анна разгладила на ладони бумажку, поднесла к глазам. — Почему тебе дали квитанцию?

— Сдаешь мясо, получаешь квитанцию! Как всем, так и нам.

— Но, Антон...

— Хватит! Не стану больше руки марать... И так на меня косятся, как на конокрада.

— Ты уже выпил. — Анна едва удержалась, чтобы не повисить голос.

— Хочу — и пью. Какое твое дело? Я тебе не слуга!

— Ты хозяин, Антон. И Аусма тебя ждет. — У Анны перехватило голос, отчаяние и досада боролись с осторожностью и здравым смыслом. — Ты не должен ничего забывать...

— Я все помню... все! — Он угрюмо шагнул поближе, женщина ту же закуталась в платок. — И как ждут меня — вижу... Ты лучше не напоминай мне... Чего ты встала здесь? Марите поможет выпрячь.

— Если ты думаешь, что мы все время будем тебе потворствовать...

— Пожалуйся Рогу. — Антанас усмехнулся.

— Антон, ради бога... Не думай так плохо... Неужели ты думаешь, что я из-за поросенка... Ты мне дороже жизни...

— Я сказал: пожалуйся Рогу...

— Антон, ах, Антон... Как у тебя язык поворачивается?

— Я сказал то, что думаю... Говори и ты!

— Вижу, добром с тобой теперь не договоришься. — Анна выпрямилась в темноте. — Не знаю, что ты задумал, но я должна предупредить... Если вздумаешь жаловаться властям, то запомни: деньги Рогу ты отдал — не я! Марите свидетельница...

— Не ждите, не буду я свидетельницей у вас!

— Слава богу, хоть Марите в своем уме! Только разве я первая начала, Марите? — Валдмане схватилась за голову, покачиваясь из стороны в сторону. — Он!

— Прочь... Прочь... — Антанаса бил озноб.

Анна медленно удалилась, глухо хлопнула дверь, в комнате зажгли лампу.

— Обходят меня как прокаженного. — Антанас дохнул густым запахом пива.

Взмыленные бока лошади вздрагивали, к ним словно были приклеены полосы от ударов кнута, и вдруг Марите все стало ясно. (За оружием, за оружием ездил, а ему не доверяют... Поэтому сам не свой!)

— На фронте, где я кровь проливал, хорош был, свой брат, а теперь — пошел вон... Почему, Марите?

— Отоспаться вам надо.

Марите не хотела его жалеть — очень не хотела, почти так же, как не хотела возвращаться к вальгенойскому быту или брести по большаку несвязанной с работающими на полях людьми, занятыми повседневными заботами. Не дождавшись ответа, он вынул из-под сиденья и бросил Марите завернутую в платочек еду — целый день ничего не ел.

— Бери, ешь. Свечи не могу найти. Купил этой ведьме! — Он долго копался под сиденьем. — Кругом волки, а у меня даже палки нет... Что будешь делать без оружия?

Марите нащупала связку свечей, Антанас взял ее, переложил из руки в руку, но все еще стоял, не решаясь войти в дом. Лошадь дернула бричку, рука Антанаса сорвалась с борта повозки и упала как плеть. В доме зажглось еще одно окно — там ждали его, пускай снова не оправдавшего надежд. Он не смотрел на окна.

— Не расстраивайтесь, дядя Антанас... Ведь Аусма... Сын у вас скоро будет — иль забыли? (Что я несу, господи!.. Такое говорить — грех на душу брать.)

— Утро вечера мудреней,— проговорил Антанас сквозь зубы, и эти слова прозвучали как одна из поговорок старого Валдманиса. (Может, в самом деле где-то тут старик бродит и нашептывает? Нет, его и духу нет. Это Антанас... от одиночества. Ему так одиноко!)

Марите дернула Каштана под уздцы, может, Антанас по привычке двинется вместе с лошадей. В руке у него по-прежнему белел ненужный сверток; он даже не поднял головы, когда под колесом заскрипел гравий.

— Распрячь?

Не возражил, не согласился, сверток упал, как падает на землю созревшее яблоко.

— Свечи,— напомнила Марите, потому что он не нагнулся за ними, стоял, словно погружался в землю, уже не твердую, скованную морозом, а размякшую и вязкую, как его жизнь.

Зашуршал ветер, в доме, не дождавшись, погасили свет, и Марите, охваченная решимостью, бросилась под навес. Забыв об осторожности, вытащила из полаты завернутую в онучу гранату.

— Имант у Зайца спер... Я у него выманила. Еще взорвется.

Подала ему, крепко сжимая, чтобы, не дай бог, не выпала, и почувствовала, как железные клещи стиснули руку выше запястья, и ее пальцы стали медленно разгибаться, оттаивая от нежности грубой мужской ладони. Антанас громко глотнул слюну и, пытаясь заглушить радость равнодушием, сказал:

— Верно говоришь: еще взорвется оболтус, а ты потом отвечай за него.

Его глаза блеснули, словно луч света внезапно пронизал их до самого дна, где притаилась затонувшая храбрость и остатки веры в путнинскую землю, которая словно засасывала каждого, кто согнется под бременем забот и сомнений.

12

Перекатившаяся из рук в руки граната как бы остановила мчавшееся галопом время. Прошла неделя, не принеся с собой перемен, лишь участвовавшие заморозки убивали последние побеги зеленой жизни. Иногда Марите казалось, что все, кто здесь соперничал и боролся, устали от страстей, и каждый в отдельности готов был смириться с судьбой, какой бы она ни была. Теперь, когда Анна с Антанасом поутихли и больше не ссорились, с головой уйдя в тяжкие труды осени, приободрилась Аусма. Она опять воспылала дружбой к Марите, словно та была ее единственным утешением.

— Погоди, ты помнишь, Марите?

В самый неподходящий момент ей хотелось вернуться назад — сперва в тот день, когда, озаренная отблесками заката, стояла на картофельном поле чужая девушка с узелком в руках и странным, почтительным упорством на лице, в тот первый день, когда они недоверчиво поглядывали друг на друга; потом — в путнинские осени, зимы и даже весны, которых Марите и в глаза не видела — жила далеко, в другом краю. Правда походила на бред, а бред, в свою очередь, на правду, а в смехе и слезах, в сбивчивых мыслях и словах билось желание жить, снова вспыхнуть и летать; Аусма уже не отличала действительность от вымысла, в ее воспоминанном воображении, в воспоминаниях о вечеринке будто и не был сожжен дворец фон Дитерих, а голоса двух девушек, споривших из-за возвращения домой, эхом отражались от блестящих кузовов автомобилей и карет...

— Ты сердись на меня. Но за что? — Аусма крепко обнимает Марите, не смеющую разрушить ее воздушные замки.— Не понимаю...

— Почему я должна сердиться?.. (Ты и без того несчастна, малышка... Только бы не проговориться!)

— Я нехорошая... Обманывала тебя, морочила... Выдумала себе жениха, помнишь? Ойяр есть, но он за морем — в Швеции. И не мой!

— Не наговаривай на себя. Мне было хорошо с тобой. Кто я такая, чтобы ты теперь сожалела?

— Нет, нет, тебе я должна была все сказать, тебе! Ты не такая, как они. У нас в Путнниях принято хитрить... Обман на обмане!

— Ты, Аусма, хорошая...

— По расчету. Я бы призналась, мне нужно было кому-то сказать. Да все надеялась, что пройдет... Ждала чуда, когда все и так было ясно... Сама себя обманывала, не сердись, Марите!

Все чаще и жарче порывы Аусмы, от ее шепота становится не по себе, словно непременно должно случиться что-то ужасное, неотвратимое, хотя граната, которую стащил Имант, попала в сильную, надежную руку.

— Скажи, ты очень осуждаешь меня? Ты ведь верующая, хоть и не молишься. Ничего не принесла с собой, а молитвенник был. Помнишь, ты все говорила о грехе? Очень страшный мой грех?

— Что ты, Аусма... Не надо огорчаться. Этот пожар, неразбериха... — Марите повторяла чьи-то слова, может Валдмане, хоть и придавала им другой смысл.— Я не вижу за тобой такой вины... Когда я пришла, ничего еще не знала, то осуждала чужими словами. (Может, и велик ее грех, не знаю, откуда мне знать, но если даже и так, он будет искуплен... Ведь родится ребеночек. Разве не искупление — невинный младенец?)

Ободренная, хоть и не успокоенная словами Марите, Аусма спешила помочь ей накормить скотину; улучив момент, когда не было матери, тащила в дом. Иногда Марите думала, что в поведении Аусмы есть что-то неискреннее — как будто она относится к ней, Марите, как к корзине, в которую выбрасывают старье, поношенные вещи, остатки пищи. Аусма говорит ей то, чего, быть может, не смеет высказать самой себе, но какое бледное, прозрачное личико у нее, какое страдание в синих, недавно еще таких беззаботных и лукавых глазах!

— Бедная Аусма! — Тускло, расплывчато отражаются они обе в угрюмом большом зеркале, которое, кажется, теперь опустело, как опустела и эта комната, хотя вещи никто не выносил; Марите на миг чувствует себя по ту сторону зеркала, в туманном далеке, за пологом лет, уже родившей и вырастившей собственных детей, которым она, быть может, и рассказывает историю о несчастной красивой девушке; а если не выйдет замуж, то найдет человека, которому сможет рассказать — чужие беды будут волновать его как свои; никогда не забегавшая так далеко в будущее, она еще раз бросает взгляд за полог и удивляется себе: все-таки еще надеется на что-то, пускай и не на самую лучшую долю? — Глаза покраснеют от слез, не надо плакать... Не отчаивайся, ты еще будешь счастлива, будешь танцевать и петь!

— С таким животом?

— Потом, маленькая, после...

— Нет, нет... Ты, может, и будешь счастлива, не я! Этот мерзавец Антон, этот негодяй, этот...

— Успокойся, успокойся, Аусма... Ведь когда-то не был таким, а? Может быть, даже нравился? — вкрадчиво и хитро, как пожилая женщина из-за полога, уговаривает Марите.

— Никогда! Никогда! Живодер! Палач хорьковский!

— Хорек — хищник. Ну, хорошо. Не нравился так не нравился. Вспомни, разве ты не говорила, что он не старый, настоящий мужчина?

— Мало ли что я говорила не думая! Слова не деньги, которые надо пересчитывать, поплевав на пальцы! Что я знала, что понимала?

— Не знала — это верно, кто мог знать?

Капризная, как маленькая девочка, Аусма становится серьезной, почувяв нарастающее недовольство Марите.

— Прости, я опять морочу тебе голову. Жалованья тебе не платим, а хотим, чтобы и работу делала и слезы утирала. Но я так одинока, с малых лет одинока... Мама — себе, я — себе, отец... А Антон... Да, Антон всем был нужен — и мне! Я сама летела как на огонь. Доигралась! Ну и Анну подразнить хотелось... Что я видела в жизни? Единственный бал у фон Дитерих? Потом этот пожар!.. Ни учиться, ни уехать... А тут день и ночь отцовская палка, его гроб... Думаешь, все это не действовало мне на нервы? Один Антон — сильный, ловкий, шумный. Что-то делает, куда-то ездит, видит живых людей, привозит что-то! Даже пыль на его сапогах пахла как-то иначе... Между прочим, ты не слыхала, как Антон поет?

Ночка темная придет,
В поле вьюга заметет...
Ой, куда пойду я,
Где ночлег найду я?..

Аусмин голос дрожал, как огонек на ветру, не передразнивая, она все-таки умудрялась высмеять.

— Не пой так грустно.

— А если я грущу! Послушай, может, мне снова подать в университет? Вдруг сжальются и примут? Разве я виновата, что...

Марите молчит, умолкает и Аусма, поняв всю наивность своих слов.

— Лучше следи за собой. Чтобы здоровье было. Ведь тебе предстоит...

— Что мне предстоит, что? Рожать?

— Все рожают, и ничего. И ты... Не бойся.

— Ни за что! Лучше умру!.. Но и умереть страшно... Летом, когда кругом солнышко, зелень, тепло, еще не так боюсь... А сейчас земля сырая, черная, страшная... Как подумаю, что придавит грудь... Нет, нет! Что мне делать?

— Успокойся. Надо спокойно все обдумать... Кое-какое приданое малышу собрать...

— Да, да, Марите, ты права.— Аусма вроде бы отрезвела. Марите уже не смела гладить ее, как маленькую.— Забудь мою болтовню, только не откажи помочь... Обещаешь? Нет ли у тебя в Литве родных, которые могли бы меня приютить? Родственников или хороших знакомых? Я бы месяц или два побыла у них, пока... Здесь проходу не будет! Ты понимаешь, о чем я говорю? Работать буду, как ты! За кусок хлеба, за крышу над головой...

— Анна ничего тебе не говорила? Не ругала? — Марите трудно называть Валдмане мамой.

— Ругала и запрещала. Вижу я: не за меня трясется — от той ревности! Тогда я еще назло ей... Понимаешь?

— Чего тут не понять! — Марите сама удивлялась, как много начала понимать.— Скажи, она любит Антона?

— Наверное, не мертвеца же любить. Но ее не поймешь. Хоть и любит, а голову не теряет. Боялась, как бы не вырвался Антон... Так она меня подсунула, как подсвинка! Я сначала не понимала, а теперь уже поздно... Вот и прошу тебя, Марите... Покажешь мне место, когда понадобится? Обещаешь?

— Ладно, только ты не торопись. Много времени впереди.— Они разговаривали как ровня, у Марите даже было превосходство, но это

не радовало ее.— Антанас хоть и вспыльчив, но в душе он добрый. Держись за него! Что-нибудь придумает...

— Придумает эта деревенщина. Обсыплет детьми — и прощай молодость, прощай жизнь! — Аусма снова была яункундзе Валдмане, скорая на гнев и милость, на серьезное и на глупое. И ей и Антанасу было бы легче, будь она в мать! — Ты обещала, Марите, должна сдерживать свое слово!

— Ладно, ладно, только не надо терять надежду... Разве я отчаивалась, когда осталась одна как перст?

— Да, да, не будем терять надежду.— Болезненно горят Аусмины губы и обжигают лицо Марите. (Не отчаивайся! Я сама не знаю, куда деваться, но тебя на волю судьбы не брошу... Не исполнит, что говорил, Антанас, я о тебе как о сестре позабочусь... Нет, не может быть, чтобы Антанас... Он на все готов! И граната у него...)

Было грустно и страшно, что взяла на себя ответственность, но пустоты вокруг себя Марите уже не чувствовала. Перед ней промелькнул Эзеринь, Силис с овчаркой, затем проплыла повозка меж черных стен леса, белый улей, трясущийся на дне, моложавый старик с бойкими глазами... Повозка все еще тарахтит вдоль просеки — прислушайся, если понадобится, сможешь указать, где добрый человек живет. (Есть на свете добрые люди... нет — справедливые! Главное — справедливость...) Марите заставила себя выкинуть из головы название лесной деревушки — из туманной дали насмешливо глядел на нее молодой старик.

Дождь заливал прижавшуюся к воротам человеческую фигуру, и Марите не разобрала, кто там: мужчина или женщина. Неохотно встала, чтобы посмотреть, — изношенные сапоги промокают, а хозяйка все равно будет злиться, как будто это Марите кого-то зазвала в гости. Серый платочек, темно-синий, почти черный плащ, башмаки. (Оттуда! Так обряжаются в дорогу на той стороне...) Сердце екнуло, она остановилась. Зато женщина зашевелилась, двинулась навстречу (Чтобы я не мокла из-за нее? Все равно ноги мокрые, как дрова), но тут же остановилась (Бойтся, как бы не прогнали? Вот робкая старушка!). Чем гостя ближе, тем она меньше, худеет — как на вешалке, висит плащ, хлюпают башмаки с загнутыми носами, насквозь промокший платочек облепил голову. Старушка уменьшается, сжимается, старится не от страха — вся ее сущность уменьшается на маленьком темном личике, а самое главное — жизненный опыт, сердечность и всепрощение, сосредоточенное в небольших карих глазах. Словно почувствовав неловкость, которую испытывает эта крупная девушка с грубоватым лицом, старушка торопится начать разговор:

— Скажи, дочка, туда ли я попала? Это и есть путниньское поместье?

Было еще не ясно, кто она, зачем пришла и каким будет ее лицо, когда пойдет обратно с холма, но ее карие блестящие глаза уже обласкали и обогрели Марите.

— Вам Антанаса, тетенька? — воскликнула Марите.— Пешком в такую погоду! Антанас уехал по делам, скоро вернется. Да что же мы стоим, идемте под крышу!

— Не помешаю, часом, господам? — Старушке не требовалось объяснять, что девушка не своя хозяйкам Путниней — наемная.

— Хозяйка, госпожа Валдмане! — Марите выпустила промокший рукав старушки — удивила предупредительность Анны: спешила, слегка раздвинув руки, с застывшей улыбочкой на губах.

— Милости просим,— словно давно ждала, заговорила по-литовски.— Приятно видеть вас. Уж я пилила, пилила Антанаса: съезди, привези мать... Мужчины остаются мужчинами.

Старушка наклонилась к руке хозяйки, коснулась морщинистыми губами кольца — так поступали служившие по именьям женщины.

— Спасибо, спасибо! Чего ему время терять. Живу я хорошо, огород, коровка. Вот сыру принесла, может, вам понравится, барыня? — Она вытащила из-под плаща сухой узелок.— Яиц собрала, все с этой недели.— Застывшие скрюченные пальцы не могли развязать узелок.

— Не надо было, слава богу, у нас все есть.— Анну даже немного рассердили гостинцы.— Пока не голодаем, хоть и тяжелые нынче времена для Путниней...

— Как же, как же! — Старушка оживилась, по ее личику стекали капли дождя, перемешавшиеся со слезами.— Горели, слыхала я. Зарево, говорят, по обе стороны границы виднелось. Страшная война была, ох страшная!

— Кто знает — может, после войны еще страшнее? — Анне все о старушке было уже известно, и она не собиралась выслушивать ее плаксивые речи.— Но бог все видит, все слышит! (Никогда она так часто не поминала всевышнего! Любого можешь понять, только не ее).

— Забыли люди о боге, правда...— покачала головой старушка.

Валдмане между тем огляделась, увидала в дверях скупающую дочку.

— Аусма, подойди поздоровайся с мамой Антона!

— Сейчас, сейчас.— Аусма смотрела издали. Медленно раскрыла зонт, лениво перенесла через порог блестящий ботик, и Марите вдруг подумала: а не сам ли господь прислал старушку? С радостью приютит, и позаботится, и ухаживать будет. Аусме даже работать не придется... Какая из нее работница!

Съжившись под зонтом, подошла Аусма в красных ботах. Старушка и ее чмокнула в ручку, прежде понюхав, как цветок. Хотела еще раз поцеловать, но Аусма брезгливо передернулась.

— Какая красивая барышня,— похвалила старушка без угодничества, и Марите захотелось как можно скорее увести ее.— В барыню лицом, как две сестрички...

Метнув на нее ненавидящий взгляд, Аусма выдернула руку и убежала, шлепая по грязи.

— Обо мне не беспокойтесь, милые,— попросила старушка.— Ежели дела какие есть — занимайтесь. Я вот с девушкой побуду. Как тебя звать?

— Марите...

— С Марите. Поговорим за дойкой по-литовски... Пособлю, ежели позволите. Всю жизнь иду и иду. Сяду без работы — сдается, уже и нет меня...

— Если хотите, побудьте с Марите, пока я ужином займусь.— Поспешный уход дочери и нежелание матери Антанаса войти в дом не понравились Валдмане.— Вы чай любите или кофе?

— Что все, то и я. Не утруждайте себя, госпожа хорошая. Я по дороге воды из колодца напилась. Вкусная такая, наша-то известкой отдает. Я гляжу, в Латвии и дороги глаже, и крыши красные всюду... Антанас, бывало, рассказывает: «В Латвии, мама, все иначе, не то что в Литве...»

— Ха, от той Латвии только рожки на ножки остались.

Наказав побыстрее управиться со скотиной, Валдмане ушла в дом.

Выглянул краешек солнца, словно только и ждавший, когда они останутся вдвоем, выкрасил розовым лужи, мокрые стены и стволы

деревьев. Мычали коровы, окутываясь теплым облаком, сухие губы нашептывали Марите на ухо литовские слова, как будто любовно поглаживая каждое из них, и Марите на мгновение почудилось: она в Вальгенае, но не в том, из которого бежала без оглядки, — на пригорке белеют новые избы, а до леса далеко, как до облака, и по ночам не страшно.

— Тетушка, останьтесь подольше! — попросила Марите, но тут же спохватилась и пожалела о своей смелости. (Ведь Анна смотрела свысока — как на муравья в траве... Говорила милостиво, но такую милость проглотить — и поперек горла встанет. Не приведи господь, чтобы она хотя бы день здесь одна пробыла... Скорей бы явился Антанас!) Марите ждала Антанаса, но не была уверена, обрадуется ли он. Ни разу ведь не вспомнил, что у него есть мать. (Такая усталая, и еще эти убогие гостинцы ее...)

Медленно подымалась в гору тарахтящая подвода, отчаянно скрипевшая всеми четырьмя колесами. Когда-то не так появлялся Антанас — будто с кем наперегонки мчался по дороге, не одну телегу оставив позади. И грома, крику было, как от целого обоза. Посреди двора тарахтенье смолкло, из окна что-то говорила женщина — то ли хозяйка, то ли Аусма. Кнут заплясал по крупу лошади. Каштан рванул вперед.

— Стой, холера! — гаркнул Антанас прежним своим громовым голосом, хотя Каштан уже как вкопанный стоял в оглоблях.

Широко распахнулась дверь, сквозь розовое свечение и синеву, хлынувшие с неба, протиснулась зимняя шапка с болтающимися ушами, кнут... Под носом, где было гладенько, как у подростка, играла веселая улыбка.

— Почему в хлеву, матушка? Меня с нарядом отправили, чтоб не сидел без дела! А вы пешком такую дорогу? Дали б весточку, я бы съездил за вами! — Стянув с головы шапку, неловко поцеловал руку матери, сухие, неровно выструганные палочки пальцев.

У Марите сжалось сердце, словно старушка была ее мамой, а Антанас — старший брат, блудный сын, наконец воротившийся домой.

— Пришли — и первым делом к скотине, да? Нет, матушка! — Антанас не отпуская ее, но и тянул не очень сильно. — В дом, в дом прошу. Дым коромыслом — Анна хворост печет...

— Да здесь проще, сынок. Места больше... Разговариваем вот с Марите. Ты что так исхудал, Антанас?

Ее рука поднялась, покачалась в воздухе, не коснувшись худого, с обтянутыми скулами лица сына.

— Не похудел я, матушка, — усы сбрил. Пройдет неделька — и опять будут торчать, как у кота. Правда, Марите?

Шутки не удавались Антанасу: печальный, любящий взгляд матери не упрекал, не требовал никаких объяснений; ее сухонькие руки шурша совали сыну плотно связанные носки из белой шерсти. (Любят его женщины, балуют... За что? Одна перчатки, другая носки... Только ему не это нужно...) Антанас спрятал подарок в карман, глотая застрявшую в горле горечь благодарности. Носки торчали из кармана, как собачьи уши, и казалось, будто он их украл. И Марите была не в силах хоть что-нибудь сказать, опять, как в тот раз, когда в дом ворвались лесовики, ей не хватало в Антанасе твердости, от которой он отрекся вместе с прежним своим обликом и снова обрел, сжавши в руке гранату.

— Бог с ними, с усами, сынок. Ты не старик еще... Ешь ли хоть за хозяйским столом?

— Я здесь хозяин, мама! — Теперь он не назвал «матушкой», отвел глаза от любящего, наивно моргающего личика и вдруг показал

кулаком на высокий сеновал: — Я косил, я укладывал! — Он тыкал пальцем в загородку для коров, ясли: — Кто, как не я, все это сделал?

На дворе заржал Каштан, которого он — не Валдманисы! — привел и выходил; а крышу поверх всего разве не он стелил?

— Мое, все мое здесь! Если б не я, им бы в Сибири гнить! — Он уже кричал, входя в раж, однако в голосе не было той искренней и легкой уверенности в себе, которой любовалась Марите в первые дни. — Вот у нее спроси, мама! Кто ей кров дал, не я? Что?

Марите молчала, нагнувши голову, с радостью помогла бы — не ему, нарочно распалюющему себя, его доброй матушке, которая испуганно склонила голову набок, словно все перечисленные сыном богатства сейчас обрушатся на нее.

— Лишь бы хорошо тебе, лишь бы ты был доволен. — Мать погладила грубый рукав его пиджака как что-то хрупкое, незащищенное.

Постукивая зубами по гармонике, прискакал на одной ноге Имант.

— Сударыня мама звала ужинать! И Марите, велела, заодно пускай.

— Велела! Лучше выпряги лошадь, чем языком молоть... сударь сын! Не видишь, в мыле?

— Вы же не подпускаете меня к Каштану...

— Распрягай, сопляк, ежели я приказал! — заорал Антанас, взмахнув кнутом; Имант отпрянул, поскользнувшись в навозе. — Живо! — Антанас поднял обутую в сапог ногу, вот-вот ударит, а ведь до сих пор никогда не ругал Иманта, словно чувствовал перед ним вину.

— Не бей его, Антанас, — дрожащим голосом вступилась мать. — Его бог покарал.

— Тьфу, такого бить?

Марите было стыдно, словно это она глумилась над Имантом. (И не сердит Антанас нисколько. Хочет показать, кто здесь хозяин. И показал... Ни за что он не пустит к своей матушке Аусму... Это для него то же самое, что корку хлеба у нее просить... Не попросит, нет! Придется искать бедняжке пристанища в другом месте... Ничего, время есть.)

За ужином старушка стеснялась, не смея перекреститься. Такой стол, такая лампа, такие блюда! Правда, святые образа на стене говорили о том, что Валдманисы — католики, старик Валдманис даже сотворил нечто вроде крестного знамения, но палку из руки не выпустил, и старушка не поняла, что он крестится, к тому же от смущения она уронила вилку — тяжелую, серебряную, издали видела такие в буфетах имений. Сидевший напротив старик уставился на нее своими глазами, и ей почудилось, будто он считает каждый проглоченный кусок, хотя Валдманису было ни до нее, ни до кого бы то ни было в этом доме. Говорить было не о чем, если не считать погоды, которая, само собой, всюду портилась. Аусма зевала, ей было скучно за столом, где не пьют и не шутят.

— Говорят, у литовцев песни красивые. Может, споете нам?

— Задыхаюсь я, барышня, едва начав... Когда-то голосистой была...

Антанас, казалось, прилип к стулу, молчаливый, красный, как будто его хлестали по щекам.

— И слова все позабыла, барышня... Псалмы еще куда ни шло...

— Аусма! — Валдмане показала глазами на багровеющего Антанаса.

— Аусма, Аусма! Как при покойнике, на цыпочках. Надоело. Хотите, я спою. Ту, что Антон меня на сене учил...

— Уймись! — Валдмане постучала кольцом по столу.— Какая муха тебя укусила!

Там, где дует ветерок, меня продувает,
Там, где дождик льет, меня заливает...

— Не браните ее, ладно поет.— Одна только старушка приняла издевку за песню.

Наклонив голову, высунув розовый язычок, Аусма затянула другую:

Запою ли вечером то, что утром пела,
Не выдала матушка, за кого хотела...

— А теперь нашу латышскую хотите? — Она потрянула светлой, позолоченной светом лампы головкой, волосы упали на плечо.

Уши Антанаса набухали кровью, казалось, она вот-вот брызнет из мочек.

— Ах, не сердитесь,— извинилась за дочку Валдмане.— У Аусмы бывают такие головные боли.

— Ха-ха! Сказала! Головные боли! В брю-хе у меня эти боли! Что же вы не ржете?

Никто не прикоснулся к испеченному Валдмане хворосту, обсыпанному сахарной пудрой и сложенному в хрустальную вазу. Когда то на всю округу славилось это пропитанное жиром, тающее на языке печенье, и Марите стало даже жаль Валдмане, которая старалась оказать прием госте, преодолевая себя и безуспешно отстаивая пошатнувшуюся честь дома. Все молчали, бился о стены хохот Аусмы. Валдмане посетовала на усталость и прикрутила фитиль лампы; Антанас встал: дескать, сходит посмотреть, как там скотина. У всех отлегло от сердца, хотя Аусма все еще дурачилась. Любезно поблагодарив, старушка попросилась на сено — ляжет с Марите.

— Как вам угодно, только не жалуйтесь потом...— проворчала Валдмане, сдерживавшаяся весь вечер.

Антанас проводил их с фонарем и шубой, старушка высвободилась из-под руки Марите и потянулась перекрестить сына, прощаясь, словно навсегда. Антанас нагнул, чтобы ей было удобнее, и зажмурился, чтобы не видеть в ее глазах муки прощения, перед которой он был бессилен.

Издали было видно, как сухонькая, закутанная в платочек голова подпрыгивает, точно камень, катящийся к подножью холма. Какое-то время было тихо, потом где-то, может у Эзериня, пропел петух, замычали коровы, замолотил копытами жеребец — начался еще один день. Белея нижней рубахой под накинутым на плечи пиджаком, подошел Антанас.

— Ушла? — Он дрожал от прохлады, словно не привык вставать в такую рань.

Ответа не ждал — заранее примирился с мыслью, что мать не пробудет долго.

— Ничего не сказала?

— Ничего.

Старушка в самом деле ничего не просила передать; проснувшись, рассказывала о всяких именьях, в которых она служила.

— Сказала... чтоб вы тут не оставались! — Марите и не почувствовала, как просыпала горсть слов, как будто тлевших в печи.— Сказала... Лучше на завод, на стройку... Сказала, чтобы не медлили! (Убьет... Дура, куда я лезу? Сама еще ему гранату дала... Теперь с ним сладу не будет...)

— У тебя опять не все дома, а еще обижаешься, что дурочкой зо-

вут! Никуда я отсюда не уйду! — Антанас обнял воротный столб, словно противясь невидимой буре, которая грозила вырвать его. — Слышала вчерашний Аусмин концерт? Пускай дурит, все равно моего сына под сердцем носит... Пока не родит, ни шагу не ступлю из Путниней! Она да ребенок — что еще у меня есть? Всю жизнь мечтал: что-нибудь свое! Земли кусок или еще какое богатство... Землю теперь, как каравай, кроят, нарезают кому надо и не надо... Имущество, деньги — сама видала! — как в трубу... Пришли и забрали, сволочи. Не хочу больше богатства — сыт! — Он прорезал воздух сжатым кулаком. — А сына у меня никто не отнимет! Мой он! Понимаешь, дурья башка? Никуда я не побегу! Как зеницу ока буду Аусму с ребеночком беречь... Кто полезет — тому горло перегрызу! Пусть знают! — В утреннем сумраке он размахивал кулаками, большой, решительный, непобедимый. — Ничего, будет сын — и приданое кое-какое наскребу! Еще денег зашибу! Понадобится для него — я из-под земли достану! Что, не веришь?

Опять кипел и шипел прежний Антанас, и Марите улыбнулась если не убежденная, то все-таки немножко успокоенная.

— Чего уши развесила? Марш скотину кормить! — заорал он на весь двор. — Эй вы, хватит дрыхнуть! В лес поедем — за бревнами!

Уходя понизил голос:

— Не очень матушка обижалась, а?.. Если б знала, что я сына жду, она и вовсе простила бы... Сын!

13

Спозаранку, когда еще мерцали утренние огоньки, появился давно не встречавшийся Эзеринь: то ли так удачно попал, то ли сперва разнюхал: Анна с Аусмой поехали в городок за покупками, Антанас с Имантом работали в лесу, а старый Валдманис, куда-то забившись, варил самогонку.

— Руки-рученьки! С такими ухватами не троих — шестерых галчат прокормим. — Он ходил за ней по пятам, пока она обхаживала скотину, похлопывал свиней по бокам, почесывал за ухом поросят. Время от времени порывался забрать у Марите ведро с пойлом, но был несел. — Ты не сердись, литвинка, не знаешь ведь, что я тебе принес...

— Мне ничего не надо, всего полно! — Она все думала о внезапном отъезде женщин. (Только не за покупками! Шаром покати в городке. Люди ездят за товарами в Елгаву или Ригу... Что они задумали?)

— Да, Эзеринь для тебя как прошлогодний снег. — Он что-то держал под шляпой, голос дрожал от обиды.

— Что ты пристал!

Марите разозлилась и вдруг увидела его таким, как в тот миг, когда лесовики спрашивали о нем. (Нагрязнот как-нибудь ночью и убьют... Я буду виновата — не предупредила! А как ему сказать?)

— Беспokoишься не о том, о чем надо. Лучше свой глаз протер бы. Пока ты языком мелешь, другие... — И Марите почувствовала, как становится легче на душе: ее тяготило, что до сих пор ничего не сказала о грозящей ему опасности, завертевшись в бесконечной суматохе дел и забот. (Сели мать с дочкой в повозку и укутали. Грызлись, цапались всю неделю, а тут живо спелись... И Антанас, дурья голова, отпустил. Что им делать в городке, интересно! Аусма отвернулась, даже не глянула на меня...)

— Что я слышу, у мейтене кавалер завелся? Подкараулит и побьет меня? Но за что? — У Эзериня из-под шляпы сбежала капля пота, упала на телогрейку.

— Не смейся, Эзеринь!

Марите не знала, как еще ясней сказать, чтобы до этого насмешника, беспечной птички божьей, наконец-то дошло. (Анне, правда, понадобились пуговицы, нитки и еще что-то. Аусма жаловалась, что зуб болит... Заодно покажется и акушерке? Может, выпишут капли, чтобы не была такой раздражительной?)

— Дурной сон приснился? — Он через силу выжал смешок. — Я ни в сон, ни в чох не верю!

— Своих малявок тебе не жаль!

Перед Марите возникли головы, будто горшки на плетне. (Когда это было? Давным-давно! Аусма летела, как птица, я тяжело давила на педали, еще свободная, не прикипевшая к ним сердцем... Вот хорошо было! Хорошо? Теперь хотя бы все ясно...)

— Жаль не жаль, ты ведь не придешь сопливые носы вытирать. А я стреляный воробей и не боюсь, есть у меня такая штука, от которой большой гром бывает! Поняла? И у Силиса есть... Нас ведь не гладят, как этих Валдманисов, как твоего Антона!

— Ты напрасно ругаешь Антанаса. — Марите колебалась: рассказать, как было, или нет? — Что ты запоешь, когда узнаешь, что Антанас тебе жизнь спас?

— Мне? — Ясный глаз Эзериня подернулся слезой. — Не шути, мейтене! У меня мороз по спине пошел. Все скажи!

— Больше я ничего не знаю, Эзеринь. Иди и береги своих детишек. И про Антанаса не думай плохо...

— Ну, а как мне о нем думать? Научи, если ты такая умная...

— Не знаю я, ничего не знаю... Вон плетется сюда старик. Не хочу, чтобы он тебя видел, Эзеринь! У меня за Антанаса и Аусму душа болит. — Выговорилась, и опять вроде бы легче стало. — Беги!

— Ты жалеешь его, а меня зло берет! Такой мужик не в свои сани сел! Кому он поверил? Каким людям? На кой черт ему эта сопля?

— Не сопля, Эзеринь... Аусма ребеночка ждет. — Марите сказала это мягко, смущаясь, как будто сама ждала.

— Э-ге-ге!.. Я-то думал, хуже моей беды не сыщешь! — Эзеринь нахлобучил шляпу и собрался уходить. — А зачем пришел, так и не сказал — руки твои виноваты. Так и вижу, как они мое замызанное гнездо чистят. — Его голос снова зазвучал грустно, покорно. — Был я вчера на почте. «Эй, спрашивает почтарь, есть ли в Путнини Маяс такая-то и такая-то?» — «Давай, поищу, говорю, не найду — верну нераспечатанным». — Вокруг неживого глаза хитро залучились морщинки, а из живого шла печальная нежность. — Тебе пишут?

Как фокусник, поднял шляпу, на мелко дрожащей ладони желтел не очень чистый, вероятно, захватанный его детишками конверт. Не успела взять в руки, как от конверта пахнуло тмином. Руку, писавшую адрес, Марите не узнала, но запах тмина... Собирали его много — дядя Куйнялис пил тминный чай для желудка.

— Не увижу я тебя больше, литвинка. Прощай, братская земля Латвия, да?

— Не знаю, Эзеринь... На Латвию я не в обиде, но не спрашивай, не знаю...

Марите в самом деле не знала, что будет делать, ни в ту минуту, когда мокрыми руками вскрывала письмо, ни потом, когда плакала, зарывшись в солому. Если бы спросили, что она плачет, не могла бы ответить. Плакала от радости, что дядя жив и свободен, плакала от благодарности за то, что где-то, видно, есть справедливость, которая иногда улыбается человеку, достойному ее, хотя и не ждущему уже ничего для себя; потом — от предчувствия, что, наверно, не уживется

теперь с дядей и не сможет облегчить его старость, хоть и должна, а почему не сможет, не сумела бы объяснить. Слезы высохли, но Марите все думала о дядином одиночестве, все вздыхала и удивлялась, как она могла спокойно жить, не зная, что случилось с дядей Куйнялисом. (Спокойно? Ни одного спокойного дня не помню!) Все равно угнетало ощущение вины, время от времени так и подмывало все бросить и мчаться в Шауляй, где живет теперь дядя,— адрес четкий и вложены три десятки, пахнущие добротой и всепрощением. (Бедный мой дядя... Это я должна была следить, чтобы с ним ничего не стряслось... Но я тогда ведь ничего не понимала... Скорей бы вернулась хозяйка! Чего они так долго?)

Не они замешкались — она сгорала от нетерпения. Как только они подъехали, кинулась к ним с письмом. Анна держала вожжи с каменным лицом, которое не сулило ничего хорошего. Аусма, полуотвернувшись, разминала затекшую ногу. (Поссорились по дороге — не иначе! Ты мне скажешь, Ауэма, где вы были, скажешь потом? Только времени мало, меня ждут... Но как ты будешь одна без меня, как?)

— Дядя старенький, хочу поведать,— вырвалось кротко. Собираюсь сказать, что уезжает навсегда, и обрадовалась, когда оговори-лась.

— Ах так? Ты покидаешь Путнини?

Аусмино лицо было серым, расплывшимся, на припухших щеках засохли бороздки слез. Дрогнул подбородок, запрокинулась голова в платочке. Аусма неловко выпрямилась в своем толстом пальто, размлевшая от тряски. Как будто хотела подняться выше козел, где ее не достанет и не опалит чужое счастье, которое вдруг обрело простой, заманчивый вид — возможность уехать, немедленно уйти пешком. Сквозь усталость, раздражение и торопливо натянутую маску надменности проступила такая жадная зависть, что Марите снова бухнула не подумав:

— Я ненадолго. Денька на два, и обратно домой. (Домой? Что это я — совсем спятила?)

Женщины, задержанные Марите, не вылезали из брички; обещания девушки ничего не стоили по сравнению с окном, которое широко открывалось перед ней, а для них, быть может, захлопывалось навсегда.

— Не помирает еще твой дядя.— Валдмане первая опомнилась, опустила ногу на землю и бросила Марите вожжи. Вполголоса бормотала что-то, недовольная и замешательством дочери и Маритиным письмом, а больше всего тем, что уже не сможет попрекать батрачку (дескать, разыскивают) — придется ее ублажать; в то, что Марите погостит и вернется, хозяйка не верила, об этом говорили ее холодные глаза и жестко сжатые губы.— Лес вывезем — тогда!

Кто знает, сдержала бы Валдмане свое обещание или нет, если б не другое письмо — на этот раз Антанасу: незнакомые люди, какие-то новые соседи, писали, что его мать в дороге застудила легкие.

— Поезжайте вместе, коли так! Уговорю кого-нибудь из соседей помочь, а вы собирайтесь.— Валдмане успела все обдумать раньше, чем Антанас кончил по слогам разбирать письмо — уже с трудом читал по-литовски.— Марите проведает своего дядю, ты, Антон, похоро-нишь мать...

— Еще не умерла, не каркай! — Антанаса так и перекосило от трезвого хода мыслей Анны; снова представил мать в Путнинях: как ее встретили, как проводили. Смерть уже тогда витала над ней.

— А что я сказала? По мне, пускай хоть сто лет живет... Но готовится, думаю, не мешает. Хорошая была женщина...

— Может, и хорошая, только не каркай... Не вовремя, ой не вовремя.

Антанас избегал печали как слабости — ему нужны были силы и выдержка, чтобы тянуть день за днем, дожидаясь, когда родится сын, а сколько еще сил потребуется на то, чтобы своими плечами проложить ему дорогу сквозь дебри — прямую, широкую, солнечную? Он избегал хотя бы на вершок отойти от намеченной в его воспаленном воображении вехи, как пес зубами, вцепился в ее конец и, как пес, рычал, когда кто-нибудь приближался, чтобы увести его в сторону или помешать. А сейчас он был выбит из колеи мягкосердечной материнской кротостью, которой не внял и не воздал и которая нависла над ним угрозой возмездия.

— Не вовремя, ой не вовремя, — сквозь деланное равнодушие провалился яростный приступ раскаяния.

Не в силах усидеть на месте, Антанас выскочил наружу и стал описывать вокруг овина все уменьшающиеся и убыстряющиеся круги, словно пущенный умелой рукой волчок, — до тех пор будет кружить, пока на что-либо не наткнется. Стиснув зубы, он мысленно подводил последние итоги жизни той, что наперед соглашалась со всеми его замыслами — даже не совсем добропорядочными. (Не имел матери, пока была жива, и обретет ее, схоронив? Страшно найти через утрачу. Мне лучше — ни лица, ни голоса не помню...) Наткнувшись вскоре на самого себя, больше всего ненавидевшего бездеятельность, он глубоко спрятал боль и принялся за невеселые сборы. Заколов поросянку, разделал и сложил в деревянный баул. Руки Антанаса и Анны соприкасались во время работы; в спешке они отлично понимали друг друга. (Наверно, так же было когда-то давно, когда оба были молоды...) Слабый, запоздалый отзвук, негреющий отблеск на посеревшей, потрескавшейся стене — самое грустное, что и это подарено близостью смерти. И ему и ей было не по себе, оба как бы чувствовали вину за то, что где-то стынет, коченеет, но все еще слышит и ощущает что-то тело матери. Анна первая оторвалась, принесла с чердака пять поллитровок. Молча, покорно ошипала двух кур, положила масла. Все шло удачно, пока она не замешкалась, высказав опасение, что банка с вареньем может разбиться.

— Быстрее! Окрока свои растрясти боишься, ты... ты!

Губы Антанаса дрожали от злости. (Анна делает все что положено — не придерешься. Родные и те бывают хуже. Так чего он взорвался? Боится, как бы сердечность Анны после не вышла боком? Никому спасибо сказать не хочет? Ой, не все ниточки между ними порваны...) Марите недоверчиво следила за Антанасом. (Сам виноват — живую хоронить торопится... Оттого и бесится, что хоть через труп готов переступить на пути к своей цели? Но меня-то что заело? Я же хотела, чтобы он был твердым... не давал водить себя за нос!)

— Так варенье класть или нет?

— Надо было тогда, когда мать гостила у нас, вареньем потчевать. Тогда! Если бы ты ее не выгнала в тот раз, не пришлось бы теперь, все бросив...

— Да разве я виновата, Антон? И угощала и хворост напекла... Как-никак не чужая мне. — Анна опять лягнула не то, хотя старалась задобрить Антанаса: видно, истошилось ее миролюбие, еще недавно поражавшее Марите.

— Иди ты к черту со своим вареньем! Милостыню не принимаю!

— То ты орешь, что все твое, то жалуешься на свою долю!

— Поглядите, до чего Валдмане щедр! Горшок жиру Марите отвалила, — злобно отозвался искавший к чему бы прицепиться Антанас. — Только она тебе ручку целовать не станет!

Марите стояла с горшком жира, натопленного из кишок — не забудет их, пока жива, — а думала о том, что даже дыхание смерти не может их помирить — открывает старые раны, без которых эти люди, наверное, и жить не могут. (И Антанас, увы, такой же... Как начнет он новую жизнь, которой бредит, если в старой, как в трясины, увяз?)

— Она чужая. Но ты... Тебе-то я ничего плохого... — Валдмане крутилась с банкой, не зная, куда ее поставить. — Когда я все тебе в жертву принесла, разве не была щедра? Себя, потом дочь отдала... Ненавижу и себя и ее...

— А меня ненавидишь пуще всех. Ни к чему вилять — поговорим начистоту!

— Ладно! — Анна прижала банку с вареньем к груди. — Ты ждешь сына, а мне чего ждать? Старости? Я уже стара и противна...

— Ради бога, замолчи, Анна! А то одними похоронами не кончится...

— Убей — только спасибо тебе скажу.

— Марите слушает... Мать хороню, пойми! Вернусь — тогда потолкуем. Хватаешь человека за горло, когда у него руки заломлены... Всегда норовишь так!

— Ты вернешься, да не ко мне. Ах, Антон, хоть притворился бы, не убивал последней надежды!.. Пускай не теперь — после, когда она... — Имя дочери не посмела произнести вслух, осеклась. — Неужели ты не помнишь того, что было? Женщина я — не сучка, которую топят, если не может больше щенят приносить...

— Нет, ты сучка! Бешеная сука! Не меня ты хотела, а чтобы постель согрел... И после войны тебе нужен был не я — руки мои, а потом моя медаль! — Антанас схватился за банку, дернул к себе и потряс; волосы Анны выскользнули из-под яркой ленты, растрепались. — Знала, без меня не удержишь Путнини — поэтому! А Аусму я люблю... Можно сказать, вырастил ее... Если и дурил когда-то, то теперь Аусма вот где! — локтем ударил себя в сердце. — Люблю, ясно тебе? Люблю, черт возьми! Она родит мне сына! Все здесь не мое — сын моим будет! Ты ума не приложишь, как нам помешать, вот и душишь, накинув петлю... Не думай, я понимаю, в чьих руках конец веревки... Только предупреждаю: тронете меня — горло перегрызу!

— Что ты выдумываешь, Антон! Разве я враг тебе? Я несчастная женщина. Вспомни, как ты вернулся последний раз из Риги... Если б не я, убил бы Аусму... Еле вырвала у тебя из лап. Ее и сына твоего... Лишь бы тебе хорошо было... Не помнишь ничего, совсем уже ошалел?

— Может, и так. — Антанас отпустил банку, женщина шлепнулась на мешок с пшеницей. — Но как тебе верить, Анна, как? — Его руки судорожно ходили у ее побледневшего лица. — А если и не врешь — поздно... Давно уже поздно!

— Что же мне делать, Антон?

— Уйди, не трогай меня! — Он попятился от Анны, которая встала, протягивая к нему руки. — Уйди с дороги!

— Антон, хоть одно ласковое слово... Пускай не любя, пускай через силу...

— На похороны еду — постыдилась бы...

— Антон, милый!

— А, удавись.

Он раздраженно, но уже без гнева отвернулся, должно быть, больше не думал о ней. Анна так и запнулась на полуслове, лицо постарело, рот запал, но посиневшие распухшие губы долго не прятали зубов. Она стояла старая, старше, чем на самом деле, с набрякшими жил-

ками, с выпирающими зубами и дрожащей нижней губой. Глядя на нее, Марите чуть было не усомнилась в своей правде, добытой с таким трудом. (Любит? До сих пор его любит? Хитрая, беспощадная, воду из камня выжмет, но любит? Эта губа ее... Не должен был говорить такое Антанас, ой не должен... Мать при смерти — иначе разве обидел бы так? И он не каменный!)

С удивлением и недовольством спохватилась, что оправдывает Антанаса, даже когда тот переступает грань, которую мысленно она уже не позволяла ему переходить, чтобы еще больше не перепутались правда и ложь, добро и зло, и так уже нерасторжимо перемешавшиеся здесь. Все замолчали. Антанас с удивлением заметил, что никто не кричит, и, возможно, пожалел о сказанном вгорячах.

— Что тебе из Литвы привезти, Анна?

Валдмане отвернула перекошенное лицо, покачнулась и ушла, оставив банку.

— А тебе, Аусма? Аусма, где ты? Позовите ее...

Никто не бросился — отправился на поиски сам. Аусма спряталась в доме, ее личико мелькнуло над занавеской и скрылось. Несколько минут дом стоял безмолвный, окутанный тихой угрозой, сурово обособленный от прочих строений, людей и даже деревьев. Затем послышался приглушенный басок Антанаса — он говорил не сердито, и так же не сердито, тихо отвечала Аусма. Накинув на нее пальто, он легонько подталкивал ее плечом на двор, где больше простора голосу и мыслям. Потом они шагали вдвоем по берегу пруда, Антанас что-то объяснял ей («Ты сапроти?»²⁰), встряхивал непокрытой головой, взъерошенной от ветра, и опять начинал сначала («Эс грибу! Эс! Ты сапроти?»²¹). Солнечный луч осветил пруд с плавающим гусиным пометом и березовым гусеском, задел обоих: волосы Аусмы блеснули золотом, Антанаса — скорбно — инеем. Аусма остановилась, прищурясь поглядела на открывшееся солнце, ловя редкое тепло; на ее губах играла добрая улыбка, и Марите почудилось, будто улыбается совсем другая Аусма, более взрослая, превозмогшая себя, принявшая неизбежную женскую долю. Антанас несмело положил на нее руку. Аусма дернула плечом, но руку не сбросила, и ее улыбка, ни веселая, ни грустная, пропала. Антанас был на диво чуток — не заставлял ее больше улыбаться, не погнался за ней, когда она заспешила в дом, словно сама себя испугавшись. (Помоги им, боже...) Марите повторяла отжившие слова, в которые уже не верила, — верила в этот миг, которого ждала, как будто он предназначался ей, верила в право этих двоих людей на счастье. (Дай Антанасу сына, Аусме — любовь. Разве они этого не достойны?) У нее было такое чувство, что она знает, как выглядит счастье, стоит ей захотеть, зажмуриться — и увидит, словно фотografiю, которую уже не вытрясет никакая повозка.

— Марите, собирайся! Имант нас подбросит до станции! — затопил ее Антанас; в черном костюме и белой рубашке, с перекинутым через руку габардиновым пальто, он, казалось, собрался на свадьбу, а не на похороны.

— Что за шлеи ты притащил? Не навоз ведь повезешь! — громко и не сердито распекал он Иманта; услышав, что старик опять запрятал шоры, не удержался: — Ну и дьявол!

Будто на зов, приковылял старик, бросил шоры, точно клубок змей. Антанас вздрогнул, хотел было выругаться или сплунуть, да вовремя вспомнил, куда собрался. Старый Валдманис угрюмо смотрел сквозь людей, словно единственный из всех понимал, в чем суть небы-

²⁰ Ты понимаешь?

²¹ Я хочу! Я! Ты понимаешь?.

тия. И Марите честно старалась думать о смерти, легко представила Антанаса, торжественного и смущенного, в головах у покойницы, среди плакальщиц и любопытных: даже там, должно быть, не сдержит тайной радости, что Аусма под конец была с ним любезна и выслушала его без слез; он будет стоять, хорошо одетый, сидящий, не сумеет полностью предаться печали, и богомолки будут злобствовать, шипеть в сенах, осуждая блудного сына, не достойного ни божьего прощения, ни людского сочувствия.

— Поехали, Марите! Скорей! — Антанас хлопнул в ладоши и вскочил в бричку.

Скорей, скорей! Скорей покончить с печальной обязанностью, с тягостными думами о том, чего не изменишь и что не должно преграждать дорогу живым, борющимся за свое счастье!

Спустя три дня тот же контролер сделал просечку на обратном билете Марите. Она и не заметила, как приехала в Шауляй, как перестала дивиться величине города и страшным развалинам, а также дяде Куйнялису, который нисколько не переменялся; только стены вокруг него были другие — оштукатуренные, расписанные желтыми цветами и коричневыми полосками, — а под окном, расположенным на уровне тротуара, урчал большой, как забор, и теплый, как печь, радиатор, на котором сохнул вымытый в белой раковине алюминиевый котелок.

— Коровушка моя, — дядя постучал желтым ногтем по котелку, — всегда молочко приносит.

Это не было насмешкой над самим собой — скорее грустное согласие с новым, не очень понятным ему миром. Куйнялис принесил какие-то травы с рынка, от него, как раньше, шел запах тмина, только когда Марите начинала говорить, дядя чуток менялся — прикладывал ладонь к левому уху и наклонялся ближе.

— Плохо слышать стал, — оправдывался Куйнялис, словно и в этом была его вина вместе с другими, самыми главными провинностями, из-за которых Марите мыкается в чужом краю, где говорят на почти понятном, но не родном языке. Могло ли быть иначе — не думал; почему его забрали и почему выпустили — тоже не понимал; по одним свидетельствам, которые ему прочли, он выходил злым, подлым человеком, по другим — слава богу, этих было больше! — заслуживал только уважения: одного накормил, другому дорогу показал, третьего от немцев спрятал. Кто в хуле, а кто в похвале, на дядин взгляд, сильно перебарщивали. Куйнялиса освободили и посоветовали не возвращаться в Вальгеманай — не сносить ему там головы! Кто-то из тех, чьи показания перевесили, устроил его сторожем при общежитии, хотя дядя и не мог понять, кому нужна его старая голова.

— А тот человек, дядя?

— А, тот? Как ушел себе, так и ушел.

— Постой, дядя... Скажи: человека или убийцу мы прятали?

Дядя выставил ухо, хоть и расслышал.

— Говорят, убийцу... Только я с ним рядом не стоял — не видел. Помнишь, каким он приполз? Не мог я его прогнать.

— А если бы ты все знал, дядя?

— Что ни скажу я сейчас — это скажут только мои уста. А как бы я поступил на самом деле — не знаю. Все под богом ходим, детка... Все.

Марите давно уже сомневалась в мудрости дяди Куйнялиса, а теперь и вовсе убедилась в том, что он не прав, хотя еще более не правы те, кто заставлял его, жившего по своей мудрости, прыгать сквозь огненное кольцо. (Обжегся, чуть было сам не сгорел и меня не сжег...

Если уж лезть в огонь, так, по крайней мере, знать, во имя чего! Антанас, тот знает... Нет, и он блуждает в потемках...) Марите казалось, будто она собралась погреться у печки, которую разрушили новые жильцы. Еще пахнет старой золой, печеной картошкой, но уже не греет... Захотелось смягчить горечь разочарования, окунувшись в жизнь дяди Куйнялиса. Обед и ужин он приносил в котелке, белье ему стирали в прачечной — оказалось, Марите нечего делать. Дядя предлагал устроить ее уборщицей — останется только завести еще один котелок! — она и слушать не хотела. За деньги, что сунул ей Антанас, купила на рынке плащ, такой же темно-синий, грубый, как у нее, и обрядила дядю. Оставила и молитвенник, теперь будет лежать на подоконнике, как в Вальгенае, и, может, напомнит ему Вальгенай, хотя по книжечкам он не молился. Еще раз, последний, попрощалась Марите с детством, которому все простила, себе же не просила прощения: понимала, что если и прозрела, то не освободилась от тяжелой ноши, которая не позволит чересчур разбегаться, раскидать где попало следы. Сквозь грусть расставания проступало облегчение (Я свободна, я наконец свободна!), и на обратном пути Марите с любопытством смотрела по сторонам, будто все, что она видит и чувствует, принадлежит теперь только ей. Знала, что это придет не сразу, что, быть может, это обман, который необходим, если хочешь забыть себя ради других, но ничто не останавливало ее. Увидела черепичную ржавчину на застывшем облыселем холме и дрогнула от нетерпения, точно возвращалась в дом, который соскучился по тебе, ждет тебя одну. Дрогнула и почувствовала, как дрожь отдается слабостью в ногах, — пылали окна, тлели простенки, дом беззвучно таял на медленном огне. Марите стояла у подножья холма без сил и без мыслей, словно долго бежала и прибежала к пропасти.

— Ах, мейтене... мейтене... Слава всевышнему...

Разинутый рот, редкие зубы, пот, стекающий по морщинам худой шеи... (Милый, славный дедушка!.. Все хорошо, да?) Вязанка дров выдирала скрюченные пальцы из суставов, земля так и притягивала к себе шишкастые колени, казалось, он сейчас грохнется на тропинку, если она не отберет у него дрова. (Возьму, возьму... Дай отдышаться. Какой ты смешной, ужасный дед! Что, дрова не горсть овса жеребцу? Вязанка не слишком велика, а ты спешишь переложить ее на меня... Ладно уж... И мне хочется за что-нибудь ухватиться, чтобы не дрожали поджилки... Бог с ними, с этими окнами. Наверно, отвыкла, пока ездила... Алеет вечернее солнце, только и всего! Завтра небось похолодает!)

— Как поживаете, хозяин?

Оттого, что это не пожар, что окна залиты солнцем — не пламенем, что вот и старый Валдманис жив и здоров, Марите на радостях назвала его хозяином — не дядей и не дедушкой. Вынула из сумки кулек конфет. Валдманис сердито проворчал что-то сквозь синеватые ниточки губ, не выпуская затрещавших дров.

— Что, дедушка? Не надорвешься от одной охатки... Я их за день бог знает сколько перетаскаю!

Весело взяла дрова, и навалилась тяжесть — бывшей и будущей работы; крепко уперлась ногами, земля стала тверже, отчетливее стала связь между отвергнутым ею прошлым и суровым, не принадлежавшим ей, однако невозможным без нее настоящим. Путники как стояли, так и стоят, подожженные прояснившимся холодным небом, и странно тихо вокруг, хотя было время дойки. Печальный и озябший, с подойником в руках на пороге овина топтался Имант.

— Марите, холера, где ты пропадала? — Он оскалил торчащие зубы. — Коровы брыкаются — спасай!

— Сейчас, сейчас! — Она побежала в дом с охапкой дров: соскучилась по коровам и даже по нему, долговязому.

— Добрый вечер, хозяйка! — Легонько стукнув, опустила дрова у самой плиты, поискала глазами топор — нащиплет лучины для растопки.

— А, это ты... Быстро приелись городские пироги!

Валдмане не обрадовалась, если и удивилась, то не подала виду. Под надвинутым на глаза платочком дрожала вертикальная морщинка, казалось, она решает: принять девушку назад или отказаться.

— Не за пирогами я ездила, хозяйка, а дядя и без меня обходится... — сдержанно пояснила Марите, чувствуя, что здесь никому не нужно ее хорошее настроение, вызванное тем, что все как было, так и есть, сейчас вспыхнет огонь и будет вариться картошка, которую она же и притащит, — нужно только ее усердие, да и то, возможно, не сегодня. (Хозяйка недовольна, что я взяла у старика дрова? Нет, не в этом дело...)

— Ты работающая девушка, ничего не скажешь, — сказала Валдмане, хотя ей не по душе пришелся ответ — глазами продолжала ощупывать открытое лицо Марите, на котором в действительности отражалось уже не все. — У Беянки твоей воспаление... Все Имант! Половина молока остается в вымени... Гони его, бездельника, и подои коров.

Марите больше всего не хватало Аусмы, но не осмелилась спрашивать Валдмане. (Аусма не выбежала навстречу, не обрадовалась, хотя была рядом, за шкафом... А ведь так не хотела, чтобы я уезжала... Что-то случилось, пока меня не было?)

— Есть хочешь?

— Спасибо. Я пирог купила на станции.

Пирог этот она не ела, привезла Аусме, если та побрезгует — съест орясина Имант; а Валдмане, видно, забыла, что собиралась ее покормить. Выглядела озабоченно, и это была не минутная забота и не та, что копилась прежде, тяжелея изо дня в день.

— Я запомню тебе сказать, Марите... — Говоря по-литовски, Валдмане вставляла книжные слова, чаще всего чтобы скрыть волнение. Морщинка на переносице не разглаживалась. — Аусма заболела... Болезнь не опасная, но ей необходим покой... Абсолютный покой. Ты к ней не приставай! Понятно?

— Понятно, хозяйка. — Марите не поняла — испугалась. (Больна, а я прискакала, ног под собой не чувю. Поэтому Анна так озабочена. Что с бедной Аусмой? Окна горели, суля несчастье, я не верила...)

— Беги, гони Иманта из хлева! И не лезь к Аусме, пожалуйста. Предупреждаю, она не в духе... Постой! Спать будешь на кухне... Аусма нуждается в свежем воздухе. Когда выздоровеет, переберешься обратно. Ясно?

В этот вечер Марите лишь издали видела Аусму. Будто не она заглянула в кухню, а кто-то внес и вынес засиженную мухами лампу. Бледное, безжизненное пятно вместо лица — разве это Аусма? Будто никогда и не была такой, какой провожала Антанаса к матери. Кстати, где он? Что-то произошло — Марите не сомневалась, но не спрашивала что именно: если и осмелишься спросить, то наткнешься на враждебную стену. Пока она гостила в городе, здесь никто, казалось, пальцем о палец не ударил. Все свалено как попало, скотина изголодалась, отошала, только Чалый, которого откармливал старый Валдманис, бодро похрупывал овсом и лоснился круглыми боками. Прокисшие миски, горшки, кастрюли, пригоревшие сковороды, и в доме и во дворе будто кучи какие-то. (Удивительно, как это чистюля Валд-

мане развела такую грязь и беспорядок! На это должны были быть серьезные причины.)

Она все ждала — ее не звали, даже сторонились, при ней прекращали разговор, отводили глаза. Не потому ли стремление к самопожертвованию — хотя Марите и не осознавала, что жертвует собой, даже понятия не имела о том, что это такое! — разочаровало ее, что по возвращении не нашла Антанаса? Беспорядок, конечно, был связан не только с таинственным недомоганием Аусмы — с его отсутствием. С тем, что не хватало его сильных, умелых рук, что со всех концов не доносились «Антон! Антон!», разгоняя скуку и оцепенение. От ошестившихся полей, заледенелых лугов и канав исходила мрачная пустота, которую заполнили бы только шаги и крики Антанаса. Подчеркнуто отделяясь от нее, заметила Марите, женщины каким-то образом отделялись и от Антанаса, от мыслей и воспоминаний о нем.

И все же Антанас очень беспокоил Валдмане, она то и дело поглядывала на дорогу, где ревели машины, груженные бревнами, бочками с горючим, едущими стоймя лошадьми или коровами, которых везли на бойню. Туда же косилась и Аусма, когда выбиралась из дому, надев зимнее пальто, закутавшись в материн платок. От нее веяло лекарством и какой-то безысходностью. Выманенная во двор случайным солнечным зайчиком, она осторожно семенила малюсенькими шажками, словно не доверяла выросившей ее земле Путниной. Осунувшаяся, без кровинки в лице, опиралась о стены здания, ствол дерева или бревна, которые Антанас так и не кончил возить. Стоило заговорить с ней — ударялась в слезы. Особенно раздражалась от дурацких ухмылок Иманта и непрерывной слезки отца. Марите всегда было странно, что старик — отец этой девушки. Не приближаясь, он бродил неподалеку, уставясь в даль своими глазами, но Аусма, должно быть, чувствовала, как сужает он круг возле нее, словно обручем стягивая грудь.

— Пошел вон!..— вопила она.— Мама, прогони его!

— Его еще не хватало! Как во сне... Ступай к своему жеребцу, ступай!

Старик неохотно пятился, что-то бормоча. Передернувшись, Аусма словно из тени выходила, устраивалась на другом месте или запералась дома; там, валяясь на постели, наблюдала за разгуливающими по потолку мухами. Одна лишь Анна подкрадывалась так, что Аусма не вздрагивала. И голос ее звучал ни громко, ни тихо — слышно им двоим и больше никому. Подолгу стояли или сидели, похожие друг на друга и блеклым цветом увядания, как прежде — сочной яркостью молодости. Переговаривались, не глядя друг на друга, словно при ком-то третьем, которому надо много объяснять, чтобы хоть кое-что уразумел.

— Хочешь знать, про что они говорят? Я скажу, только не за так, — предложил Имант, когда они с Марите ставили бидон на телегу, а мать с дочкой прогуливались у дома.— За поцелуй!

— Отстань, дурак! — Она беззлобно шлепнула его по толстым губам.

— Вот погоди, когда буду с винтовкой бегать, от девок отбою не будет! Пожалеешь тогда. Все равно убегу — в банду к Рогу или в истребительный отряд... Что, не веришь?

— Дурень ты, дурень...

— Сама ты дура, смотри! — Он развернул носовой платок.— Денег — куча! Идем на сено со мной, все отдам! Не жди, пока винтовку к спине приставлю...

Марите залезла на телегу, поставила бидоны.

— Смотри какая барыня! — бормотал Имант, все больше распа-

ляясь.— На деньги ей плевать. Так я тебе и альбом с марками впридачу... Марки, марки!

— Какие марки?

— Которые сударыня мама мне из Риги привезла... Э, не знаешь, не знаешь!

— Хозяйка... в Риге была? — Марите почувствовала, как слабеют ноги, а телега, не съехав с места, ныряет в глубокий ров. Держась за крышку бидона, соскочила на землю, ухватилась за борт телеги.

— Была, была! Вместе с Аусмой. Вы с Антоном уехали, и они тут же укатили! — Имант выставил свои зубы, визгливо засмеялся.— Аусма уже не выродит щеночка! Да, да! Не веришь?

— Что ты мелешь? — У Марите рябило в глазах, дорожка, по которой ей предстояло ехать, колыхалась, и все бегущие вдаль дороги были ненадежными, оторванными от земли; ткни пальцем — и провалишься.

— Поросенка рижскому доктору — и нет в животе щеночка!

Струсив при виде посиневшего, будто ее кто душит, лица Марите, Иммант метнулся в сторону. Испуганный резким движением, тронул с места Каштан, лягнули бидоны. Рука Марите, лежавшая на телеге, поплыла по воздуху над колышущейся дорожкой, которая вздымалась вместе с усадьбой, с подпиравшими небо деревьями. С минуты на минуту мог нагряться Антанас, его бодрый, соскучившийся голос, его неуместно красивая похоронная одежда, которой Марите теперь страшилась, словно ему было суждено никогда ее не снимать. (Предупредить!.. Сказать!.. Но что? Язык не повернется! Ничего уже не изменишь!.. Страшно!.. Лучше пусть не возвращается!)

14

Плита была еще теплой, когда Марите поднимала на локте разомлевшее, сморенное сном тело. Не задевая сознания, проплыл какой-то шум, под окном кричали, топали, казалось, там бушует не один — а сразу несколько мужиков; ее не вырвали из зыбкого, тягучего тепла и шаги, протопавшие у самой головы. Только глухие крики, дошедшие из комнаты, заставили поежиться и приподняться. (Бок плиты еще теплый, значит, не так уж поздно... Там ругаются. Незнакомый мужской голос. Хорошо, что незнакомый. Может, это Рог со своими бандитами? Вдруг хватились гранаты? Пусть! Лишь бы не Антанас, только б не он... Слава богу, не его голос!)

Шум и возня не прекращались, словно среди ночи хозяева решили с помощью гостей переставлять мебель, чтобы поудобнее всех устроить. Так казалось, когда шум как бы задышался под низким потолком — на минуту стихали, перемешавшись, ревушие и визжащие голоса. Так не кричат, когда болеет или даже умирает близкий человек: только если пламя в окнах и над головой и бежать уже поздно.

— Убью! Всех до единого... И себя и вас! — хрипом хрипел голос, не похожий на обычный голос Антанаса.

Когда Марите рванула дверь, ее встретило знакомое, искаженное болью лицо. Одичалые глаза были Антанаса, и мятый черный костюм — его, и несвежая, вылезшая из брюк сорочка...

— Боже милостивый! Артур... Артур, проснись!

Анна тормозила лежащего пластом Валдманиса — из-под шубы торчали желтые пальцы. Шуба съехала на пол, и он, ощупав себя рукой, словно щипцами, судорожно стиснул набалдашник палки; потом сел; пустым ртом хватал воздух, но слово так и не вырвалось.

— Ни бог, ни черт тебе не помогут! — Антанас медленно приближался к Анне.— Пробил твой последний!.. Крестись, ведьма,— конец!

— Как в тумане... Проснись!.. Хоть бы дочь свою спас! Вспомни... Ведь ты отец!

Валдмане рухнула на колени, умоляюще протянула руки, и старик Валдманис вдруг откинулся и взмахнул палкой. Антанас увернулся — удар пришелся по зеркалу. Со звоном посыпались осколки...

— Это Анна... Анна все затеяла... Я не хотела... Я не хочу умирать... — лепетала Аусма, высовывая и снова пряча мятое, бледное лицо. — Сжался, Антон!

— Обоих... обеих убью... И себя... Всех!

Голова Валдманиса моталась в руках Антанаса, лицо старика наливалось кровью, становилось фиолетовым, язык вылез изо рта.

— Ради бога, Антанас... Опомнись! — Марите подбежала и всем весом навалилась на руку, твердую, как шкворень. — Отпусти старого человека...

— Старый кровопийца... коварный пес... У!

Однако отпустил. Валдманис рухнул на постель, что-то клокотало у него в горле. На шубе появилась кровь, капавшая с подбородка.

Позже Марите вспоминала, что не видела Иманта — ноги в белых носках торчали из-под кровати неподвижно, как у мертвого.

— Ах, литвинка, милая... Ах, если б не ты! — Валдмане сложила ладони как для молитвы, и этот жест, а может, голос, сопровождаемый уже вздохом облегчения, опять разъярил Антанаса.

— Нету сына — нету мне больше жизни! Но и вы в гробу лежать будете... Со мною вместе! Погодите, только Марите вышвырну... Ей еще рано помирать. Ну-ну?!

Пропали светящиеся окна, деревья, небо и земля за ними; посреди комнаты, широко расставив ноги, стоял Антанас, ревел, как смертельно раненный зверь, и в поднятой руке сжимал гранату — ту самую, что Марите отняла у Иманта...

— Ты с ума сошла, мейтене! — Голос не слушался Эзериня, он никак не мог найти под печкой винтовку.

— Не спрашивай! Вытолкал меня на улицу, а сам... Все конечно!.. — Марите тянула его за собой.

— Ты видела? И гром слышала? — Не привыкший бегать Эзеринь задыхался, длинная винтовка мешала ему. — То-то что не слышала... Успеем, мейтене!

И, как в воду, бросился в густую тьму.

Марите бежала следом за ним, в ушах у нее продолжался грохот, гремел и гремел, словно каменная лавина неслась над головой, со свистом разлетались осколки и дробили то, что она склеивала с таким терпением и преданностью, желая чужим людям добра.

— Почему так светло? Не огонь ли это? Ты не чуешь дыма?

Эзеринь чуть не упал; опираясь на винтовку, будто на посох, обмахивался шляпой, как в жару.

Марите боялась приоткрыть глаза, чтобы не увидеть огненные лапы на крыше, снопы искр в деревьях. (Все... Кончено!.. Нет больше Путниней... Ничего нет!)

По двору металась большая тень, вот она застряла в падающем из окна свете, и стало видно: это Антанас — без пиджака, белеет выбившаяся из-под ремня рубашка.

— Антон! Что ты, чертов сын, наделал? — Эзеринь для смелости выставил вперед винтовку, его голос стал тоненьким, как у мальчишки. — Ты пьян — иди ложись, не пугай народ!

Антанас не заметил винтовку — узнал голос.

— Собаке собачье счастье, Эзеринь. Граната, брат, не рванула... Ничего, в следующий раз получится!

Качнувшись, хотел проскочить мимо, весь поглощенный страшным своим намерением и отчаянием.

— Антон, куда? — Эзеринь преградил ему путь.— Опомнись!.. Антон! — Он схватил Марите за плечи и выставил перед собой, как щит.— Ты, литвинка, по-литовски втолкуй ему.

Усадьба не горит, все целы и невредимы — у Марите вдруг выскочили из головы все литовские слова: на язык попадали только латышские, из тех, что непрестанно пережевывал старый Артур («Девам там кунгам... девам там кунгам... пар году...»).

— Скажи что-нибудь, литвинка... Говори!

Затылок обжигал шепот Эзериня; она пошевелила губами, но не услышала своих слов. (Не рванула, слава богу, не рванула... Другой гранаты у него нет, а завтра уйду. Хватит, пожила с ними — уйду!)

— И мне тоже интересно: ты что, язык проглотила? — Из темноты метнулись яростные искорки глаз — это Антанас нагнулся к ней, засунув руки в карманы, и шатался, словно подрубленное дерево, неизвестно в какую сторону готовое упасть.— Это я тебя благодарить должен, что гнилой бурак, а не гранату шмякнул! Тебя, божья коровка! А может, Анна тебе подсунула? Все вы бездушные твари... Все!

— Да я... я...

— Очень интересно...— Его сжатые кулаки распирали брюки.

— Привет от дяди... от дяди Куйнялиса! Он справлялся!.. Говорил.— Марите поняла, что ни в коем случае нельзя молчать.

— Говорил, говорил!— скрипнули металлические зубы.— Как он ничего не знает, так и вы. Что вы мне можете сказать? Мчались во весь дух, а теперь стоите как воды в рот набравши.

— Ты не буйствуй — свяжем! — Эзеринь, расхрабренный, видя, что Антанас в состоянии говорить, дернул плечом.— Пьян — так ложись и спи!

— Пойду лягу на сене,— неожиданно согласился Антанас.— Все равно другой гранаты нет... Ничего у меня нет! Не пьяный я — спать очень хочу... С одних похорон да на другие — не слишком ли много? Четверо суток не смыкал глаз... четверо суток, люди добрые...

— Ш-ш, пускай отдохнет.— Эзеринь приложил палец к губам, словно это Марите шумела и не давала спать Антанасу.— Сон — лучшее лекарство! Завтра поговорим...

Антанас ушел качаясь, слился с черной горой овина. Они выждали, пока в доме погасят свет.

— Иди и ты ложись, мейтене, вон как твое сердечко колотится... Я утром еще зайду! Не бойся — спи! Все будут спать как убитые.— Эзеринь вздрогнул от своих слов и неестественно засмеялся.

Он унес свою длинную винтовку, и Марите осталась одна, как после пожара, когда все выбились из сил и разбрелись кто куда. Снова обрисовались контуры строений, стволы деревьев, даже вязь ветвей, но все было ненастоящее, хоть и не рушилось.

Кто-то отворил дверь, закашлял. Марите вздрогнула, наткнувшись на старого Валдманиса.

— Чего вас тут носит? — Она хотела удержать его, но старик со злостью вырвался, судорожно стиснув что-то в руке.

— Отдайте! Это мое...— Она скорее догадалась, нежели разглядела гранату, ту самую, что не разорвалась, когда ее бросил Антанас.

Пальцы старика внезапно разжались — вряд ли он соображал, что у него в руках. Он шагнул мимо нее, а она радостно прижала гранату к груди.

— Куда? Все спят, и вы спите! За такую штучку нагореть может... Ой может! — погрозила, словно Иманту, помахав у старика под носом крепко сжатой гранатой.

Артур Валдманис взмахнул руками, кисти сошлись над головой, как будто граната, переходя из рук в руки, наконец-то взорвалась — содрогнулась земля, лопнул воздух, и со свистом пронесся рой осколков, изрешетив его нерушимое одиночество, — больше ничего не осталось, даже пустоты, под которой он хоронился.

— Ни души... — пожаловался он, озираясь по сторонам, и, окончательно воскреснув из мертвых, больше всего испугался темноты. — Господи... Господи!..

— Домой, домой... Куда вы?

— Отстань! Схожу по нужде и вернусь, — с трезвой стариковской сварливостью отбивался он и от Марите, и от страшной темноты, которая навалилась со всех сторон, сдавила и толкала, толкала куда-то, приставив к затылку железное, как у его клюки, острое, и не за что было схватиться, уцепиться: милый привычный мрак отказался окутывать, утешать, успокаивать, безжалостно отталкивал от себя.

Марите прошла в дом, притворила наружную дверь. Запирать задвижку изнутри не стала. (Старик задвинет — будет всего теперь бояться!) На четвереньках пробралась к своей постели, которая остыла, словно ее прихватил мороз. И бок плиты холодный, хоть прошла, казалось, всего минута. (Больше всех у виновата... Не стоило связываться с этой гранатой! Скорей бы уснуть и проснуться уже утром... И чтобы солнце светило! Женщины за стеною спят... Все спят как убитые...) Вздрогнула от этой мысли, прижалась подбородком к холодным коленям. (Баню бы истопить, попариться! И Аусма ходит чуть ли не с колтуном в волосах. Ах, Аусма, Аусма!.. Как жить будешь без ничего, с выжженным нутром?) Сон уводил в бездну, Марите противилась, ждала чего-то. (Ах да, старик... Где же старик? Старому и нужду справить — лихо. Вот стукнула дверь — возвращается... Уже не тихо и осторожно, как раньше, а словно зрячий, который все знает. Как он будет жить с открытыми глазами? Лучше бы оставался слепцом в вечной своей ночи... Все дома, все спят, усну и я...) Марите зевнула долгим, нервным зевком.

Эпилог

Антанас лежал в овине в луже почерневшей крови. Тут же валялась окровавленная коса и запекшийся жгут соломы — кто-то, видимо, пытался вытереть косу.

На косовище остались отпечатки стариковских пальцев, хоть и без того было ясно, кто перерезал спящему Антанасу горло.

Артура Валдманиса нашли на чердаке — он спал блаженным сном в коричневом гробу. Его увозили со связанными за спиной руками. Когда старика сажали в «газик», он бранился, обзывал всех, кто остался, самыми грязными словами, окончательно воскреснув из мертвых. На дворе валялась его яблоневая палка, пока кто-то не сбросил ее ногой в пруд.

Валдманисам разрешили заколоть свинью, сложить имущество на две подводы. Свинью опаливали на огороде, и озябшие часовые грели руки у огня. Анна Валдмане аккуратно увязывала одежду и белье, никому не отвечала и сама никого не спрашивала, не пытаясь смягчить свою судьбу. Иманту кто-то наплел, что они едут далеко, туда, где большие реки и полно рыбы, — он радостно улыбался, укладывая удочки; улучив минуту, когда Анна была в избе, он — уже в последний раз! — подбежал к часовым полюбоваться оружием. Его грубо прогнали, он не огорчился... Выклянув у кого-то папиросу, вновь ожил, стал спрашивать про рыбные реки. И только у Аусмы не-

престанно катились слезы; когда Валдманисам велели садиться в окруженные солдатами подводы, она наклонилась к Марите:

— Я не хотела... Не хотела этого... Страшный, жуткий сон!.. Ты веришь, Марите, что я этого не хотела?

Марите кивнула, убрала с запухших глаз мокрую прядь волос — говорить была не в силах, все слова были неживые, как трава по краям вытопанного двора.

— Ты мне ответишь, если я тебе напишу оттуда? Ответишь?

Марите опять кивнула, вытерла Аусме рот ладонью.

Подводы со скрипом съезжали под гору, простуженные голоса подгоняли лошадей. Когда обоз огибал подножье холма, слабо шелкнуло с далекой опушки леса — это Рог прощался с ними, поспешно отступая в Литву. Не было больше Валдманисов, хотя еще стоял их дом, валялся их инвентарь и мычали их коровы, не было больше Антанаса, хоронить которого будут с флагами и трубами — так всем оживленно сообщал Эзеринь, словно радуясь за своего дружка Антона, но его единственный глаз был подернут дымкой. (Все... Кончено... Забудется, какие здесь бушевали страсти, и даже название усадьбы — Путнини Маяс — забудется тоже... Как знать, и я когда-нибудь забуду все это?) Марите не спускала глаз с вереницы подвод, выискивая среди узлов пестрый платочек Аусмы. (Какая же я растяпа! Адреса своего еще не знаю. Куда мне Аусма писать станет?) Кинулась было за подводами, тяжело скрипящими по гравию, но удержало надрывное мычанье Белянки. (Недоена! Все недоены! Белянка-то не виновата, не ждать же ей, пока новые хозяева вселятся и подоят.) Марите вздохнула и пошла доить коров, все еще думая, как будет с адресом. (Подожду уходить отсюда, поживу здесь, пока письмо придет. Скоро небось будет... Подожду, теперь уж все равно.) Но даже и теперь было не все равно, взялась задубевшими ладонями за Белянкино вымя, и вдруг обожгло от мысли. (Кто знает, если бы не граната... не моя граната!.. Может, все бы кончилось по-другому?) Знала, что это неправда (Что изменилось бы, что?), однако доставшееся такой дорогой ценой знание не утешало.

— Эй, где эта литвинка?

Марите звали подписывать акт о приемке зарегистрированного на скорую руку имущества. По усадьбе разгуливали люди с дальних концов полей, редко показывавшиеся в Путнинях. Над шапками перемешивался дым сигарет и стынущее дыхание. Сначала приглушенные голоса перешептывались, как на похоронах, но вскоре народ осмелел, пошли разговоры о погоде: снег запаздывает, как ударит теперь мороз, так, видать, уже и не отпустит больше, впереди крепкая зима, может, после нее выдастся неплохое лето?

Марите выводила свою подпись — первую в жизни; это было очень важно, но она думала о другом. (Попрошу Эзериня, чтобы купил на почте конверт с маркой... Как только получу от Аусмы, тут же и отвечу.) Мелькнула мысль, что не умеет писать по-латышски, но огорчаться из-за этого не стала. (Не в лесу живу, люди кругом — черкнут за меня.. А постараюсь — и сама научусь, научилась ведь говорить. Скорей бы только написала Аусма... Подождать придется, но ничего... Я подожду!)

И Марите осталась в Латвии, где небо так похоже на литовское, как, впрочем, и все под этим бледным небом...

*Авторизованный перевод с литовского
Феликса Дектора.*



ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

★

ИЗ КНИГИ «ЛИСТВА»

* * *

Листаю книжки записные
И фронтовые дневники.
Перебираю не впервые
Все от строки и до строки.
Корреспондентские блокноты.
Небрежный стиль черновика.
Беседа с командиром роты,
С бойцом, добывшим «языка».
Зародыши стихотворений
И полевые адреса.
Плоды полночных размышлений,
Людей ушедших голоса.
Нечеткий торопливый почерк.
То запись факта, то пейзаж.
Из этих строчек вышел очерк,
Из тех — короткий репортаж.
Карандашом и самопиской
Мгновенно запечатлены
Подробности уже неблизкой,
Но и недалей той войны.

Себя с друзьями вижу тоже.
Мы (я гляжу со стороны),
Почти на тридцать лет моложе,
Еще по-воински стройны,
Несемся на попутном «додже»
Туда, где начался прорыв...

Мне кажется, что я все тот же,
Когда листаю свой архив.
Что я и ныне — свойский малый
В ремнях наплечных, в сапогах,
С кирзовой сумкою, со шпалой
В петлице, с трубочкой в зубах.
Что я на нарах сплю в теплушке,
Лечу на латаном «У-2»,
Пью на морозе спирт из кружки
И под огнем ищу слова.

Мне кажется, когда читаю
Страницы книжки записной,
Что вот возьму и наверстаю
Все, все упущенное мной.

А главное, что рядом встанут,
Вернувшиеся в мир живых,
Все те, кто мельком упомянут
В моих блокнотах фронтовых.

..*

Стоит мне только к минувшим годам приглядеться,
В резком свеченье отчетливо станут видны
Листья каштанов на солнечных улицах детства,
Кисти рябин на осенних дорогах войны.

Брянская чаща укрытием служила солдатам,
Маскировала редакцию, пушек стволы.
В завтрашний номер стихи сочинял я когда-то,
Сев на пенек среди зеленой лесной полумглы.

Наполовину седой, словно киевский тополь,
Воспоминаньями я, как листвою, оброс.
Землю прошел и проехал по трактам и тропам
Всю — от магнолий до карликовых берез.

Весел бываю. Невесел. Безгрешен и грешен.
Нетерпелив, как юнец. Как старик, терпелив.
Чем я порою утешен? Качаньем орешин,
Трепетом верб и мерцаньем струящихся ив.

Рухну однажды. Быть может, под шорох дождинок,
Может, созвездья снежинок овеют меня.
Может, в разгар листопада и поздних дожинок
Кротко приму неизбежность последнего дня.

И, отрешен от волнений, раздумий и тягот,
Буду, незрячий уже, на деревья смотреть.
Два медяка на глаза мои медленно лягут.
Не из копилки. Из рощи, просыпавшей медь.

..*

В юности я постоянно спешил,
Но это и приводило к опозданиям.

Я быстро писал стихи
И не давал им отлежаться.
А лучшие строчки возникали значительно позже,
Когда скороспелые опусы
Уже оттиснуты на газетной странице.

Я выходил на трибуну
С торопливыми суждениями.
А стоящие мысли
Приходили в голову глубокой ночью,
Когда я ворочался с боку на бок,
Обдумывая сказанное.

Я с ходу признавался в любви,
Подхлестываемый нетерпением.

Произносил косноязычные фразы.
Получалось бездарно.

А лирическое красноречие
Осеняло меня потом,
Когда я брел со свидания,
Безоговорочно отвергнутый.
Теперь я пишу медленно
И долго выдерживаю написанное.
Все равно произношу речи,
Да и то предварительно взвесив
Каждое слово.
И уж подавно не тороплюсь
Признаваться в любви
(Возраст!).
Но оттого что все делаешь
Своевременно,
Продуманно
И почти успешно,
Не становишься счастливее.
Странное дело! —
Чем ты старше, сдержанней и мудрей,
Тем нежней вспоминаешь
Ранние свои промахи,
Тем чаще тоскуешь
По юношеским неудачам.



П. МИРОНОВ

★

ЯКУТСКИЕ СТРАНИЦЫ

Петр Сергеевич Миронов — заслуженный врач Якутской АССР, кандидат медицинских наук. В предлагаемых нами записках П. С. Миронов рассказывает о первых годах своей врачебной деятельности в Якутии, где он проработал двадцать лет.

1. К ПОЛЮСУ ХОЛОДА

Наш Второй ленинградский медицинский институт готовился к выпуску 1938 года. Еще задолго до государственных экзаменов состоялось предварительное распределение будущих врачей. И волнений было, конечно, немало.

На кафедре говорили, что институту предстоит оставить в Ленинграде двух выпускников. Среди кандидатов на замещение должностей хирургов кафедры называлась и моя фамилия. Нам тогда завидовали, но у меня были свои планы, и, когда состоялось окончательное распределение, я попросил послать меня в сельскую участковую больницу. Дело в том, что я проводил летние каникулы в своей родной Старой Рачейке, и посещение сельской больницы было для меня там самым настоящим праздником. Наш приветливый старичок врач однажды доверил мне сделать простую операцию — удалить кисту нижней губы у больного. Сколько гордости и радости вызвала эта самостоятельная, удачно проведенная операция!

Моей мечтой было стать опытным и всеми уважаемым сельским врачом. И мои родители были очень рады моему стремлению.

...И вот экзамены позади. Я получаю диплом с отличием. Настроение приподнятое, все хорошо, только вот мать, месяц назад перенесшая тяжелую операцию, очень больна. Профессор, оперировавший ее, сказал мне откровенно, как будущему врачу, что проживет она недолго.

В последние дни перед отъездом на место работы по институту прошел слух: состоится новое распределение врачей. Для этого специально в Ленинград прибыл нарком здравоохранения СССР Н. И. Проппер-Гроценков. Он обратился к комсомольцам института с просьбой поехать работать на Крайний Север. Будучи комсоргом курса, я без колебания дал согласие отправиться в Оймяконскую участковую больницу.

По пути в Якутию я заглянул в родную Старую Рачейку. Мать нашел в очень тяжелом состоянии, она доживала последние дни. Сильно увеличенная печень, водянка, к тому же односторонний паралич совсем приковали ее к постели. Ощущая приближение смерти, мать настойчиво просила меня сократить ее страдания, помочь поскорее умереть. Она упрекала меня в жестокости, в том, что я вижу ее мучения и отказываюсь выполнить последнюю материнскую просьбу. Никогда не забуду ее укоризненного взгляда, ее затухающих, таких родных

глаз. Мое положение было невыносимым. В эти дни я не мог ни есть, ни спать, тайком, чтоб никто не видел, плакал.

Снова и снова старательно копался я в своем небольшом багаже знаний: нельзя ли чем помочь матери? Увы! Утешительного ответа не находил. А откладывая отъезд в Якутию было нельзя. Мне тогда даже казалось, что если я еще задержусь дома, то окружающие подумают: специально жду смерти матери!

До сих пор с болью вспоминаю, как прощался с матерью. Совсем не видя окружающих, я невнятно говорил ей:

— Вот тебе, мама, лучшее доказательство того, что ты поправишься, — мой отъезд. Ведь иначе я не уехал бы.

Подступивший ком к горлу никак не придавал моим словам веса и убедительности... Мать все хорошо понимала.

Многие километры под стук колес вагона мою душу надрывали угрызения совести: как это я мог оставить умирающую мать? Не раз на остановке я готов был сойти с поезда и вернуться домой.

Но шло время, и я уезжал все дальше. На девятый день поезд прибыл на станцию Большой Невер. Дальнейший путь до Якутска предстоял через горные хребты по шоссеиной дороге. Рейсовых автомашин на Алдан здесь не оказалось. Только на пятый день мне повезло: нашлась попутная грузовая машина. В ее кузове пассажиров набилось битком. Старожилы поговаривали: чем теснее, тем теплее.

В дороге я познакомился с пареньком Кешей Габышевым. В Якутске он предложил мне остановиться в доме его дяди. Тот принял меня с радушным гостеприимством, которое так нужно было мне. Его отцовские наставления очень помогли мне в дальнейшей дороге на Оймякон. Он сам ходил со мной на базар, чтоб купить для меня оленью доху, штаны и камусы. Оказалось, что Оймякон — очень отдаленный и малонаселенный районный центр. Связь с ним бывает лишь в зимний и летний периоды, каждый продолжительностью в три месяца.

Предстоящий мне путь превышал тысячу километров. Наркомздрав Якутии по моей просьбе разрешил мне закупить для Оймяконской больницы набор хирургического инструментария и медикаментов. Когда все это было упаковано в двадцать один фанерный ящик среднего размера, стало очевидным, что с таким грузом отправляться случайным попутным транспортом очень рискованно. В это время из Оймякона пришло тревожное известие: усиливалась эпидемия сибирской язвы оленей. Для лечения надо было послать туда сыворотку, и Наркомздрав республики решил отправить меня, мой груз и сыворотку с почтой.

На грузовой автомашине меня доставили со всем «хозяйством» в наслег Тенгюлю, что в семидесяти километрах от Якутска. Дальше надо было ехать на лошадях. Морозы в те дни здесь доходили до шестидесяти градусов. Над наслегом висела сплошная пелена тумана, из-за которого ничего не было видно.

Из Тенгюлю мы выехали в пять утра. Почта состояла из трех подвод: на первой разместились проводник, на вторую погрузили медикаменты, третья — для меня и почтовой клади. Этот отрезок пути характерен был только тем, что молчаливый проводник из якутов жестами показывал мне: шевелись, двигайся, иначе замерзнешь.

Поздним вечером мы добрались до Ытык-Келя, дальше почта двигалась уже на оленях. Они должны были меняться на так называемых станках (почтовых станциях), расположенных в пятидесяти—шестидесяти километрах друг от друга. Поначалу мне показалось, что олени значительно резвее лошадей. И действительно, если дорога ровная, а снег не очень глубокий, то они сначала бегут как заведенные, без приободрения, равномерной спокойной рысью. Сквозь дремоту покачивающиеся впереди ветвистые рога чем-то напоминают танцующие пары. Выдыхаемый оленями воздух на сильном морозе превращается в туман, который легким шлейфом тянется по всему пути.

Выехав со станции, первые пятнадцать—двадцать километров сидишь на карте, сохраняя тепло, полученное в юрте, у камелька, но потом приходится периодически бежать сзади по следу нарт. Это необходимо не только для того,

чтобы согреться, но и чтобы облегчать оленей, которые во второй половине пути начинают уставать.

От Хандыги дорога стала тяжелой. Высокие горные хребты, видневшиеся впереди, приближались очень медленно. Мороз усилился.

Здесь я узнал, что подъем на высоту по резко пересеченной местности менее сложен, чем спуск. При подъеме олени умело опираются на каменные уступы, и даже солидная высота им не помеха. Да и путник может помочь себе руками, подняться с одного уступа на другой. Иногда, впрочем, приходится хвататься за нарту, чтобы подтянуться вверх. Одним словом, требуется только быть добрым спортсменом и не зевать: сорваться с обледенелого, заснеженного уступа можно запросто.

Спуск много труднее. Здесь уже нужна сноровка хорошо натренированного альпиниста, его выносливость и закалка. Грузеную нарту на крутых откосах удержать почти невозможно. Сорвавшаяся с каменного уступа, она увлекает за собой упряжку оленей, а вместе с ней и путника, пытающегося удержать нарту. Образуется стремительный, катящийся вниз клубок.

Наши фанерные ящики с медикаментами много раз разбивались. Приходилось в темноте ползать по глубокому снегу и часами искать разлетевшиеся пузырьки с хлороформом или эфиром, пакетики с аспирином, коденном, связки пинцетов, ланцетов и других инструментов. На почтовых станциях я тем только и занимался, что ремонтировал свои разбитые ящики. Мне тогда очень пригодились полученные еще в школе навыки по столярному делу.

В районе Томпо нам предстоял очередной спуск протяженностью в шесть километров. Ночь выдалась морозной, но необычно светлой — появилось северное сияние. До этого я не представлял себе, какое это красочное зрелище. Впечатление такое, словно ты попал под купол какого-то сказочного дворца с миллионами разноцветных хрустальных люстр, переливающихся яркими электрическими огнями. Причем огонь этого цветного купола не стоит у тебя над головой, а все время движется. Кажется, что это световое движение создает даже своеобразный мелодичный шум, напоминающий перезвон серебряных колокольчиков.

Тревожный крик проводника вернул меня к земной действительности. Внизу, у самого основания крутого скалистого спуска, лежали на снегу олени, нарты и проводник, словно накрепко связанные в единый узел. Нелегко было его распутать. Проводник, немолодой якут, стонал и корчился от боли. С моей помощью он кое-как освободился от ремней и встал на ноги, страдальчески придерживая ушибленную левую руку. Малейшее движение вызывало у него острую боль. Когда я стал осматривать руку, мне показалось, что раздался хруст трущихся друг о друга обломков плечевой кости. Пришлось острым якутским ножом срезать несколько прутьев и сделать из них шину. Затем я стянул ее муфтой и зафиксировал его плечевую кость. На следующей почтовой станции, занимавшей маленькую юрту с земляным полом и окнами, в которых стеклами служил лед, наспех согрев руки у пылающего камелька, я приступил к перевязке пострадавшего. Надо было наложить более удобную и постоянную шинную повязку, как это обычно предписывается при переломах. А в том, что у моего проводника перелом плечевой кости, я не сомневался. Точнее, не допускал мысли, что возможен какая-либо ошибка в поставленном мною диагнозе.

Освобождая больного от временной шины, я ощущал на себе пристальные взгляды обитателей юрты и скажу откровенно: чуть-чуть любовался своим уверенным врачеванием и думал примерно так: «Здорово повезло проводнику, что он вез врача! Что бы он стал делать без меня? Прямо на ходу оказал ему экстренную, и притом квалифицированную, помощь!» Но когда пострадавший был раздет по пояс, вместо определенного мною перелома отчетливо обнаружился лишь вывих левого плечевого сустава. Самодовольство, распиравшее меня, словно ветром сдуло.

От стыда я готов был провалиться сквозь землю. Однако следовало что-то делать, но вот что — этого-то я и не знал! Вправлять вывихнутое плечо мне еще ни разу не приходилось. Первые же попытки поставить плечо на место оказались

тщетными. Чтобы как-то скрыть свою беспомощность, я предложил пострадавшему лечь на стол и свесить вывихнутую руку. Голову его я уложил при этом на ящики с медикаментами.

Прошло несколько минут. Проводник лежал в томительном ожидании исцеления, но моя ползунахарская затея ничем себя не оправдывала. И вдруг меня осенила мысль...

Позвав своего нового проводника, с которым предстоял дальнейший путь, я попросил его тянуть с небольшим, но нарастающим усилием больную руку пострадавшего вниз. Сам же охватил ладонями сустав и стал постепенно выводить пальцами головку плеча из-под суставной впадины.

К моему удивлению, эта операция прошла на редкость легко и быстро. Головка плеча встала на свое место, и пострадавший тут же почувствовал облегчение. Не дожидаясь моего разрешения, он покинул стол и начал делать движения левой рукой. Убедившись, что она действует, он признательно улыбнулся мне и, глубоко вздохнув, произнес:

— Бахыбо-лах (спасибо).

Утром, осмотрев левую руку проводника, я убедился, что она вполне здорова. Лишь небольшой отек сустава напоминал о вывихе. Я радовался, однако чувство неловкости за неверно поставленный диагноз не покидало меня. Потом, разбирая этот случай, долго не выходящий из головы, что называется, по косточкам, я дал себе слово никогда не спешить с установлением диагноза.

Уже третью неделю я находился в пути. Запасы продуктов подошли к концу. Оставалось только прогорклое сливочное масло, но оно так мне опротивело, что один его запах вызывал тошноту. Я сильно похудел. Одежда, которая с начала пути казалась теплой, теперь согревала все хуже и становилась тяжелее.

Мной стала овладевать апатия. Уже не занимали меня красивые горы, не вызывало восторга северное сияние. Все труднее покидал я ночевки.

Но вот наступил наконец день, когда мы попали в наслег Тарын-Юрях, первую станцию на территории Оймьяконского района. Встретили нас радушно, устроили на отдых в просторной юрте. От яркого света и щедрого тепла камелька потянуло ко сну. Не снимая верхней одежды, я прилег и моментально уснул. Вдруг услышал:

— Доктор, вставайте! Пора подкрепиться!

Это было сказано на чистом русском языке, которого я не слышал в дороге.

Открыв глаза, я увидел военного человека в форме НКВД, гревшего над камельком руки. Он сказал:

— Будем знакомы. Гурулев! — И спросил: — Надолго к нам?

Не дожидаясь ответа, он решительно взял меня, полусонного, за плечи, поднял и повел к столу.

На столе были аккуратно расставлены эмалированные кружки для чая, горкой лежали разломанная на отдельные части якутская лепешка и мелко наколотый сахар. Центр стола занимал большой медный поднос с чем-то, напоминающим деревянную стружку, как будто только что вышедшую из-под рубанка.

Поймав мой пытливым взгляд, Гурулев пояснил:

— Не удивляйтесь, доктор. Это лучшее якутское блюдо-деликатес, а не «сырая рыба», как ее называют все новички. Вы ели ее когда-нибудь?

Я отрицательно покачал головой.

— Я тоже не предполагал, что буду ее с удовольствием уплетать. Так, собственно, все думают, пока не положат первый ломтик строганины в рот. Ну, пробуйте! Решайтесь! А то голодным останетесь. Учтите, что в нашем крае не нуждаются есть. Здесь садятся за стол без приглашения.

Нерешительно положил я на зубы первый кусочек строганины. Он растаял во рту, подобно мороженому. А на вкус — пломбир, только присоленный! Как и все сидящие за столом, я стал уплетать строганину за обе щеки.

Разговаривал за столом только один Гурулев. Он все нахваливал первейшее северное блюдо. От него я узнал, что на изготовление строганины употребляют самые жирные и бескостистые сорта белой рыбы. Ловится она из-под льда и тут

же на льду замораживается, затем обливается водой, чтобы получилась тонкая ледяная оболочка. Это позволяет надолго сохранить ее естественную свежесть и присущий рыбе аромат.

Когда покончили со строганиной, хозяйка юрты стала разливать очень крепкий плиточный чай. Она добавляла в каждую кружку немного томленого молока, отчего чай становился особенно вкусным.

Обильный и вкусный завтрак, а также интересный собеседник вернули мне хорошее настроение, и я стал рассказывать о себе. Гурулев переводил мой рассказ обитателям юрты, молча покуривавшим трубки.

К слову, обратив внимание Гурулева на то, что якуты больше слушают, чем говорят, я услышал от него в ответ:

— Ухо мудрых жаждет знаний.— Затем он привел еще одно изречение якутов:— Охраняющий уста свои оберегает жизнь свою.

Задумавшись, я приутих. Это не ускользнуло от Гурулева. Он сказал:

— Не унывайте, доктор.

Пробивающийся через ледяные стекла окна свет засвидетельствовал о начале нового дня. Не надевая дохи, Гурулев вышел из юрты. Вернувшись вскоре, поживаясь от холода, он радостно сообщил:

— Морозец, братцы, что надо. Слюна на лету замерзает.— Затем обернулся ко мне:— Вот вам, доктор, в знак нашей встречи и дружбы дарю колымские унты и пыжиковые чулки. Чтоб не поминали меня лихом!

Мне теплая обувь была крайне необходима, но принять такой щедрый подарок не решился:

— Бесплатно не возьму!

— Уважаемый доктор,— на этот раз сурово отчеканил Гурулев.— У нас в тайге такими вещами не торгуют.

Проводники торопили с отъездом. Мы наспех выпили еще по кружке чая и расстались с Гурулевым.

...На двадцать третий день пути вечером наши олени упряжки подъезжали к долгожданному Оймякону. От нетерпения я больше не садился на нарту. Упорно шел и шел за медленно тянувшимися ее оленями. Скоро северное сияние сделало морозную ночь похожей на наш день с предгрозовым ярким солнцем.

У спуска в оймяконскую долину проводник, старательно осмотрев нарты, велел мне сесть, и олени, словно почувствовав конец пути, рывком пустились вскачь.

Вскоре упряжки остановились у одиноко стоявшего, ничем особо не приметного рубленого строения с невысоким крыльцом. Это и была больница. Проводник сложил на снег выдавшие виды во время длительного пути ящики с медикаментами и мой чемодан с книгами. Затем он с прискоком сел на нарту и уже на ходу выкрикнул слова прощания.

Недалеко от больницы находилась обычная якутская юрта. Кругом одна тайга да вдаль смутные очертания высоких гор.

Постояв несколько минут в нерешительности, я поднялся на крыльцо больницы, открыл дверь и вошел в полутемный коридор. Когда рассеялись клубы хлынувшего за мной морозного воздуха, я увидел скуластого человека с прищуренными больными глазами. На нем был темный халат. Молча стоял он, пока я не заговорил с ним. Узнав, что передо мной дежурный санитар Егор Заболоцкий, я попросил его позвать заведующую больницей. Он произнес только одно слово: «Сеп» — и тут же вышел.

Скоро он вернулся и опять-таки молча скрылся в одной из палат. Мне казалось, что я ожидаю в коридоре целую вечность. Не выдержав, я решил искать заведующую и, спускаясь с крыльца, увидел медленно шагающую из юрты в больницу молодую женщину, которая, как это совершенно очевидно было по походке, находилась на последних месяцах беременности. Приоткрыв свои широкие темные глаза, она сухо спросила у меня:

— Вы что хотите?

Это и была заведующая больницей фельдшер Акулина Семеновна Ногови-

цина. Я не знал, что она несколько дней назад похоронила мужа, и ее холодную встречу воспринял как недоброжелательное, даже враждебное отношение к новоявленному врачу.

— Хотел бы определить ящики с медикаментами, да и самому надо где-то расположиться,— ответил я, представившись ей.

— С ящиками ничего не случится, пусть лежат здесь. А вы можете идти в юрту,— по-прежнему сухо сказала она.— Идемте, я покажу.

Огромная юрта делилась несколькими ситцевыми занавесками на отдельные «выгородки». За каждой из них располагалась семья. В юрте было холодно. В камельке лежали давно прогоревшие угли.

В отведенной мне выгородке пол был сбит из грубо отесанных бревен, щели между которыми засыпаны землей. Ничего, на что можно было сесть или лечь, здесь не оказалось.

Чтобы никого не беспокоить, я не раздеваясь улегся на пол, положив голову на чемодан, и попытался собраться с мыслями. Не такой ждал я встречи. Не представлял я себе, как буду тут жить, с чего завтра придется мне начинать день. Недовольный, расстроенный, засыпал я на своем чемодане.

Встал я рано, как только услышал треск разгоравшегося камелька. От огня в юрте стало как-то веселее. И сердце вроде как бы оттаяло.

Камелек разожгла санитарка Мотя, с глазами, пораженными трахомой.

— Капсе (рассказывай)!— поприветствовала она меня.

— Сох ен капсе (нет ты рассказывай),— выпалил я неожиданно для себя заученное ответное якутское приветствие.

С трудом выпытал я у Моти, как найти райсовет и раймаг, куда без промедления и отправился. Трехкилометровое расстояние по хорошо протоптанной тропе, петляющей вдоль берега Индигирки, показалось мне пустяковым. Районный центр состоял из двух десятков юрт. Все учреждения его размещались в бывшей церкви. Прежде всего я разыскал раймаг, где, как говорится, с ходу купил несколько плиток шоколада, первое, что попало мне на глаза. Это, наверное, должно было показаться смешным, но я тут же в магазине с большим аппетитом проглотил пару плиток. От шоколада у меня закружилась голова и затошнило.

В райсовете меня встретили еще холоднее, чем накануне в больнице. Председатель райсовета Диомид Винокуров, маленький, щупленький, с заостренными чертами лица якут, с ледяным спокойствием выслушал через переводчика все мои просьбы и претензии, потом он достал кисет с листовым табаком, неторопливо набил трубку и закурил. После нескольких глубоких затяжек Диомид, как бы рассуждая сам с собой, сказал:

— У нас не принято никого встречать. Каждому приезжему мы рады, и он должен довольствоваться тем, что есть! Ты же знал, куда и зачем ехал. Так что с сегодняшнего дня больница твоя, вот и налаживай медицинскую службу в нашем районе. Район большой, границы его растянулись на тысячу километров. Налаживай, делай все так, чтобы мы были тобой довольны.

Надо ли говорить, что я вышел из райисполкома в полном смятении чувств. Однако налаживать работу было необходимо, и действительно ведь я знал, куда ехал.

2. ПЕРВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Народу на амбулаторных приемах с каждым днем становилось все больше и больше. И все же особого удовлетворения я не испытывал, так как якуты шли на прием ко мне обычно ради любопытства. Случалось, что пациент, не дослушав моих наставлений, которые я разъяснял главным образом энергичными жестами и мимикой, подымался и молча уходил из кабинета.

По молодости переоценивая свои силы, я тогда воображал себя вполне подготовленным хирургом. Ну а раз так, то надо было доказать это на практике. И я настойчиво искал больного, которому была нужна хирургическая помощь. Мои поиски вскоре увенчались успехом.

Я нашел восьмидесятилетнего Гаврила Березкина, который длительное время страдал массивной паховой грыжей. После беседы со мной (конечно, через переводчика) он стал часто приходить в больницу, с нетерпением ожидая, когда будет закончена затеянная мной перестройка больницы и оборудована операционная.

К перестройке мы привлекли трех молодых парней, пытавшихся с Алдана попасть на прииск Аллах-Юнь, но по ошибке попавших в Оймякон. Три зимних месяца они плутали по тайге и в последние дни питались уже кожаными ремнями.

За сходную цену они подрядились отремонтировать больницу и наше общежитие в юрте. По моим указаниям, ясно, что без всякой проектно-сметной документации, они возводили перегородки, чтобы можно было иметь отдельные палаты, операционную и вспомогательные помещения. Якутская юрта также была перегороджена, так что каждая семья получила отдельную комнату. Камелек оставался как бы кухней общего пользования.

И вот наступил долгожданный день госпитализации первого хирургического больного. Требовалось приготовить раствор новокаина для обезболивания операции. Это-то я знал, а вот как приготавливается раствор новокаина, плохо представлял себе.

Единственным советчиком у меня были учебники, которыми я, готовясь в дальнюю дорогу, набил свой чемодан в ущерб другому скарбу, за что много раз потом сам себя благодарил. На этот раз выручило руководство А. В. Вишневого по местному обезболиванию. Но появилось сомнение: даст ли приготовленный раствор нужный обезболивающий эффект? Не разложился ли новокаин от кипячения? С этой целью я испробовал приготовленный раствор на себе. Получив положительный результат, так называемую лимонную корочку на предплечье, я возликовал. Для дачи наркоза я привлек молчаливую эвенку Стеганиду. Она еще не свыклась с обязанностями медицинской сестры, была робка и чрезмерно осторожна. На ее лице редко можно было видеть улыбку.

В ассистенты была определена фельдшер Акулина Семеновна. Роль операционной сестры досталась акушерке Дуне, которой предварительно пришлось усердно поупражняться, манипулируя кровоостанавливающими зажимами Пеана и Кохера.

Утром, собрав всех своих помощников, я еще раз тщательно их проинструктировал. Сказал, что кому делать, каждому показал его место. И вот все уже учтено и сделано.

Идет первая в моей жизни самостоятельная операция. Я, как говорится, на вершине блаженства. Все идет как будто гладко, помощники четко выполняют мои указания. Больной вроде не ощущает сильной боли, молчит. Сам я действую уверенно и легко: анатомично выделил грыжевый мешок и строго по учебнику произвел пластику пахового канала.

Успех вскружил голову. После операции мне хотелось говорить и говорить. Недаром кто-то метко заметил: «Болтливое настроение — верный признак удачи». И я старательно стал объяснять моим помощникам весь ход операции с самого начала, в чем никакой надобности не было.

Чуть подремав, я пошел в больницу. Там все спали. Оперированный мной Гаврил Березкин тоже спал.

Выйдя из больницы, я долго наслаждался морозным воздухом, белой северной ночью и воспоминаниями о своей первой операции.

Утром, убедившись, что Березкин чувствует себя хорошо, я с легкостью приступил к выполнению своих неотложных дел. Ведь, кроме врачевания, на мне лежало много других обязанностей: аптека, бухгалтерия, снабжение продовольствием.

Окончив амбулаторный прием и хозяйственные дела, я снова направился к Березкину в полной уверенности, что его выздоровление идет гладко.

Действительно, как и утром, он ни на что не жаловался. Но осматривая больного, я обнаружил сильное вздутие живота, а на языке — белый густой на-

лет. Принялся выслушивать легкие. Что за чертовщина: отчетливо слышны хрипы, чего раньше не отмечалось, и сердцебиение усилилось. Хорошее настроение как ветром сдуло. На какой-то миг я растерялся: не знал, что следует предпринять. Потом снова кинулся к своим книгам. Но ничего не нашел в них такого, что могло бы мне помочь. Стал вспоминать институтские лекции, но не мог вспомнить ни одной, на которой бы говорилось о вздутии живота на второй день после операции.

С чувством отчаяния вернулся я к больному. Одна только надежда была — что ему лучше стало. Увы, ему стало хуже. Он пожаловался на резкие боли в животе и неприятный привкус во рту.

Что делать? Может, пойти на почту и дать телеграмму? Но кому? И когда придет ответ?

Безутешно горя, долго сидел я возле больного. В голове толклись самые противоположные предположения: может быть, перитонит, а может быть, воспаление легких, может быть, кишечная непроходимость? А чем это вызвано: погрешностью операции или объективным состоянием организма? Если этот старик умрет, думал я, никто из здешних жителей не согласится больше на операцию. Я не умел тогда скрывать своих переживаний. Больной понял всю опасность положения, но молчал, а временами делал вид, что спит. Забылся на миг и я у его изголовья.

Тяжелый вздох больного, да еще со стоном, вывел меня из оцепенения.

— Как чувствуете себя, Гаврил Васильевич? — безнадежно спросил я.

— Ты сам болен крепко, доктор, иди поспи, а то и мне мешаешь. Ведь скоро уже утро, — раздельно и отчетливо сказал по-якутски старик.

Послушав его совета, я прилег на кушетку, стоящую в комнате, где проводил амбулаторный прием... Но сон не шел. Вскоре раздался шаг медсестры. Она думала, что я сплю, и поэтому энергично потрясла меня за плечо:

— Доктор, у больного всюду раздулся живот, он просит вас зайти!

Не знаю почему, но именно в эту минуту меня словно током хлестнула мысль: а что, если сделать Березкину обычную клизму?

Больной был очень плох, хотя по-прежнему лежал спокойно и молчал, живот его непомерно вздулся, изо рта исходил гнилостный запах, давало себя знать резкое учащенное сердцебиение.

Не задавая вопросов Березкину, я с помощью сестры проделал задуманную процедуру, которая обычно вызывает у больных легкие насмешки. Скажу прямо — старик сразу почувствовал облегчение, а я втройне ощутил его. Когда Березкин, улыбаясь, сказал: «Доктор, я буду теперь жить!» — моей радости не было предела.

Долго мне было стыдно перед персоналом больницы за свою бравату после операции и за свою растерянность потом, у постели больного, лежащего со вздутым животом.

...Операция грыжи у Березкина еще не успела забыться, как в больницу доставили молодую женщину Настю Кавлюкову с запущенным раком грудной железы. У больной уже определились плотные узлы в подмышечной области. Только операция могла ее спасти.

Я ни минуты не колебался, принимая решение произвести эту большую и сложную операцию. Решимость мне придавало то, что от этой болезни умерла моя мать.

Что и как делать, я хорошо знал: в памяти было очень свежо недавно прочитанное в книгах. Одно только осложняло дело: ни один из моих помощников не владел техникой дачи эфирного наркоза. Но вот репетиция за репетицией — и дело пошло на лад.

И все же наркоз больной вначале мне пришлось давать самому. Уже когда она заснула, я передал капельницу робкой эвенке Степаниде, а сам приступил к обработке рук.

Дальше все шло быстро и гладко, как на предварительных репетициях.

Правда, увлекшись ровным ходом операции, я не придавал значения тому, что кровотечение у больной очень слабое. И вдруг я заметил, что она не дышит.

Во время практики нам, студентам, неоднократно напоминали о явлении, часто сопутствующем операции, — западании языка при глубоком наркозе — и учили, как устранять эту ненормальность, которая может стоить жизни оперируемому. Надо было сейчас выдвинуть нижнюю челюсть больной, но сделать это ни один из моих помощников не смог — я забыл их этому научить...

Мне пришлось прекратить операцию. Выдвинув челюсть Насти, я начал производить ритмичное подергивание за язык. Но все эти энергичные манипуляции не возвращали ей дыхания. Тогда я приступил к искусственному дыханию. Спустя две-три минуты больная, вздохнув, начала мерно дышать.

Закончив операцию, я почувствовал свинцовую усталость во всем теле, присел отдохнуть и уже не в силах был подняться: давило вниз налитое тяжестью тело, голова казалась опустошенной. Я сидел с открытыми глазами, но вокруг себя ничего не видел.

Ночь Настя провела сравнительно спокойно, и я считал, что все «риффы» уже позади.

Утром больная встретила меня без особых жалоб, но лицо ее пылало ярким румянцем. Глаза блестели, и самая проникновенная улыбка была предназначена врачу-исцелителю. Увы! Температура неумолимо росла. Ртутный столбик градусника поднялся до тридцати девяти, а затем добрался и до сорока. Объяснить причину этого я, сколько ни пытался, на первых порах так и не смог. Снова обложился книгами, но чем больше читал, тем загадочнее казалось состояние оперированной.

Только на третий день после операции при перевязке больной мне удалось определить, что температуру дало рожистое воспаление — область послеоперационного шва была ярко-багрового цвета. Пришлось распустить часть швов и накладывать спиртовые компрессы.

Мне тогда пришли на память слова моего любимого профессора М. С. Лисицина: «Рожа заканчивается на седьмой день как при случае лечения, так и без него!» Вспомнил и некоторые полуанекдотические случаи из его врачебной практики, которые он поведал нам, читая лекцию о рожистом процессе.

«Один мой знакомый, — рассказывал профессор, — заболел рожистым воспалением лица и сразу же обратился ко мне. Я, тогда молодой врач, прописал ему лекарства и уверил, что все через два дня пройдет. Спустя два дня больному лучше не стало, и он обратился к знаменитому доктору. Тот лечил примерно так же, как и я, но рожистое воспаление у моего знакомого не исчезало. На седьмой день болезни он пошел к бабке-знахарке. Бабка оказалась стреляным воробьем. Узнав от больного, что рожистый процесс длится уже седьмой день, она порекомендовала на ночь закрыть лицо красной тряпкой, которая одна, мол, только и принесет излечение. И действительно, утром на другой день, сняв красную тряпку, больной не увидел в зеркале и следа рожи. Когда спустя какое-то время у него повторилось это заболевание, он шесть дней лечился у разных знахарок и только на седьмой день заявился ко мне. Тут уже я, решив воспользоваться опытом знахарки, выписал ему для видимости физиологический раствор, и на другой день моя репутация и вера в научную медицину были полностью восстановлены в его глазах».

Ровно через семь дней и у моей больной рожистое воспаление исчезло. Она стала быстро поправляться.

Спустя пять лет я навел справки об этой больной. Настя Кавлюкова по-прежнему работала в одном из колхозов Оймьякона и родила еще одного мальчика.

Позже, уже в послевоенные годы, знакомясь с трудами А. В. Мельникова, я узнал, что, как он предполагает, рожистый воспалительный процесс благотворно влияет на излечение рака, и сразу припомнил историю моей больной. Ее полное излечение, вероятно, тоже объясняется не чем иным, как губительным действием рожистого стрептококка на оставшиеся после операции раковые клетки.

3. ПОСЛЕДНИЕ ШАМАНЫ

В ту пору в Якутии еще существовали знахарско-шаманские приемы и способы лечения. Однажды ко мне обратился Иван Васильевич Кривошапкин, семидесятилетний старик якут, хорошо владевший русским языком, что в условиях нашего района было тогда редкостью. Он просил вылечить его от желтухи и, между прочим, сказал при этом, что у него увеличена печень...

На мой вопрос, почему он так думает, старик уверенно ответил:

— Желтуха всегда соседствует с заболеванием печени!

Меня заинтересовала такая осведомленность его в медицине, и я выяснил из разговора с ним, что он, так сказать, потомственный шаман, перенявший свое ремесло от деда.

Старик признавал, что сегодняшние врачи знают больше него и многие заболевания излечивают лучше, однако считал, что нервные заболевания, особенно припадки, лучше всего поддаются якутскому способу лечения — путем изгнания злого духа из организма больного с помощью длительного сна, вызванного специальным обрядом.

Я старался объяснить ему, что в данном случае так называемое якутское лечение основано на внушении и злые духи тут ни при чем. Он внимательно выслушал меня, но остался при своем мнении.

Заподозрив у больного шамана гуммозный процесс печени, я назначил ему курс инъекций новарсенола. После десятого вливания старик приободрился и в ответ на мои вопросы стал охотно рассказывать о своих знахарских способах лечения.

Когда речь зашла о глазных болезнях, в частности о помутнениях роговицы, он упорно доказывал мне, что вливание в помутневший глаз жидкости, добытой из глаза только что убитого горного орла, самый наилучший способ лечения.

Между прочим, несколько позже я прочел статью Н. Н. Припузова «Живые средства лечения у якутов», где описываются подобные случаи применения жидкости глаза птиц, действительно дававшие положительный результат.

На мой вопрос, как он лечит раны и гнойники, шаман заявил:

— Хорошо помогает порошок волчьего языка, если обильно засыпать им рану, или привязать теплое коровье масло, смешанное с тем же порошком волчьего языка.

Он советовал также прикладывать к ране свежее масло, а при обморожении делать примочки из жидкости, взятой из конского глаза.

По всему видно было, что, кроме чисто шарлатанских способов лечения, он прибегает в своей практике не только к средствам якутской народной медицины, но и современной научной.

Самочувствие больного шамана с каждым днем улучшалось.

Однажды вечером во время обхода больных Иван Васильевич попросил меня присесть к нему. Когда я выполнил его просьбу, он вздохнул и после небольшой паузы решительно сказал:

— Доктор... Вот тебе за лечение мешочек с золотом... Бери, не жалко! — настойчиво шептал старик, подвигая мне свой увесистый подарок.

Я был взбешен и, чтобы не наговорить больному шаману лишнего, вскочил и ушел.

Мой гнев разобидел его, и он в ту же ночь исчез из больницы. Все попытки разыскать его были безрезультатными.

Еще с одним случаем мне пришлось иметь дело в ту пору.

Однажды декабрьским днем я вернулся из отдаленного наслега очень уставшим и в темноте у самого крыльца больницы наткнулся на труп замерзшего в скорченной позе человека. Дежурная медицинская сестра Степанида, не дожидаясь моих расспросов, сильно волнуясь, объяснила:

— Участковый милиционер и слушать не хотел, я ему говорила, а он свалил с нарт тело шамана и укатил!

Ввиду позднего часа выяснение этой непонятной истории пришлось перене-

сти на следующий день. Но утром я должен был поспешить к одному больному, которому вдруг стало плохо. Когда я занялся им, за окном вдруг раздался душе-раздирающий женский крик.

Оставив больного на попечение медсестры, я выскочил на крыльцо и увидел двух мужчин, которые старались поднять на руки лежащую на нартах закутанную в одеяло женщину. Она кричала и в нервном иступлении отбивалась от них.

Когда ее внесли в больницу и силой усадили на кушетку врачебного кабинета, обезумевшая больная и тут еще кричала. Потом затихла, однако продолжала дрожать всем телом. Предложенную ей валерьянку она проглотила с трудом, несколько раз поперхнувшись. При этом она пугливо озиралась вокруг, зубы ее звонко стучали о край мензурки. Лишь после того, как удалось напоить ее горячим чаем со снотворным, она успокоилась и заснула.

Люди, доставившие больную к нам, сказали, что накануне ее лечил шаман. Войдя в раж, он во время камлания внезапно умер. Больной стало еще хуже. Муж повез ее в больницу. В дороге она несколько успокоилась, но вот, увидя у крыльца мертвого шамана, снова впала в иступление.

Я был возмущен милиционером, свалившим у больницы труп шамана, и собрался пойти к нему. Не успел я войти, как нарочный принес конверт с грозным предписанием: «Предлагаю в течение 24 часов вскрыть труп шамана Вензеля и дать заключение о его смерти. Начальник милиции Н. Старков».

Старков встретил меня строго официально. Сначала он явно смаковал свои начальственные права, но после того, как, подавив клокотавшее во мне негодование, я спокойно рассказал ему, к чему привели действия участкового милиционера, и дважды повторил, что в результате их доставленную нам больную придется долго лечить, невозмутимый Старков втянул голову в плечи и задумался. Потом он вызвал к себе участкового милиционера, и тот, сев к столу, стал докладывать обстоятельства смерти Вензеля Афанаса, семидесяти шести лет, эвенка по национальности, изгонявшего злого духа, вселившегося в Скрыбыкину Евдокию.

Главное в оправдании было: шаман Вензель предупредил местных жителей, что зимой он заснет до весны, а весной, когда вскроются ручьи, обязательно проснется и снова придет лечить людей.

По мнению участкового, о похоронах шамана на его родине при такой ситуации не могло быть и речи. Поэтому-то он и привез труп в больницу.

Мой конфликт с милицией закончился мирным соглашением. Труднее было решить, что делать с трупом шамана. Мы с санитаром Заболоцким взяли это дело на себя. В темноте, озаряемой лишь северным сиянием, положили мерзлое тело на нарту, отвезли подальше от больницы, привалили спиной к стогу сена и прикрыли шамана его же массивным бубном.

С наступлением весенних дней и появлением ручьев он был увезен односельчанами и похоронен. С ним в могилу ушло немало цепко державшихся среди якутов суеверных страхов и диких обрядов.

...Иван Васильевич, сбегавший из больницы, тоже прожил недолго; как я потом слышал, он наказывал всем ничего не говорить мне о нем.

4. ДВЕ УЛЬЯНЫ

Постепенно обживаясь на полюсе холода, я чувствовал себя здесь тверже. Труднее всего проходил амбулаторный прием, потому что переводчица часто искажала смысл жалоб больных. Давая лекарство пациенту, надо было разъяснить, как им пользоваться. На это тоже уходило много времени и нервов. В тех случаях, когда приготовленных заранее лекарств не хватало, я должен был идти в соседнюю комнату, служившую аптекой, и выполнять роль фармацевта.

Не обходилось и без самых неожиданных происшествий.

Однажды на очередном приеме больных только приложил я стетоскоп к сердцу пациента, как за дверью послышался крик и поднялась суматоха. Не замедлив выскочить в коридор, я увидел объятую пламенем женщину, прыгав-

шую перед дверью кабинета (как позже выяснилось, она коснулась платьем раскаленной железной печки).

Одежда так пылала, словно была пропитана горючим веществом. Сорвать ее всю мне не удалось, так как женщина металась из стороны в сторону. Тогда я повалил ее, укутал в снятый с себя медицинский халат и таким образом потушил огонь.

Поднявшись с полу, я как будто проснулся и увидел больных, которые, придя на прием, молча наблюдали за всем этим.

Только после того, как пострадавшую унесли в процедурную, я обнаружил, что тоже сильно пострадал: концы пальцев были оголены, кровоточили, ногти оказались сорваны, болело опаленное лицо.

С трудом нашел я в себе силы отправиться в процедурную для осмотра пострадавшей.

Она лежала на спине и стонала. Примерно третья часть ее тела имела ожоги всех трех степеней. На медицинском языке, она была в состоянии шока. Тут же ей ввели морфий с камфарой, напоили крепким чаем. Обожженную поверхность закрыли марлей, пропитанной сливочным маслом, так как специальной мази в больнице не было.

И со своими руками мне пришлось поступить таким же образом. В тот день я не мог уснуть, так как все время пришлось держать руки поднятыми вверх. А когда опускал их, прилив крови сразу вызывал нестерпимые боли.

Утром у обгоревшей Ульяны температура подпрыгнула до сорока, произошел самопроизвольный аборт. Состояние ее продолжало оставаться тяжелым. Только примерно на пятый день мог я поручиться, что она будет жить.

Вскоре после этого — у меня еще не успели зажить концевые фаланги пальцев, покрывшиеся толстыми корками струпов, — случилось новое ЧП.

В теплый весенний день медсестра Степанида, любившая засиживаться у окна, прижавшись лицом к стеклу, заметила приближающуюся к больнице оленью упряжку. Так как проводник часто брался за нарту, чтобы помочь оленям тащить ее по уже оттаявшему болотистому грунту, чувствовалось, что он очень торопится. Вместе с любопытными больными я вышел на крыльцо, чтобы поскорее узнать, не больного ли везут.

Не доехав до крыльца, проводник стал жалобно выкликать:

— Альдярхай, альдярхай (несчастье, несчастье)!

Когда я подошел к нему, он показал мне на лежавшую в нарте женщину:

— Ульяна родить должна, долго не может — умирает!

У доставленной к нам женщины с громадным горбом не прекращались родовые схватки. А когда беременную уложили на больничную койку, у нее вдруг начался тяжелейший приступ эклампсии. Спасти больную могла только самая срочная операция — кесарево сечение. Получить какую-либо помощь извне и думать было нечего: тогда санитарной авиации Якутия еще не имела.

Забыв о своих незаживших пальцах, я немедленно приступил к так называемой плодоразрушающей операции. К концу ее у меня на руках открылись раневые поверхности и стали обильно кровоточить. От нарастающей боли я был готов, как говорится, на стенку лезть. Всю ночь, изнемогая от болей, я не спал, к утру температура поднялась до сорока.

Три дня находясь в очень тяжелом состоянии, я утешал себя тем, что вторая Ульяна после операции поправляется прямо на глазах.

5. У ОЗЕРА АЛЫСАРДАХ

Подходил к концу второй год моей работы в Оймяконе. Я уже более или менее понимал якутскую речь, сам мог по-якутски сказать самое необходимое и, выезжая к больным, уже не брал с собой переводчика.

Частые выезды в отдаленные пункты Оймяконского района сдружили меня с тайгой. Я познал ее суровые законы, научился ориентироваться, свободно держаться в седле и владеть ружьем, что необходимо было не только на случай

встречи со зверем, но иногда и с человеком, так как в оймяконской тайге легко можно было натолкнуться на опасных и коварных уголовников, бежавших из исправительных лагерей.

Как-то я услышал, что где-то в районе озера Алысардах, что находится более чем в двухстах километрах от Оймякона, имеется горячий источник. Иногда якуты им пользовались в лечебных целях. Конечно, мне очень захотелось побывать там, и я стал договариваться о поездке с несколькими своими больными — любителями охоты.

Мои приготовления к этой поездке велись исподволь, но когда я узнал, что несколько лет назад один фельдшер ездил на озеро с группой больных, страдающих суставным ревматизмом, и они вернулись почти здоровыми, сборы в дорогу сразу же ускорились.

Конь, принадлежавший больнице, гулял на болоте вблизи юрты. Стоило мне выйти из помещения, как он направил в мою сторону уши. За эту особенность его прозвали Ушастиком. Когда я протянул руку в его сторону, он стремглав понесся ко мне в надежде получить очередную порцию якутской лепешки.

Ранним августовским утром с добрыми пожеланиями провожали меня в путь мои помощники и некоторые больные. Тяжелых в этот период в стационаре не было, а с легкими больными могли успешно справиться фельдшерница и медсестры — за эти два года они многому научились.

Мне прежде всего надо было заехать к Илье Слепцову, по прозвищу Кыптыкы (ножницы), который жил по соседству с райсоветом и охотно согласился сопровождать меня в поездке на озеро Алысардах.

Еще издали заметил я поджидавшего меня Илью. Его маленький рост, сухопарость и кривые тонкие ноги выдавали в нем природного всадника. Прикрывая ладонью от солнца пораженные трахомой глаза, он внимательно смотрел на меня. Когда я подъехал к нему, он, не отвечая на мое приветствие, молча и проворно, несмотря на свои семьдесят лет, вскочил в седло и, не дотрагиваясь до поводьев, одними ногами направил своего коня в сторону предстоящей дороги.

Наши добрые кони, бодро перебирая ногами, звучно шлепали по болотистой тропе. Мы уже были в накомарниках, так как мириады висящих в воздухе комаров сразу же накинулись на нас. Некоторые все же сумели пробраться под сетку и беспощадно допекали меня: лезли в нос, глаза, уши. Илья, наблюдая за моей войной с комарами, не решался начинать дорожную беседу.

— Скажи, Илья, как давно ты живешь возле райсовета?— спросил я его.

Илья улыбнулся, немного выждал и ответил:

— Не я живу возле райсовета, а райсовет живет возле меня.

Мы оба громко засмеялись — правда ведь: Илья родился в этой юрте за сорок семь лет до провозглашения Советской власти.

Через полчаса пути мы находились у юрты нашего третьего спутника, Ивана Винокурова.

Высоко и легко он поднял с земли тяжелую на вид переметную суму и плавно опустил ее на спину коня. Все движения Ивана были медлительны и степенны, в его слегка сторбленной фигуре чувствовалась недюжинная сила. Под стать хозяину выглядела и лошадь. Крупный белый конь до поры будто дремал, никак не реагируя на приторочку к седлу переметной сумы. Но стоило Ивану забраться в седло и взять в руки поводья, как конь мгновенно ожил. Всаднику то и дело приходилось сдерживать его ретивость.

Теперь наш путь лежал к Константину Винокурову, проживавшему в семи километрах от райцентра. Здесь, у озера, он жил с пятью сыновьями, невестками и внушительным выводком внучат. Константин слыл одним из лучших охотников района. Оймяконцы с завистью рассказывали, как он в одну весеннюю ночь убил сто пятнадцать турпанов. Увезти домой этих крупных уток ему удалось лишь с помощью вола, впряженного в нарты.

Константину Винокурову, как и его однофамильцу Ивану, перевалило за семьдесят лет. Знакомство с ним много дало мне в смысле познания жизни якутской тайги. Терпеливо учил он меня своим охотничьим навыкам.

Помню, как в нашу первую охотничью прогулку Константин, обратив внимание на мой порванный камус, предложил зайти в пустующую юрту, находившуюся немного в стороне от нашего пути. Не успел я перешагнуть ее порог, как он уже разжег камелек и приступил к ремонту моей одежды. В его походной сумке были и шило, и олени сухожилия, заменяющие нитки. Покидая тогда юрту, Константин подумал о тех, кто зайдет в нее после нас, и оставил на столе табак, а мне предложил «забыть» немного сахара и консервов, сказав при этом:

— Сделанное тобой добро не пропадет. Оно, как посеянное зерно, умножится.

И вот мы добрались до его жилья: показалась юрта, одиноко стоящая на берегу небольшого, заросшего травой озера. С шумом взлетел с него выводок уток. Сделав небольшой круг, стая, не обращая внимания на выбежавших из юрты ребятишек, опустилась вновь на воду. Было нетрудно догадаться, что это утки местного гнездования, привыкшие к людям и крепко оберегаемые ими.

Мы еще не слезли с коней, а уже услышали от ребят:

— Дедушка нет домой!

Константин на рассвете отправился в тайгу за лошадьё да вот все не возвращался. В юрте две молодые женщины — невестки Константина — хлопотали у камелька, а их сыновья грудного возраста молча лежали голенькими на постели и взмахивали ручонками, как птенцы крыльями.

Мои спутники густо чадили из трубок, набитых листовым табаком, поминутно сплевывая на земляной пол. Их примеру следовали и женщины. Тогда здесь еще не было принято оберегать детей от табачного дыма. Тем более что женщины курили трубки наравне с мужчинами. Нередко случалось и так, что ребенка с грудного возраста приучали к курению.

В ожидании хозяина прошло больше часа. Он вернулся усталым и немного расстроенным — долго искал коня, уже на обратном пути случайно набрел на него, едва живого, запутавшегося в волосяной веревке, с которой был пущен в тайгу.

Пока он не спеша рассказывал о своих поисках, молодые хозяйки успели приготовить для нас угощение. На огромном подносе лежали большие куски свежееваренного мяса, слегка парившие, и горка якутских лепешек. Усвоив якутское правило, что ждать приглашения к столу неприлично, я вместе с другими принялся за еду. Взяв увесистый кусок мяса в левую руку, а в правую — острый якутский нож, я стал действовать им, как заправский старожил: не глядя отрезал почти у самого своего носа куски крепко схваченной зубами свежатины.

Обильный обед закончился общим курением табака. Густой дым, как плотный туман, повис в юрте. Я еще раз с сочувствием взглянул на молчавших младенцев. А выходя вместе с Константином из юрты, не утерпел и спросил:

— Почему ребятишки молчат?

— У нас кричит ребенок накормленный, — ответил Константин. — А голодный молчит. Ждет еды!

Позже я узнал, что в якутских семьях укоренился своеобразный метод воспитания детей. Якутская мать никогда не подходит к плачущему ребенку, чтобы его накормить, и поэтому не удивительно, что у него вырабатывается своего рода рефлекс ждать кормления молча.

...На пикете в Сордонохе к нашей компании должен был примкнуть Василий Амосов. Этот дальний потомок политического ссыльного страдал тяжелым, часто обострившимся радикулитом. Больницу он посещал исправно, но перепробованные мной различные способы лечения не принесли ему облегчения. По-русски изъясняться не умел, но свободно понимал русскую речь. Его густые темные брови над слегка раскосыми черными глазами и римский нос придавали лицу особую выразительность. Он и в холода ходил с непокрытой головой — головной убор ему заменяла густая вьющаяся шевелюра.

Амосов слыл мастером на все руки. Он прекрасно владел резьбой по слоновой и моржовой кости. был известным кузнецом. Его якутский нож собственного

изготовления с наборной ручкой из слоновой кости высоко ценился среди населения района.

Мы заночевали в его просторной и чистой юрте. Никого из многочисленного его семейства не было видно. Таков здесь обычай: гостям не мешать.

Утром, когда наших лошадей вернули с пастбища, я обратил внимание на одну примечательную особенность: седловка моей лошади, как и устройство переметных сумок, была выполнена точно так же, как я сделал это накануне сам. Якуты обладают исключительно редкой наблюдательностью. Стоит им только раз взглянуть на что-нибудь — и они, подобно фотоаппарату, в точности воспроизведут все до мельчайших подробностей.

Застав лошадь на том же месте, где вчера ее привязал, да так же экипированную, с прикрепленным к седлу ружьем по придуманному мною самим способу, я на миг даже усомнился, освобождали ли ее от сбруи и вообще пускали ли на ночь пастись.

Последним перед озером был населенный пункт Кубалах. В одной из четырех здешних юрт, самой маленькой, с земляным полом и грязными тряпками вместо стекол в окнах, нас дожидался одиноко живший якут Афоня Колодезников. Его считали человеком состоятельным и большим силачом. Сухощавое лицо при ширококостной фигуре придавало ему чудаковатый вид.

Афоня предложил нам взять с собой в дорогу двухлетнего телка, чтоб забить его у источника и иметь в нашем рационе свежее мясо. Когда наша кавалькада двинулась дальше в последний семидесятикилометровый переход, обреченный телок, словно предчувствуя свою участь, с неохотой следовал за нами, привязанный к хвосту Афониного коня.

Наш путь пролегал по гористой нетронутой тайге. А единственную тропу знал хорошо лишь Афоня. Три года назад он подлечивал у источника на озере Алысардах свои больные суставы.

Дорога была на редкость тяжелой: крутые подъемы и опасные спуски по топкой, болотистой местности.

На следующий день, когда мы поднялись на одну из возвышенностей, перед нами во всей красе открылась чудесная панорама большого озера. На берегу его виднелся дом русского типа с какими-то подсобными пристройками.

Наша группа, состоящая из шести всадников и телка, приближалась к озеру с восточной стороны, где поблескивало много мелких травянистых водоемов. Мое внимание сразу же было приковано к дичи, которой они изобиловали. Создавалось впечатление, что перед нами раскинулась заправская птицеферма.

Продолжая путь к лечебному источнику, мы ехали по болотистой равнине, переходящей в распадок, а потом стали подниматься в гору по небольшой расщелине. Зеленую растительность, пышную, как добротный ковер, вскоре сменила жесткая пожелтевшая трава, напоминавшая стерню с плешинками. Ощущался запах сероводорода. Чем выше мы поднимались, тем он становился резче, неприятнее.

Сероводородный источник бил из скалы на высоте примерно в пятьсот метров над уровнем озера. Температура воды в нем доходила до тридцати девяти градусов выше нуля.

У самого источника на горном полусклоне примостилось маленькое рубленое строение. Оно было без кровли, но с камельком, выложенным из дикого камня. Вековые лиственницы, буйный стланик придавали окрестности на редкость живописный вид.

Привязав лошадей на короткую выстойку, мы занялись хозяйственными делами: одни стали натягивать прихваченную с собой палатку, другие взялись за заготовку дров для костра. Я отправился вскоре знакомиться с окрестностями. Стоило мне сделать несколько шагов в сторону, как в стланике поднял выводок куропаток. Еще несколько шагов — тетерева и глухари, сновавшие по веткам лиственниц белки. Несколько раз натыкался на свежие медвежьи следы.

Вернувшись к нашему стойбищу, я был озадачен встревоженными лицами ожидавших меня спутников. Илья взволнованно сообщил мне, что, отправившись

с ведром по воду, он на другой стороне склона увидел дым от костра. А так как экспедиций в этих местах сейчас никаких нет, значит, огонь мог развести только какой-нибудь беглец из лагеря.

Посоветовавшись, мы вновь оседлали неостывших лошадей и, оставив у источника одного Амосова, отправились в тайгу на разведку. Когда мы подъехали к тому месту, откуда Илья заметил дым костра, оказалось, что костер уже погас. Тогда мы решили взять курс на противоположный склон горы и стали подниматься по распадку вверх. Илья с Константином ехали по левому гребню распадка в полукилометре от меня, а Афоня с Иваном — по правому. Условились, что выстрел будет сигналом тревоги и по нему спешить туда, откуда он раздастся.

Взбираясь вверх по обрывистой лощине, я временами останавливался и прислушивался, старательно рассматривал все впереди. Но густая растительность очень ограничивала обзор. Двустволка, крепко зажата в руках, со взведенными курками, лишь усиливала тревогу.

Шумные взлеты дичи заставляли меня часто вздрагивать, мое волнение передавалось и лошади. Ушастик шагал медленно и осторожно, словно тоже рассматривал все впереди. Преодолевая завалы сухого валежника, густые заросли кустарников, я медленно поднимался вверх. Растительность становилась мельче, скуднее, обозревать местность было уже легче. Временами мне даже удавалось разглядеть то одну, то другую пару моих посланных в обход спутников. Но это случалось лишь на миг. Вдруг какое-то едва уловимое движение возле корневища сваленной ветром лиственницы привлекло мое внимание. Придержав лошадь, я с затаенным дыханием стал всматриваться в это место. Спустя минуту мне показалось, что корни дерева шевелятся, меняют форму: то похожи на ветвистые рога оленя, то на поднявшегося на задние лапы медведя.

Это заставило меня спешиться. Крадучись, как на охоте, приближался я к сваленной лиственнице.

Кругом тишина гробовая. Из-за этого чмоканье копыт следовавшего за мной коня раздавалось звонче, особенно когда Ушастик с усилием выдергивал ноги из топкой почвы.

Не знаю почему, но, пройдя несколько шагов, я сдержанно крикнул:

— Кто там? Прошу встать!

Тишина. Значит, ясно, что если кто и таится за корневищем, то это не зверь.

И я крикнул вторично, уже более решительно. И потом, не получив ответа, выстрелил.

И тогда передо мной медленно выросла крупная человеческая фигура с поднятыми вверх руками.

Устало перешагивая через кочки, человек приближался ко мне, подойдя метров на десять, хриплым басом заявил:

— Гражданин начальник, не стреляй, сдаюсь!

— Кто ты?— сурово спросил я, не опуская ружья.

— Зек.

— Костер разводил?

— Разогревал жратву!

Он пытливо пронизывал меня сверлящим взглядом. Широкое и скуластое лицо, обросшее щетиной, низко нависающий на глазницы лоб и массивная челюсть придавали ему свирепый вид. На нем была явно чужая, с трудом натянутая на голову меховая шапка, плечи прикрывал драный ватный пиджак без пуговиц, нараспашку, на ногах едва держались изорванные в лохмотья якутские камусы.

Стоя с поднятыми руками, беглец молча ждал своей участи. Мои спутники между тем быстро съезжались на выстрел. Первым подъехал Афоня. Спешившись, он молча подошел к беглецу, жестом потребовал, чтобы тот еще выше поднял руки, и стал обыскивать его. На свет прежде всего появился извлеченный из-за голенища камуса длинный обоюдоострый кинжал, а затем и массивный напильник.

Илья и Иван нашли в кустах рюкзак и высыпали из него на землю запас консервов, сушеной рыбы и съедобные корни.

На обратном пути к нашему стойбищу шествовавший впереди беглец, оставившись, спросил у меня:

— Гражданин начальник, что собираетесь со мной делать?

— Это мы решим на совете отряда, — грозно отчеканил я.

На стойбище у источника я велел ему сесть возле дерева, одиноко стоявшего на небольшой полянке, и предупредил, что за малейшую попытку к побегу он заплатит жизнью.

Голодные и уставшие, мы уселись возле костра.

Константин разлил по кружкам спирт из бережно сохранявшейся в пути бутылки. Подняв первую кружку, он провозгласил тост за благополучие будущей нашей жизни у источника и вылил спирт в костер. Этим самым он умиротворил бога. Вторую кружку мудрый старик передал в руки Ильи:

— Угости беглеца! Он тоже человек. За добро не должен платить злом!

Пообедав, мы приступили к оборудованию ночлега. Кони, пущенные еще до трапезы пасть со спутанными по-якутски ногами, похрапывая, энергично отбивались хвостами от комаров и слепней. Беглец, плотно насытившийся, так крепко храпел, что забивал храп лошадей.

Настало время решать, что с ним делать. Поговорили и все согласились на том, что лучше всего отправить его на пикет в Сордонох, пусть там разбираются.

Всю ночь я не спал, сторожа его. Утром он покорно дал связать себе руки, и Константин с Афоней, как это было решено заранее, набив продуктами свои переметные сумы, повезли его на пикет, до которого было около двух дней пути. С тяжелым сердцем провожал я товарищей в этот опасный путь.

Мне пора было приступить к выполнению своих медицинских обязанностей по исследованию целебного источника. Сначала я сам погрузился в углубление водоема, чтобы испытать на себе его действие. Самочувствие мое от этого не ухудшилось, лишь к концу процедуры, длившейся пятнадцать минут, участилось сердцебиение. Затем по очереди побывали в источнике и остальные три пациента — Илья, Иван и Амосов. После процедуры каждый отдыхал на спине не менее часа.

Такое лечение провели и на второй день. Но целебные ванны не могли отвлечь нас от тревожных мыслей о товарищах: что, если задержанному нами беглецу удалось обезоружить своих конвоиров?

В молчаливой тревоге прошел и третий день. Мы отводили друг от друга глаза. Мне особенно доставалось от себя: почему не поехал сам? Якуты отговаривали меня от поездки из-за уважения ко мне как к доктору, но имел ли я право согласиться с ними?

Подошел вечер, но ужинать никто не стал. Спать тоже никто не ложился. В полночь Илья, поспешно поднявшийся со своего места, закричал:

— Приехали!

И мы все выбежали из палатки. Никого не увидев, я с упреком обратился к Илье:

— Зачем, друг, обманываешь?

— Правду говорю, слышишь, три лошади приближаются, значит, наши.

Спустя несколько минут и я услышал шлепанье копыт. Приехавшие так устали, что обоим им, Константину и Афоне, пришлось помогать слезть с лошади.

Оба молчали. Расспрашивать здесь, в тайге, тем более уставших людей, считалось неприличным.

Только выпив кружку крепкого чая, Константин закурил и, затаившись, вымолвил:

— Зря его возили. Лучше бы оставили связанного в тайге.

И все поняли, что они так намучились в дороге с этим бандитом, что и говорить не хочется. Все молча устранились в палатке на своих местах.

И утром разговор о беглеце не поднимался.

На следующий день задумали заколоть на мясо телка. Чтобы не видеть этого зрелища, я решил отправиться к озеру Алысардах.

Это озеро с прозрачной водой изобиловало рыбой и дичью. Но стрелять непуганую дичь не хотелось. Думал побывать у домика, маячившего на южном берегу озера, но решил, что сначала надо расспросить о нем своих спутников. За ужином Афоня поведал мне его загадочную историю.

— Это было, наверное, в 1932 году, — рассказывал Афоня. — Тогда на озеро сели водоплавающие самолеты с людьми. Срубили эти люди на берегу русский дом, складские помещения, обнесли все постройки забором, а потом самолеты поднялись и улетели. Остался жить в доме один русский с женой. Он был настоящим охотником и рыболовом. Сушил и коптил рыбу, дичь. Все склады забил. А зимой жена у него умерла от родов. И наши люди видели, как он с ребенком на руках выбирался из тайги. Куда ушел, зачем бросил все — никто этого не знает.

Рассказ Афони еще больше подзадорил меня. И на следующий день, оставив своих пациентов на самообслуживании, я с раннего утра отправился к этому домику.

Спуститься к озеру с возвышенности, где находился источник, легко. А вот пробираться без тропы берегом было трудно и лошади и мне. Крупные валежины то и дело преграждали путь, хлестали меня по лицу, а коня — по бокам. Да и почва была вязкая. Глушь и мрак от густых крон деревьев наводили грусть.

Много сил и времени потратил я, пока подошел к небольшому, хорошо сохранившемуся рубленому дому, к которому примыкали складские помещения. Отражение солнца от застекленных окон дома и порядок за оградой невольно заставляли думать, что меня здесь ждет гостеприимный хозяин. Но потом, заметив какое-то легкое движение в доме, словно кто-то из окон на меня глянул, я вдруг, сам не пойму с чего это, резко повернул коня и погнал его обратно. Лесная глухомань показалась мне еще более страшной. Ушастик, словно понимая мое состояние, трудные места преодолевал прыжком.

Когда я выбрался на тропу, мне перед самим собой стало стыдно за безотчетный страх. Подъезжая к источнику, я перевел коня на тихий шаг и, чтобы успокоить себя, стал потихоньку напевать волжские матанечки. Своим спутникам я сказал, что дом не стал осматривать внутри, так как не нашел в нем ничего интересного.

У источника мы провели три недели. Все заметно пополнили и посвежели. У моих добросовестных пациентов боли в суставах и пояснице почти прошли.

Отдохнувшие кони на обратном пути, торопясь домой, неслись как угорелые. В Кубалахе мы переночевали у Афони. На пикет в Сордонох прибыли поздно вечером. Я поспешил к начальнику пикета Никите Хабидулину, приславшему мне посыльного с запиской.

— Ты почему скрыл от нас преступников у озера Алысардах?

Я ответил:

— Спешу и легкомысленными шутками заниматься не намерен!

— Ах, ты вот как? — взорвался Хабидулин. Путаюсь в словах, он продолжал орать: — Отпустить матерых преступников, не сообщить нам о них для тебя — шутки? — И, перейдя на визг, заключил: — Да ты знаешь, что могу тебя за это посадить на десятку, а будешь особенно трепыхаться, так и вышку припишу!

Не чувствуя за собой никакой вины, я сказал ему в ответ:

— Ну, хватит орать, пора успокоиться и говорить толком! Никаких твоих разбойников я не видел, кроме того, которого поймал.

Мой подчеркнуто независимый тон подействовал на Хабидулина успокаивающе. Из разговора с ним выяснилось, что из одного лагеря в районе Магадана сбежали два матерых рецидивиста. На пути им ночью попала палатка геологов. Подобравшись к ней, они одному из геологов, охранявшему сон двух своих товарищей, размозжили дрючком голову, двоих других обезоружили. Забрав документы, планшеты с картами, продукты и оружие геологов, бандиты отправились

дальше, должно быть уже руководствуясь картой, и вскоре, как это стало известно нашему пикету, попали на озеро Алысардах и отдыхали там в доме, построенном летчиками.

— А ты, будучи на озере, подъехал к дому, увидел бандитов и мигом скрылся. Признавайся, так было? — допрашивал меня Хабидуллин.

Мне не оставалось ничего больше как воскликнуть:

— Ну и ну!

Потом, конечно, пришлось рассказать Хабидулину, как это случилось, что, подойдя к злополучному дому, я не осмелился заглянуть в него. Хабидуллин извинился за свою резкость, которой он, должно быть, хотел меня запугать, так же как я запугивал своим грозным видом задержанного на озере беглеца.

6. ПРОВОДЫ И ВСТРЕЧИ

Заканчивался третий год моей жизни в Оймяконе. Меня все больше и больше тянуло туда, где я родился и вырос, где все было дорого сердцу.

Под горячую руку я как-то послал телеграмму в Наркомздрав Якутской АССР с просьбой отпустить меня на родину. Вскоре от наркома пришел сухой, но утешительный ответ: «В мае 1941 года вашу просьбу удовлетворим».

Моя просьба о переводе рассматривалась на заседании Оймяконского райисполкома. Члены исполкома настойчиво уговаривали меня остаться работать здесь хотя бы еще годик. Но было что-то такое в моей просьбе, что заставило райисполком принять решение «отметить усердную работу врача Миронова и предоставить ему выезд почтовым транспортом — верхом на перекладных лошадях».

С первым после весенней распутицы почтовым рейсом отправился фельдъегерь Алексей Иванов. Уезжая, он пошутил:

— Взял бы тебя в напарники, да боюсь: вдруг в тайге медведи сожрут.

Через три дня двинулся в путь и я.

Навсегда останется в памяти трогательное прощание с сослуживцами и больными. Проводить меня пришли многие жители районного центра и ближних селений. Столпившись у больницы, они долго глядели мне вслед. Я махал им рукой. Да, не зря я отдал три года служению этим чудесным людям!

К вечеру мы прибыли на первую почтовую станцию, расположенную в наслеге Улахан. На вопрос, сможем ли мы немедленно двигаться дальше, нам ответили:

— Фельдъегерь уехал вот уже три дня, и лошади, выделенные ему, все еще не возвращались, а других нет.

В наслеге волновались, предполагая, что с почтой, видимо, произошло несчастье.

Утром я упросил проводника, с которым приехал, подбросить меня на своих лошадях до следующей почтовой станции.

Когда мы прибыли на вторую станцию, Алексея Иванова еще не было там. Как не вспомнить было его слова: «Сожрут в тайге медведи!»

Один за другим оставались позади почтовые перегоны, но я нигде ничего не мог узнать о судьбе пропавшего где-то фельдъегера.

Не раз приходилось мне удивляться наблюдательности и памяти проводников. В дикой тайге они легко ориентировались в любое время суток. Троп не было, двигались как будто на ощупь, но никогда не петляли, ехали только вперед. Правда, когда через одну и ту же реку переправлялись по нескольку раз, мне казалось, что проводник заблудился. Однако, поднявшись на возвышенность, я видел, где мы переправились в первый раз и где во второй.

Конечно, не обходилось и без неприятностей. На одной из переправ, переходя быстрину, моя лошадь споткнулась и упала. Окунувшись в воду и поспешно выбравшись из стремлян, я вместе с переметными сумами, которые сразу потяжелели, оказался отброшенным течением реки далеко вниз. Хорошо, что на

сравнительно мелкое место. Лошадь, привычная к таким передрягам, выскочила на противоположный берег раньше меня.

Купанье в одежде настолько обыденное здесь явление, что и остановок для обсушки не производят — путешественник должен обсыхать в седле.

На восьмой день мы прибыли на последнюю станцию, обслуживаемую проводниками Оймяконского района. Дальше почту должны были сопровождать проводники Таттинского района. Но они где-то задержались. Снова мне пришлось переживать: а вдруг Таттинский район по какой-либо причине вообще не выставит почтовой связи? С большим трудом я упрямил оймяконского проводника подбросить меня еще на один перегон — оттуда уже было недалеко и до Хандыги, а от Хандыги один день пути — и пристань на реке Алдан, где я сяду на па-роход.

И вот мы снова в пути. Двигаемся медленно. Дорогу оймяконский проводник здесь не знал. Когда проехали с десятка километров, услышали ружейный выстрел, отдавшийся эхом. Проводник вопросительно посмотрел на меня, а я, в свою очередь, на него. Потом он зачем-то понюхал воздух, на миг прислушался и обрадованно сказал:

— Вот и твоя почта, доктор, нашлась!

Действительно, это были два проводника Таттинского района с лошадьми. Они охотились и не очень-то торопились встретиться с оймяконскими проводниками. Выстрелом, который так обеспокоил нас, пожилой якут убил крупного лося. Прямо возле туши таежного красавца состоялся несложный обмен почты и документов. Затем проводники сообща приступили к свежеванию лося. Неожиданная встреча в тайге закончилась плотным обедом у костра. Оставшееся мясо быстро распределили по седлам. Солидную долю лосятины старательно приторачивал и мой бывший проводник.

Двинулись дальше. Мерно покачиваясь в седле, я с приятной уверенностью думал, что теперь все трудности уже позади.

Дважды в этот день мы с превеликим удовольствием ели свежее мясо. Доброта и отзывчивость моих проводников были беспредельны. На ночевке они поделились свежатиной и с якутом, державшим почтовую юрту.

Как раз в ту самую минуту, когда они выбирали для его семьи самые лучшие куски, снаружи раздались звонкие возгласы «хо!» и топот копыт. Полог палатки откинулся, и перед нами предстал плотный человек с патронташем, в теплой не по сезону шапке.

— Большая беда! — воскликнул он. — Фашистская армия перешла наши границы. Бомбят Смоленск, Минск, Киев...

Первой моей мыслью при этой обжегшей сердце вести было: «Иду на фронт! Место хирурга сейчас там». Целиком захваченный этой мыслью, я ехал дальше как во сне. Помню только, что наконец обозначилась почтовая тропа. Пролегала ока по берегу реки, впадающей в Хандыгу. День выдался пасмурный, несколько раз принимался лить дождь. Проводник ехал впереди. К хвосту его лошади была привязана другая, навьюченная почтой. Третья лошадь, на которой ехал я, понуро плелась позади. Изредка она хватала на ходу вершинки высокой травы. Один раз как-то, хватив травки, она вдруг остановилась. Я взглянул вперед: на дороге на задних лапах стоял огромный медведь. Я тотчас спрыгнул с седла. Лошадь спокойно отошла в сторону и как ни в чем не бывало продолжала мирно щипать траву.

Присев на корточки, я лихорадочно принялся складывать извлеченную из чехла двустволку. Медведь стоял передо мной как гора — неподвижно. Он рассматривал меня своими маленькими глазками, как ребенок новую игрушку. Уже оставалось присоединить цевья и взвести курки — патроны, заряженные пулями, находились в стволах. Но как только раздался щелчок, вызванный присоединением цевья, медведь, подобно зайцу, прыгнул в кусты и был таков...

Мишка этот мне очень понравился, и я был рад, что не пришлось стрелять. Вот только странно было, что такой храбрый зверь, как медведь, второй по силе после льва, уподобился пугливому зайцу.

Я думал, что ехавший впереди проводник не заметил моей встречи с медведем, и не стал ему рассказывать о ней. Оказалось, что он видел ее с начала до конца. И на почтовой станции за ужином у костра сам рассказал о ней сменщику.

Рассказывал он с такими смешными подробностями, что все улыбались.

Показывая на меня пальцем, проводник сказал:

— Он счастливый, а медведь глупый! — И заключил: — Долго, доктор, ты проживешь, да и у этого медведя век будет долгий — таково наше якутское поверье.

На четырнадцатый день пути мы прибыли на станцию поселка Хандыга. Я не стал здесь ночевать, отправился в Хандыгу, условившись с проводником, что утром буду ждать его в поселке у здания управления строительства.

Хандыга тогда была быстро растущим производственным центром. Я знал о ней по рассказам одного моего больного, Хмелевского, которого доставили к нам в Оймяконскую больницу с тяжелым астматическим бронхитом.

Его болезнь упорно не поддавалась лечению. Все перепробованные медикаменты не могли снять приступов кашля, которые завершались угрожающим жизни кровотечением. Только после дробного вливания крови, которую я давал больному сам, он постепенно начал поправляться. Это было и для меня, и для всего персонала больницы большой радостью.

Хмелевский работал в изыскательной партии, занятой прокладкой автотрассы Хандыга — Магадан.

Много хорошего наслышался я от него и о начальнике Хандыгской базы Карповиче. С каким-то детским упоением и доброй завистью рассказывал он, как тот строго распекает нерадивых, но всегда был справедлив и чуток к запросам добросовестных людей. Вскоре после выписки Хмелевского из больницы я получил телеграмму из Хандыги, подписанную начальником базы Карповичем. Он сердечно благодарил меня и весь коллектив больницы за полное излечение Хмелевского.

И вот пробираясь пешком к поселку Хандыга, я думал, что, может быть, мне удастся увидеть прославленного начальника базы строителей Карповича.

Возле строительного управления на волейбольной площадке было шумно и весело. За игрой следила сотня болельщиков, которые плотным кольцом окружили посыпанный свежим песком прямоугольник.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к одному из болельщиков, — где бы я мог увидеть товарища Карповича?

— Считайте, что вам повезло, — откликнулся молодой парень. — Видите, вон в стороне стоят два военных. Тот, что с орденом, и есть Карпович.

Обрадованный тем, что так удачно все складывается, я подошел к начальнику стройки.

— Простите меня за беспокойство: врач Миронов из Оймякона. Лечил Хмелевского — помните? Сейчас еду в Якутск. Мне очень хотелось бы с вами поговорить, — обратился к нему я.

Но тут меня словно облили ушатом холодной воды.

Карпович, смерив меня цепким взглядом с ног до головы, отчеканил:

— Ты знаешь, что находишься на территории Дальстроя? Так вот, если через двадцать четыре часа не покинешь ее, я тебя арестую!

До сих пор не могу понять, что было причиной такого обращения со мной.

С чувством незаслуженного оскорбления и стыда я резко повернулся и отошел от него. Если судить по холодному блеску глаз этого начальника, ему действительно ничего не стоило выполнить свою угрозу.

Мне оставалось только искать пристанище на ночь, чтобы утром продолжать путь к Крестхальджаю, на пристань.

...Июльским утром наш небольшой пароходик, курсировавший по рекам Алдан и Лена, подошел к Якутску.

Несмотря на ранний час, на берегу царило необычайное оживление. Толпы людей заполняли прибрежное пространство на большом протяжении. Множество катеров, барж и лодок занимали русло реки Лены, словно перегораживали его.

Очередным караваном барж якуты отправляли своих сыновей на защиту родины. Жены, матери, сестры и дети их махали платками с высоких берегов вслед отдалявшемуся каравану.

Защемило сердце, захотелось сейчас же оказаться на одной из отплывающих барж, быть вместе с теми, кто шел исполнить свой высокий долг. Да и о чем другом можно было думать в эти минуты...

Сойдя на берег, я постучал в первый попавшийся дом. Открылась дверь. Пожилая, с седеющими волосами женщина с первого слова участливо спросила:

— Издалека мобилизован?

— Пока еще не мобилизован, — ответил я. — Разрешите у вас привести себя в порядок, чтоб пойти в военкомат для оформления.

— Ну что же, в час добрый, сейчас у всех одна забота.

Не теряя времени, направился в военкомат.

Возле здания военкомата было, как на толкучке, шумно и многолюдно.

Просмотрев мои документы, начальник учетного стола сказал:

— Вам, товарищ, прежде всего надлежит оформиться в Наркомздраве — и только потом явитесь к нам.

Как только я перешагнул порог кабинета наркома здравоохранения, Алексей Захарович Белоусов спросил голосом, в котором были удивление и строгость:

— А ты как здесь оказался? Кто тебе дал право выехать?

Не успел я ответить, что разрешение дал он сам, как Алексей Захарович сказал:

— Ну, ладно, раз уж выехал, что с тобой поделаешь! Найдем другое место. Врачи во как нам нужны! — Он коснулся пальцами шеи.

— Мне хотелось бы на фронт, — сказал я. — В военкомате я уже был, и там не возражают.

— Не возражают, говоришь? Я бы тоже не возражал, — вдруг повысил голос он, — да вот кто здесь будет работать, об этом стоит думать или нет? Поедешь в Ленский район в Мухтуйскую больницу, — заявил он решительно. — Там, надеюсь, поймешь, что тыл и фронт едины.

Все мои планы рухнули.

Пока шло оформление, мне была предоставлена возможность временно поработать в хирургическом отделении Якутской республиканской больницы. В эти дни однажды на улице я столкнулся нос к носу с пропавшим в дороге фельдшером Алексеем Ивановым. От неожиданности вместо приветствия выпалил:

— Да ты еще жив?

— Жив, жив курилка!

— Ну, а что случилось? Куда ты тогда исчез? — спросил я.

— Да просто, как говорится, бес попутал. Отъехав от Учугея верст сорок, мы немного отклонились от тропы, а тут, на грех, увидели двух красавцев лосей. Я не выдержал и разрядил карабин в рогача и крепко подранил его. Ну, а потом как в сказке: дальше в лес — больше дров. Так увлеклись, что еле живыми выбрались. Лось, конечно, так и ушел, — с огорчением закончил он.

— А дальше какие у тебя планы? — спросил я его.

— Планы теперь у всех одни. Вот и повестка в руках.

Он шел в военкомат. Спустя несколько дней после этого я отправился на пароходе к месту новой работы.

Вечером, когда пароход прибыл в Мухтую, на крутом берегу Лены было многолюдно. Здешние жители традиционно встречали и провожали пароходы. Меня встретил заведующий райздравотделом высокий сухопарый фельдшер Леонид Евстафьевич Фролушин. И тут же представил двух милостивых девушек:

— Знакомьтесь!

Пожимая руку и приветливо улыбаясь, девушка в желтом берете назвалась:

— Адельсон Ольга!

Леонид Евстафьевич тут же добавил:

— Григорьевна, исполняющая обязанности главного врача больницы.

Лицо Ольги Григорьевны мне показалось знакомым. Встретив ее взгляд, я подумал, что мы, кажется, где-то встречались, но не мог вспомнить где.

Мой увесистый чемодан с книгами был положен на больничную повозку, и мы направились к дому врачей, где мне была отведена просторная светлая комната.

В домашней непринужденной обстановке, за круглым столом мы с Ольгой Григорьевной быстро разговорились, и оказалось, что действительно мы с ней уже раньше были немного знакомы. Ольга Григорьевна рассказала о своей студенческой поездке в Ленинград, и я вспомнил, как мы, ленинградские студенты, подсмеивались над робостью сибирячек. Забегая немного вперед, скажу, что после первых моих операций в Мухтуе, в которых Ольга Григорьевна участвовала как ассистент, мы не только подружились, но и полюбили друг друга. Ольга стала моей женой.

7. В МУХТУЙСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Ленская районная больница построена на сухой песчаной возвышенности, откуда обозревалась вся Мухтуя, Лена и ее противоположный скалистый берег. Рядом был вечнозеленый лес вековых елей.

Все меня тут радовало: чистота и порядок в больнице, ее большое подсобное хозяйство с лошадьми, коровами, свиньями, но больше всего мои новые сослуживцы, жившие на редкость дружной семьей. Акушерка Сусанна Попова радовала меня и своим умением и своим усердием, медсестра Дора Иннокентьевна, старенькая уже женщина, работала с таким удовольствием, так весело и красиво, что на нее можно было заглядеться. Старый, некогда ротный фельдшер Дмитрий Григорьевич Кривошеин, осевший в Мухтуе после гражданской войны и с тех пор работающий здесь, отлично знал свое дело. По существу, он был ведущим медиком района, но никогда этого не подчеркивал, оберегая репутацию молодого врача.

Нравилось мне и то, что в больнице медперсонал не только друг друга, но и всех больных называл не иначе как по имени и отчеству. В общем, в Мухтуе приятно было работать, и все трудности военного времени легко переносились.

Как-то зимой в больницу вечером приехал начальник леспромхоза с просьбой немедленно выехать в Турукту, там у старейшего работника лесоучастка вот уже седьмой день жена не может разродиться. В Турукте была фельдшер Андреева.

Я пошел на телеграф, вызвал Андрееву, спросил:

— Что с роженицей?

Андреева ответила:

— Ничего особенного, просто родовая слабость.

На вопрос: «Нужна ли моя помощь?» — ответила:

— Нет! Рассчитываю на благополучный исход.

Я почувствовал, что твердой уверенности у нее нет, и решил быть там как можно скорее.

А начальник леспромхоза все еще уговаривал:

— Лошадь уже готова. Шестьдесят километров до Салдыкеля доскачешь мигом. А там я уж позабочусь, дадут другую, для которой последующие пятьдесят пять километров — пустяки, так что к утру будешь у больной. По дороге не замерзнешь — доху тебе свою дам, она теплая.

Темнота морозной ночи, встречный ветер, обжигающий лицо, дорожные ухабы — все это было уже привычно для меня.

К рассвету я уже подъезжал к Турукте. В помещении медицинского пункта все окна были освещены. На пороге меня встретил муж роженицы. Лицо его выражало тревогу. Помогая мне освободиться от громоздкой одежды, он невольно как бы подталкивал меня к дверям в комнату с надписью «Родовая». Я думал, что фельдшер у постели больной, но Андреева появилась в коридоре с заспанным лицом и растрепанными волосами.

Роженица с восковым, осунувшимся лицом окинула меня умоляющим взглядом и, вздохнув, шепотом сказала:

— А я уж собралась умирать.

При осмотре больной мне сразу стало ясно, что плод не подает никаких признаков жизни. Да и больная подтвердила, что с момента поступления в больницу ребенок не шевелится. Потребовалось всего лишь небольшое ручное пособие, чтобы извлечь уже разложившийся плод и сразу же приступить к возмещению потерянной крови.

Легче всего и менее рискованно было дать свою кровь, что я и сделал.

Часа через два больная почувствовала себя значительно лучше. Это и меня приободрило. Не давала покоя накопившаяся неприязнь к Андреевой. «Что это, безответственность или отсутствие элементарной медицинской подготовки?» — спрашивал я себя. Ясно было, что длительная бесконтрольная работа в малоллюдных глухих местах привела к тому, что человек переоценил свои знания, свой опыт и стал халатно относиться к высоким обязанностям медицинского работника.

— Что вас заставило лгать самой себе, ведь вы едва не потеряли больную?

Что она могла ответить? Хотела остаться на хорошем счету и боялась, что вызов врача может помешать этому. Так и случилось — помешал. Вернувшись в Мухтую, я поделился своим впечатлением об Андреевой с заведующим райздравотделом Фролушиным, и было решено предоставить ей возможность поработать под контролем в больнице у нас.

...Шел суровый 1942 год. Ленский райвоенкомат не покладая рук изыскивал людские резервы для фронта, и мне часто приходилось выезжать в район в составе бригады, производившей очередной переучет военнообязанных.

Мы кочевали из одного населенного пункта в другой, не различая времени суток. В Салдыкель, один из крупных лесоучастков на Лене, где на заготовке леса работали и коренные сибиряки, и эвакуированные жители западных районов страны, мы приехали ночью. Нас встретил здесь фельдшер здравпункта Денис Фомченко. Его обросшее щетиной лицо напоминало свернувшегося ежика. Едва мы спустились с седел на отяжелелые ноги, как Фомченко повел нас в хату с тусклым огоньком в окне. В постели с неподвижным бледным лицом лежала молодая женщина. На вопрос, что болит, она не ответила, только пошевелила кончиками пальцев, будто пытаясь что-то перебирать.

Не тиф ли? Не хотелось верить. Но высокая температура и сыпь на коже подтверждали опасения. О тифе думал и фельдшер, но вслух сказать об этом боялся.

За ночь мы обошли несколько таких больных. Да, это был сыпной тиф. Что делать?

Недолго думая мы с Фомченко послали телеграмму в Наркомздрав республики. Не прошло и суток, как на Лене приводнился самолет-амфибия с эпидемиологом М. Бородиным на борту. Несколько позже из Мухтуи приехал начальник райотдела милиции и заведующий райздравотделом.

Было решено немедленно приступить к строительству дезинфекционной камеры, ввести карантин, запретить всякий въезд и выезд с лесоучастка. Мы с Фомченко этого сделать не додумались.

Выясняя причины, вызвавшие вспышку сыпного тифа, эпидемиолог то и дело находил у нас профилактические просчеты. Он указывал на них мягко, но, чувствуя его осуждение, мы работали не покладая рук: днем в комиссии по переучету военнообязанных и обслуживанию созданного на дому стационара, а ночью на дорогах, следя за соблюдением карантина.

То, что называется «спать на ходу», вошло у нас в повседневную действительность.

...Шел второй месяц, как я находился в очаге эпидемии. Борьба с ней уже принесла свои плоды. Регистрация новых случаев заболевания прекратилась. В эти дни начальник лесоучастка Телегин, однажды встретив меня, спросил:

— Замотался небось? Не хочешь ли навестить семью? Хорошего дам коня, за одни сутки управишься.

Я охотно согласился, так как в больнице Ольга осталась, по существу, одна и в положении, вот-вот должна была стать матерью.

Заведующий магазином, узнав, что я собираюсь в Мухтую, попросил меня попутно отвезти в банк скопившуюся выручку.

Ночью Телегин, туго приторочив к седлу переметы с деньгами, подвел ко мне коня и, дав несколько дорожных наставлений, сказал, что послезавтра утром ждет меня здесь.

Выносливый якутский конь уверенно нес меня по лесистой тропе. Кроны деревьев, сплетавшиеся над головой, делали дорогу похожей на туннель.

Предвидя крутой спуск к реке, я стал придерживать разгорячившегося коня. Только у самого спуска, прямо на ходу, прыгнул на землю.

Но что такое? Странное дело, лошадь испугалась пня на обочине дороги. Навострив уши, она, похрапывая, пятилась назад, крепко натягивая повод. Не придав этому значения, я, держась за повод, шагнул в сторону пня.

— Н-но! Чего испугался, дуралей?

И в этот момент пень превратился в сидящего на корточках человека. Хотя никакого оружия у меня с собой не было, я непроизвольно закричал во все горло:

— Кто здесь? Встать! Стрелять буду!

Человек выпрямился и, заикаясь, прохрипел:

— Гражданин начальник, я... я не брал!

Это было так неожиданно, что я слова выговорить не мог. Шагнувший вперед конь ткнул меня в спину, машинально шагнул и я. Обойдя в растерянности стоявшего на моем пути человека, я уже спокойно сказал ему:

— Не сходи с места и не двигайся, иначе худо будет,— и изо всех сил потянул коня вниз по круто спускавшейся к реке тропе, чтобы на более отлогом месте вскочить в седло и молнией скакать дальше.

От берега Лены меня отделяла неширокая полоса густых прибрежных тальников, от черноты которых небо казалось светлым. Я уже готов был вскочить в седло, как вдруг... Что за чертовщина! Уж не болен ли я? В кустах вблизи дороги опять кто-то поднимается. Не засада ли? Не успел я опомниться, как из тальника, в двух шагах от дороги, раздался бас с цыганским акцентом:

— Душа любезный, дай закурить.

— Стой, стреляю! — неистово закричал я, снова повторяя свой прием.

Продолжая басыть «душа любезный», из тальника на тропу вышел огромный бородатый цыган. Правая нога моя была уже в стремени. Вскакывая на коня, левой ногой я резко ударил его. Непривычный к подобному обращению, конь вскачь кинулся вперед, едва не сбив могучего цыгана. Не оборачиваясь, я гнал коня по мелкой прибрежной гальке до самого села Батамай.

В Батамае обычно я заезжал к председателю колхоза Иннокентию Гавриловичу Серкину, Кеше, как его называли запросто. Нравилось мне слушать неторопливую, рассудительную речь Кеши. Он страдал туберкулезом коленного сустава, но никогда не жаловался на свою болезнь.

И сейчас я направился прямо к его дому. Стучаться в дверь не пришлось. Она, как это обычно здесь, была не заперта. Кеша, придвинув вплотную к лицу керосиновую лампу, что-то записывал в амбарную книгу. Не спеша поднял глаза.

— А,— протянул он,— я думал, что это мои гонцы вернулись. А тебя мы уже и ждать перестали. Сегодня небольшое чепе — обокрали колхозный продовольственный склад. Днем бродили тут двое: какой-то русский паренек и лохматый цыган. Ну, я и разослал гонцов, чтоб поймали воров. Вот поджидаю и подсчитываю понесенные убытки.

Дымя трубочкой, он внимательно выслушал мой взволнованный рассказ и покачал головой:

— Да, случайность счастливая. Как же это Телегин отправил тебя в черную ночь с деньгами без сопровождающего и оружия не дал? Я с ним поговорю.

Я не заметил, когда и кого послал он за своим сыном Семеном. Когда тот пришел, Кеша, молча выпив со мной по кружке крепкого чая, приподнялся и объявил:

— Ну что же, в путь! Семен тебя проводит.

По-отечески подсадив меня в седло, Кеша напутствовал сына:

— Ты на берег не выезжай, держись таежной тропой. Вон она какая, темень-то. Смотри, чтобы в обратный путь не отправили доктора без сопровождающего.

Особый и не всем понятный народ якуты. Для них добро расточать — просто жизненная потребность. Кто я для Кеши? Даже ногу не в состоянии ему вылечить, а он ко мне как к родному сыну.

В Мухтую мы приехали на рассвете. Ольга встретила меня с бледным, измученным лицом:

— Хорошо, что успел приехать. Схватки у меня начались еще вчера.

Мы сейчас же пошли в больницу, и хотя я всячески поддерживал отяжелевшую супругу, она передвигалась с трудом.

На другой день утром меня уже поздравляли с сыном. Радости моей не было предела. Еще бы — сын!

Как было условлено, вечером у больницы меня уже ждал оседланный телегинский конь. От сопровождающего я категорически отказался: хотелось пережить великую родительскую радость наедине.

Чтобы обезопасить обратный путь, я прихватил с собой двустволку.

...Эпидемия тифа прошла, все заболевшие выздоравливали, и вскоре настал день, когда моя работа в Салдыкеле была закончена и я мог возвращаться домой. На мою беду, разыгралась непогода. Ветер дул с такой силой, что вековые ели пачками валились, как снопы. Работники лесоучастка уговаривали обождать денек-другой, но мне не терпелось. Какая пурга может быть помехой, когда меня ждет новорожденный сын! Несмотря на бурю, я опять отправился в путь черной ночью. В дороге держался берега реки — от воды ночь казалась здесь несколько светлее. Деревья с грохотом и треском валились то спереди, то сзади. Скоро я как-то свыкся с этим шумом. Да и конь стал спокойнее подходить к поваленным поперек дороги деревьям, беря барьер, как в цирке.

Чтоб сократить путь, я на этот раз даже не заехал к Кеше.

Пробираясь таежной тропой к речушке Мурья, я думал, что все трудности позади, и мысленно уже подкидывал на руках сына. В момент таких радостных видений мой взгляд упал на зайца-беляка, сменившего уже свой летний наряд на зимний и прыгавшего в кустах, как шар.

Охотничий азарт моментально лишил меня рассудка. Спешившись, я торопливо привязал повод уздечки к ноге и, вскинув ружье, выпалил по цели. Напуганная выстрелом, лошадь вскочила на дыбы, подвесив меня за привязанную ногу, а потом стремглав бросилась в сторону, волоча меня по кустам. Выпустив из рук ружье, крутясь и хватаясь за что попало, я пытался оторваться от повода или остановить лошадь. Но это удалось мне не сразу.

Лицо мое было поцарапано, одежда порвана, бока болели. С трудом успокоив перепуганную лошадь, я подобрал убитого наповал беляка и стал искать ружье. Не нашел я его.

Вот ведь до чего может довести человека охотничий азарт!

Ружье потом нашел один знакомый колхозник из села Мурья, к которому я завернул по пути, чтобы привести себя в порядок. Он ходил его искать с фонарем на место моей злополучной охоты.

8. ВРАЧУ — ИСЦЕЛИСЯ САМ

Как это ни печально, но и врач может заболеть. Со мной это случилось в августе 1943 года. Произведя вечерний осмотр больных, я почувствовал ноющие боли в подложечной области. Сначала в порядке самоуспокоения причину болей я отнес за счет желудка. Слабость, тошнота подтверждали это предположение.

Чтоб зря не волновать Ольгу, придя домой, я старался скрыть свое недоумование, но оно не ускользнуло от жены.

К ночи боли из подложечной области переместились в правую подвздошную область. «Не аппендицит ли?» — со страхом подумал я.

Уснуť я не мог, не спала и Ольга, она настаивала на вызове из Якутска бортхирурга. Я всячески отнекивался. Утром, превозмогая боль, я отправился в больницу, твердя откуда-то взятые слова: «Человек способен осилить зверя, а боль тем более». Скоро я не в силах уже был сохранять бравладу, нельзя было больше сомневаться, что у меня острый аппендицит и, возможно, нагноившийся, так как боли носили пульсирующий характер.

Я прилег на диван в кабинете. Ни приложенный пузырь со льдом, ни обезболивающие лекарства не помогали. Стало ясно, что необходима немедленная операция.

Позвав Ольгу, я признался, что зря не позволил вызвать бортхирурга.

— Так я тебя и послушала! Я еще ночью отправила телеграмму в Якутск, но...

Чтобы скрыть слезы, она вышла из кабинета, а вернувшись, поднесла мне к глазам только что полученную телеграмму:

— Читай: «Отсутствием летной погоды бортхирург вылететь не может». Только тут я осознал всю серьезность положения.

— Так что же будем делать? — сказал я.

Ольга молчала, молчал и я, выжидая, когда она немного успокоится, чтоб начать трудный для обоих разговор.

— А что, если ты мне сделаешь операцию?

— Ой, нет! Я никогда самостоятельно не оперировала... Да и опытные хирурги близких не оперируют.

Вошел заведующий райздравотделом Фролушин и с нарочитой веселостью спросил:

— О чем речь идет?

— Подумайте только: он просит, чтобы я оперировала его,— волнуясь, сказала Ольга.

— Ну, а если и так? Ведь вы уже не на одной операции ассистировали. Кроме того, где гарантия, что завтра погода будет летная?

Я лежал с подтянутой к животу правой ногой. Через сильную пульсирующую боль я как будто видел гнойный процесс, разрушающий мой аппендикс.

— А знаешь что, Оленька? — решил схитрить я.— Ты мне операцию не делай, ты только произведи разрез и вставь марлевую салфетку. Через нее, как через фитиль, брюшная полость будет очищаться от гноя.

Ольга молча плакала.

— А что, если сделаем так,— предложил я потом,— поставим зеркало и светильники над операционным столом так, чтобы я тебе мог подсказывать ход операции?

Ольга глубоко вздохнула, вытерла слезы и вымолвила:

— Ладно.

Мне помогли перебраться на операционный стол. В плоское зеркало операционной лампы я четко видел свой живот. Гнойник, от которого хотелось как можно скорее избавиться, я ощущал в себе как бомбу замедленного действия.

Ольга дрожащими руками торопливо раскладывала инструментарий.

Я старался говорить как можно спокойнее:

— Ты только не торопись, родная... Ну, а теперь повторно смажь операционное поле йодом и начинай обезболивание... Мне все видно и совершенно не больно, не торопись и не бойся... А теперь сделай более глубокое обезболивание, и смелее... Видишь, как хорошо получается.

Это возымело свое действие и прибавило Ольге смелости. Она произвела широкий разрез кожи.

— Ну как, больно? — спросила она.

— Даже ничуть,— бодро ответил я, хотя поскрипывание ножа при расчленении кожи было болезненно.— Ну, а теперь разъедини мышцы... Так, так, здесь! Здесь! Смелее!

Этап за этапом Ольга проникала в брюшную полость. В ране показался гной, как я и предполагал. Попросив раздвинуть рану пошире, я увидел выпиравший из нее червеобразный отросток, похожий на сосиску темно-синего цвета. Это обстоятельство обрадовало меня. «Бомба уже в руках»,— с облегчением подумал я и попросил не торопясь вытягивать отросток в рану, а затем у основания перевязать и отсечь, как это обычно производится.

При потягивании отростка стала ощущаться острая боль, и чем больше вытягивался он наружу, тем боль была острее. А когда Ольга вытянула весь отросток и стала подтягивать толстую кишку, меня будто бросили в пропасть. Операционная комната закружилась, завертелась. Стол, на котором я лежал, словно выскользнул из-под меня. Тщетно старался я ухватиться за него. Но вот ухватился, и от сдавливающей силы рук стол как будто встал на место. Он еще продолжал вращаться, но уже медленнее. В зеркале стало видно, как жена дрожащими руками перевязывает и отсекает наполненный темным гноем отросток.

— Ну, вот и хорошо,— еле выдавил я из себя.— Так же не спеша заканчивай.

После операции много моих бывших пациентов приходило в больницу навестить меня.

— Правду ли говорят,— спрашивал старый охотник Шабанов,— что ты сам подсказывал, как делать операцию? А вот мне однажды пробило ногу стрелой, что ставятся на зайцев, так я никак не осилил вытащить ее, так со стрелой и явился в больницу.

...Осенью того же года нам была прислана замена, и мы были переведены в Якутск: я в хирургическое, а Ольга в гинекологическое отделение республиканской больницы.

Казалось, что весь поселок Мухтуя вышел на берег, чтоб проводить нас.

9. БУДНИ СЕЛЬСКОГО ВРАЧА

В солнечный сентябрьский день на отлогом берегу Лены у якутской пристани, дремля на рыдване, нас поджидал больничный конюх Никита.

Наш багаж состоял из чемодана, в основном с принадлежностями Сережи, и ящика с картошкой.

На обширную территорию республиканской больницы мы въехали из леса, который вплотную примыкал к больничному городку. Никита подвез нас к небольшому двухэтажному дому, где нам было отведено две комнаты. Из их окон через открытые больничные ворота был виден город Якутск, его деревянные одноэтажные домики.

В сентябре здесь уже морозные ночи. Прежде всего надо было отопить комнаты, по холодным стенам которых уже перебирал ручонками годовалый Сережа.

Дрова здесь доставались с трудом. Но о нас позаботились как о новичках. Вечером мы с Ольгой уже старательно складывали у дома собственную кубометровую поленницу.

Но когда ранним утром я пошел за дровами, от нашей поленницы не осталось и следов.

— Разве можно так оставлять дрова! — назидательно говорили нам соседи.

Не успели мы здесь как следует обжиться, как мне пришлось выехать в составе комиссии облвоенкомата по переучету военнообязанных в районы Крайнего Севера. Командировка продолжалась три с половиной зимних месяца.

За это время мы считанные дни были заняты непосредственно работой по переучету. Основное время проводили в пути — то шагая за усталыми оленями по санному следу, то взбираясь или спускаясь с хребта, то сидя на корточках у костра, обогревая живот, потом спину. Перед каждым ночлегом нам приходилось

таскать ветки, которые заменяли матрацы. На них мы расстилали олени шкуры и, укрывшись дохой, засыпали мертвецким сном.

К тому времени, когда я вернулся в Якутск, с топливом в больнице стало еще хуже. Ольга должна была отказаться от одной комнаты, потому что две отопить не могла.

Даже больничные корпуса нормально не отапливались. Дрова были необходимы не только для поддержания тепла в помещениях, но и для растаивания льда, чтоб получить для всех нужд достаточное количество воды. Ни водоснабжения, ни канализации больница не имела. Свыше шестидесяти конских упряжек было занято подвозкой к больничным помещениям дров и льда.

Наступила весна, и вскоре мне, как и многим другим врачам, пришлось выехать на лесоучастки больницы для сплотки и сплава леса.

Лес, предназначенный для дров, в зимнее время рубился и складывался в штабеля. Нам предстояло волоком с помощью лошадей подтащить бревна к одному из протоков Лены и сплотить их на неглубоком водоеме, чтобы потом поднятый весенним паводком плот спустить вслед за ледоходом по Лене до больничного причала в Якутске.

В воскресные дни весь коллектив больницы работал на дровяном складе — пилили бревна, кололи дрова, складывали в поленицы. Одним легче давалась пила, другим колка. Похвалюсь, что колоть комлевую часть дерева легче всех удавалось мне. Нередко спрашивали, как это я сумел расколоть колоду, над которой тщетно потрудились люди более крепкого, чем у меня, телосложения. Вспоминая отцовские слова, я отвечал:

— Дерево, что человек, имеет свое сложное внутреннее строение, а я с детства с деревом не расстаюсь, люблю и понимаю его. Вот и сейчас, если выпадет свободное время, занимаюсь резьбой по дереву.

Навыки работы с деревом сильно пригодились мне и в хирургической практике, особенно при операциях на костях, которые по своей продольной слоистости подобны дереву.

...Трудными были ночные дежурства. Больные с острыми заболеваниями чаще всего доставлялись в ночное время. А мне, как молодому хирургу, дежурить приходилось часто. Помню одно непредвиденное дежурство.

В перевязочной буйствовал больной с вывихом левого бедра. В стадии наркотического возбуждения он разбросал в разные стороны медицинских сестер, пытавшихся удержать его на столе, и, сорвав с себя наркотическую маску, выбил у меня из рук склянку с эфиром.

О технике дачи наркоза, которая описывается в руководствах, и думать не приходилось. Из вновь открытой банки я непрерывно лил эфир, но он не действовал на буйствующего больного. Я был вынужден обратиться с просьбой о помощи к ходячим больным отделения.

Общими усилиями мы придавили пострадавшего к полу, и только тогда мне удалось усыпить его и вправить кость.

Потный, уставший, вышел я из перевязочной.

На полу ванной комнаты лежал новый больной, ожидавший хирургической помощи. Его квадратное лицо с закрытыми глазами было безжизненным, пульс едва прощупывался, поношенная телогрейка обильно пропитана кровью.

— Что случилось? — спросил я у двух военных, доставивших пострадавшего и стоявших возле дверей с сердитыми лицами.

— Да вот сволочь, хоть бы руки развязал, — пробурчал один из них.

— Как можно так говорить о больном человеке?

— Не человек он, — заговорил второй. — Бандит, не первый день с ним возимся, жаль, что расстрел не предусмотрен для него. Вот и вынуждены были доставить сюда.

Я слушал это, уже осматривая пострадавшего. На животе у него было два пулевых выходных отверстия, из одного выпала петля тонкой кишки. Лишь слабый стон свидетельствовал о его реакции на поверхностную пальпацию живота.

Старшая операционная сестра Матвеевна, видя мою нерешительность, на-

клонившись, пощупала пульс, приложила ладонь к голове больного, махнула рукой и шепнула мне:

— Да что тут раздумывать, ясно видно, что он уже умирает.

Все наши хирурги с большим уважением относились к опыту Матвеевны. Ее мастерство как операционной сестры было общепризнанным. Ход любой операции она знала лучше молодого врача. Ассистируя, подавая хирургу нужный инструмент, она как бы подсказывала, направляла ход операции.

— Вы, Анастасия Матвеевна, это серьезно? — спросил я.

Она не задумываясь ответила:

— Конечно! — И тут же, как будто спохватившись, добавила: — Дежурный хирург вы? И решайте сами. Спросят с вас, а не с меня.

— Тогда готовьте операционную, начнем с переливания крови, — распорядился я и вышел сообщить свое решение конвоирам, доставившим раненого.

Не скрывавшие своей ненависти к нему, они отказались даже переложить его на каталку, чтобы перевезти в операционную.

На вопрос: фамилия, имя, отчество пострадавшего? — один из них сказал:

— Пишите Иванов Василий Иванович, тридцать семь лет. Но за достоверность не ручаемся. После каждого побега из заключения у него новые паспортные данные, а в преступном мире он именуется просто Король.

— Послушайте, доктор, — с раздражением спросил меня второй, — а вы способны проявить истинную гуманность ко всему человечеству, а не к одной паразитирующей личности?

— Прошу прощения, мне нужно спешить, — сказал я и направился в операционную.

Переливание донорской крови было начато до операции. Операция началась под местной анестезией по Вишневскому. При осмотре вскрытой брюшной полости оказалось, что два сквозных пулевых ранения сразу наперед дали множественное повреждение кишечника, желудка и печени.

Матвеевна уже не в первый раз показывала жестом, что, мол, хватит, заканчивай.

В знак солидарности с Матвеевной огорченно кивнул головой и мой ассистент — юная медицинская сестра Анечка.

Я тоже склонен был поверить в бесполезность хирургического вмешательства, но, представляя себе последующую судебно-медицинскую экспертизу, делал все необходимое, чтобы в протоколе вскрытия была запись о правильном исполнении хирургического вмешательства.

В операционной царил тишина, ее нарушал лишь треск зажимов и иглодержателей или стук упавшего инструмента.

Операция продолжалась четыре часа. Непрерывно переливалась кровь и кровезаменители, сердечная деятельность поддерживалась медикаментозными средствами. Раненый на боль не реагировал, но изредка слышался тихий стон на выдохе.

Множественность повреждений внутренних органов требовала времени и напряженного внимания, чтоб не пропустить ни одного повреждения.

Когда я заканчивал операцию и накладывал последние швы, у больного вместо стоны вырвалось слово:

— Пить!

Как по сигналу осветились лица работавших в операционной. Анечка моментально смочила стерильную марлю в воде и приложила к обсохшим губам и языку больного. Переноса его в послеоперационную палату, мы молча улыбались друг другу.

Только в ординаторской, опустившись в кресло, я почувствовал физическую и нравственную усталость. Казалось, что нет сил поднять свинцово-тяжелые руки.

— Скажите, долго ли проживет? — послышался голос одного из конвоиров.

— Мы хотим знать подробности о характере ранения и последствиях. Надо сообщить своему руководству! — добавил второй.

— А вы почему не уехали? Ведь далеко за полночь,— спросил я.

— Мы за него отвечаем головой.

— Давайте лучше сначала выпьем по стакану чая,— предложил я,— а потом и поговорим.

Конвоиры охотно приняли мое предложение. За чаем, разговорившись, они признались мне, что нарочно не препятствовали побегу Короля.

— И стреляли в спину убегающего? — спросил я.

— Да,— ничуть не смущаясь, сказал один из них.— Выждали, когда он заберется на забор, и пустили по нему автоматную очередь. Уж очень много натворил зла людям этот бандит.

— Так почему вы не добились его ради гуманности?

Охранник вздохнул и с нескрываемым сожалением произнес:

— Закон... Везде закон.

— А у меня врачебный долг,— сказал я.

Уже было утро. Король лежал с открытыми глазами, ни на что не жаловался, лишь просил пить:

— Умоляю, глоточек.

«Как трудно бывает в медицине объяснить многое»,— думал я. Делаешь все возможное, чтобы спасти больного, а он умирает при самой обычной операции, а здесь вот, по сути дела, при смертельном ранении выздоровление больного идет как на дрожжах.

На восьмой день после операции мне предстоял вылет по санитарному заданию. Я заканчивал передачу больных молодому хирургу Верочке Курмаевой. Когда мы с ней подошли к постели Короля, он взмолился:

— О, мой спаситель, не откажи в последней просьбе, сними, пожалуйста, сам швы с моих ран. А красавица Верочка пусть не обижается — я суверен.

Для отказа у меня не было основания, так как по плану лечения снятие швов назначалось на сегодня, и я выполнил его просьбу.

Когда после недельной командировки я переступил порог ординаторской, моя преемница Верочка с обидой заявила:

— Ну и подсунил ты мне случай с Королем. Я из прокуратуры не вылезая.

— Что случилось?

— Король оставил наилучшие пожелания и скрылся.

В этот же день я давал объяснение прокурору на заданный им мне вопрос: «Почему именно вы лично сняли швы?»

Мое объяснение, что каждый поправляющийся больной, а тем более после тяжелой операции, становится для хирурга близким человеком, конечно, не могло удовлетворить прокурора.

— Мы вас вызовем еще раз,— сказал он.

На мое счастье, Король вскоре вновь был пойман при грабеже банка.

...В Якутии снова наступала зима. Перед самым ледоставом к нашей пристани Даркылах причалила долгожданная баржа с углем для больницы. Бригадиром выделенной на разгрузку бригады назначили меня. В мои обязанности входил, конечно, и личный зажигающий пример.

Мужской состав бригады был занят на выноске из трюма наполненных углем кулей. Куль весом до ста килограммов двумя женщинами рывком подбрасывался на подставленную спину. Перенос его по крутой узкой лестнице трюма требовал силы и выносливости.

Мне, как бригадиру, не к лицу, казалось, просить уменьшить вес водворяемого на мою спину куля с углем. И утром, к концу нашей ночной смены, куль, рывком брошенный на мою уставшую спину, как молнией прострелил мой позвоночник. Ноги не удержали, и я оказался придавленным кулем.

На больничной койке я пролежал более двух месяцев в вторичным радикулитом на почве вывиха позвоночника в поясничном отделе.

Много разных мыслей заполняло время на больничной койке, но больше всего я ругал себя за безрассудство.

...Я снова на ногах, и жизнь течет нормально, иногда труднее, иногда легче. Однажды весенним утром я спешил в отделение, чтобы успеть оформить истории болезней назначенных на операцию, что не успел сделать вчера. Едва переступил порог вестибюля, как навстречу мне поднялся с протянутой рукой человек, показавшийся знакомым. Крепко пожимая мне руку, он сказал:

— Гора с горой не сходятся, а людям свойственно.

Он пристально смотрел на меня. Я узнал его по ярким глазам. Это был Гурулев — тот самый, которого я встретил на пути в Оймякон, который приучил меня есть строганину и подарил мне дорогие во всех смыслах унты.

— Вот неожиданность! Какими судьбами?

— Не судьбами, а нуждами, — поправил он. — Сына моего сюда в хирургическое отделение доставили, Леню. Вчера с вечера он, как и вся милиция, вышел на борьбу с наводнением. Сами видите, как вода в Лене поднимается. Заложную часть города уже затопило. Говорят, что он там упал в воду, наверно ушибся. Толком я ничего не знаю, в час ночи его машиной доставили сюда.

— Тогда тороплюсь! Ждите меня здесь! — сказал я.

Леня Гурулев лежал бледный, осунувшийся. С утра у него появилась каловая рвота, дающая право диагностировать кишечную непроходимость девятичасовой давности, то есть крайне запущенную.

Вскрыв брюшную полость, мы, как и предполагали, обнаружили у Лени заворот тонкого кишечника. Из-за полного его перекрута произошло омертвление кишок на протяжении более чем одного метра. Следовало опасаться летального исхода. Как положено в таких случаях, мы произвели удаление измененной части кишечника и соединили конец в конец. Операция прошла удачно. И послеоперационный период у Лени протекал, как мы говорим, гладко. Леня поправился и был выписан. В осенний набор его призвали в армию как не имеющего ограничений по здоровью.

Встречи с Гурулевым были мне всегда приятны, но после выздоровления его сына мы с ним редко встречались. И вдруг я узнаю, что органы МВД обратились к главному врачу нашей больницы с просьбой произвести операцию в стенах медсанчасти сотруднику МВД Г. В. Гурулеву и с этой целью, учитывая желание больного, просили направить меня.

Месяца два я уже не видел его и ничего о нем не знал. Мне очень хотелось быть ему полезным.

После осмотра больного и изучения вместе с лечащим врачом и начальником медсанчасти амбулаторной карты и истории болезни мне стало ясно только одно: что можно лишь подозревать опухоль в желудке.

Посоветовавшись, мы сочли целесообразным произвести пробное чревосечение. Гурулев дал на это свое согласие.

С опаской рассекал я ткани, боясь обнаружить запущенный рак желудка, но желудок у Гурулева оказался совершенно здоровым. Меня это очень обрадовало, и, чтобы не держать долго больного на операционном столе, не травмировать его этим, я не стал производить тщательной ревизии всей брюшной полости, как это следовало бы.

Операция и послеоперационный период прошли гладко, и мы заверили Гурулева, что ничего опасного у него нет. После выписки его из больницы я не раз заходил к нему, давал ему всяческие советы, но он продолжал неумолимо худеть. Тщетными были все мои заботы. Гурулев умер. Только вскрытие объяснило причину его смерти. Роковую развязку дала забрюшинная злокачественная опухоль, не распознанная во время операции.

Угрызения совести не покидают меня и сейчас. Если бы во время операции я руководствовался не чувствами, а разумом и произвел тщательную ревизию всех органов, я бы знал причину заболевания и последующие мои советы, может быть, могли бы ему помочь.

Нет, не зря, видимо, хирурги избегают оперировать чем-либо близких им людей.

...И вот пришла наконец победа. Весть о ней долетела до нас, когда рабочий день уже начался.

Из лечебных отделений и подсобных цехов работники больницы вышли в халатах на площадку у административного корпуса. Люди, знакомые и незнакомые, целовались, обнимались, плакали и смеялись.

В руках у Матвеевны появилась бутылка со спиртом и мензурка. Чокались за победу, пили, вновь обнимались и целовались, пели и плясали. Радость народная била через край.

Но болезни не считаются с праздниками. Меня, дежурного хирурга, уже разыскивали. Из китайского колхоза был доставлен мальчик с бесспорными признаками запущенного воспаления брюшины на почве острого аппендицита.

Мальчик немедленно был взят на операционный стол. Операция прошла успешно. Когда мальчик поправился и был готов к выписке, за ним приехали родственники вместе с председателем колхоза. Председатель спросил:

— Чем мы можем вас отблагодарить?

Вспомнив оймьяконского шамана, совавшего мне мешочек с золотом, я сказал, смеясь:

— Картошка нам очень нужна.

— Ну что ж, только приезжайте на грузовой машине, — деловито ответил он.

Я смущенно сообщил об этом главному врачу больницы Ковалевской. Она подумала и сказала:

— Картошка больным действительно нужна. Надо ехать.

На следующий же день мы были в правлении колхоза, и там наша машина была доверху нагружена картошкой. До сих пор не знаю, правильно ли мы поступили тогда, приняв от колхоза благодарность. Но наши больные были очень довольны приятной переменной в меню.

Война кончилась, но жизнь еще долго была трудной.

Вскоре на меня были возложены обязанности бортхирурга. Прежний бортхирург Людмила Александровна Макухина трагически погибла. Проработав обусловленный договором срок, она собиралась выехать со своей дочкой обратно в Москву. Документы у нее уже были оформлены, оставалось только получить окончательный денежный расчет, а кассир задержался в банке. В это время поступил экстренный вызов в соседний Амгинский район. Надо было лететь мне, но я в это время оперировал больного, и в Амгу вылетела Людмила Александровна. В пути самолет попал во внезапно нависшую облачность и потерпел аварию. Только на третий день в прибрежной тайге были найдены трупы и обломки самолета.

Многолюдной колонной провожали мы в последний путь дорогую всем нам Людмилу Александровну.

С тяжелым чувством вины перед погибшей приступил я к выполнению обязанностей бортхирурга. За год посетил я много отдаленных уголков Якутии. Каждый вылет, каждое санитарное задание не походило на предыдущее. Расскажу о последнем вылете в Верхне-Вилюйскую больницу.

Неустойчивая осенняя погода не бралась в расчет. «Жизнь человека важнее погоды», — часто говорили летчики санитарной авиации.

Вылетели с рассветом. Пилот Иван Сергеевич, закрывая мою кабину, сказал:

— Утро что надо. Долетим превосходно.

В Вилюйске, где наш «ПО-2» приземлился, чтобы заправиться, начальник аэродрома объявил:

— Придется повременить. Надвигается циклон.

Мы с пилотом переглянулись.

— А как же больной? — спросил я начальника.

— Не рисковать же двоим здоровым из-за одного больного, — ответил он.

Мы вновь переглянулись. Иван Сергеевич принялся доказывать необходимость вылета. Начальник аэродрома, перебив его, предупредил:

— Ну что ж. Я ответственность не беру, а если что случится, то пеняйте на себя.

Самолет плавно набирал высоту. «Как хорошо, что мы не послушали начальника», — думал я, устраиваясь поудобнее, чтобы подремать.

Проснулся от сильного толчка. Наш самолет подбрасывало, как щепку. Ветровое стекло пилота было затянато молочной пеленой. По спине и шее пилота видно было, что он весь в страшном напряжении. Толчок. Еще толчок. Сиденье исчезло, а я как будто поплыл, кружась в объятиях невидимых волн.

Потом мне показалось, что я сплю, и сквозь сон кто-то настойчиво тормозит меня: «Петр Сергеевич, ты меня слышишь?»

Силуось ответить, но не могу. Открываю глаза и как в тумане вижу какие-то склонившиеся надо мной фигуры. Испугавшись, вновь закрываю глаза. Незнакомые голоса наконец меня вернули к действительности.

Я лежал на больничной койке, окруженный людьми в белых халатах. Пристально всматривался, но разглядеть никого не мог, глаза были как будто закрыты сеткой. Попытавшись подняться, я услышал тревожное предупреждение:

— Не шевелитесь! Лежите спокойно!

— Что случилось, где я?

— Потерпите. Не шевелитесь. Постарайтесь уснуть, немного позже узнаете все сами.

Я просыпался и вновь засыпал, но вспомнить, что произошло, не мог.

На следующий день чувствовал я себя лучше, но по-прежнему видел плохо и не различал лиц. По голосу я узнал Ивана Сергеевича, от него и узнал о случившемся.

Оказалось, что до Верхне-Вилуйска было уже недалеко, когда внезапно налетел шторм со снегом и дождем. Туманом мы были придавлены. Вынужденная посадка была неизбежна. Мы приземлились, но неудачно.

— Увидев тебя в кабине с бледным окровавленным лицом, я перепугался насмерть, — рассказывал Иван Сергеевич. — Не давая себе отчета, вновь сел в машину, вырулил на берег Вилуя, вновь взлетел, и на бреющем полете мы добрались сюда.

— А как больной? — спросил я.

— В том-то и беда, что больной умер, пока мы летели.

Зрение мое восстановилось только в правом глазу. Однако после лечения сначала в Москве, затем в Ленинграде, благодаря упорной тренировке я смог все же вернуться к хирургической практике.

...В мае пятидесятого года в центре Якутска, в бывшем купеческом доме был открыт республиканский онкологический диспансер. Руководителем небольшого, только что собранного коллектива назначили меня.

В это же время на меня была возложена и обязанность главного хирурга республики. Ответственности прибавилось, да и забот тоже.

Как-то ранним утром перед больничными воротами меня остановила худенькая, с ввалившимися глазами якутка:

— Я доведена до отчаяния, прошу выслушать меня и помочь.

Мы молча прошли в кабинет, я налил ей валерьянки, она выпила и, успокоившись, стала излагать свою беду:

— У меня в течение нескольких лет в печени растет эхинококк. Сейчас он занимает всю печень. Не удивляйтесь моей осведомленности: за последнее время много я наслушалась, да и кое-что прочитала об этом страшном заболевании. Только операция может мне помочь. Если вы откажете мне, я покончу с собой, это твердое мое решение.

Ничего подобного мне еще не приходилось слышать от больных, и, растерявшись, я сказал:

— Ну что же, раз вы так категорически настаиваете...

Не дав мне договорить, больная рассыпалась в благодарности:

— Спасибо, спасибо, я так и знала, что вы не откажете.

Я почувствовал себя на поводу у больной, и мне стало неловко.

— Извините, но я все же должен вас осмотреть.

Мое замешательство не ускользнуло от внимательных глаз больной. С нескрываемым беспокойством она легла на кушетку.

Живот был огромен, через истонченную брюшную стенку отчетливо прощупывалась каменистой плотности опухоль величиною с девятимесячную беременность. Бесплезность хирургического вмешательства, казалось, не вызывала сомнений: явно безнадежно запущенный эхинококк печени.

— Ну что ж, как условились, попробуем, — сказал я как можно спокойнее.

Так была заведена история болезни № 448 на Габышеву Анастасию Осиповну, учительницу наследной школы Орджоникидзевского района, многодетную мать-одиночку.

Некоторые хирурги отделения осуждали меня за решение оперировать Габышеву, считая это ненужной затеей.

Однако осмотр вскрытой под местной анестезией брюшной полости сразу же принес неожиданность. Казавшаяся единой опухоль состояла из двух сомкнувшихся посередине частей. Одна половина опухоли исходила из правой доли печени, вторая — из левой. Это уже меняло положение. Посоветовавшись с ассистентами, я решил убрать вначале правую половину опухоли вместе с правой долей печени. Операция прошла сравнительно гладко. Так же гладко прошел и послеоперационный период. Это вселило в нас надежду.

Больная окрепла и спустя три недели повторно была взята на операционный стол. Удаление левой половины опухоли вместе с левой долей печени также закончилось успешно.

При выписке из больницы Анастасия Осиповна обещала периодически сообщать нам о состоянии здоровья и самочувствии. К сожалению, сообщений от нее не поступало. Мы часто вспоминали эту мужественную женщину, и очень хотелось знать, что с ней сейчас.

И вот однажды во время совещания хирургов в связи с предстоящим съездом врачей в ординаторскую вошла Матвеевна и, хитровато улыбаясь, сказала:

— Товарищи, по вашему вызову приехала показаться учительница Габышева.

И она посторонилась, пропуская молодую женщину цветущего вида. Блестя черными глазами, женщина весело приветствовала нас по-якутски:

— Зоро болором табарыстар!

Мы хором ответили на приветствие и начали засыпать ее вопросами:

— Как себя чувствуете? Как работаете? Почему не писали и не приезжали?

Отвечала Анастасия Осиповна не спеша, степенно: чувствует она себя хорошо, работает в полную мощь как в школе, так и дома.

— Сейчас переезжаю на новое место работы, чтоб реже вспоминать былое, — сказала она.

Извинившись за длительное молчание, Анастасия Осиповна поблагодарила всех нас за излечение, а потом, подойдя ко мне, по якутскому обычаю обняла мою голову, понюхала ее и вложила мне в руку новый платочек с узелком на уголке:

— Это за возвращенную жизнь, за второе рождение.

Развернув узелок носового платка, я нашел в нем маленький оловянный крестик. Судя по всему, Габышева носила его со дня крещения.

Этот крестик я до сих пор храню как память о больной, вынудившей меня быть пионером в сложных двухмоментных операциях на печени.

Мне хотелось бы закончить свои воспоминания о Якутии словами основоположника русской хирургии Н. И. Пирогова: «Быть счастливым счастьем других — вот настоящее счастье, вот жизни земной идеал».



Л. ХУУШАН

Играют дети...

Играют дети под моим окном,
 Стараясь взрослым подражать во всем:
 С пластмассовым ружьем наперевес
 Мальчишка-снайпер на сосну залез
 И был по-детски, откровенно рад,
 Когда упал подстреленный солдат.
 Один — из кубиков построил дом,
 Другой — разрушил этот дом пинком...
 Играют дети в трудный взрослый бой,
 А в общем-то, играют в нас с тобой!
 И глядя в приоткрытое окно,
 Я радуюсь, что детям не дано
 Понять, какую тяжестью года
 На плечи взрослых давят иногда.

Играют дети в летчиков, врачей,
 Мечтают стать большими поскорей...
 А как бы счастлив был любой из нас
 Вернуть неповторимый детства час!

Солдат

Настоящий солдат лишь тот,
 Кто, смолчав про боль и усталость,
 Завершит любой переход,
 Даже если сил не осталось.

Незнаком ему смерти страх,
 И, какой ни была б расплата,
 Он, от гибели в двух шагах,
 Не забудет про долг солдата.

Даже смерть он готов принять.
 Смерть!

Но только не поражение.
 Ведь недаром отчизна-мать
 Поручила солдату мщенье.

И, упав на передовой,
 Он прошепчет сквозь смерть соседу:
 — Бой не кончен...

Не кончен бой...
 Завещаю тебе Победу.

Л. ТУДЭВ

В день выборов

Рассветные лучи коснулись робко
 Вершин высоких седоглавых гор
 И осветили узенькую тропку,
 Проложенную кем-то с давних пор.

НАДИН ГОРДИМЕР

★

РАССКАЗЫ

Надин Гордимер (род. в 1923 году) — одна из наиболее известных писательниц Южно-Африканской Республики. В последние годы все чаще обращается к антирасистским темам (роман «Земля чужестранцев», сборники рассказов «Нежный голос змия», «Шесть футов земли»).

Нетерпимость расистского режима ЮАР вынудила Надин Гордимер покинуть родину, теперь она живет в Англии.

Настоящие рассказы взяты из сборника «Оглашению не подлежит».

● *Оглашению не подлежит*

Мало кто знает — ибо в официальных биографиях об этом не упоминается, — что наш премьер-министр первые одиннадцать лет своей более или менее сознательной жизни — то есть с того момента, когда он перестал соваться под все проходящие автомашины, — водил по улицам своего слепого дядюшку. В сущности, этот дядя был не совсем слепой, зато вполне сумасшедший. Он ходил вцепившись правой рукой в левое плечо мальчика — так они бродили по городу почти весь день, но у них было и свое постоянное место на теневой стороне улицы между безногим инвалидом, который продавал около почты шнурки для ботинок и медные браслеты, и другим нищим с высохшей от локтя маленькой ручкой — этот сидел перед входом в здание АМХ¹. Именно здесь Аделаида Грэхем-Григг и нашла мальчика, а позднее он ей объяснил: «Если сидеть на солнечной стороне, тебе никто ничего не подаст».

Мисс Грэхем-Григг вовсе не искала Прайза Бейзетса. Она приехала в Йоганнесбург из Британского протектората, чтобы повидать друзей, возобновить старые связи, а заодно продолжить изучение давно интересовавшей ее проблемы: она хотела проследить, как сложились судьбы туземцев, которые ушли из своих племен и затерялись в лабиринте города, где и прозябали вот уже несколько поколений. Пока она рылась в своей сумочке, разыскивая среди писем и бумаг шестипенсовик для старика, тот вдруг что-то пробормотал, обращаясь к мальчику на языке своего племени. Ничего особенного в этом не было — в Йоганнесбурге на улицах в ходу было великое множество африканских языков. Но для мисс Грэхем-Григг бормотание старика прозвучало как осмысленная речь: этот язык она немного понимала. Тогда она обратилась к старому нищему с традиционным приветствием на языке племени, а потом спросила по-английски, принадлежит ли он к этому племени. Однако старик продолжал механически бормотать слова благодарности — звон монеты подействовал на него, как пинок на ржавый, изношенный автомат. Мальчик начал его в чем-то убеждать, подталкивать слепца локтем: уже в ту пору в нем проявлялись задатки политика. Тогда старик запротестовал.

¹ АМХ — Ассоциация молодых христиан.

Нет, нет, он давно ушел из племени. Очень, очень давно. Он из Йоганнесбурга. Мисс Грэхем-Григг поняла, что он путает ее простой вопрос с привычным вопросом в бюро пропусков, где туземцу из другой части страны всегда грозит опасность быть высланным на какую-нибудь давным-давно забытую «родину». Она спросила мальчика, не из протектората ли он родом. Тот в ужасе затряс головой: однажды ему уже запретили появляться на улице представители какой-то благотворительной организации.

— Ну, а твой отец, откуда он? — спросила мисс Грэхем-Григг улыбаясь. — Или твоя мать?

В конце концов она выяснила, что старик переселился сюда из протектората, и больше того — из той самой деревни, где жила она сама. Здесь, в чужом городе, его дети передали своим детям достаточно знаний, чтобы даже второе поколение продолжало говорить между собой на родном языке.

Теперь эти двое уже не были для нее просто нищими, от которых можно отделаться шестипенсовиком, они были членами племени. Она отыскивала лачугу, где они укрывались после хождения по улицам, поговорила со всеми членами семьи, добилась для старика пенсии, причитающейся туземцам на их новой родине, а главное — позаботилась о судьбе мальчика. Ей так и не удалось до конца уяснить, кто были его родители. Она лишь догадывалась, что он был незаконным сыном одной из многочисленных дочерей старика, но это тщательно скрывали, чтобы та могла продолжать ходить в школу. Как бы там ни было, он оставался членом племени, одним из обездоленных туземцев ее деревни, и мисс Грэхем-Григг не могла позволить, чтобы он попрошайничал на улицах. Дальше этого ее планы пока не шли. В семье он, в общем-то, никому не был нужен, и она без труда добилась согласия увезти его с собой обратно в протекторат и поместить в школу. Мальчик пошел за ней так же покорно, как он ходил каждый день по улицам Йоганнесбурга, ощущая на плече тяжелую руку старого нищего.

Раньше он никогда не бывал в школе. Он не умел писать, но мисс Грэхем-Григг с удивлением обнаружила, что читает он совершенно свободно. Мальчик сидел рядом с ней в ее маленьком автомобиле в купленных ею новых шортах и рубашке цвета хаки. Лишенный спасительной брони своих вонючих лохмотьев и совершенно обезоруженный ее расспросами, он признался, что выучился читать по афишам, которые менялись несколько раз в день, и по заголовкам многочисленных газет и журналов у газетчика на углу улицы. Один бог знает, чему он только не выучился на этой улице!

Все было ему вновь — от непривычно обнаженных рук и ног и до странно пахнущей чистой одежды, — и мисс Грэхем-Григг понимала, что только поэтому он откровенничает так, как никогда бы не откровенничал, будь он прежним маленьким попрошайкой. Не стесняясь он рассказывал ей о всех подробностях своей жизни, например о том, как он научился у безногого торговца медными браслетами курить приятно одурманивающие сигареты с гашишем. Она спросила его, кем бы он стал, если бы продолжал водить по городу своего дядюшку, и он ответил, что хотел бы войти в какую-нибудь шайку таких же, как он, мальчишек, разве чуть постарше, которые здорово зарабатывают. Они выуживают у белых монеты из карманов и сумочек, да так ловко, что те ничего не замечают, а если появляются полицейские, эти мальчишки начинают распевать песенки и свистеть в свои грошовые свистульки. Тогда мисс Грэхем-Григг сказала улыбаясь:

— Ну ладно, ладно, теперь ты можешь забыть о своей улице. Тебе уже никогда не придется об этом думать.

Он ответил:

— Да, мэм.

И она поняла, что совершенно не представляет, о чем он на самом деле думает, да и откуда ей было знать? Все, что она могла ему предложить, было ему неведомо и непривычно, и уж совсем непривычно и странно прозвучали для него слова сочувствия и ободрения, когда она сказала:

— Зато теперь ты скоро научишься писать.

Она уже заметила, что он до слез стыдится того, что не умеет писать. И ког-

да ему приходилось в этом сознаваться, он каждый раз обращал к ней страдальческое лицо, искаженное дикой гримасой — зубы оскалены, между детских тонких бровей страдальческая морщина, — гримасой глубочайшего унижения. Унижение ближнего ужасало Аделаиду Грэхем-Григг, как других ужасают взрывы необузданной ярости. Именно поэтому она не терпела миссионеров: за то, что они подменили христианскую покорность унижением и тем самым научили народы Африки унижаться перед белыми.

Прайз поступил в светскую школу, которую организовали в деревне для туземцев лондонские друзья мисс Грэхем-Григг в противовес миссионерской церковной школе. Единственным дипломированным учителем в ней был молодой негр, получивший образование в Южной Африке и теперь возвратившийся в деревню, чтобы служить людям своего племени. Но это было только началом. Аделаида Грэхем-Григг с сияющими глазами часто говорила вождю как гордая дочь племени:

— К тому времени, когда придет независимость, мы освободимся не только от британского ига, но и от власти церкви!

И каждый раз вождь поддакивал, смущенно посмеиваясь: он знал ее очень давно и по возрасту годился ей в отцы, но он также знал, что ее собственный отец был одновременно британским парламентарием и сыном епископа.

Поистине, здесь все только начиналось, и в этом была прелесть всего — и глинобитных хижин с плавными очертаниями, и красной земли, и даже мух и жары, приводивших в недоумение английских гостей: как это она может жить здесь безвыездно целыми месяцами? Они не понимали, что у них-то самих все кончалось: все их дворцы, соборы и улицы, изношенные тысячелетиями, были символами конца. А здесь даже Прайз был начинанием; придет время, когда племя экономически настолько окрепнет, что сможет вернуть на родину всех своих изгнанников, и тогда его сыновьям уже не придется гнуть спину на чужбине. Но вскоре стало ясно, что Прайз не просто начинание, а своего рода исключение. То, что он выучился читать по газетным заголовкам, можно было бы объяснить сообразительностью уличного сорванца, но неудержимая тяга к знаниям свидетельствовала о его поистине недюжинном уме. За полтора месяца мальчик научился писать, и с самого начала писал на удивление грамотно, когда даже шестнадцатилетние и восемнадцатилетние ученики никак не могли усвоить английскую орфографию. Он считал так хорошо, что его вместо начального класса пришлось перевести в третий. Он сразу же понял значение географической карты и проявил удивительную способность разбираться — в свободное время — в самых различных механизмах, от водяного насоса до мотоцикла. Через полтора года он окончил пятилетний курс начальной школы — всего на год позже среднего белого ученика, имевшего все преимущества культурной городской среды.

До сих пор в школе племени не было ни одного ученика, который был бы достаточно подготовлен, чтобы продолжить образование за пределами протектората. Поэтому не оставалось ничего другого, как только послать Прайза учиться в Йоганнесбург. И мисс Грэхем-Григг выбрала школу отца Одри. А что было делать? Единственную альтернативу представляла миссионерская школа этих проклятых иезуитов, которые сидели в протекторате с тех времен, когда белые империалисты захватывали земли племен. Они, видите ли, брали туземцев под свою «протекцию»! К тому же общество учеников этой миссионерской школы вряд ли пошло бы мальчику на пользу. Итак, оставалась школа отца Одри в Южной Африке. Правда, и он был попом, священником англиканской церкви, но зато в его школе, помимо святого причастия, черные дети получали такое же хорошее образование, как и белые.

* * *

Когда Прайз впервые отправился вместе с другими ребятами в вельд, его поразило открывшийся перед ним простор: степь окружила его со всех сторон, и не было ей ни конца, ни края — только степь да небо, которое казалось еще безмернее. Ветер нес знакомые запахи, и мальчик принюхивался, как собака. Он

чувствовал себя беспомощным, словно деревенский парень, ошеломленный пляшущими огнями светофоров, — таких он сам видел в городе. Бедной деревенщине казалось, что дома стискивают его со всех сторон, нависают над ним, грозя раздавить. А здесь клубились облака громадные, как небоскребы, и хотя вельд был просторнее любого города, он был густо заселен птицами. Если бежать по вельду все прямо и прямо минут десять, деревня исчезает из виду, но ведь находят же свой путь тысячи термитов между бесчисленными термитниками, рассеянными по всей степи насколько хватает глаз!

Вместе с другими мальчишками Прайз пас скот по утрам и вечером после школы. Он учил их азартным играм, о которых они никогда не слышали. Он рассказывал им о городе, которого они никогда не видели. Мелочь в шляпе старого нищего казалась им целым состоянием, ибо они сами никогда не выпрашивали больше нескольких пенсов — если почтовый поезд останавливался набрать воды в пяти милях от деревни, — и вскоре сумма белых подаяний начала и ему казаться гораздо значительнее, и он даже стал ее немножко преувеличивать. Так или иначе, он уже забывал постепенно свой город, но совсем не так, как того хотела бы мисс Грэхем-Григг, а как забывает ребенок, который, подобно осе, склеивающей гнездо своею собственной слюною, по-своему склеивает и связывает факты и обстоятельства. Его мирок постепенно сузился до одной деревни с водопоем в ложбине, куда пригоняли скот, со станцией, где останавливались поезда, с раскинувшимся вокруг вельдом, где мальчишки гонялись друг за другом по желтому песку и жесткой, кишашей муравьями траве среди белых цапель и невозмутимых коров. Он узнал, какие коренья и листья можно жевать в свое удовольствие, и научился ставить силки на степных зайцев. По воскресеньям он ходил вместе с мальчишками в церковь, хотя мисс Грэхем-Григг сказала, что для него это вовсе не обязательно.

Жил Прайз не там, где жила она, в одном из домов вождя, а вместе с семьей своего приятеля, однако навещался к мисс Грэхем-Григг частенько. Она поручала ему переписывать письма. Она вырезала из газет статьи, давала ему читать: там была всякая всячина про самолеты, про плотины и про то, как люди живут в других странах.

— Теперь ты сможешь рассказать другим мальчикам о плотине на Вольте, — говорила она с улыбкой, заливаясь внезапным румянцем. — Вольта — это далеко отсюда, но это тоже в Африке, в нашей Африке!

У нее был патефон, и она ставила для него разные пластинки. Не только пластинки с музыкой, но и с записью стихов; так он узнал, что стихи в учебнике не просто столбики коротких строчек, а нечто вроде песен. Она поила его чаем, не скупясь на сахар, и просила его помочь ей выучить язык племени, просила, чтобы он говорил с ней на своем языке. Она не позволяла ему называть себя «мадам» или «миссус», как он обращался к белым женщинам, подававшим ему милостыню, и ему пришлось научиться называть ее «мисс Грэхем-Григг».

До сих пор Прайз не был знаком ни с одной белой женщиной — он только видел, как они быстро проходили мимо на своих высоченных каблуках, — однако он подозревал, что мисс Грэхем-Григг не похожа на остальных белых женщин. Вспоминая о белых с их машинами, с их деньгами и с их высокомерием, он никак не мог уразуметь, почему она ведет себя совсем иначе. Внешне она была такой же, как все белые: голубоглазая, светловолосая, с изменчивым цветом кожи — темнеющей от солнца и краснеющей от смущения, — но она жила в одной из хижин вождя, возила вождя в своем автомобиле и порой ночевала в поле вместе с остальными женщинами, когда те собирали урожай проса вдалеке от деревни. Он не знал, для чего она привезла его сюда и почему она к нему так добра. Но спросить ее об этом он не мог, точно так же, как не мог спросить, зачем она ночует в поле, когда у нее такая хорошая комната с патефоном и яркой ацетиленовой лампой, которую он ей однажды сумел починить. И когда между ними речь заходила о чем-нибудь более сложном, она постепенно краснела до корней волос, и они либо умолкали, либо она повышала голос и начинала очень громко смеяться.

Поэтому Прайз был искренне удивлен, когда она сказала ему, что он должен вернуться в Йоганнесбург. При этом она густо покраснела и в глазах ее отразилось смущение: видимо, ей показалось, что эта тема выше его понимания, и она торопливо добавила:

— Поедешь в школу. В настоящую, хорошую школу-интернат — школу отца Одри в девяти милях от города. Ты должен попытаться счастья в хорошей школе, Прайз! Честное слово, нам больше нечему учить здесь тебя. Может быть, ты сам когда-нибудь станешь учителем. Когда откроем колледж, будешь в нем старшим преподавателем...

Эти слова заставили его улыбнуться, но сама она была печальна и растеряна. Он продолжал улыбаться, потому что не мог сказать ей об инициации², к которой уже готовился вместе со своими одногодками. Пусть кто-нибудь другой ей расскажет. Кто-нибудь из женщин. Или сам вождь. Но разве ее проведешь улыбочками?

— Тебе жаль расставаться с Тебеди, с Джозефом и со всеми другими мальчиками?

Он продолжал улыбаться.

— Прайз, мне кажется, ты сам не знаешь кто ты такой, какая у тебя голова! Она не то всхлипнула, не то хихикнула, постукав себя пальцем по лбу.

— У тебя редкостная голова. Ты способнее, чем все другие мальчики, вместе взятые, — ты это знаешь? Это что-то особенное, и так жалко, если все пропадет без толку... Многие хотели бы иметь такую голову, но быть по-настоящему умным нелегко.

Он по-прежнему улыбался. Но ему не хотелось больше смотреть ей в лицо, он опустил глаза и уставился на ее ноги в сандалиях — белые ноги с голубыми венами у щиколоток, точь-в-точь как у Христа на распятии, висевшем в церкви.

* * *

Разумеется, Аделаида Грэхем-Григг и раньше встречалась с отцом Одри. Похоже, что в Южной Африке все белые, не признающие расовой дискриминации, хорошо знали друг друга независимо от того, по каким причинам им стал ненавистен апартеид. С отцом Одри они впервые встретились в Лондоне несколько лет назад на каком-то заседании, где присутствовали еще двое белых, высланных из Южной Африки за левые взгляды, и лидер африканских националистов. Во всяком случае, достопочтенного отца Одри знали все хотя бы по газетам: премьер-министр Южно-Африканской Республики доктор Фервуд в публичной речи предостерег его, что не допустит вмешательства священнослужителя в политику. Однако тот продолжал проповедовать свои идеи. По словам журналистов, он заявил, что для него «воля божья превышает приказы главы государства». У него было много друзей среди африканских и индийских лидеров; поговаривали, что он близко сошелся даже с некоторыми руководителями датской реформистской церкви, и, наконец, ходили слухи, будто он сам направлял движение бунтовщиков, которые то и дело вопрошали господ бога, доколе он будет терпеть разделение чад своих на белых и цветных. Таков был этот облаченный в черную сутану человек с неисчерпаемой энергией, пламенным красноречием и прекрасным нервным лицом.

С тех пор как они виделись в последний раз, он постарел и был уже не так красив. Но он по-прежнему сохранял то, чего не могло отнять время — естественное превосходство принца крови над простыми смертными, превосходство, свойственное знаменитым актерам, политическим вождям и удачливым любовникам; он по-прежнему вызывал восхищение и зависть и, несмотря на благородство духа, невольно был жесток, как все избранники, отмеченные перстом удачи, а люди не могли простить ему этой жестокости счастливец.

Отец Одри устал; разговаривая с мисс Грэхем-Григг, он закрывал глаза и морщился, стараясь сосредоточиться. Несмотря на это, она чувствовала, как

² Инициация — обряд посвящения юноши в мужчину.

тускла лампада ее разума в присутствии такого светила. Он во всем и всегда был прав, она же никогда не была уверена в своей правоте. Ей шел тридцать шестой год, но она давно уже выглядела как женщина среднего возраста. Глаза у нее были ясные и робкие, как у девушки, зато ноги, а особенно руки казались натруженными и жалкими — бедные руки, которым некого ласкать. Да, в его присутствии она осознавала это со всей очевидностью: руки ее навсегда останутся пустыми!

От сознания своей униженности она восстала.

— Я должна предупредить вас: мы хотим, чтобы он вернулся к своему племени, потому что, знаете, у нас так мало образованных людей, нам их так не хватает! А в ближайшие годы нам будет нужно все больше и больше грамотных, очень нужно... Поэтому нам не хотелось бы, чтобы он вообразил, будто из него здесь обязательно сделают священника...

Отец Одри улыбнулся при мысли об ответе, которого она от него ожидала: что, мол, если мальчик изберет путь служения господу богу — и так далее и тому подобное.

Вместо этого он ответил:

— Вам хотелось бы, чтобы он стал чем-то вроде ловкого политика, не посягающего на племенной строй.

Они оба рассмеялись, ибо отец Одри неумышленно воспользовался ее признанием диаметрального различия в их взглядах: он считал, что племенные вожди должны уйти, она же, разумеется, не видела никаких причин, почему бы африканцам не создать свою собственную племенную демократию, вместо того чтобы копировать западные образцы.

— Ну, ладно, он еще слишком молод, чтобы сейчас об этом беспокоиться, не так ли? — с улыбкой сказал отец Одри.

Перед ним на столе громоздились всевозможные бумаги, и мисс Грэхем-Григг чувствовала, что ему не терпится перейти к другим делам.

— Что вы скажете о Лемерайбской миссии? — спросил он. — Как там преподают сейчас, не знаю, но когда там был отец Чэлмон...

— Я не хочу его посылать к этим людям! — энергично запротестовала она, догадываясь, что отец Одри прекрасно знает о ее взглядах на миссионеров и их роль в Африке.

Так же откровенно они обсудили и прошлое Прайза. Отец Одри выразил пожелание, чтобы мальчик снова встретился со своей родней, когда поселится поблизости от Иоганнесбурга.

— Но его родня просто ужас! — воскликнула мисс Грэхем-Григг.

— Если он захочет стать кем-то, ему лучше знать о своем прошлом.

Отец Одри встал, зашелестев черной сутаной, шагнул к двери и, распахнув ее, крикнул:

— Саймон, приведи мальчика!

Мисс Грэхем-Григг взволнованно улыбалась, глядя на дверь, и вся нерастратенная любовь светилась в этой улыбке.

Прайз вошел. Он был в новой школьной форме — в синих шортах и белой рубашке. Доброта этой женщины и внимательность этого мужчины ослепили его. В глазах его зажглись яркие блики — как отблески солнца на поверхности пруда в час водопоя. Мисс Грэхем-Григг сказала ему, что отец Одри тоже приехал из Англии, как она сама. Вот, значит, что это за люди! Совсем не похожи на других белых, которых он видел до сих пор. Они пришли из далекой страны — за шесть тысяч миль отсюда, как он вычитал в своем учебнике географии.

* * *

Прайз хорошо прижился в новой школе. По воскресеньям он пел в хоре в большой церкви; его тело, которое в вельде уже стало бы телом мужчины, скрывалось под бельми одеждами. Подростки курили тайком в уборной, а однажды к ним пришла девушка и легла в сухой водосточной канаве позади мастерских. Обо всех этих вещах Прайз узнал давно, еще в городе; к тому же в локаци он

спал в одной комнате с целой семьей. Но он ничего не сказал подросткам об инициации. Женщины не говорили об этом с мисс Грэхем-Григг. И вождь тоже смолчал.

Мисс Грэхем-Григг пообещала через год на рождество взять его на летние каникулы. В первый год она приезжала к нему дважды, когда бывала по делам в Йоганнесбурге, но ему не удалось поехать вместе с ней в деревню, потому что отец Одри поручил ему роль в рождественском представлении, а кроме того, сам усиленно занялся с ним алгеброй и латынью. Собственно, отец Одри давно уже не преподавал — просто это была его школа, потому что он ее организовал, и он ею руководил как глава своего ордена в этой провинции, но успехи Прайза в учебе были настолько поразительны, как он сам признался в разговоре с мисс Грэхем-Григг, что любой бы на его месте счел своим долгом дать мальчику как можно больше знаний.

— Я начинаю верить, что к тому времени, когда ему исполнится шестнадцать, мы подготовим его к выпускным экзаменам, — сказал он, давая понять, что сознает всю рискованность такого обещания.

Мисс Грэхем-Григг, отправляясь в Йоганнесбург, всегда тщательно причесывалась. В тот день она выглядела особенно милой и веселой.

— Вы думаете, он сможет поступить в Кембридж? Мой лондонский комитет назначит ему стипендию, я уверена. Вложить деньги в будущего премьер-министра протектората — неплохое дело!

Увидев Прайза, она сказала, что с трудом его узнает: не то чтобы он очень вырос, но зато выглядел совсем взрослым в длинных брюках и в очках.

— Тебе незачем носить очки, когда ты не работаешь, — заметил отец Одри. — Впрочем, если ты будешь их снимать и надевать, ты их где-нибудь оставишь!

Они стояли и с улыбкой смотрели на этого необыкновенного мальчика.

Прайз понял, что никто так и не сказал мисс Грэхем-Григг об инициации. Она начала рассказывать ему о его друзьях, о Тебеди, Джозефе и о других знакомых, но когда она перечисляла имена, ему было уже трудно представить лица их обладателей.

Отец Одри иногда заговаривал с ним о тех, кого он называл его «родней», и в первые же дни в новой школе заставил его написать письмо. Получилось красивое и грамотное письмо, написанное на английском, точно такое, какие он писал в классе ради упражнений. Никто на него не ответил. Затем отец Одри, видимо, предпринял какие-то шаги, потому что в следующий день посещения в школу пришла старая женщина с двумя детьми, которых он помнил младенцами, и одна из его взрослых «сестер». Пришлось ему на них указать, потому что он сам не узнал своих родственников в толпе других посетителей, да и они его не узнали. Он спросил:

— А где мой дядюшка?

Его-то он опознал бы сразу: левое плечо Прайза, то плечо, на которое давила в детстве рука старого нищего, так и осталось немного ниже правого. Но старик умер. Отец Одри подошел, положил свою длинную руку на опущенное плечо Прайза, а другую длинную руку на плечо маленького мальчика и спросил, заглядывая им в лицо:

— Ну что, хочешь учиться, чтобы узнать столько же, сколько твой брат?

Но маленький чернокожий мальчик только смотрел на волосатые ноздри отца Одри, на его кустистые брови, на красный рот, окруженный бледной кожей с темными порами, на его бороду, и наконец зачарованно уставился на бусины четок, прикрепленных к кожаному поясу священника.

Во второй раз они не пришли, но Прайз не особенно огорчился, потому что все больше и больше времени проводил с отцом Одри. Когда у него не было занятий с репетитором, он работал один: готовил уроки или читал в кабинете отца Одри, где можно было по-настоящему сосредоточиться, не то что в классе. Отец Одри научил его играть в шахматы, считая это хорошей умственной гимнастикой, и пришел в восторг, когда Прайз впервые обыграл его. Прайз приходил к нему

играть почти каждый вечер после ужина. Он пытался пристрастить к шахматам других учеников, но, послушав его объяснения минут десять, они доставали карты или кости и принимались играть в старые игры, в какие играют на улицах, во дворах и в локациях. До Йоганнесбурга было всего девять миль, и по ночам они видели городские огни.

Отец Одри самостоятельно обнаружил то, что в свое время заметила мисс Грэхем-Григг: Прайз внимательно слушал музыку, настоящую, серьезную музыку. Однажды отец Одри вручил ему флейту, которая вот уже много лет хранилась в бархатном футляре с маленькой монограммой на серебре: «Роулэнд Одри». Он послушал, как Прайз извлекает из флейты робкие трели и визгливые коленца, как, отчаянно фальшивя, пытается подобрать простенькую мелодию, потом отобрал у него флейту. Он поставил на проигрыватель сонату Баха для флейты без аккомпанемента и сказал:

— Это ты уже слышал, послушай еще.

Прайз улыбнулся и сморщил нос, вздергивая очки, — это начинало входить у него в привычку.

— Но ты скоро научишься играть как следует, — продолжал отец Одри.

И с великолепной самоуверенностью человека, привыкшего всюду быть первым, он приложил флейту к губам и начал играть все, что помнил после десятилетнего перерыва.

Он научил Прайза не только игре на флейте, но и азам композиции, чтобы тот не просто подбирал мелодии на слух или с удовольствием слушал музыку, но и понимал то, что слышит. Флейта понравилась другим ученикам куда больше шахмат, поэтому, когда они по воскресным вечерам устраивали концерты, Прайзу иногда разрешалось брать ее с собой в общежитие. Однажды он даже принял участие в концерте для белых в Йоганнесбурге, но ученики не могли попасть на этот концерт, и он только рассказал им об огромном университетском зале, о джазе, об африканских певцах и танцовщицах с такими же красными губами и прямыми волосами, как у белых женщин.

Отца Одри смущало лишь то, что мальчик отставал в росте и физическом развитии от своих сверстников. Поэтому Прайз обязан был ежедневно заниматься физкультурой; в школе не было настоящего гимнастического зала, но на дворе имелись кое-какие спортивные снаряды. Вся беда была в том, что у мальчика почти не оставалось свободного времени. При всех его исключительных способностях, Прайзу было очень трудно к шестнадцати годам подготовиться к экзаменам — ему не хватало культурной основы. Его воспитатель брат Джордж считал, однако, что Прайз справится; все об этом мечтали, и на то была веская причина: отец Одри решил, что Прайз получит на открытом конкурсе стипендию, чего еще не добивался ни один африканец, и какой это будет триумф для мальчика, для школы, для всех африканских мальчиков, которых считали способными преодолеть лишь низшие ступени «туземного образования»! А что, если этот маленький нищий из Йоганнесбурга станет первым черным южноафриканским стипендиатом Родса³?

Разговаривая об этом с братом Джорджем, отец Одри шутовски укорял себя в «греховной гордыне». Но кто знает? В этом не было ничего невозможного. Разве только брат Джордж окажется прав и у мальчика не хватит физических сил. «За те годы, что он голодал на улицах, его не накормишь!» — говорил брат Джордж.

С начала нового учебного года — Прайзу только что исполнилось пятнадцать — его натаскивали, загружали и заставляли заниматься так, как он еще никогда не занимался. Учителя оказывали ему всяческую помощь, его поддерживали и подталкивали со всех сторон, так что ему некогда было поднять глаза от страниц учебников. Чтобы поощрить его, отец Одри возил его по разным школьным конкурсам, в общем-то предназначенным только для белых учеников

³ Стипендиат Родса — обладатель стипендии имени Сесилия Родса в Оксфорде. (Прим. перев.)

англиканских школ,— на соревнования по декламации, на диспуты. Прайз сидел на эстрадах в сверкающих залах больших школ для белых и легко отвечал на вопросы на своем английском языке с туземным акцентом, с тем самым акцентом, который белые ученики привыкли слышать лишь в речи слуг и разносчиков.

Брат Джордж часто спрашивал, не устает ли он. Но Прайз не чувствовал усталости. Он только хотел, чтобы его не отрывали от книг. Его одноклассники, видимо, поняли это: они больше не звали его играть в карты и даже в уборной, куда собирались тайком покурить, передавали ему окурки, не говоря ни слова. Особенно он не любил, когда отец Одри приходил к нему со стаканом горячего молока. Ему хотелось посидеть одному в кабинете, положив щеку на страницы книг, вот так посидеть немного, и все. Влажный тяжелый запах книг — больше ему ничего не было нужно. Когда-то ему приходилось заставлять себя вновь и вновь перечитывать непонятные страницы, пока туман не рассеивался и смысл прочитанного не доходил до него; теперь же он с трудом отрывался от ученой премудрости и лишь против воли возвращался в реальный мир, в котором постепенно переставал что-либо понимать. Порой он подолгу не мог заниматься только потому, что со страхом думал: вот сейчас опять придет отец Одри со стаканом молока! Но когда он приходил, оказывалось, что это не так уж страшно. Однако Прайз не мог смотреть ему в лицо. Один или два раза после его ухода у Прайза на глазах выступали скупые слезы. Он плакал и молился, смеялся и дрожал всем телом и стыдливо утирал влагу, капавшую с носа на страницы книг.

Однажды после обеда отец Одри, у которого были гости, зашел в кабинет и сказал:

— Пойди подыши свежим воздухом, поиграй часок-другой с ребятами в футбол!

Но как раз в это время Прайз корпел над теоремами по геометрии из прошлогодних билетов, которые, к вящему удивлению брата Джорджа, оказались Прайзу не по силам.

Отец Одри сообразил, о чем думал брат Джордж. А думал он вот что: может быть, Прайз один из тех африканских вундеркиндов — а таких он видел немало, хотя и не столь способных, — которые из-за недостатка общего культурного развития не могут решить простейшей задачи, если она изложена чуть-чуть иначе, чем в учебниках? В данном случае это было, разумеется, абсурдом. Все хотели мальчику только добра. С самого начала он доказал, что у него живой, творческий ум, а не машина памяти, действующая по принципу условных рефлексов. Поэтому отец Одри сказал:

— Пойди-ка прогуляйся. У тебя все получится, а пока побегай немного с мячом!

Но лицо мальчика выражало отчаяние и одновременно упрямство.

— Я должен решить эти теоремы! — повторял он, прижимая ладонями страницы учебника.

— Ну хорошо. Давай попробуем разобраться вместе.

Черная сутана прошелестела над сверкающими ботинками, и мальчика обдало запахом сигар. Прайз уставился на черные бусины четок; кожаный ремень, к которому они были подвешены, заскрипел, когда массивное тело миссионера опустилось в кресло. Отец Одри сел напротив мальчика и повернул учебник к себе. Он взъерошил густые брови, так что они встали торчком, провел ладонью по длинному носу, закрыл глаза, и челюсть его отвалилась в привычной гримасе сосредоточенности. Прайз содрогнулся от отвращения.

Отец Одри разъяснял теорему неторопливо, на безупречном английском языке.

— Теперь ты понимаешь, Прайз? — спросил он. — Ты слышишь?

Но голос его долетал до мальчика, как доходит до земли свет давно погасшей звезды, — он словно вдруг ослеп и оглох.

Отец Одри вскинул руки — в недоумении или в отчаянии... Но мальчик отскочил, словно спасаясь от удара.

— Нет, нет, сэр, пожалуйста!..

У него была самая настоящая истерика: он никогда не называл своего наставника иначе как «отец Одри». Это было страшно: внезапный регресс, пробуждение родовой памяти, всех символов подсознательного. Он заговорил, как заговорили бы его гонимые предки. Отец Одри вскочил, но тут же с ужасом понял, что если он побежит за мальчиком, то станет его преследователем, — и он позволил ему в паническом страхе покинуть комнату.

Чтобы успокоить мальчика, к нему послали брата Джорджа. Через полчаса Прайз уже бегал, хохоча, по футбольному полю. Но отцу Одри понадобилось несколько дней, чтобы переварить это происшествие.

Он все время думал о том, как он чуть не бросился за мальчиком, когда тот убегал от него. Эти дикие инстинкты были ему отвратительны, инстинкты лисы или одичавшей собаки, преследующих кролика или цыпленка, в сущности таких невинных зверушек! До сих пор его лично никто не боялся. А о тех, кого боялись и от кого отворачивались, он старался не думать; к этим ненавистным и презираемым охотникам на людей отец Одри питал глубокое отвращение. Он даже подумал, не уйти ли ему на какое-то время — о, ненадолго! — в отпуск, но у него было столько дел, столько обязательств!

В конечном счете, с мальчиком, по-видимому, ничего не случилось. На следующий день он, похоже, ни о чем не вспоминал; ну, и тем лучше. Мальчик был спокоен, успокоился и отец Одри.

Но все же где-то внутри осталась тревога, и отец Одри изложил ее в письме к мисс Грэхем-Григг. Разумеется, ему было не очень приятно писать, что визит мисс Грэхем-Григг весьма желателен и что то напряжение, которое испытывает мальчик, было бы меньше, если бы она приехала поговорила с ним, и так далее. Но она была в это время в Англии — какие-то семейные неурядицы задержали ее, — а потому не могла увидеть своего протеже раньше чем через год.

Последние дни Прайз занимался особенно усердно. Брат Джордж и отец Одри не спускали с него глаз. Прайз делал замечательные успехи и был безмерно горд и счастлив, когда отец Одри подарил ему новенькую черную авторучку — чтобы писать ею на выпускных экзаменах. В понедельник отец Одри все утро совещался со своим епископом и смог заглянуть в кабинет лишь после обеда: в это время Прайз обычно сидел там за специально для него поставленным столом. Но сегодня в кабинете никого не оказалось. Книги лежали на столе. Солнечный луч падал на пустующее сиденье кресла. А Прайза не было. Его нигде не смогли найти, хотя обыскали всю школу. О беглеце сообщили в полицию, учеников допросили с пристрастием, каждое утро и вечер все молились о его возвращении. Прайз не взял с собой ничего, кроме новенькой авторучки.

Когда все поиски оказались безрезультатными, о беглеце забыли: никто не упоминал даже его имени. Тем не менее отец Одри частным образом продолжал розыски. Время от времени у него возникала очередная идея, пробуждавшая радужные надежды. Он писал Аделаиде Грэхем-Григг: «...Одно меня беспокоит: мне кажется, что мальчик был на грани нервного истощения. Я ищу его повсюду...»

А что, если мальчик вернулся в протекторат? Мисс Грэхем-Григг стала к тому времени доверенным секретарем вождя, однако в ответном письме она обещала заняться этим делом, несмотря на всю занятость, разумеется, если мальчик объявится в деревне.

Наконец отец Одри вспомнил даже о «родне» мальчика, о тех людях, у которых его нашла мисс Грэхем-Григг, когда он был маленьким побирушкой. Они успели переселиться в другое предместье, и отыскать их удалось не сразу. Все же отец Одри добрался до лачуги № 28-б в квартале «Е» соответствующей племенной группы. Он привык к посещениям африканских лачуг, поэтому сразу и без обиняков объяснил старой негритянке цель своего прихода — иначе все его расспросы остались бы без ответа. В таких лачугах нет внутренних дверей, и, когда отец Одри сел на табурет, молодая женщина, одевшаяся в соседней комнате, подалась в сторону, чтобы он ее не увидел. Однако она ясно слышала все, о чем говорил отец Одри со старухой, и наконец сама вышла к ним, видимо

заинтересованная их разговором. Отец Одри умолк, только старуха продолжала повторять:

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

С видом преувеличенного сожаления она трясла головой: ай-яй-яй! Нет, они не видели мальчика. А ведь он рассказывал, что ему так славно живется!.. И в школе все было так славно!.. Нет, они ничего не знают о мальчике. Ничегошеньки... Ай-яй-яй!

И тут молодая женщина лениво заметила:

— А может, он спутался с городскими парнями, что ночуют в старых автомобилях? Знаешь, там, на пустыре, за пивнушкой?..

Климат мягкий, жители приветливы и дружелюбны

Все восемь часов в застекленной конторе автостанции мне приходится сидеть в розово-лиловом халате — жуткую форму придумала компания для женщин, словно мы госпитальные сестры! Мне сорок девять, но я могла бы сойти за двадцатипятилетнюю, если бы не лицо и ноги. Кожа на лице у меня поблекла, а ноги все в синих прожилках, как сыр «рокфор». Раньше волосы мои были как дыплячий пух, но теперь стали жесткими и посеклись — я слишком часто красилась и завивалась. Никому бы я в этом не призналась, но какой смысл лгать самой себе. Может быть, я куплю парик — теперь это в моде. Теперь уже не обязательно быть лысой, чтобы носить парик.

Вот уже много лет я работаю в этом гараже, или на этой станции обслуживания автомашин, как ее стали называть, когда сделали новую пристройку. Сплошное стекло и сталь, но это только с фасада, напротив бензоколонок, а в мастерскую по-прежнему не войдешь, не вымазавшись в масле. Но мне в мастерской почти не приходится бывать. Разделавшись с квитанциями и счетами, я выхожу обычно из своей стеклянной клетки, закуриваю сигарету и приглядываю за рабочими. Конечно, не за слесарями — в мастерской работают одни белые, и почти все желторотые юнцы, — а за неграми, заправщиками бензоколонок. Один из них проработал здесь двадцать три года и, ей-богу, ведет себя так, словно он хозяин фирмы! В общем-то, неплохие ребята эти туземцы, хотя время от времени попадают эдакие толсторожие ублюдки или, того хуже, мошенники, но у нас они долго не задерживаются.

Наша автостанция расположена близ пригородного торгового центра Гринслива, где есть даже ресторан с террасой и фонтаном, и клиенты у нас бывают самые приличные. С некоторыми владельцами шикарных особняков по соседству я прямо-таки подружилась: они всегда останавливаются перекинуться со мной словечком, когда прогуливают собак или идут за покупками. И уж конечно, я знакома со многими постоянными клиентами, которые берут у нас бензин. Два «роллс-ройса» и дюжина спортивных машин ездят только к нам и никуда больше. И мне здесь удобно: стоит спуститься на один квартал — и тут тебе парикмахерская Клод, если хочешь сделать прическу, и аптека мистера Левина, когда понадобится купить что-нибудь от простуды.

У меня своя квартира в одном из старых домов. Не очень роскошная, но всего за десять фунтов в месяц, да еще прямо напротив автобусной остановки... Когда-то у меня были муж и прелестная дочка — она выскочила замуж семнадцати лет, отговорить ее было невозможно, и теперь живет в Родезии. Она очень счастлива, и у нее сынишки-близнецы, настоящие разбойники! Я их один раз видела.

Есть у меня знакомая, с которой я хожу по пятницам в кино, а по воскресеньям меня всегда приглашают на ленч супруги Версфильд. Бедные старики, они так ко мне привязаны: к ним никто больше не ходит. Вся беда в том, что, когда сидишь в конторе одна, вот как я, у себя на работе трудно завести друзей. И поговорить-то не с кем, кроме желторотиков из мастерской, но что у меня может быть общего с этими пижонами в черных кожаных куртках? Вы бы послушали, как они выражаются — ни малейшего уважения! Да я скорей заговорю с черномазым, честное слово, хотя вам это, конечно, покажется странным. Но по крайней мере, негры называют тебя «миссус». Даже старик Мадала знает, что, входя в контору, надо снять фуражку, хотя, с другой стороны, боже вас упаси попросить его сбежать в греческую лавочку за сигаретами или в швейцарскую кондитерскую за пирожным. Однажды я из-за этого с ним поцапалась, с этой старой обезьяной, но управляющий не захотел его уволить: он, видите ли, здесь работает столько времени!.. Так что теперь Мадала просто старается не попадаться мне на глаза. Но каждое рождество я даю ему полкроны, как и другим заправщикам, полкроны. Однако самый толковый из них — это главный заправщик Джек; он толковее многих белых; поверьте, и порой даже может вас рассмешить, конечно, по-своему: ведь они словно дети, и смешно смотреть, как они веселятся, словно с цепи сорвались, черномазые дьяволы, хотя я не думаю, чтобы это было так уж забавно, если бы мы понимали, о чем они говорят. Джеку без конца трезвонили по телефону — я пожаловалась управляющему, и теперь он положил этому конец, — причем туземцы все время спрашивали либо Мпанзу, либо Макивану, и я не понимала, кого они просят. А когда я отвечала, что таких у нас на станции нет, они наконец решались позвать Джека. Однажды я спросила его:

— Зачем вам, неграм, сто десять имен? Почему твои дядюшки, и тетушки, и сводные братья не называют сразу твое настоящее имя и заставляют меня зря терять время?

Он ответил:

— Здесь я Джек, потому что здесь Мпанза Макивана не имя, а там я Мпанза Макивана, потому что там Джек не имя, но только я один знаю, кто я такой, где бы я ни был.

Я не могла удержаться от смеха. Он почти никогда не называет меня «миссус», однако нахалом его не назовешь, разговаривает он со мной вежливо. В ту пору, когда им еще не разрешали покупать спиртное, он обычно просил меня раз в неделю достать ему бутылку виски, и я не видела в этом ничего предосудительного.

Даже когда дела идут не блестяще, нет смысла ворчать и жаловаться. Я не думаю, что состарюсь раньше срока. До сих пор время от времени какой-нибудь клиент начинает за мной ухаживать. Каждый раз, приезжая на заправку, он находит повод заговорить со мной, и если этот парень мне нравится, я чувствую себя семнадцатилетней; даже когда он просто сидит в машине и смотрит на меня сквозь стеклянную стену конторы, я знаю: он ждет, чтобы я к нему вышла. А потом он пригласит меня однажды в гостиницу выпить после работы. Дальше этого дело обычно не заходит. Я не знаю, куда деваются эти ухажеры, наверное, они все женаты, хотя у их жен вряд ли такая талия, как у меня. Им нравится время от времени поболтать с новой женщиной, но на большее они не отваживаются. Все они бизнесмены и почтенные люди; один даже прислал мне подарок, но это оказалась старомодная пудреница для рисовой пудры, их называли ракушками, а я давно уже пользуюсь только прессованной пудрой — теперь это модно.

Конечно, встречаются и странные типы, а я, как уже говорила, почти все время сижу за стеклянной стеной одна: управляющий заведует основной автостанцией в городе, все белые работают в мастерской позади конторы, и здесь со мной только негры-заправщики у бензоколонок. Не так давно ко мне в контору зашел какой-то мужчина, он хотел расплатиться за бензин родезийскими деньгами. Дело было так: сначала ко мне явился Джек, главный заправщик, и сказал, что этот парень дал ему родезийские бумажки. Я послала его сказать, что мы таких денег не принимаем. Посмотрев сквозь стекло, я увидела большой американский

лимузин, шикарный, но уже не новый, а рядом с ним — хозяина, одного из тех, кто вечно разъезжает по разным городам. Некоторые клиенты приходят в ярость, если туземец им в чем-нибудь отказывает, но этот был спокоен — он только приказал Джеку проводить его в контору.

— Босс сказал, что хочет поговорить с вами, — доложил Джек и повернулся, чтобы уйти.

Но я приказала ему остаться. Я знаю Иоганнесбург: выручка-то лежала у меня в открытом сейфе! Этот парень был молод. У него был очень темный загар, какой бывает, когда жарись на солнце изо дня в день. Как у спасателей на пляже. А волосы густые, светлые, с медным отливом — и зачем только мужчине такая роскошь?

— Мисс, — сказал он, — не можете ли вы меня выручить на полчаса?

Что ж, прическа у меня была в порядке, это правда, но я не дурочка и знаю, что назвать меня «мисс» можно, только если взглянуть на меня сзади, со спины.

— Я только приехал и не успел обменять деньги, — продолжал он. — Возьмите эти, пока я найду тут моего приятеля и попрошу его оплатить мой чек.

Я сказала ему, что рядом есть банк, однако он пробормотал что-то невразумительное: мол, стоит ли ходить в банк ради такой мелочи.

— Так или иначе, я должен заставить приятеля оплатить мой чек. Вот я оставляю вам залог — это золото... — И он снял с руки большие модные часы. — Пожалуйста, возьмите!

Почему-то улыбка его не молодила: губы раздвигались в улыбке, но лицо становилось суровее, жестче. И я почему-то вдруг согласилась, и негр-заправщик повернулся и вышел из конторы, но я знала, что моей выручке ничто не угрожает, и когда этот парень спросил меня, как ему быстрее доехать до Кенсингтона, я встала из-за стола и вместе с ним подошла к дорожной настенной карте. Я подумала, что ему лет двадцать пять — тридцать, этому парню в чистой белой рубашке с распахнутым воротом; перетянутый поясом из змеиной кожи, он казался таким худым!

Он вернулся точно в назначенный срок. Я приняла у него деньги за бензин и сказала, придвинув к нему часы по столу:

— Вот ваш залог!

Еще когда он уходил и когда я прятала часы в сейф, я видела, что это не золото, а одна из тех японских поделок, которые пытаются вам всучить на улице. Но я ничего ему не сказала: может быть, его самого надули? Мне не хотелось его разочаровывать. Да и какое это имело значение? Ведь он заплатил за бензин!

Он поблагодарил меня и сказал, что, пожалуй, поедет поищет гостиницу. Я спросила, как обычно спрашивают в таких случаях, надолго ли он, наверно, по делам и так далее, и он ответил: да, по делам, может, недели на две, все зависит от обстоятельств, а поселиться ему лучше бы где-нибудь в центре. Мы поболтали всего минутку, знаете, как это бывает, — всегда чувствуешь расположение к человеку, которому чем-то помог и все обошлось хорошо, — и я назвала ему две-три гостиницы. Но когда не знаешь, что именно нужно человеку, советовать трудно: пошлешь его в отель, а он ему не по карману, или предложишь какую-нибудь скромную гостиницу вроде той, что в Новом Парке поблизости от меня, а она ему покажется грязной дырой.

Несколько дней спустя я пошла в обеденный перерыв за покупками, а когда вернулась, негры-заправщики все еще жевали сэндвичи на солнышке, и Джек мне сказал:

— Этот человек опять приезжал.

Как будто я знала, о ком он говорит! С ними всегда так.

— Что за человек? — спросила я.

— Тот самый, что в прошлый раз, с плохими деньгами.

— О, этот родезиец? — протянула я.

Но Джек не ответил и продолжал отламывать от начатой булки куски и отправлять их себе в рот. Тут один из негров принялся рассказывать на своем

языке, вставляя отдельные английские слова, какую-то историю, насколько я поняла, про другого человека, который тоже пытался заплатить за бензин нехорошими деньгами, однако Джек не обращал на него внимания: должно быть, слышал это уже не раз.

Я заглянула в контору, взяла сигареты и вышла покурить, и тут Джек подошел к крану напиться. Я слышала, как он пил воду из ладони, а потом сказал:

— Он подошел к окну и посмотрел сквозь стекло.

— Он заправлялся? — спросила я.

— Сначала подъехал к колонке, но бензина не взял, сказал, что придет позднее.

— Ну и что? — сказала я. — О чем ты беспокоишься? Мы продаем людям столько бензину, сколько им хочется.

Но мне стало не по себе, не знаю почему, словно я залила кому-то бензин за счет автостанции или бог знает что сделала.

— На таких шинах из Родезии не доедешь, — сказал Джек.

— В самом деле? — оживилась я.

— Вы видели его шины?

— Какое мне дело до всяких шин!

— Да нет, конечно, но посмотрите на шины его драндулета. На таких шинах не проедешь шестьсот с лишним миль, ни за что. Совсем истертые, до самого корда!

— Кому какое дело, откуда он приехал? — сказала я. — Это его личное дело.

— А откуда у него эти деньги?

Он пожал плечами, и я пожалала плечами и вернулась в контору. Как я уже говорила, иной раз начинаешь вдруг рассуждать с негром-заправщиком, словно он белый человек.

Тот парень вернулся к вечеру, часов около пяти. Не знаю, как это вышло, но я посмотрела сквозь стекло как раз вовремя, словно почувствовала, что он уже здесь. На сей раз он залил бензин и расплатился; может быть, во мне заговорило любопытство, только я встала из-за стола, подошла к двери и спросила с порога, как ему нравится в Иоганнесбурге.

— А, черт, не везет мне, — ответил он. — Номер в гостинице дали только до сегодняшнего вечера: он был заказан заранее. Хотел пожить у приятеля, а к тому приехал шурин. Я готов платить сколько надо за приличную комнату, но вы бы видели, что они предлагают!.. Может, вы мне что посоветуете?

— Ну что ж, — сказала я, — прошлый раз я вам говорила...

Я назвала ему отель «Виктория», однако он сказал, что уже пытался туда устроиться; тогда я вспомнила о гостинице в Новом Парке, рядом со мной. Он слушал, но все время смотрел по сторонам, словно думал о чем-то другом.

— Они скажут, что у них все переполнено, и опять я останусь ни с чем, — наконец сказал он.

Я ему объяснила, что миссис Дуглас, хозяйка гостиницы, очень милая дама и наверняка его как-нибудь устроит.

— А вы не можете ее попросить? — спросил он.

— Ну что ж, хорошо, — согласилась я. — Гостиница рядом с моим домом, сразу за углом. По дороге с работы я зайду к ней и поговорю.

Услышав это, он предложил подбросить меня на своей машине, и так вышло, что я сама привезла его к миссис Дуглас, и та дала ему комнату. Когда мы вышли вместе из гостиницы, он, казалось, снова целиком отдался своим заботам, однако уже на улице вдруг предложил где-нибудь выпить. Я думала, он хочет вернуться в бар, но он сказал:

— У меня в машине бутылка джина.

И мы зашли ко мне.

Он рассказывал о том, как несколько лет назад сражался в Конго за какого-то туземного царька (как там его звали — Чомбе?), а потом дрался против ирландцев, которые были присланы, чтобы свергнуть уж не помню какого вождя. Чего только он не повидал в Элизабетвиле! Ему платили столько, что он мог

жить как король. Мы выпили всего по две рюмки джина, но когда я предложила ему забрать бутылку, он сказал:

— Я еще зайду с вами выпить, если удастся.

Больше он ничего не прибавил, но я подумала, что он приехал в Йоганнесбург искать работу.

На другой день вечером я обжаривала на сковородке печенку, когда он постучался в дверь. Джин все еще стоял на прежнем месте. Всегда чувствуешь себя неловко, если квартира полна запахом жареного и любой понимает, что ты собираешься сесть за стол. Я подала ему бутылку, но он не взял ее; он сказал, что едет в Веринингинг повидать кое-кого и только выпьет рюмку. Мне пришлось пригласить его поужинать. Он был одним из тех, кто не замечает, что он ест. И он не замечал ничего вокруг, я хочу сказать, он совсем не обращал внимания на мою комнату или обстановку, хотя это так естественно, когда приходишь к кому-нибудь в гости. А у меня на стене над электрическим камином висела такая чудесная фотокарточка моей девочки! За ужином я спросила его:

— Вы, наверное, приехали искать работу?

Он улыбнулся, как подростки улыбаются взрослым, которые все равно ничего не поймут, и ответил:

— Я приехал по делам.

Но было сразу видно, что он не из тех, кто носит строгие костюмы и сидит за столом в своей конторе. Он был похож на киногероя, знаете, такого типичного чужака в чужом городе, у которого нигде нет дома. Такого поджарого, обожженного солнцем, словно кирпич, и молчаливого. Я не хочу сказать, что он все время молчал, но он никогда не рассказывал о себе. И обо мне он тоже никогда не расспрашивал. Это было как-то непонятно, из-за этого мне казалось, что мы знаем друг друга давным-давно и нам больше нечего рассказать о себе друг другу.

И еще одна странность: всякий раз, как он приходил ко мне и уходил, я заговаривала о нем с негром-заправщиком, с Джеком. В принципе я против того, чтобы говорить с туземцами о белых, потому что, как бы ни был плох белый, осуждать его перед черными — значит, подрывать свой собственный престиж. Я, например, и слова не сказала бы неграм об этой шайке желторотых из мастерской. И уж конечно, я не стала бы говорить с туземцем о своей личной жизни. Джек не знал, что тот парень ходит ко мне домой, но он слышал, как я обещала устроить его в гостиницу в Новом Парке, и видел, что тот увез меня на своей машине. Замечание Джека насчет его шин сразу припомнилось мне, и я сказала:

— Этот человек приехал прямо из Конго.

— В его-то драндулете? — усомнился Джек, и лицо у него стало необычайно серьезным для туземца.

— Машина у него в порядке, — сказала я. — Он до сих пор на ней ездит.

— Почему же он не пригонит ее для техобслуживания?

Я сказала, что он сейчас в отпуске и не хочет этим заниматься.

Тот парень не появлялся дней пять-шесть, и я уже подумала, что он уехал или нашел себе друзей, как обычно бывает в нашем городе. В бутылке еще оставалось немного джина. Одна я никогда не пью. И вдруг он подъехал к автостанции, как раз когда я кончала работу. Мне давно хотелось самой взглянуть на его шины, но я снова забыла. Он отвез меня домой, словно мы об этом договорились, знаете, как взрослый сын отвозит свою мать, не потому, что ему этого хочется, а потому, что должен это делать. В машине мы почти ни о чем не говорили. Я вышла купить паштету, что, конечно, мало подходило для званого обеда, но, как я уже говорила, он не замечал того, что ест, и отказался от джина: в машине у него было несколько банок пива. Он откинулся всей тяжестью тела на спинку стула и сказал:

— Мне, наверное, лучше смыться из этой паршивой дыры; не знаю, как вы здесьживаетесь с этими акулами!

— Вы, юнцы, слишком быстро отчаиваетесь, — возразила я. — Вы еще не нашли себе работу?

— Работу? — фыркнул он. — Они должны мне деньги, и я стараюсь выбить из них!

— Что все это значит? — спросила я. — Какие деньги?

Он не изволил даже ответить, словно я все равно не смогла бы понять.

— Грязные сволочи и жулье! Я торчу здесь без толку вот уже третью неделю...

Я сказала ему, что все приезжие считают Иоганнесбург адом.

Он сидел, откинув голову назад, глядя в потолок, но тут выпрямился и посмотрел мне в глаза.

— Я не такой уж юнец, — проговорил он.

— В самом деле? — сказала я, ощущая какую-то неловкость, потому что раньше он никогда не говорил о себе.

Он пристально смотрел на меня, словно пытаюсь прочесть по моему лицу, сколько же ему на самом деле лет.

— Мне тридцать семь, — сказал он. — А ты думала сколько? Тридцать семь. Ненамного я тебя моложе.

Мне сорок девять. И правда, ненамного. Но он выглядел так молодо: в распахнутой рубашке, с загорелой шеей, светлые волосы гладко зачесаны назад, словно он только что вышел из-под душа. Знаете, худощавые мужчины стареют медленно. К тому же у него были вставные зубы, поэтому его улыбка и казалась такой жесткой. Думаю, ему могло быть тридцать семь лет, но не знаю, не знаю.

У него были шрамы на спине и еще на животе, и сердце мое облилось кровью, когда я увидела их, еще розовые и неровные, но он сказал, что шрамы на спине — это следы пребывания в детском интернате, а на животе — память о сражениях в Катанге.

Я знаю, что никто мне не поверит и все скажут, что я просто оправдываюсь, но в том-то и дело, что за ночь ничего не изменилось: к утру я знала о нем не больше, чем в первый день, когда он вошел в контору со своими родезийскими деньгами. За завтраком он сказал:

— Оставь мне ключ. Пока тебя нет, я мог бы воспользоваться квартирой.

— А как же с гостиницей? — спросила я.

— Я забрал свои вещи, — ответил он.

И что-то в его лице — может быть, выражение досады — заставило меня спросить:

— Ты предупредил миссис Дуглас?

— Теперь она уже предупреждена, — сказал он и вдруг улыбнулся, это было так неожиданно!

— Ты хочешь сказать, что удрал, не заплатив?

— Послушай, я же тебе объяснил, что никак не могу получить свои деньги у этих ублюдков...

Ну что мне еще оставалось делать? Я сама привела его к миссис Дуглас. Она дала ему комнату по моей рекомендации. Мне пришлось отправиться в Новый Парк и наболтать ей с три короба, что, мол, ему пришлось внезапно уехать, но он оставил мне деньги, чтобы я за него заплатила. Другого выхода не было. Разумеется, я ему об этом не рассказала.

Но я кое-что рассказала Джеку. Странно, не правда ли? Я сказала ему, что тот парень исчез, не заплатив за номер моей знакомой, хозяйке гостиницы. Заправщик прищелкнул языком, как это делают все негры, и расхохотался. А я сказала: вот, мол, что получается, когда желаешь людям добра.

— Да, — согласился он, — в Иоганнесбурге полно таких, но их легко распознать, даже если они ничего собой.

— Значит, ты думаешь, он красивый парень? — спросила я.

— А что, вы сами не видите? Красавчик!

Как я и опасалась, я застала этого парня у себя в квартире, когда пришла с работы. Я показала ему фотокарточку и объяснила, что это моя дочь, но он не обратил внимания, даже когда я сказала, что она живет в Родезии, в Лусаке, и спросила, не бывал ли он в тех местах. Я спросила, почему он не хочет вер-

нуться в Родезию и заняться своим делом, но он ответил, что в стране, которой управляют черномазые, он жить не желает. Он не хочет, чтобы его затирали туземцы. По его словам, от негров там не было проходу.

Немного попозже он вышел за сигаретами, и я вдруг подумала: а что, если я запру сейчас дверь и больше не впущу его в квартиру? Я так и решила сделать. Но когда я увидела его силуэт за матовым стеклом двери, я встала и отворила ему, и почувствовала себя последней дурой: чего я, собственно, испугалась? Он был такой чистенький, хорошенький мальчик; разве он виноват, что ему так не везет? Иногда я думала, что со мной будет — не сейчас, разумеется, а через несколько лет, когда я не смогу больше работать, и останусь одна, и никто не будет приходить ко мне в гости. Каждое воскресенье в газетах читаешь про одиноких женщин, которые умирают в своих квартирах, и никто о них не справляется по неделям.

Он курил не переставая ночью и днем, словно весь мир протух и он старался отогнать от себя вонь разложения. Он курил в постели, когда я просматривала статью о королевской семье в воскресной газете и вскользь заметила, что принцесса Маргарет еще ребенком была здесь в 1947 году. Он ответил, что, кажется, видел ее — это было в тот год, когда он поступил в интернат и их всех повели тогда смотреть процессию.

Из того немногого, что он рассказал о себе, я точно помнила, что его послали в интернат, когда ему было всего восемь лет. Я лежала в постели и высчитывала: если ему сейчас тридцать семь, то в 1947-м ему должно было быть двадцать лет, а никак не восемь.

Но мне трудно было поверить, что ему всего двадцать пять. От двадцатипятилетнего мальчика всегда можно отделаться. Он не смог бы внушить вам ужас, побоялся бы даже напугать вас, потому что у него не хватило бы пороха. А этот...

Я чувствовала бы себя спокойнее, если бы кто-нибудь все же знал про него и про меня, но, разумеется, я никому не могла признаться. Представляю себе лица Версфильдов! Или эту женщину, с которой я хожу в кино по пятницам: ведь она, наверное, ни с одним мужчиной после смерти мужа и чашки чаю не выпила! Я спросила у Джека, главного заправщика, сколько лет может быть тому парню с родезийскими деньгами, ну, тому, который сбежал из гостиницы.

— Он все еще здесь?

— Да нет же, просто мне интересно.

— Он еще молодой, этот парень, — сказал Джек, но я знаю, что туземцы по большей части сами не ведают, сколько им лет: для них это не имеет такого значения, как для нас.

Поэтому я спросила:

— Что, по-твоему, значит «молодой»?

Он мотнул головой в сторону мастерских:

— Ну, вроде наших механиков.

— Вроде этих сопляков?

Ну нет, он совсем не походил на наших желторотиков, которые все время боролись и задирали друг друга, приставали к девчонкам и неистово вопили в душевой, воображая себя битлами. Он ходил куда-то по делам — впрочем, ни одного из тех людей, с которыми у него были дела, я не видела. Если у него и были друзья, ни один из них у нас не появлялся. Если бы только вообще хоть кто-нибудь знал, что он живет у меня в квартире!

Но вот он сказал, что поставил машину на техобслуживание, потому что собирается в Дурбан. Он сказал, что уедет в следующую субботу. Мне сразу стало легче, и в то же время мне стало совестно, потому что я все время думала, как бы от него отделаться. Он обнял меня, улыбнулся открытой улыбкой и сказал:

— Прости, но если хочешь чего-то добиться, придется ездить, ты понимаешь?..

Да, я понимала, но не могла представить, как обойдусь без него, хотя больше всего боялась, что он останется. Да, он был со мной добр, не стану скрывать, он мог быть таким ласковым, когда хотел, что просто не верилось, что все это

только притворство. Я сказала ему, что надо пригнать машину на нашу автостанцию, тогда бы я проследила, чтобы все было сделано как следует.

— Нет, — сказал он, — один приятель сделает мне все бесплатно в своем собственном гараже.

Пришла суббота, но он не уехал. Машина была не готова. Так он сидел и ждал еще неделю, исчезая по ночам, но снова появляясь под утро. Я дала ему два фунта на карманные расходы и сказала:

— Что вы там колдуете с машиной где-то на задворках? Отгони ее в настоящий гараж!

И тогда — этого я никогда не забуду — совершенно спокойно, разве чуть досадливо он сказал мне:

— Забудь об этом. У меня больше нет машины.

— Что значит «нет», значит, ты ее продал? — спросила я, наверное, потому, что про себя давно уже думала: что же он не продаст машину, если ему нужны деньги?

И он ответил:

— Да, ты угадала, я ее продал.

Но я знала, что он лжет, что ему просто не хочется придумывать какие-то отговорки. Теперь, сказав, что автомашина продана, он стал уверять меня, что ждет денег; он вернул мне два фунта, однако день спустя занял столько же. Он отворачивался, когда я возвращалась домой, и не отвечал, если я с ним заговаривала, но однажды он повернул ко мне такое замкнутое, полусонное лицо, что я подумала: вот оно! — и почувствовала себя обреченной. У него было точно такое лицо и такие глаза, как у одного мужчины, когда тот топил в ведре с водой маленьких котят, одного за другим; и когда я поняла, что вот сейчас что-то случится, он вдруг расхохотался мне прямо в лицо. Это был единственный случай, когда он смеялся. И он хохотал до тех пор, пока я чуть не плача тоже не рассмеялась. И мы сделали вид, что все это было шуткой, и он был со мной так ласков, о, какой он в ту ночь был хороший и ласковый!

Целыми днями я, как всегда, сидела в своей застекленной конторе и смотрела на автомашины перед колонками, на дорожные карты на стенах, на пыльные листья пальмы в железной бочке из-под масла, и только то, что окружало меня здесь, казалось мне реальным. Я утешала себя мыслью, что того парня в моей квартире и не существует вовсе. А потом в пять часов мне приходилось ехать домой, и там все повторялось сначала.

Я спросила Джека, сколько может стоить «крейслер» выпуска 59-го года? Он пошевелил, вытирая руки ветошью, а потом сказал:

— С такими шинами никто ему много не даст.

Тогда, чтобы он не слишком-то вольничал в обращении с белыми, я велела ему послать кого-нибудь к мистеру Левину за порошками от головной боли. Я в шутку сказала, что устала не меньше старика Мадалы.

И знаете, что ответил мне этот негр-заправщик? Ей-богу, иногда у наших черномазых больше души, чем у некоторых белых. Он сказал:

— Когда мои дети вырастут, они будут меня содержать. Почему вы не живете в Родезии вместе с вашей дочерью? Дочь должна заботиться о своей матери. Зачем вам жить одной в этом городе?

Разумеется, я не стала объяснять ему, что ценю свою независимость и надеюсь умереть раньше, чем стану кому-нибудь обузой. Но в этот день я наконец сделала то, что давно должна была сделать. Я сказала Джеку:

— Если я не приду на работу, скажи механику — пусть пошлют кого-нибудь ко мне на квартиру.

И я записала ему свой адрес. А то неизвестно сколько дней пройдет, пока люди узнают, что со мной случилось, и это несправедливо.

Когда я вернулась домой в тот вечер, квартира была пуста. Он исчез. И никакой записки, ни одного словечка, ничего! Каждый раз, когда лифт, рокоча, поднимался на наш этаж, я думала: вот и он. Но он не приходил. В субботу вечером я не выдержала и побежала к Версфильдам: я спросила старую леди, не

могу ли я пожить у них несколько дней, потому что мою квартиру ремонтируют и от запаха краски меня выворачивает наизнанку. Я думала: если он явится на автостанцию, там всегда кругом люди, во всяком случае негры-заправщики. Теперь я курила почти столько же, сколько он, и не спала по ночам. Пришлось попросить мистера Левина прописать мне что-нибудь. От малейшего шороха я просыпалась в холодном поту. Через неделю я вынуждена была вернуться в свою квартиру, но я сразу купила толстую цепочку на дверь и завесила матовое стекло плотной шторой, чтобы не видеть тени за ним. Возвращаясь с работы, я уже больше не выходила из дому, даже с моей знакомой в кино, — только бы не возвращаться к себе в темноте. Вы знаете, как бывает, если нервы не в порядке, — выдумываешь бог знает что: я, например, говорила себе, что, если я не приду на работу, Джек в то же утро пришлет кого-нибудь узнать, что со мною случилось, — хорошее утешение, не правда ли?

Но постепенно я начала обо всем этом забывать. Я сохранила цепочку и штору и сидела по вечерам дома, но даже к страшному привыкаешь, перестаешь о нем все время думать, хотя тебе и кажется, что ты об этом постоянно думаешь. Я не заходила в парикмахерскую Клод вот уже с полмесяца, прическа у меня была ужасная. Клод посоветовала сделать мягкий перманент, и так случилось, что из-за этого мне пришлось задержаться после обеда. Когда я вернулась в контору автостанции, главный заправщик Джек сказал мне:

— Он был здесь.

Я невольно испуганно оглянулась.

— Когда? — спросила я.

— Пока вы уходили.

У меня было такое чувство, что теперь я попалась. Я знала, он подойдет ко мне с этим замкнутым полусонным лицом, загорелый, как душка спасатель на пляже, прокаленный, словно один из тех бродяг, которые подышают с голоду, кормят вшей, глушат отвратительную сивуху и в то же время выглядят такими здоровыми, потому что им некуда укрыться от палящего солнца. Я не знаю, что этот негр подумал, глядя на мое лицо. Но он сказал:

— Я соврал ему, что вы уехали. Что вы здесь больше не работаете. Что вы уехали в Родезию к своей дочери. А куда — я не знаю.

И он снова уткнулся носом в одну из тех газетенки, которые всегда читает, когда на бензоколонке затишье; мне кажется, он воображает себя образованным человеком и очень любит читать о всяких черномазых из других стран, которые становятся премьер-министрами и тому подобное. Я всегда делала вид, что ничего не замечаю: если будешь обращать на такие вещи внимание, эти негры вообразят о себе бог знает что.

Тот парень больше ни разу меня не побеспокоил. Я никогда никому об этом не рассказывала — в том-то все и горе, что если сидишь целый день одна, то не с кем даже словом перекинуться. Теперь вы понимаете: одинокой женщине надо остерегаться, и не только потому, что по ночам небезопасно ходить по улицам из-за туземцев, — весь город кишит людьми, которым нельзя доверять.

Перевел с английского Ф. Мендельсон.



ПУБЛИЦИСТИКА

В. СМОЛЯНСКИЙ

★

СТРАТЕГИЯ АНТИКОММУНИЗМА

«Мы живем в условиях неутраченной идеологической войны, которую ведет против нашей страны, против мира социализма империалистическая пропаганда, используя самые изощренные приемы и мощные технические средства».

(Из Отчетного доклада ЦК КПСС XXIV съезду партии)

Кипы газет. Первые полосы пестрят заголовками: «Самый твердый сплав эпохи», «Демонстрация единства», «Новая философия пятилетки»... Форум советских коммунистов в Москве, на котором присутствовали и заявили о своей солидарности с КПСС представители сто одной коммунистических, социалистических и революционно-демократических партий, приковал к себе внимание всего мира.

Полосы зарубежных газет — живое свидетельство и той озабоченности, и волнений, которые вызвал в стане врагов съезд партии коммунистов. Нет сомнения, что идеологи антикоммунизма, прекрасно понимая, что съезд ознаменовал собой новый прогресс сплоченности международного коммунистического движения, предпримут очередное наступление на единство государственно организованного отряда международного коммунистического и рабочего движения стран социализма.

Как сказал в своем выступлении на XXIV съезде КПСС Первый секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии товарищ Тодор Живков, в истекшие годы мы были свидетелями всевозможных попыток такого рода. И вновь ясно выявились замыслы врагов коммунизма — «разрушить единство мирового социалистического содружества, подорвать социалистический строй в той или иной братской стране, противопоставить отдельные социалистические страны Советскому Союзу, отдельные коммунистические партии — Коммунистической партии Советского Союза».

В откликах на исторический форум западная пресса — от маститых обозревателей до заурядных «советологов» и «кремленологов» — пытается всякими неправдами столкнуть интернациональные интересы мирового социализма и национально-государственные интересы отдельных социалистических стран. Именно так поступила, например, японская «Санкэй симбун».

Идеологи антикоммунизма сознательно искажают тот факт, что единство социалистического строя — это динамический процесс. В ходе его на основе учета интернациональных интересов мирового социализма и национально-государственных интересов отдельных стран осуществляются совместные координируемые действия по упрочению международных позиций нового строя, дела мира и общественного прогресса. На каждом историческом этапе в зависимости от конкретных условий это единство обретает соответствующую форму, цели и проявляется в тех или иных акциях, лежащих в общем русле стратегических устремлений новой мировой общественной системы. Идеологи же антикоммунизма как раз и пытаются всячески умалить значение общих закономерностей социалистического развития, используя при этом те

или иные ревизионистские и оппортунистические идейки «национального коммунизма», выдавая их за «марксистские истины».

В докладе на XXIV съезде партии Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев подчеркнул, что мы не можем упускать из виду то, что не везде еще преодолены негативные явления: «По-прежнему актуальна борьба против правого и «левого» ревизионизма, против национализма. Именно на националистические тенденции, и в особенности на те из них, которые принимают форму антисоветизма, буржуазные идеологи, буржуазная пропаганда охотнее всего делают ныне ставку в борьбе против социализма и коммунистического движения. Они подталкивают оппортунистические элементы в компартиях к своего рода идеологической сделке. Они как бы говорят им: докажите, мол, что вы антисоветчики, а мы будем готовы провозгласить, что вы-то и есть подлинные «марксисты» и занимаете вполне «самостоятельные позиции».

Одна из важнейших целей идеологов и политиков империализма, как показали отклики в западной печати на XXIV съезд КПСС, это проповедь «дипломатии канатоходцев», призыв к созданию и развитию так называемых «нейтральных» социалистических стран, то есть поощрение таких националистических тенденций, которые означают в тех или иных случаях отказ от солидарных действий с другими государствами содружества.

Особенно настойчиво варьируются при этом рекомендации американских «экспертов» социалистическим странам «осуществить реформы, которые уменьшили бы партийный контроль в экономике и во всех других областях, включая вооруженные силы», чтобы «традиционные восточноевропейские нации всегда ориентировались на Запад, а не на Россию...».

В ход пускаются при этом модернизированные гаубицы теории конвергенции. Как и весь современный «духовный аппарат» стратегов антикоммунизма, теория сия, множество вариантов ее — свидетельство краха капиталистической системы, полнейшего бессилия перед победной поступью нового мира.

При этом хор антикоммунистических идеологов, как всегда, весьма разногласий. За последнее время в ряде органов печати капиталистических стран можно встретить утверждение, что «конвергентная волна на Западе спала», что «теория спонтанного схождения социализма и капитализма» отходит, мол, на задний план и не является больше авангардом идеологического наступления современного капитализма.

Самые активные барабанщики «синтеза» теперь открыто говорят: надежд на «спонтанное схождение» капиталистической и социалистической собственности на средства производства практически нет. За последние годы в значительной степени померкли надежды на буржуазное перерождение социалистических политических режимов в Восточной Европе. Так что остается только ставка на неизбежное якобы наступление рынка на план и последствия, с этим связанные. Но ведь это вовсе не значит, что конвергентная волна спала и сторонники ее сложили оружие. Речь идет об изыскании новых путей — «реальных шансов» на конвергентное поглощение социалистического общественного строя капитализмом.

МЕТАМОРФОЗА ТЕОРИИ КОНВЕРГЕНЦИИ

Вот статья в американском журнале «Тайм»: «Конвергенция — сомнительное сближение между Востоком и Западом». Здесь пределы западной «критики» этой теории очерчены вполне точно: «В том определенном смысле, что капиталистические общества неудержимо идут к более широкому государственному планированию и контролю и что социалистические общества должны допустить более широкую степень децентрализации, теория конвергенции верна. Вполне возможно, что Россия и США еще больше подойдут друг к другу в плане схожести экономических систем. Однако широкие, пожалуй, непримиримые различия все же останутся, особенно в области философских вопросов, чаяний и целей двух обществ».

Где же выход? Современные идеологи «синтеза» видят его в слиянии «демокра-

тического социализма» с «деэтактизированной экономикой», заимствуя этот постулат у правых социалистов и отдельных социологов-ревизионистов.

В прошлом году в связи с визитом канцлера ФРГ Вилли Брандта в Лондон орган западноберлинских социал-демократов газета «Дер телеграф» заявила: «Теория конвергенции является также совместной концепцией, которой придерживается как английская партия большинства, так и партия, которая дала Федеративной Республике канцлера». (Выходит, волна не спала!) И далее: «У Европы будут шансы только в том случае, если на Западе удастся преодолеть доктринерский капитализм, а на Востоке — доктринерский коммунизм». Таким путем терминология теории конвергенции заменяется более «доходчивой» пропагандой: никакого доктринерского капитализма, никакого доктринерского коммунизма.

«Изобличив» коммунизм словечком «доктринерский», теоретики антикоммунизма изобретают некий «недоктринерский капитализм» — эдакую фантазмагорию, исключаящую «погоню за личной выгодой», обеспечивающую всеобщую планомерность экономического развития, «совместимость общественных и личных интересов» и т. п.

Обычная игра в словечки, столь присущая буржуазным идеологам! Один из них, М. Дюверже, полагает, что сближение социалистической и капиталистической систем произойдет путем постепенного превращения капитализма в «демократический социализм», с одной стороны, и «демократизации» социалистических стран — с другой. А французский социолог Раймон Арон считает главным условием конвергенции экономическую и политическую трансформацию социалистических стран.

В чем же суть нынешней метаморфозы? Сначала вспомним основные посылы теории конвергенции. Вот как они были изложены еще на заре концепции «синтеза» в книге американского экономиста Уолтера Бакингема «Теоретические экономические системы. Сравнительный анализ», вышедшей в Нью-Йорке в 1958 году. Он писал тогда: «Один из главных выводов этого исследования состоит в том, что реальные действующие экономические системы становятся более сходными, чем различными». По словам У. Бакингема, слияние, схождение социализма и капитализма в одной точке произойдет практически на капиталистической основе, то есть на базе частной собственности на орудия и средства производства.

«Три из четырех основ капитализма... вероятно, будут перенесены из чистого капитализма и включены во вновь развивающуюся экономическую систему. Во-первых, частная собственность на капитальные сооружения и оборудование... Во-вторых, экономические стимулы и мотив прибыли... В-третьих, рыночная система повсюду утверждается в качестве главного механизма для контроля над распределением товаров и услуг».

Главная же цель концепций конвергенции в области политической выражена в ряде других творений американских и западноевропейских авторов, например в книге Э. Бжезинского и С. Хантингтона «Политическая власть: США — СССР», изданной в Нью-Йорке в 1964 году. Ее основные тезисы завершаются призывом снять с исторической арены марксистско-ленинские партии как руководящее начало социалистических государств. Читатели подводятся к выводу, что якобы в связи с решением ряда задач индустриализации (а она объявляется не естественным этапом, обусловленным потребностями развития страны, а средством «сохранения политической системы», перед которой партия-де, мол, выдвигает свои требования) партии перестают быть, по существу, ядром власти.

Так желаемое выдается за действительное. Роль коммунистических партий в механизме социалистических государств низводится до простых опосредствующих функций. И таким образом нащупываются пути для конвергенции социалистической демократии с так называемой западной — буржуазной.

В чем же метаморфоза? Не в том, конечно, что авторы этих теорий отказались от частной собственности как основы «смешанных» построений. Или — от покушений на руководящую роль партий коммунистов в новом обществе. Отнюдь нет. Противники социализма, во всяком случае их ведущие теоретики, — люди более или менее трезвые. И они вполне отдают себе отчет в том, что в нынешних условиях эти попытки нереальны. Поэтому такого рода тезисы не пользуются сейчас в пропаганде и ученых монографиях популярностью. Они действительно отошли «на задний план».

Акцент перенесен на то, как создать предпосылки для их осуществления. А отсюда главное внимание второму и третьему пунктам У. Бакингама. Но и не тут гвоздь метаморфозы. Это ведь слишком «лобовые», слишком откровенные буржуазные позиции.

Поэтому в идеологический бой противник вводит, так сказать, «приданные средства». Они-то и должны, по его замыслам, стать главным тараном. Получается как бы единое конвергентное войско, в котором выстроились в цельную колонну буржуазные, правосоциалистические и ревизионистские идеи под общим знаменем «синтеза».

Какие же это идеи? «Демократического социализма» и «деэтизации» социалистического общества. Первые дают как бы перспективную — на ряд лет — программу действий. А вторые в этой сложной комбинации выполняют, что ли, текущие — на ближайшие годы — функции. Значит, дальняя дорога к буржуазным идеалам конвергенции прокладывается сперва через ревизионистские попытки ослабить роль социалистического государства, коммунистической партии, всеми способами «разбудить» стихию рынка, а затем уже ввести в действие правосоциалистическую программу — «планирование насколько необходимо, конкуренция насколько возможно». При этом деятельность коммунистической партии ограничивается, а роль руководящей силы берут на себя другие партии-партнеры.

Что это? Эклектика? Конъюнктурное смешение различных направлений?

И да и нет. Да — потому что прямые буржуазные идеалы не тождественны, скажем, ревизионистским. Нет — потому что это вполне целостная по своей логике система идей. Она подчинена общим стратегическим целям монополистического капитала в его борьбе против социализма.

Этой подновленной системе свойственна все та же старая методология. Какая же? Прежде всего рассмотрение ряда проблем, присущих как социализму, так и капитализму. Что это за проблемы? Управление производством. Его регулирование. Развитие науки и техники. Урбанизация общественной жизни. Расширение коммуникаций. Межгосударственные взаимосвязи и взаимозависимости. И ряд других. Эти проблемы рождены ростом производительных сил, научно-технической революцией, обобществлением и интернационализацией процесса производства.

Перечисляя их, теоретики конвергенции сознательно обходят, разумеется, коренную противоположность социально-экономических и политических условий, в которых решаются эти проблемы при социализме и капитализме. Они заведомо выхолащивают, как говорят философы, качественную определенность различных общественных систем.

Нынешняя же метаморфоза теории конвергенции проявляется и в том, что она соединяет воедино троцкистский вариант «неоконченной революции» и социал-демократические идеи «демократического социализма». При этом центр анализа общественного развития переносится из области экономических отношений в сферу надстройки, исходные тезисы и выводы усиленно оснащаются морально-этическими принципами, постулаты строятся на базе старой оппортунистической догмы о надклассовом характере государства «чистой демократии».

А как это сочается с троцкистскими сентенциями, видно хотя бы на примере книги «Вопросы — ответы — вопросы», изданной в ФРГ в 1970 году, где социалистическая революция в странах «восточного блока» объявляется «незавершенной». По логике автора, революция не может долго стоять на полпути, она должна совершить «решающий второй шаг: к «демократическому социализму». Какому? Ну разумеется же, на гибридной с капитализмом основе.

Теоретики конвергенции сегодня пытаются использовать и такую точку зрения, согласно которой ныне в условиях капитализма возникают и развиваются уже более или менее зрелые элементы самих социалистических общественных отношений. Эти концепции вместе с «гуманным социализмом», лозунгом «деэтизации», ослабления роли социалистического государства используются в «новейших» теориях конвергенции.

Итак, по утверждению такого рода теоретиков, никакого идеологического наступления Запада на социалистические страны в настоящее время нет, как нет и

борьбы между капитализмом и социализмом, а есть лишь противоречия между «этатизмом» и «гегемонизмом», с одной стороны, и «передовыми социалистическими силами» во всех без исключения странах — с другой. Так фактически затушевывается классовая противоположность капиталистической и социалистической общественных систем, делаются попытки противопоставить одну социалистическую страну другим. Естественно, что такая концепция открывает немало удобств для империалистической пропаганды, которая усиленно поощряет переход от «доктринерского» к «недоктринерскому» марксизму, а по существу, ратует за отказ от принципов научного коммунизма.

В своем выступлении на XXIV съезде КПСС Генеральный секретарь Коммунистической партии Соединенных Штатов товарищ Гэс Холл сказал: нас продолжает удивлять то, что «пропагандистские залпы империалистов всегда сопровождаются эхом, раздающимся «слева». Не имеет никакого значения, является ли это эхо «слева», воспроизводящее то, что мы ежедневно слышим от Пентагона и ЦРУ, открытым поношением и бранью, исходящими из Пекина, который соперничает в антисоветской клевете с наиболее фашиствующими отрядами империализма и самой реакционной капиталистической прессой, или это эхо доносится со стороны тех, кто с неклассовых позиций разглагольствует о «господстве великих держав», о «военных блоках», о «сверхдержавах». Как бы это ни называлось, речь идет о своеобразной форме вымалывания крох со стола американского империализма, приукрашивания или замазывания его преступлений, о попытках приспособиться к нему или договориться с ним... Вопрос о том, как относиться к антикоммунизму и антисоветизму, — это кардинальный вопрос, имеющий классовый характер».

Ряд докладов, представленных в 1970 году подкомиссии по внешней экономической политике Объединенной экономической комиссии конгресса США под названием «Экономическое развитие стран Восточной Европы», прямо завершается призывами к отрыву европейских социалистических стран от Советского Союза и к объединению с Западной Европой. Авторы этого документа откровенно предлагают этим странам отказаться от «доминирующего положения» здесь коммунистических партий, «ослабить экономические связи с СССР». Это, по их мнению, «может привести к восстановлению традиционных связей этих стран со странами Центральной Европы, способствовать возвращению к «гуманистическим марксистским традициям доленинского Второго Интернационала».

Так официальный документ американского конгресса совершенно недвусмысленно раскрывает единение буржуазных, реформистских и ревизионистских идей в современной теории конвергенции. И понятно, почему режим «демократического социализма», политическая и экономическая структура которого во многом строится на оппортунистических «традициях доленинского Второго Интернационала», так органически вписывается в новейшую схему «спонтанного схождения».

Как показал опыт, в содержание такого режима поэтапно вкладываются сначала праворевизионистские, а затем правосоциалистические идеи. И как видим, и те и другие служат лишь промежуточной станцией на пути желаемого движения к конечным реставраторским целям.

Заключительным аккордом такого рода рассуждений в документах американского конгресса была попытка навязать социалистическим странам Европы «радикальные политические изменения, среди которых одним из главных должно быть расширение и укрепление связей с Западной Европой ради политической безопасности и экономической поддержки с ее стороны». И далее: «Необходима интеграция с мировым рынком, прямые капиталовложения со стороны Запада, чтобы оживить экономику стран Восточной Европы. А для этого надо завоевать политическую независимость».

Так за игрой с термином «политическая независимость» скрывается откровенный стратегический замысел: оторвать социалистические страны Европы от Советского Союза, с помощью экономических рычагов добиться изменения их социально-политической структуры, а затем интегрировать в единый с капиталистической Европой организм.

В этой связи невольно вспоминается выступление Первого секретаря Венгерской социалистической рабочей партии товарища Яноша Кадара на XXIV съезде КПСС. Говоря об искреннем стремлении социалистических стран к мирному сосуществованию с капиталистическими государствами, он сказал, что это одна сторона дела. «В то же время мы твердо исходим из того, что для нас политика не является торговой сделкой, предметом купли-продажи. В идейном и политическом отношениях мы, если пользоваться известной терминологией, «присоединившиеся». Всем известно, на чьей стороне мы находимся: мы идем в едином боевом строю с Советским Союзом, с государствами Варшавского договора, со странами Совета Экономической Взаимопомощи, с социалистическими странами, со всеми прогрессивными, антиимпериалистическими силами, и мы не свернем с этого общего пути и впредь».

Теперь на передний план идеологической борьбы теоретики конвергенции выдвигают те извращения, которые в документах ряда братских партий названы «деформациями». В трехступенчатой схеме «деформация — демократический социализм — конвергированный капитализм» ей отводится роль «ракеты-носителя» первой ступени. Здесь скрывается суть метаморфозы. Речь идет прежде всего о таких извращениях, которые подрывали и ослабляли бы руководящую роль коммунистической партии в социалистическом обществе.

Главная ставка теоретиков и политиков конвергенции, разумеется, делается на те или иные отступления от принципов социализма в отдельных странах, что, как известно, может привести к деформациям двоякого вида. Один из них связан, прежде всего, с отказом от руководящей роли коммунистической партии, с установкой на допущение конкурирующих партий-партнеров. Он предполагает и отход от плановых начал в государственной экономической политике. Такого рода деформация происходит при отступлении от марксистско-ленинской идеологии, от принципов научного коммунизма. Любую действительную и мнимую тенденцию в сторону подобной деформации теоретики конвергенции немедленно используют в качестве свидетельства якобы закономерно происходящего «сближения» обществ «западного» и «восточного» образца, а складывающуюся в подобных случаях ситуацию стремятся подчинить задачам открытой мобилизации антисоциалистических сил.

В Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии подчеркивается опасность правого ревизионизма, который под видом «улучшения» социализма стремится выхолостить революционную суть марксизма-ленинизма и расчищает путь для проникновения буржуазной идеологии. «Чехословацкие события, — сказал Л. И. Брежнев, — убедительно показали, насколько важно постоянно укреплять руководящую роль партии в социалистическом обществе, непрерывно совершенствовать формы и методы партийного руководства, проявлять творческий марксистско-ленинский подход к решению назревших проблем развития социализма».

Другой вид деформации связан с заменой руководящей роли партии военно-бюрократической диктатурой. Он сопровождается отказом от принципов материального стимулирования трудящихся, свертыванием товарно-денежных отношений, заменой демократического централизма бюрократическим, он неотделим от проповеди «уравниловского социализма» — словом, всего комплекса идей мелкобуржуазного социализма. Все это теоретики конвергенции используют для дискредитации нового общественного строя. Наглядный пример тому — идеология и практика маоизма.

Польские авторы С. Хелстовский и Э. Глувчик в своих статьях в «Жиче господарче» в период чехословацких событий констатировали, что можно указать, в общем, три направления действия антисоциалистических сил в общественно-экономической области. Акценты на них и составляют разные способы дискредитации и подрыва социализма. Какие же конкретно?

Сектантское направление, отрицающее необходимость каких-либо перемен, стремящееся к консервированию методов первого этапа индустриализации и выражающее неверие в возможности соревнования социализма с капитализмом.

Технократический ревизионизм. Он исходит из того, что в современном капитализме якобы произошли такие существенные изменения на фоне высокого уровня развития части капиталистических стран, что разница между противоположными общественными системами все более стирается, становится несущественной.

Это направление считает методы капиталистического государственного вмешательства настолько совершенными, совпадающими с планированием, что их следует попросту перенести в новые социально-экономические условия. А социалистическую демократию заменить властью менеджеров. Буржуазные же теористики должны занять место «устаревшего» марксизма.

Мещанско-ревизионистское направление. Оно выражает тоску по старому «доброму» капитализму, который столь «заманчиво» описан в буржуазных учебниках и в котором «самостоятельные предприятия и инициативные предприниматели конкурируют между собой». И — правда, в погоне за прибылью — волевым вынуждены наилучшим образом удовлетворять интересы суверенного потребителя.

Общей чертой всех этих направлений является атака на партию рабочего класса, социальная демагогия, оперирующая марксистской терминологией и категориями современной буржуазной социологии. В основе — стремление доказать кризис социалистической системы, единственный выход из которого — либо деформация, либо отступление назад.

Метаморфоза теории конвергенции заключается еще и в том, что ее главные провозвестники вдруг объявили себя сторонниками почти... демократического централизма, только подновленного, приправленного «добрыми нормами» буржуазной демократии. Без этого, мол, невозможно «эффективное развитие» социалистического общества. При этом они пытаются изыскать в опыте каждой социалистической страны все то, что ее действительно отличает от других социалистических стран, и прежде всего от Советского Союза. Эти отличия «доводятся» в монографических «трудах» и на международных симпозиумах до гиперболических степеней.

Развитие принципа демократического централизма, требующее продуманного разграничения функций централизованного и местного руководства, — сложный и противоречивый процесс. Успех здесь достигается путем изучения богатого, годами накопленного опыта.

Теоретики конвергенции пытаются выдать возникающие порой аномалии в осуществлении принципа демократического централизма за единственно естественное состояние диктатуры рабочего класса, а развитие социалистического демократизма изображают ими как движение к «смешанной системе». Более того. Интернационалистическая миссия Советского Союза, позволяющая братским европейским странам несколько по-иному решать ряд задач, связанных с высокой степенью централизма, клеветнически трактуется ими как «эксплуататорская», «империалистическая». На деле же узкий буржуазный горизонт просто не позволяет им видеть (или они не хотят видеть), что даже в рамках одной формы диктатуры рабочего класса возможно многообразие конкретных методов, средств, проявлений демократического централизма, а тем более — при многообразии форм социалистической организации общества.

Сочинители современной «музыки» конвергенции немало уделяют времени проблемам национализма. Возьмите хотя бы статьи западногерманского социолога Виктора Майера на тему «Национализм в Восточной Европе». Он ставит перед капиталистическими странами целый каскад стратегических вопросов и здесь же пытается дать свой ответ:

«...для западной политики исключительно важно и необходимо то, что наносит ущерб Советскому Союзу. Поскольку национализм в полной мере отвечает этому требованию, он остается эффективнейшим союзником Запада — как Европы, так и Америки, независимо от того, какие проблемы он может подбросить».

Так, современные «конвергенты» и «синтетика» ратуют за возвращение народов социалистических стран Европы в доброе старое лоно «общечеловеческого национализма». Тут-то им и видится желанная картина обострения экономических и политических отношений с Советским Союзом. Им уже рисуются перспективы идеологического конфликта, а затем распада военно-политического союза и экономического сотрудничества государств нового типа.

Но метаморфоза и здесь. Стратеги из лагеря крайне правых конвергентов приучаются, так сказать, к «интегральному исчислению» взамен прежней «арифметики»

поощрения национализма в Восточной Европе. Здесь подход, что называется, с размахом: раскол так раскол! «Мозговые тресты» американского антикоммунизма планируют ни больше ни меньше как «в целом отрыв Восточной Европы» от Советского Союза. А для этого в западных столицах разрабатываются такие программы «взаимной интеграции» социалистических стран, которая противостояла бы Советскому Союзу как «суверенная политическая и экономическая сила».

Вот почему, например, Збигнев Бжезинский — директор Института по проблемам коммунизма, близко связанный с государственным департаментом Соединенных Штатов, — заявляет: «Национализм в Восточной Европе превращается сейчас в консервативную силу... Я убежден, что бесполезно и вредно сосредоточивать усилия на национализме». А по Е. Лукашевскому, более тесные отношения с «Общим рынком» и вообще странами Запада будут, с одной стороны, противовесом связям социалистических стран с Советским Союзом, а с другой — заставят Восточную Европу принять на себя роль моста между СССР и Западом. Куда уж откровеннее!

Конечно же, ни З. Бжезинский, ни Е. Лукашевский отнюдь никак не против национализма вообще, особенно такого, который мог бы «подавить коммунизм как систему». В этом они целиком солидарны со своим лондонским коллегой Сетон-Уотсоном. Но они против такого национализма, который помешал бы им оторвать Восточную Европу от Советского Союза и конвергировать ее всю целиком с Западной Европой и Соединенными Штатами.

Отсюда и нынешняя азбука антикоммунистической стратегии: любым способом развивать такие связи и совершать такие долгосрочные экономические сделки между капиталистическими и социалистическими странами, которые разрывали бы их единение с Советским Союзом. А как «культурный» аккорд задумана широкая пропаганда через все каналы идеи «европеизма», который бы противостоял «советскому марксизму», советской культуре, марксистско-ленинской идеологии, а главное — идеям социалистического интернационализма.

XXIV съезд КПСС призвал осуществить коренной поворот к разрядке и миру на европейском континенте, обеспечить созыв и успех общеевропейского совещания. Подготовка его переносится в плоскость практической политики. Вместе с тем на съезде отмечалось, что попытки препятствовать разрядке в Европе не прекращаются. Идейным оружием борьбы теоретиков антикоммунизма против нее выступают новейшие варианты пресловутого европеизма.

В сущности, «европеизм» выплывает сейчас на поверхность как вариант теории конвергенции в сфере международных отношений. Он выполняет социальный заказ, проповедуя взаиморастворение стран Восточной и Западной Европы, «внеклассовое единство», «общность судеб» лишь по европейскому признаку. Что же касается социалистических стран Европы, то, спекулятивно опираясь на традиционные связи их народов с Западной Европой, теоретики империализма стремятся доказать примат «европеизма» в экономике, политике, культуре перед новым общественным строем, обходя молчанием социально-экономическую, политическую и идеологическую общность народов социалистических стран.

Ряд идеологов антикоммунизма предлагает добиться к середине 80-х годов создания на базе нынешних восточноевропейских социалистических стран элементов конфедерации, обеспечив субрегиональное сотрудничество без участия Советского Союза.

Построения на песке! Воля народов социалистических стран — в их стремлении жить в мире со всеми народами континента, развивать традиционные связи и добрососедские отношения, твердо и последовательно идти по избранному социалистическому пути.

ГАРРИ ШВАРЦ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ

С интересом обратился я к статье профессора Г. Шварца, опубликованной в «Нью-Йорк таймс» в номере от 10 января 1971 года. Со многими выступлениями этого автора, в частности по советской экономике, я не мог согласиться и свое отношение выражал в печати, в том числе зарубежной. Его метод анализа не пред-

ставляется мне объективным. Тем не менее я относился к нему в какой-то мере с уважением, поскольку в его статьях откровенно прямых искажений или грубых подтасовок фактов не замечал.

Каково же было мое удивление, когда в первых же строках статьи «Реформа в Восточном блоке» я прочел: «Циничный восточноевропейский лозунг «коммунизм лучше, чем работа», возможно, продлит свое существование в результате польских волнений».

Не будем сейчас касаться существа событий, происшедших в декабре прошлого года в Польше. Их объективная оценка дана в документах Польской объединенной рабочей партии. Здесь для нас важно другое: такого лозунга не было и нет в природе. Его нет ни в одном партийном документе коммунистов социалистических стран Европы, его не найдешь ни на одном плакате или транспаранте, его не услышишь из уст нормального рабочего или другого труженика.

Может быть, автор статьи почерпнул его из беседы с представителем околотературной богемы в какой-либо из этих стран? Может быть. Но тогда почему это — лозунг, да еще так глобально — «восточноевропейский»? Кем, когда и для кого он выдвинут? Словом, «Нью-Йорк таймс» поставила явно неразрешимую задачу: доказать не только правомерность, но и перспективность существования мнимого лозунга.

Мне рассказывали друзья, что, когда им приходилось встречаться с Г. Шварцем в Соединенных Штатах, он всячески отрещивался от «жестких формулировок», содержащихся в его прежних выступлениях: мол, это пишу не я, это «специалисты по первому абзацу». Допустим. И попробуем не быть скептиками. Может, и в самом деле не стоит обвинять солидное издание и известного обозревателя только потому, что кто-то подсказал сомнительный сюжет.

Однако дальше чувствуется рука самого автора. Территория первого абзаца оказалась уже давно исчерпанной. «Значительная часть Восточной Европы и Советского Союза,— вещает «Нью-Йорк таймс»,— в сущности, действует в условиях своего рода неофициального общественного договора, который все участники его понимают и соблюдают. Этот договор предусматривает, что каждому гарантирована работа и какой-то прожиточный минимум до тех пор, пока они появляются на работе и, по-видимому, прилагают какие-то усилия». И дальше: «Сделка, в соответствии с которой многие рабочие рады обменивать минимальные условия на минимальную, но надежную заработную плату».

Я не думаю, что Г. Шварц во второй половине XX века действительно пытается объяснить существо социалистического строя или организации того или иного общества методом только великого просветителя XVIII века Жан-Жака Руссо — автора классического «Общественного договора». Конечно же, Г. Шварц не Руссо: и время другое и задачи не те.

А вот право на труд, на гарантированную его оплату и твердый прожиточный минимум — это реальное великое социальное завоевание рабочего класса и всех трудящихся стран социализма. Завоевание, добытое в упорной и суровой классово-борьбе, в ходе социалистической революции. В Советском Союзе уже сорок лет нет безработицы. Это такое завоевание, перед которым каждый американский безработный (а их миллионы) снимет шляпу. Так что шутки в сторону!

А как же лентяи, спросит автор из «Нью-Йорк таймс»? Что же, как гласит русская пословица, в семье не без урода. Есть и у нас люди нерадивые, своекорыстные, настроенные обывательски, ставящие свои эгоистические интересы выше интересов общественных, стремящиеся поживиться за счет всенародного блага.

Здесь важно, однако, другое: социализм — гуманный общественный строй. Ему чужда палочная дисциплина труда, а свойственно сознательное отношение к труду. И у нас могут вызвать лишь иррическую улыбку выдаваемые Гарри Шварцем за норму такие случаи (а они как исключение из правила возможны), когда «некоторые рассматривают свое время на заводе как период отдыха». Видимо, очень уж беден арсенал аргументов американского профессора, если единичные случаи, которым место на страницах сатирического журнала, становятся предметом разговора, претендующего на серьезность.

Естественно, я не мог обойти молчанием статью Г. Шварца. Однако памятуя, что несколько лет назад «Нью-Йорк таймс» односторонне прекратила со мной полемику по вопросам советского экономического развития после двух выступлений на ее страницах, я, не надеясь на возможность открыто поспорить с Гарри Шварцем с той же самой трибуны, обратился с письмом в «Московские новости», выходящие на иностранных языках.

Мне пришлось доказать, что в рассуждениях Г. Шварца об «эгалитарных тенденциях» в связи с реформами в странах Восточной Европы концы с концами не сходятся. Такого рода тенденции действительно — и, кстати говоря, не в связи с реформами, а исходя из основ строя — имеют место, но только в одном принципиальном отношении: к средствам производства, в чем люди здесь действительно равны. Ибо никто не имеет права приобретать промышленные здания, машины, сырье, материалы и т. д., обладать собственностью на средства производства, чтобы использовать ее для эксплуатации наемного труда.

В этом смысле все находится в равных, «эгалитарных» условиях. И потому ни у кого не возникает надуманного «Нью-Йорк таймс» вопроса: почему один рабочий может получать большую заработную плату, чем другой?

Конечно, жизнь при этом не стоит на месте. Меняются условия производства, масштаб хозяйства, формы его ведения. Меняются способы и методы материального стимулирования за достижения лучших результатов. И иногда новое не сразу становится лучшим. Здесь возможны и отдельные просчеты и издержки.

В своем выступлении на XXIV съезде КПСС Первый секретарь Центрального Комитета Польской объединенной рабочей партии товарищ Эдвард Герек сказал: «Все, чего добился польский народ за послевоенное двадцатипятилетие, все, чем он по праву гордится, все, что дало ему веру в будущее, неразрывно связано с социализмом. Как вы знаете, товарищи, у нас в последнее время были трудности, которые мы преодолеваем благодаря поддержке нашего рабочего класса, глубоко связанного с социализмом, благодаря внутренней силе нашей партии, благодаря помощи всех наших друзей. Вся наша партия и весь наш народ глубоко признательны Коммунистической партии Советского Союза, ее руководству за понимание наших проблем, за дружескую помощь в их решении».

Стратегия антикоммунизма в дискредитации экономических реформ заключается в том, чтобы объявить «советскую модель» социалистического хозяйствования еще более, чем прежде, «непригодной» и «неприменимой» в специфических национальных условиях. При этом суть основного трюка такова. Под характерные черты этой «модели» подводятся не только и не столько особенности, порожденные конкретными условиями развития нашей страны, сколько общие закономерности, общие принципы хозяйственного и политического руководства, присущие всем странам, избравшим социалистический путь. Всякое же «следование за СССР», пусть и с существенными отличиями в характере и типе реформ, даже самый факт попыток совершенствования управления на базе социалистических производственных отношений объявляются «бесперспективными».

В своем докладе на XXIV съезде КПСС товарищ А. Н. Косыгин сказал, что «хозяйственная реформа — не единовременный акт. Это процесс совершенствования управления хозяйством в целях максимального использования всех преимуществ социалистического способа производства».

Американский журнал «Ньюс уик» в этой связи в статье, посвященной материалам XXIV съезда КПСС, пытается изыскивать непримиримое противоречие между «необходимостью демократизировать процесс принятия решений» и «централизованным контролем и планированием» в социалистических странах.

Но теперь уже даже наши противники признают, что многие крупнейшие народнохозяйственные проблемы, такие, как, скажем, обеспечение единой технической и экономической политики в развитии всех отраслей, рациональное размещение производительных сил, создание научно обоснованной системы розничных и оптовых цен, единой системы учета и статистики, могут быть эффективно решены только при централизованном плановом руководстве. XXIV съезд КПСС как раз и исходит из этой непреложной посылки.

Экономические реформы в социалистических странах предполагают сочетание централизованного планирования и отраслевого управления с расширением самостоятельности, инициативы предприятий. Нет дилеммы — либо централизованное плановое хозяйство, либо оперативная самостоятельность и инициатива предприятий. То и другое органически сочетается при более широком использовании экономических методов руководства.

XXIV съезд вновь подчеркнул, что для нас ведущим, решающим звеном является план. А рынок организуется через систему плановых цен и договоров на поставку и сбыт продукции. Процесс реализации товаров служит лишь средством увязки плана с потребностями.

Гвоздь хозяйственных реформ в том и заключается, что они повышают роль центральных плановых органов и одновременно расширяют инициативу всех звеньев народного хозяйства.

И когда буржуазная печать делает свои наскоки на централизованное руководство экономикой, то она заведомо искажает стратегию хозяйственных реформ. А она несовместима с дробностью и многопозиционностью, которая может ставить центральные органы под угрозу потери точности в расчетах и вызвать мелкие, но чувствительные диспропорции.

В своих откликах на материалы XXIV съезда КПСС французская «Монд» объявила себя движимой «любовью к истине». Сквозь каскад сомнительных констатаций она откровенно выразила свои надежды на «структурные реформы, которые могли бы изменить механизм власти» в социалистических странах. Какие «реформы» и какие «изменения» имеются в виду? Очевидно, возврат в «доброе старое капиталистическое лоно», пусть даже на основе конвергированного капиталистического «общества-гибрида». Назвать это маниловщиной было бы слишком мягко. Скорее это невольное признание целей стратегии антикоммунизма.

СИЛА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

Стратегия антикоммунизма строится и на разного рода теоретических попытках «доказать» невозможность политического единства братских государств, приписать им такие же антагонистические противоречия, которые свойственны их антиподам, и на этой основе «конвергировать» обе противоположные системы в нечто общее, так сказать, «родственное» друг другу. Именно так поступал, например, небезызвестный западногерманский антикоммунист Борис Майснер в своих статьях в журнале «Остойропа». И такого же типа прогнозы делал американский социолог Р. Ф. Стаар на страницах «Ист Юроп» под претенциозным заголовком «Что произойдет в восточно-европейских внутриагентовских отношениях».

Но и здесь факты оказались сильнее тенденциозной пропаганды. На XXIV съезде партии была конкретно показана координация внешнеполитической деятельности братских партий и государств. Л. И. Брежнев подчеркнул, что наиболее крупные международные проблемы и события этих лет коллективно рассматривались представителями социалистических стран на разных уровнях. Именно странам Варшавского договора принадлежит, например, инициатива выдвижения развернутой программы укрепления мира в Европе. Словом, многостороннее политическое сотрудничество стран социализма становится все более тесным и активным. Оно позволило коммунистическим партиям социалистических стран, обогащаясь опытом друг друга, совместно разрабатывать принципиальные проблемы строительства социализма и коммунизма, находить наиболее рациональные формы экономических связей, коллективно определять общую линию во внешнеполитических делах, обмениваться мнениями по вопросам работы в области идеологии и культуры.

Естественно поэтому, что в Отчетном докладе ЦК КПСС мир социализма был охарактеризован как «молодой, растущий социальный организм», в котором, естественно, еще не все устоялось, многое несет на себе отпечаток прошлых исторических эпох. Но, разумеется, организм. Этим дается решительная отповедь антикоммунистическим попыткам представить новый тип межгосударственных отношений как нечто еще не родившееся.

Идеологи антикоммунизма возлагают особые надежды на «многостороннее экономическое сотрудничество» социалистических и капиталистических стран. По З. Бжезинскому, например, оно будет «тем отсутствующим прежде звеном, которое соединит технически прогресс восточноевропейских обществ и либерализацию эволюционирующей коммунистической системы... Возможно, с помощью такого прогресса, совместного роста они трансформируются во что-нибудь сходное между собой с точки зрения демократии и гуманизма».

Но многостороннее или двустороннее экономическое сотрудничество никак не поможет «бедным» конвергентам. Мы, разумеется, за развитие торговых сделок между Западом и Востоком. За международное разделение труда. За взаимовыгодный обмен. Но без политических условий. Без принципиальных уступок, пусть даже за очень нужные товары. Таков не просто нерушимый принцип. Такова объективная необходимость, вытекающая из самой природы строя, не допускающего какой-либо социально-экономической, политической или идеологической «интеграции» со своим антиподом.

Технический прогресс обеспечивается прежде всего коллективными усилиями социалистических стран. Их постоянно углубляющейся интеграцией. Коллективный технико-экономической независимостью от капиталистического мира. Это способствует и будет еще более содействовать упрочению и развитию именно социалистических отношений в сфере экономики и политики.

В многочисленных буржуазных монографиях и статьях о социалистической интеграции всячески «обигрывается» мнимая «главная трудность» — «централизованное планирование, которое-де невозможно гармонизировать». Такова логика М. Кайзера в его выдержавшей в Англии несколько изданий книжке «Проблемы интеграции стран с планируемой экономикой». Аналогичный подход и у западногерманских социологов Е. Хакера и А. Ушакова в их книге «Интеграция Восточной Европы», вышедшей в Кёльне, и у профессора Оксфордского университета Питера Уайлса в его «Политической экономии международной интеграции», изданной в 1968 году в Нью-Йорке.

Но чтобы разобраться, где правда, достаточно ознакомиться с практикой координации народнохозяйственных планов социалистических стран — членов СЭВ на 1971—1975 годы. Она позволила заключить соглашения и договоры по специализации и кооперированию производства, согласовать предварительные объемы поставок ряда важных видов сырья и готовой продукции. В ближайшее время, когда будут согласованы планы на более длительную перспективу (десять — пятнадцать лет), сотрудничество еще более укрепитя.

В своем выступлении на XXIV съезде КПСС товарищ Вальтер Ульбрихт отмечал, что «впервые в истории социалистического содружества пятилетние планы Советского Союза и других братских социалистических стран согласовываются уже в процессе их разработки. Осуществление этих пятилетних планов будет способствовать развитию социалистической экономической интеграции».

А западная пропаганда продолжает дудеть в старую дуду: социалистическая интеграция не будет действенной до тех пор, пока она не примет за основу механизм «автоматического рыночного регулирования».

На что возлагают свои надежды сочинители подобных рецептов? Да на то, что между разными формами социалистического хозяйствования будто бы нельзя добиться согласованности и гармоничности.

Но, как свидетельствует практика, единство многообразия — вещь вполне реальная. Так, на общегосударственном уровне в процессе двусторонних, а затем и многосторонних согласований народнохозяйственных планов могут устанавливаться и действительно устанавливаются основные показатели, так сказать, «макромасштаба». Здесь речь идет о межотраслевой специализации и кооперировании производства, об объемах и направлении интернациональных капиталовложений, объеме и структуре важнейших товарных поставок и их основных условиях, о материальных санкциях и т. д.

Немаловажное значение имеет согласование ряда показателей на уровне отрасли. Что тут имеется в виду? Определение научно-технической политики для объединения усилий в научных исследованиях по наиболее принципиальным вопросам раз-

вития отрасли, деятельности международных отраслевых производственных комплексов технического и технологического характера, чтобы выявить конкретные направления внутриотраслевой специализации и кооперирования. Здесь постепенно основой взаимосвязей станут постоянные экономические контакты, которые сделают хозяйственный оборот более гибким.

А на уровне предприятия? Согласование проявится через нормативы длительного действия, а также через наиболее общие показатели и программы производства и реализации, общегосударственные цены, систему материального стимулирования экспортных операций (валютные коэффициенты, экспортные надбавки и т. д.).

Круг вопросов, подлежащих согласованию между предприятиями различных социалистических стран, включает прежде всего проблемы качества и технических параметров продукции с их тщательной детализацией на основе современных требований рынка; конкретизацию условий проведения единой плановой технической политики, скоординированной на уровне отрасли; согласование цен в пределах лимитов, установленных на общегосударственном уровне; детализацию сроков поставок в рамках долгосрочных межгосударственных соглашений.

Сама жизнь разоблачает маневры идеологов антикоммунизма. В его рядах есть и свои скептики и свои трезвые головы. И они вынуждены признавать иллюзорность многих своих расчетов. Американский журнал «Каррент истори» с горечью констатировал: «Социалистические страны преданны положениям марксизма-ленинизма, общественной собственности».

Наши оппоненты из этого лагеря понимают также, что сотрудничество стран — членов СЭВ будет углубляться и крепнуть, что оно обусловлено общностью коренных целей и длительных перспективных интересов. Западногерманский социолог Томас Росс прямо заявляет: «Сегодня эти государства в первую очередь сближает коммунистическая общность интересов и общая конечная цель».

Многие буржуазные идеологи вынуждены прийти к выводу о бесосновательности расчетов на отрыв отдельных европейских социалистических стран от Советского Союза. А журнал «Ворт унд вархайт» (ФРГ) даже пытался систематизировать факторы, которые укрепляют единство братских государств.

Итак, теперь уже никто не в силах отрицать, что, как это отмечалось на XXIV съезде КПСС, происходит дальнейшее сближение социалистических стран. Оно проявилось и в солидарных действиях по упрочению и развитию социалистической государственности. И во взаимообогащении опытом общественного развития. И в экономической интеграции.

XXIV съезд КПСС нанес сокрушающий удар по антикоммунизму, убедительно показав всю бесперспективность его стратегии.



Н. ПЕТРАКОВ

★

ПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ — ПРЕДПОСЫЛКА
РОСТА ПРОИЗВОДСТВА

Каждый из нас повседневно чувствует, как невидимой, но весьма крепкой нитью связаны уровень развития экономики и уровень жизни. Связь эта была особенно глубоко проанализирована на XXIV съезде КПСС в докладах Л. И. Брежнева и А. Н. Косыгина. Причем вопрос о взаимном влиянии производства и потребления на съезде был раскрыт — и это, пожалуй, впервые в столь концентрированной форме — с совершенно специфической стороны. Мы имеем в виду прежде всего ту часть Отчетного доклада ЦК КПСС, где Генеральный секретарь, подчеркнув, что наиболее полное удовлетворение материальных и культурных потребностей людей остается высшей целью общественного производства при социализме, сформулировал следующее положение: «Партия исходит также из того, что повышение благосостояния трудящихся становится все более настоятельной потребностью самого нашего хозяйственного развития, одной из важных экономических предпосылок быстрого роста производства.

Такой подход вытекает не только из нашей линии на дальнейшее усиление роли материальных и моральных стимулов к труду. Вопрос ставится значительно шире — о создании условий, благоприятствующих всестороннему развитию способностей и творческой активности советских людей, всех трудящихся, то есть о развитии главной производительной силы общества»¹.

Эта мысль чрезвычайно интересна с точки зрения оценки места человека в системе социалистического производства. Социально-экономическое развитие общества невозможно без активной творческой деятельности человека.

Процессы, объединяемые термином «научно-техническая революция», видятся нам обычно в форме средств, колоссально расширяющих возможности человека, — автоматического оборудования, электронно-вычислительной техники, новейших систем информации, космических аппаратов и т. п. Машины до фантастических размеров увеличивают могущество человека, но машины в то же время являются конкретным материальным воплощением могущества человеческого разума. Научно-технический прогресс характеризуется лавинным нарастанием новых научных гипотез, открытий, технических решений. Все это означает, что источником и основной пружиной гигантского скачка в области науки и техники, свидетелями которого мы являемся, выступает творческая энергия человека.

Именно результаты творческой деятельности, выражающиеся в конечном счете в повышении производительности труда, в его эффективности, становятся теперь решающим фактором роста общественного производства. И это особенно важно потому, что, как подчеркнул на съезде А. Н. Косыгин, «при высоком уровне занятости населения мы не можем рассчитывать на большой рост производства за счет увеличения числен-

¹ «Правда» от 31 марта 1971 года.

ности рабочих». Недавно опубликованные данные о результатах переписи населения показывают, что из 130,5 миллиона человек трудоспособного населения страны занятые в народном хозяйстве, а также учащиеся составили 120,6 миллиона человек, или 92,4 процента против 82 процентов в 1959 году. Естественно поэтому, что в девятой пятилетке 80—85 процентов прироста национального дохода предполагается получить за счет повышения производительности труда. Но такой курс требует создания адекватных нашему обществу условий для максимального раскрытия потенциальных способностей личности.

Отличительной чертой нынешнего этапа развития человеческих знаний является то, что материальным фундаментом этого процесса становится достаточно высокий уровень жизни. Вот почему рост благосостояния членов социалистического общества теперь рассматривается партией не только как результат развития экономики, но и как одна из существенных предпосылок быстрого роста производства. Такая постановка вопроса дает ключ к пониманию диалектики взаимодействия человека с окружающей его социально-экономической средой.

«Современное производство,— подчеркивается в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду,— предъявляет быстро растущие требования не к одним лишь машинам, технике, но и прежде всего к самим работникам, к тем, кто эти машины создает и этой техникой управляет. Специальные знания, высокая профессиональная подготовка, общая культура человека превращаются в обязательное условие успешного труда все более широких слоев работников. Но все это в значительной мере зависит от уровня жизни, от того, насколько полно могут быть удовлетворены материальные и духовные потребности».

Итак, общество стремится к созданию условий для раскрытия творческих способностей личности. В качестве одной из важнейших предпосылок для достижения этой цели выступает рост общественного производства как источника средств удовлетворения потребностей. Но сами эти потребности, в том числе и потребность в творческом труде, не возникают и не могут возникнуть вне той социальной среды, в которой живет человек. Таким образом, вырисовывается сложная система взаимозависимости в цепочке человек—общество—экономика—человек. Казалось бы, простые и очевидные истины при ближайшем рассмотрении оказываются не только сложными, но и требующими для своего разрешения весьма тонкой организации социального механизма. Действительно, процесс совершенствования управления социалистическим производством заключается в изыскании наиболее рациональных путей удовлетворения личных и общественных потребностей. Но если эта задача ставится в общенациональном масштабе, то возникает весьма нелегкая проблема наиболее полного выявления этих потребностей, а также социальных условий их формирования. Кроме того, управляющие звенья социально-экономической системы должны выбрать и наилучший способ доведения до потребителя средств удовлетворения его потребностей. Следовательно, мало сказать, что потребности должны быть удовлетворены—следует их выявить и познать законы их насыщения и изменения. Система управления социалистическим производством, на необходимость совершенствования которой неоднократно указывалось на XXIV съезде КПСС, должна быть построена так, чтобы обеспечивать решение этой задачи в самом процессе общественного развития, ибо социализм в силу своей природы выдвигает на первый план человека с его постоянно растущими и изменяющимися потребностями.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ

Если человек садится за руль только что купленного автомобиля «Жигули», то можно с уверенностью предположить, что он умеет управлять автомобилем и знает, куда ему нужно ехать. Всякое управление основано на постулате знания: управляющий объект знает, как управлять и для чего управлять. Для этого в его распоряжении должна находиться необходимая информация об объекте управления. В плановом социалистическом хозяйстве возможности получения такого рода информации необычайно расширяются благодаря господству общественной собственности на средства производства. Система управления, очевидно, должна обеспечивать эффективные усло-

вия для конкретной реализации этих возможностей. На XXIV съезде в числе первоочередных была поставлена задача повышения научного уровня планирования.

Партия еще в октябре 1964 года самым решительным образом осудила проявления субъективизма и волюнтаризма в этой области. А на XXIV съезде Л. И. Брежнев вновь обратил внимание на то, что планирование «должно опираться на более точное изучение общественных потребностей, на научные прогнозы наших экономических возможностей, на всесторонний анализ и оценку различных вариантов решений, их непосредственных и долговременных последствий». Для решения этой задачи применительно к современному этапу экономического развития необходимо изучить процедуру, цели и возможности плановой деятельности на различных уровнях управления.

Сущность процесса управления в общей постановке вопроса может быть сведена к проблеме переработки информации, поступающей как от самого управляемого объекта, так и из внешней среды для того, чтобы принять и осуществить хозяйственные решения.

Процесс управления экономикой включает в себя ряд последовательно чередующихся и тесно взаимосвязанных друг с другом этапов: прогнозирование — планирование — реализация планов — контроль за результатами управления и корректировка управляющих воздействий на объект. На каждом этапе решаются специфические задачи и требуется различная организация и направленность управленческой деятельности. Только оптимальная увязка всех этапов при четком разграничении функций и может обеспечить эффективность управления экономикой. В этой статье нам хотелось бы, в частности, выявить взаимодополняющий характер элементов процесса управления экономикой и под этим углом зрения оценить некоторые направления дальнейшего развития хозяйственной реформы.

«Самоцелью» общества, базирующегося на социальной справедливости, по мнению К. Маркса, является полное «развитие человеческих сил»². В. И. Ленин при разработке первой программы РСДРП выдвинул тезис о том, что социализм есть планомерная организация общественного производства «для обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества»³.

Таким образом, развитие человека, его самоутверждение является истинным содержанием процесса развития социалистической общественной системы. Гуманистический характер социализма проявляется именно в том, что в этой системе социальное развитие имеет один-единственный «высший смысл» — развитие человека, раскрытие внутренних способностей личности, выявление и последовательное воплощение в жизнь условий существования, адекватных его природе. Историческое значение XXIV съезда КПСС заключается в том, что он четко сформулировал необходимость конкретной реализации этого подхода, переведя проблему повышения благосостояния и всестороннего раскрытия творческой энергии человека в разряд первоочередных и повседневных задач нашей жизни. Но такая постановка вопроса требует конкретизации понятий «благосостояние», «удовлетворение потребностей» и т. п. Нет необходимости доказывать, что существует огромное множество комбинаций потребительских благ, удовлетворяющих разнообразные потребности человека. Как найти наилучший вариант производства, более всего соответствующий интересам потребителей? Как определить в каждый момент, какое производство следует развивать более высокими темпами? Такие вопросы возникают постоянно перед центральными планирующими органами. Отсюда следует, что понятие «максимизация удовлетворения потребностей» для нужд управленческой деятельности должно быть определено по возможности более точно. Особенно это важно в настоящее время, когда развитие производственных возможностей общества на базе научных и технических достижений имеет своим следствием чрезвычайную дифференциацию средств удовлетворения потребностей, что, в свою очередь, приводит к ускорению изменчивости вкусов и желаний потребителей.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 25 (II), стр. 387.

³ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 232.

Как же определить все многообразие потребностей людей?

В экономической науке в настоящее время сложилось два подхода к решению этой проблемы — нормативный и статистический. Фактически проблема сочетания нормативного и статистического методов определения личных потребностей населения целиком связана с конкретным пониманием принципов управления сложными системами. И способ решения этой проблемы различными экономистами определяется их трактовкой функций управляющего механизма.

Статистический метод основан на изучении массового поведения потребителей и последующей экстраполяции этого поведения на будущее. Использование этого метода, следовательно, уже предполагает определенную организацию экономической жизни. Отдельные потребители обладают достаточной самостоятельностью в выборе средств удовлетворения своих потребностей, а управляющий орган наблюдает, анализирует это поведение и вырабатывает на этой основе управляющие сигналы. Естественно, что «свобода волеизъявления» потребителей ограничена уровнем их дохода, который также является объектом управления со стороны центрального органа системы. При этом не трудно заметить, что в экономике описанная ситуация создается в условиях товарно-денежных отношений, природа которых определяется при социализме общественной формой собственности на средства производства.

Другой подход к определению потребностей населения известен под названием нормативного. Название этого метода говорит само за себя, точно характеризуя его сущность. Речь идет о разработке управляющим органом нормативов потребления различных видов материальных благ и услуг, соответствующих медицинским, эстетическим и иным требованиям современного человека так, как этот последний представляется ученым-экспертам. В дальнейшем степень удовлетворения той или иной потребности определяется путем сопоставления нормативных потребностей по каждому виду благ с уровнем фактического потребления.

Ряд экономистов считает, что нормативный метод является, по существу, определяющим. Именно эта точка зрения очень последовательно была изложена Б. Смеховым в статье, опубликованной в первом номере «Нового мира» за этот год. Б. Смехов считает, что надо «прежде всего с достаточной точностью определить полные потребности, причем с дифференциацией по полу, возрасту, профессии, квалификации и — что не менее важно — с учетом уровня общей культуры и интеллектуального развития». Из этого положения делается вывод, что, говоря о задачах экономической науки, следует в первую очередь выделить вопрос «о методах определения потребностей «в чистом виде», о разработке научно обоснованных норм потребления, которые и «отражают действительные общественные потребности»⁴.

Нормативный подход к оценке общественных потребностей, по нашему мнению, заслуживает самого пристального внимания. Однако попробуем выяснить, так ли проста задача нахождения рациональных норм потребления, а главное, задача организации планирования и управления на базе этих норм.

Итак, много ли человеку надо?

Для ответа на этот вопрос экономист идет к медикам, биологам, инженерам. Они сообщают ему, сколько калорий, витаминов, минеральных и тому подобных веществ должны потреблять люди различного возраста, с различной физической и психической нагрузкой, чтобы нормально жить и эффективно трудиться. Экономист может получить и так называемые санитарные нормы, характеризующие размеры необходимого человеку «жизненного пространства» — дома, на улице, в парке. Однако откуда добывается столь ценная информация? Основным инструментом врача-физиолога при определении, скажем, рациональной диеты — эксперимент, обобщение возможно большего числа наблюдений за состоянием организма человека в условиях потребления различных наборов продуктов питания. Иными словами, готовя ответ экономисту, физиолог обращается к той самой статистике, которую столь скоропалительно отверг плановый работник, отдавший свои симпатии рациональным нормам. Беда только в том, что статистика эта касается в основном биологической стороны существования человека, которая, хотя

⁴ «Новый мир», 1971, № 1, стр. 150, 155, 159.

и чрезвычайно важна (особенно в области обеспечения здоровья человека), но едва ли может рассматриваться как решающая при анализе путей реализации грандиозной социально-экономической программы роста благосостояния трудящихся, намеченной XXIV съездом КПСС.

Дело в том, что потребности и интересы людей в развитом обществе определяются в значительной мере их социальным статусом. Если бытие определяет сознание, то социальное бытие человека, члена коллектива, определяет его цели и приемлемые для него средства их достижения, то есть его социальное лицо.

Поэтому при разработке рациональных норм потребления для различных групп потребителей, очевидно, необходимо обратиться и к социологу. Социологические исследования в нашей стране в последние годы развиваются очень интенсивно. Создан специальный институт в системе Академии наук СССР, социологические проблемы разрабатываются учеными Сибири, Прибалтики, Украины, Закавказья. Однако основным источником информации для социолога является, как известно, выборочное обследование с помощью специально составленных опросных листов. Иными словами, социолог, прежде чем сделать какой-либо вывод о закономерностях поведения людей в различных ситуациях и социальных коллективах, долго и пристально наблюдает за этим поведением. Причем для того, чтобы человек выявил в полной мере свои социальные устремления, нужно поставить его в условия, при которых он может сделать сознательный выбор. Нельзя, например, делать какие-либо выводы о культурных устремлениях сельской молодежи в районе Н, даже если статистика показывает, что юноши и девушки почти поголовно и ежедневно посещают танцы. Следует еще выяснить, есть ли в этом районе условия для проведения досуга в какой-либо другой форме.

Словом, опять наблюдения и статистика. Но даже при помощи социологов планировщик, как мы покажем ниже, не сможет установить многих особенностей формирования потребностей человека.

В процессе развития социалистического общества можно наблюдать, как, по мере удовлетворения первичных потребностей населения, все большее воздействие на формирование интересов людей оказывают социальные установки. При относительной стабильности и однозначности «физиологических» интересов индивидуума, социализация личности сопровождается возрастанием динамизма и расширением разнообразия духовных (идеологических, эстетических и т. п.) потребностей и потребностей, которые можно условно назвать «престижно-материальными». Человек хочет иметь не просто предмет потребления, а модную вещь. Уже сейчас это относится и к одежде (причем не только к выходной, но и рабочей), и к обуви, и частично к мебели — а с ростом доходов не исключено, что в орбиту предметов, обуславливающих социальный престиж труженика, попадут и квартиры, и автомобили новых моделей, и туристические поездки. Но что означает современное стремление сменить вещь в связи с тем, что она вышла из моды? Говоря экономическим языком, это означает, что вещь «морально» устарела еще задолго до окончательного физического износа. Как же можно учесть моральный износ в рациональных нормах потребления? Ведь в перспективе, очевидно, понятие моды далеко выйдет за рамки вопроса о длине юбки.

Однако не эта проблема представляется основной при рассмотрении нормативного подхода определения потребностей. Существенно понять другое: в развитом обществе физиологически обусловленные материальные потребности занимают относительно небольшую и все уменьшающуюся долю в общей массе потребностей человека. На первый план выступают духовные потребности. Нормирование в этой области может в конечном счете привести к массовой стандартизации людей вместо «свободного и всестороннего развития человеческих сил». В крайней форме эти тенденции давно проявляются в капиталистическом мире. Здесь уже в полный голос ставится вопрос о регулировании генетического кода людей в интересах крупного капитала. Вот какую картину капитализма в 2000 году рисует американский биолог, вице-президент Университета штата Нью-Йорк Бенгли Глесс: «К 2000 году станет реальностью еще одна пугающая возможность — управление поведением человека с помощью искусственных средств. Правительство — «наш старший брат» — возможно, будет использовать транквилизаторы или галлюциногены типа ЛСД, чтобы удерживать население в состоянии покорности и зависимости. Пользуясь все более изощренными методами, людей смогут за-

ставлять действовать в интересах правительства и капитала, причем люди толком не будут сознавать, как их обводят вокруг пальца. Этот психологический контроль окажется еще более действенным в сочетании с контролем за продолжением рода. Вот каков этот наш «смелый новый мир». Младенцев будут помещать в колбы с различными растворами, где их умственное развитие будет приводиться в соответствие с определенной кастой⁵.

Мы не беремся судить, насколько эта страшная картина является преувеличением ученого. Однако совершенно очевидно, что она логически вытекает из тех тенденций, которые характерны для развития нынешнего капиталистического общества. С помощью воспитания, воздействуя на сознание через радио, телевидение, прессу, общество способно внедрить в сознание человека некую идеологическую программу. Гречем у индивидуума может существовать полнейшая уверенность, что это его собственная, адекватная его внутренней индивидуальности идеологическая установка.

Мы являемся свидетелями того, как буржуазное общество XX века стремится осуществить свои классовые интересы через хитроумную систему смещения ценностей в сознании людей, в том числе и тех групп, которые объективно имеют противоположные буржуазии цели (рабочий класс, творческая интеллигенция, учащиеся).

Пропаганда «потребительского общества» основана на утверждении совершенно определенной концепции развития человеческого общества, согласно которой более высокий уровень цивилизации измеряется относительным приращением уровня потребления материальных благ. Социальная установка технократического общества трансформируется таким образом в индивидуальные предпочтения. Известный американский экономист Дж. Гэлбрейт, указывая на это обстоятельство, пишет, что в современном капиталистическом обществе «корпорация становится инструментом, позволяющим придать общественной значимость целям тех, из кого она состоит. В ходе этого процесса приспособления общественно полезным становится то, что служит целям членов техноструктуры». И далее: «Как только будет признано, что в любом случае личность является объектом управления... тотчас же исчезнет основание возражать против государственного вмешательства». И наконец, как общее резюме: «Экономическая система нуждается для своего преуспеяния в организованном околпачивании публики»⁶.

Социализм базируется на качественно иной форме взаимосвязи человека и общества. Принцип «все во имя человека, все для блага человека» требует для своей реализации оптимального сочетания условий для наилучшего проявления возможностей отдельной личности и направляющего воздействия общества на формирование идеологического облика человека. Намеченный XXIV съездом партии курс на резкое повышение благосостояния не имеет ничего общего с курсом на превращение нашей страны в «потребительское общество». Да, советские люди будут потреблять больше товаров лучшего качества; да, они тоже, как и сейчас, не чужды будут веяний моды. Но рост потребления будет осуществляться не ради самого потребления, а выступит в качестве условия полного раскрытия творческой индивидуальности человека.

Человеческая личность необычайно пластична, восприимчива к окружающей социальной среде. Человек, как правило, легко адаптируется к окружающим условиям, или, как сказали бы специалисты по социальной психологии, принимает на себя определенную конвенциональную роль, в соответствии с которой корректирует свое поведение в общественных интересах. Человек доверчиво идет на сближение с обществом, принимает его оценки (даже если ему субъективно кажется, что он стоит вне общественных «предрассудков»). Просто человек не может жить Робинзонэм. В этом его сила, но в этом и его слабость. «Уменье ко всему приспособливаться и как следствие все принимать — одна из величайших опасностей для человечества»⁷, — пишет в своем философском романе «Голос неба» известный польский писатель Станислав Лем. Однако истинно гуманистическое общество не может и не должно «злоупотреблять» этим доверием личности и своей способностью оказывать на него формирующее влияние. Оно должно беречь и ценить человеческую индивидуальность, создавать условия, благо-

⁵ «Литературная газета», 1967, № 27, стр. 14.

⁶ Дж. Гэлбрейт. Новое индустриальное общество. М. «Прогресс». 1969, стр. 208, 265, 348.

⁷ С. Лем. Навигатор Пиркс. Голос неба. М. «Мир», 1971, стр. 466.

приятствующие ее проявлению. Общество, в котором, с одной стороны, личность добровольно принимает существующие установки, а с другой — наивысшей общественной ценностью выступает индивидуальность человека, его творческий потенциал, является гармоническим. Это и есть социалистическое общество.

Реализация такого единства интересов общества и личности требует организации очень тонкого социального механизма выявления прежде всего духовных потребностей членов общества. Чтобы понять потребности человека современного нам мира, надо идти не от «физиологии», а от социального облика и моральных, идеологических, этических и других установок общества. Надо, далее, больше внимания уделять установлению оптимальных взаимоотношений между личностью и экспертом, определяющим разного рода рациональные нормы. Какую цель должен преследовать эксперт, определяя нормы потребления и жизнедеятельности: должен ли он стремиться помочь человеку самому разобраться в сложном потоке жизни или «слепить» его «по образу и подобию своему»? И соответственно этому, какие методы должен использовать наш эксперт: будет ли он добрым советчиком или строгим администратором? Вот вопросы, которые, на наш взгляд, являются ключевыми при рассмотрении способов определения индивидуальных предпочтений членов социалистического общества.

Эксперт и потребитель (он же, кстати сказать, и труженик) должны, очевидно, выступать как союзники. Право выбирать и право рекомендовать предстают в данном случае в органическом единстве. Любая же абсолютизация одного из методов — статистического или нормативного — может привести к ошибкам в управлении и замедлению общественного развития, ибо и эксперт и потребитель в силу объективных условий односторонни в своих оценках.

Дело в том, что человек, прогнозируя последствия того или иного действия, склонен (а вернее сказать, вынужден) агрегировать, усреднить воздействие факторов внешней среды, которые тесно не связаны с анализируемым событием. Формой такого агрегирования является постановка вопроса: «Что произойдет, если мы сделаем то-то и то-то при предположении о неизменности прочих условий». Если человек решает вопрос о покупке нового автомобиля, то он, как правило, взвешивает свои расходы с теми удобствами, которые имеет его сосед или знакомый, уже эксплуатирующий аналогичную машину. При этом в подавляющем большинстве случаев не учитывается, что решение о покупке автомобиля могут принять еще десятки тысяч потребителей и это может существенным образом сказаться на условиях эксплуатации предмета вождения нашего потенциального покупателя. Интенсивность движения автотранспорта может существенно возрасти, произойдут изменения в области текущего обслуживания и т. п.

Кроме того, человек в силу объективных условий организации психики и форм мышления имеет относительно узкий «плановый горизонт». Это проявляется в известной аберрации ощущений при сравнительной оценке будущего и настоящего. При благоприятных условиях в настоящем человек склонен считать эти условия устойчивыми и с легкостью экстраполировать их на будущее. Если же условия в данный момент сложились для индивидуума неблагоприятно, то в большинстве случаев наблюдается прямо противоположная тенденция оценки изменения ситуации. Характерным примером, иллюстрирующим указанный эффект, является состояние здоровья. Как правило, человек склонен недооценивать разрушительное воздействие на свое здоровье разного рода искусственных стимуляторов и предпочитает сиюминутный эффект, пренебрегая расплатой в будущем. Именно здесь заложена основная причина ограниченности статистического метода определения закономерностей потребления. Вопрос упирается в относительность «знания» первичной ячейки социально-экономической системы.

Эта объективная ограниченность плановой перспективы отдельной личности должна компенсироваться действиями управляющих органов. Располагая опытом ряда поколений, выводами ученых, плановый орган может снять эту естественную ограниченность, внести коррективы в поведение индивидуума, влияя на его социальное самосознание. Однако характер этих действий не должен иметь ничего общего с администрированием. И это объясняется тем, что плановый орган тоже «не все может».

Рассматривая проблемы управления, в том числе управления с помощью электронно-вычислительных машин, Норберт Винер, в частности, приводит сюжет фанта-

стического рассказа английского писателя Джекобса «Обезьянья лапа». В этом рассказе фигурирует некий талисман — высушенная обезьянья лапа, — с помощью которого может быть исполнено любое желание его владельца. Бедная семья хочет получить двести фунтов стерлингов. Желание тотчас же выполняется, но ценой гибели любимого сына, так как нежелательность столь ужасного пути получения денег лишь подразумевалась, но специально не была оговорена. «Поскольку наше действительное желание, — пишет по этому поводу Н. Винер, — всегда может быть выражено неточно, последствия этого могут стать чрезвычайно серьезными тогда, когда процесс исполнения наших желаний осуществляется не прямым путем, а степень их реализации не ясна до самого конца»⁸.

Проблема необходимости точного описания условий задачи и желательного результата (формализация целей и средств их достижения) для получения удовлетворительных решений впервые со всей отчетливостью встала перед учеными в связи с попытками использования электронных машин для имитации человеческой деятельности. Оказалось, что человек практически не в состоянии смоделировать свое собственное поведение из-за большого числа неформализуемых моментов мышления. У человека в связи с этим может возникать иллюзия, что он учел все факторы, влияющие на его решение, но как только это предположение точно зафиксировано и вложено в «мозг» машины, сплошь и рядом выявляется его несостоятельность. Возникает на первый взгляд фантастическая ситуация: машина, созданная человеком для достижения его целей, наносит ему ущерб, иногда непоправимый. Корни этого парадокса, по мнению Н. Винера, «кроются в том, что магическое исполнение заданного осуществляется в высшей степени буквально и что если магия вообще способна даровать что-либо, то она дарует именно то, что вы попросили, а не то, что вы подразумевали, но не сумели точно сформулировать... Не исключено, что магия автоматизации и, в частности, логические свойства самообучающихся автоматов будут проявляться столь же буквально»⁹.

Чем более образован эксперт, тем труднее ему поверить в относительность своих знаний. Вересаев в «Записках врача» рассказывает, как жестоко он был наказан за слепую веру в «последнее слово науки». После того как был открыт химический состав некоторых минеральных вод, с помощью которых лечились желудочные заболевания, среди врачей прошла волна увлечения искусственной минеральной водой. Горячо рекомендовал ее своим пациентам и Вересаев, несмотря на то, что, по их утверждению, такой «эрзац» не давал положительных результатов. Каково же было разочарование врача, когда через несколько лет выяснилось, что естественные источники обладали небольшой радиоактивностью, которая и играла определяющую роль в лечебных свойствах воды.

Понимание относительности наших знаний о настоящем, а тем более о будущем позволяет по-новому ставить вопрос о задачах научного прогнозирования. Известный советский футуролог И. В. Бестужев-Лада считает, например, что основная задача научного прогнозирования «может и должна сводиться не к напрасным попыткам однозначного прорицания (уместным разве лишь при художественном осмыслении проблем будущего средствами литературы и искусства), а к исследованию, учету факторов, определяющих наиболее вероятный вариант реализации определенного явления или процесса на определенной шкале возможностей (которую тоже необходимо еще предварительно разработать и обосновать). Установление спектра возможностей и построение на нем функции распределения вероятностей — так можно было бы сформулировать сущность прогнозирования социальных явлений и процессов»¹⁰.

Понимание всей сложности проблемы оценки будущей ситуации, а следовательно, и определения вероятности достижения системой того или иного из возможных состояний приводит к выводу о необходимости разработки специальной системы управления социально-экономическими объектами, основанной на: 1) предоставлении некоторой автономии управляемому объекту; 2) наблюдении за его поведением в рамках этой автономии; 3) прогнозировании его реакций на основе анализа результатов наблюде-

⁸ Н. Винер. Творец и робот. М. «Прогресс». 1966, стр. 72—73.

⁹ Там же, стр. 70.

¹⁰ И. В. Бестужев-Лада. Окно в будущее. Современные проблемы социального прогнозирования. М. «Мысль». 1970, стр. 28.

ния; 4) формировании управляющих сигналов, исходя из накопленной информации и задач управляющего объекта; 5) проверке результатов регулирующих воздействий. Исследования в области общей теории управления — кибернетики — показывают, что такая организация управления особенно эффективна для объектов, способных вырабатывать новую информацию за счет внутренних источников. К числу таких объектов относится, безусловно, и любой социальный коллектив, основанный на творческом труде его членов, ибо процесс творчества и есть процесс возникновения новой информации.

Интересно отметить, что именно такой подход к выработке методов организации хозяйства на социалистической основе был, по существу, предложен В. И. Лениным в первые годы становления Советской власти. В. И. Ленин призвал к развертыванию местной инициативы в области организации управления и к обобщению этого опыта центральными органами.

«Чем разнообразнее, тем лучше,— писал он,— тем богаче будет общий опыт... тем легче практика выработает... н а и л у ч ш и е приемы и средства борьбы»¹¹.

«Побольше разнообразия в практическом опыте и побольше изучения его»¹²,— призывал В. И. Ленин; а в проекте резолюции по вопросам новой экономической политики он специально выделил этот момент: «Поставить, как безусловно важнейшую задачу партии, внимательное и всестороннее освещение и изучение... практического опыта мест и центра в деле хозяйственного строительства»¹³.

Методы управления, исходящие из признания известной ограниченности возможностей управляющего органа, долгое время не пользовались большой популярностью ученых, занимающихся теорией управления. Это в значительной мере связано с тем, что такие методы управления, предполагая существование значительных резервных и страховых фондов, создавали впечатление относительной неэффективности этих методов по сравнению с жестким функциональным управлением. Обеспечение определенных «зазоров» между элементами системы вместо точной их пригонки требует затраты дополнительных ресурсов. Действительно, эти ресурсы являются прямой потерей, если управляемый объект приспособлен для выполнения строго определенных функций, которые индифферентны к внешним плохо прогнозируемым возмущениям. Так, упаковочный автомат на молочном комбинате едва ли должен отвечать требованиям универсальности (например, упаковка бутылок с разным диаметром горлышка) и настройки на разные режимы работы. Основное требование, предъявляемое к такому автомату, очевидно, будет сводиться к ритмичности повторения одних и тех же строго запрограммированных операций.

Однако попробуем от нашего автомата перейти к проекту, скажем, швейной фабрики. Такая фабрика может быть спроектирована в расчете на выпуск определенного вида одежды, например мужских сорочек из определенного вида ткани. Чем более мы будем при проектировании специализировать производство, тем больше возможностей для экономии на единицу готовой продукции (за счет автоматизации на базе программирования строго заданного технологического режима, установки узкоспециализированного оборудования, рассчитанного на использование одного вида сырья и т. д.). Такая «технологическая экономичность» обернется реальным экономическим эффектом лишь в том случае, если сбыт готовой продукции полностью гарантирован по фиксированным ценам в течение всего срока службы проектируемого объекта. Условия для нашей динамичной экономики, что и говорить, почти невероятные. За десять — пятнадцать лет работы фабрики во вкусах населения не могут не произойти значительные сдвиги. Кроме того, текстильная промышленность предлагает швейникам все новые виды тканей, требующие специфической технологии изготовления одежды. В этих условиях совершенно очевидно, что реализация проекта, в который заложены определенные «допуски» в виде универсального оборудования, резервов мощностей и т. п., даст существенный народнохозяйственный выигрыш по сравнению с жестко специализированным предприятием. Дополнительные, казалось бы ненужные в обстановке планового ведения хозяйства, затраты оборачиваются экономическим эффектом и созданием

¹¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 204.

¹² Там же, т. 43, стр. 233.

¹³ Там же, стр. 335.

необходимой устойчивости для объекта путем обеспечения ему возможностей для оперативного маневра.

Естественно, что эти рассуждения сохраняют свое значение не только для «бутылочных автоматов» и «швейных фабрик», но и для всех отраслей, включая сюда тяжелую промышленность.

ПОТРЕБНОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Центральный Комитет считает,— говорил Л. И. Брежнев на XXIV съезде,— что особое значение приобретает сегодня также задача обеспечения растущего платежеспособного спроса населения продовольственными и промышленными товарами, а также услугами. Производство товаров народного потребления должно расти более высокими темпами, чем денежные доходы советских людей».

В этом чрезвычайно важном положении Отчетного доклада ЦК КПСС обращает на себя внимание тот факт, что последовательный курс на повышение благосостояния трудящихся предполагается осуществлять не путем удовлетворения каких-то абстрактных потребностей в «чистом виде», а на базе насыщения платежеспособной потребности населения. Это положение, на наш взгляд, как нельзя лучше характеризует тот деловой хозяйственный подход к решению насущных проблем нашей экономической жизни, которым была проникнута вся работа съезда.

Иногда можно столкнуться с мнением, что различие между понятиями платежеспособной потребности населения и потребностями вообще исчерпывается тем, что первое понятие относится к текущему моменту, фиксирует, так сказать, сиюминутную ситуацию, в то время как категория чистых потребностей связана с перспективами нашего развития. Однако различия между этими понятиями значительно глубже, и сферы применения каждого метода вряд ли можно определить однозначно. Поясним эту мысль примером.

Представим себе, что проводится эксперимент.

Испытуемому предлагается расположить некоторый набор предметов потребления в порядке относительной предпочтительности для него этих благ. Вопрос ставится так: какой из предложенных предметов вы бы предпочли получить в подарок? Затем условия эксперимента несколько изменяются. На каждый из предметов вешается этикетка с ценой, а испытуемому дается некоторая сумма денег, на которую он может купить определенное количество товаров из того же самого набора. Можно почти наверняка утверждать, что результаты теста в первом и во втором случае не совпадут. Причина этого ясна: в одном случае наши желания ничем не ограничены, а во втором — у нас в распоряжении имеется некоторое количество ресурсов (денег), и мы знаем, во что обойдется приобретение того или иного товара. Последняя ситуация известна любому человеку, заходившему хотя бы раз в магазин. Однако не в таком ли положении находится и все народное хозяйство?

В распоряжении социалистического общества имеется определенное количество материальных ресурсов — производственных фондов, природных богатств, рабочей силы. Его задача заключается в том, чтобы наилучшим образом удовлетворить потребности трудящихся, используя эти ресурсы. Ресурсы эти в каждый момент времени не безграничны. Таким образом, социалистическое государство не может удовлетворять потребности вообще, а должно смотреть, во что это обойдется. «...если тот или иной руководитель отчитывается за производство продукции,— говорил Л. И. Брежнев с высокой трибуны съезда,— то дать обоснованную оценку его работе можно, только разобравшись: а какой ценой это достигнуто».

Рассматриваем ли мы все народное хозяйство или отдельного потребителя сегодня или в будущем, если мы говорим о платежеспособной потребности — значит, речь идет о потребности, соизмеренной с реальными возможностями. Иначе и не может быть. Если труженик получил заработную плату в соответствии с количеством и качеством своего труда и если хозяйство развивалось планомерно и пропорционально, то он вправе получить за свои деньги те товары, которые ему необходимы. Денежный

спрос — это реальный спрос трудящихся. Вот почему партия столько внимания сейчас уделяет обеспечению товарного покрытия денежных доходов населения.

В свое время довольно широкое распространение имела теория, которая утверждала, что некоторое опережение платежеспособного спроса над предложением полезно, так как является для предприятий стимулом к расширению производства. Рассуждения были просты: если имеется некоторый дефицит, превышение денежного спроса над предложением, то товар быстро раскупается и предприятие, расширяя производство, ликвидирует дефицит.

Однако эта концепция ошибочна. Ведь если платежеспособный спрос превышает предложение, то это значит, что денег выплачено больше, чем произведено товаров. И на сумму превышения денежной массы у населения над объемом предложения товаров купить негде. А рубль, как говорится, в суп не положишь.

Конечно, каждый человек хочет получать зарплату побольше, а покупать товары подешевле. Но одно дело желания, а другое — объективные возможности. Если денег у населения больше, чем товаров на прилавке, это значит, что нарушен один из существенных законов экономической жизни — закон опережающего роста производительности труда над ростом заработной платы. Если производительность труда будет обгонять рост доходов, то тогда товаров будет больше и дефицит исчезнет. Более того, возникнет возможность для снижения цен. Ведь цена на рынке находится в прямой зависимости от той суммы денег, которую согласны заплатить за удовлетворение данной потребности трудящиеся, и в обратной от количества товара, который они хотят купить на эту сумму. Естественно, что если производство продукции опережает рост доходов, то возникает возможность для снижения цен. В противном случае может возникнуть парадоксальная ситуация — несмотря на рост производства, цены будут расти, а товары (при неизменных ценах) из недефицитных будут превращаться в дефицитные. Но парадокс этот вполне объясним: если доходы растут быстрее производства, то это значит, что наши возможности не сбалансированы с потребностями. А жить надо «по средствам».

Методом экономической балансировки возможностей и желаний является политика доходов и цен. К сожалению, ряд читателей журнала (Н. Воскобойник и К. И. Абаджи из Ленинграда, С. М. Лось из Горького) считают такую экономическую балансировку излишней, полагая, что все проблемы можно решить, выпустив побольше товаров. Но товары, нужные населению, нельзя сделать из воздуха. Государству нужны накопления. Поэтому проблема должна решаться комплексно, и здесь ведущее место необходимо отвести правильному соотношению между производительностью труда и ростом доходов. Всякие отклонения от сбалансированности доходов населения и товарной массы отрицательно сказываются на экономике. Этому нас учит не только логика хозяйственной жизни, но и опыт других стран. Так, в одном из своих последних выступлений Президент СФРЮ И. Броз Тито отметил, что рост личных доходов в Югославии опережает в настоящее время рост производства в два раза. Это вызывает серьезные трудности в экономике страны¹⁴.

При разработке директив по девятому пятилетнему плану развития нашей страны проблеме товарного покрытия возрастающих денежных доходов населения уделялось особое внимание. «Высокие темпы роста денежных доходов населения,— говорил на съезде А. Н. Косыгин,— должны обеспечиваться увеличением производства товаров народного потребления и ростом товарооборота»¹⁵. Задача эта, как указывалось на съезде, еще не решена. И проблема заключается не столько в суммарном покрытии товарами суммарных доходов населения. Такое покрытие в целом обеспечивается, о чем свидетельствуют ежегодно составляемые балансы денежных доходов и расходов населения. Важны структура и качество предлагаемых населению товаров. Именно на этом вопросе заострил внимание А. Н. Косыгин: «Задача состоит не только в том, чтобы суммарно покрыть покупательский спрос, главное, какие товары найдет покупатель в магазинах, насколько он будет удовлетворен их разнообразием и качеством. Это повышает требования к промышленности и торговле, которые должны оперативно реагировать на все изменения в спросе».

¹⁴ См. «Правда» от 18 апреля 1971 года.

¹⁵ «Известия», 1971, № 81.

Таким образом, мы являемся свидетелями решительного поворота промышленности к реальным требованиям потребителей. Здесь необходима гибкость и оперативность. Плановые органы, промышленные предприятия и торгующие организации должны изучать рыночный спрос. Именно на этом участке ныне проходит передовая экономического фронта борьбы за рост благосостояния трудящихся. Первые шаги (пока робкие) в деле изучения конъюнктуры рынка уже сделаны. Для систематического изучения спроса населения Министерство торговли РСФСР создало 46 лабораторий экономической информации и конъюнктуры, в 25 областях ведутся выборочные обследования условий реализации товаров народного потребления. Как говорится, хорошо, но мало. Еще не ясно, как вся эта информация будет доводиться до предприятий. Не разработаны и не внедрены в широкую практику методы экономического стимулирования предприятий за гибкое маневрирование ассортиментом выпускаемой продукции.

Пока происходит организационная и психологическая перестройка промышленности на реализацию задач, поставленных съездом, очевидно, следует обратить особое внимание на другие возможности отвлечения денежного спроса населения. В этом отношении особое значение приобретает развитие сферы услуг. В новой пятилетке объем платных услуг, предоставляемых населению, предполагается увеличить не менее чем в два раза. Такой рост соответствует и интересам потребителей и интересам государства. С ростом культурного уровня человек начинает все больше ценить свое свободное время. Он предъявляет все более высокие требования к условиям проведения досуга. Но требования эти уже давно и намного опередили реально существующее предложение. Все мы чуть ли не еженедельно читаем фельетоны о грубиянах-официантах, о плохой работе прачечных, парикмахерских, о невнимательном отношении к отдыхающим и т. д. и т. п. Читаем с сочувствием, ибо не раз оказывались в подобном положении сами. Но воз и ныне там. Почему?

Обращали ли вы, дорогой читатель, внимание на красочные плакаты, украшающие стены некоторых кафе, парикмахерских, химчисток, с текстом примерно такого содержания: «Наше предприятие включилось в смотр-конкурс (или в соревнование) за звание лучшего кафе (парикмахерской) района (города)»? Что же, конкурсы и соревнования дело хорошее, особенно если победителя ждет премия. Но давайте подумаем, кто выступает в качестве арбитров в этом соревновании. Формально — потребитель. Но лишь формально, ибо учет его мнения при подведении итогов такого рода соревнования обычно ограничивается подсчетом записей в книге жалоб и предложений. Ох уж эта книга! О ней даже фильмы полнометражные снимают. Однако выдавать не выдают. И только одному богу известно, во сколько таблеток валидола обходится каждая строка в этой книге смелому клиенту. Но почему соревнование между предприятиями сферы обслуживания из борьбы за клиента превращается в борьбу с клиентом за эту пресловутую жалобную книгу?

А не потому ли, что недовольный посетитель не может повернуться спиной к грубияну-официанту, перейти улицу и пообедать в кафе напротив, оставив своего обидчика без заработка?

Тезис «вас много, а я один» имеет и совершенно определенную экономическую подкладку: «Если вы уйдете, то накажете себя, а план я и так выполню». Вывод отсюда может быть только один: «клиент не будет прав» до тех пор, пока мы не изживем дефицит предприятий сферы обслуживания. А сделать это нужно не только во имя человека, но и из соображений экономической выгоды. Вложения в сферу обслуживания дают быструю отдачу, что связано со спецификой услуги как формы удовлетворения потребностей населения.

Однако следует отметить, что проблема развития сферы услуг имеет и социальный аспект, которым нельзя пренебрегать ни в коем случае. Л. И. Брежнев на XXIV съезде говорил о необходимости «повышения общественного престижа работающих в этой области людей». Дело в том, что в течение многих лет наша пресса и радио не уделяли достаточного внимания формированию уважительного отношения к труду работников сферы обслуживания. Сфере услуг в этом отношении решительно не повезло. Потребуется, очевидно, очень много усилий, чтобы изменить создавшееся положение.

МЕРА ТРУДА И МЕРА ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ведя разговор о расширении производства товаров для населения, о росте сферы услуг, нельзя забывать о различиях в качестве товаров и обслуживания. Как бы мы ни увеличивали объем производства предметов потребления и услуг, такие различия всегда останутся. Всегда будут существовать повара высшего класса и специалисты «средней руки», люди, нашедшие призвание в своей профессии, и просто добросовестные специалисты. Как быть в этом случае? Каким должен быть экономический механизм признания высокого общественного значения их труда?

В области услуг совершенно правильно, по нашему мнению, решение предложил В. Богачев, выступивший с интересной статьей на страницах «Правды». Вот что он пишет: «Кто не знает, что уважение к высокому умению, например, парикмахера проявляется не только в готовности потратить время на ожидание, но и в деньгах, которые, помимо кассы, оседают в кармане халата популярного мастера.

Встает вопрос: почему не легализовать это фактически признанное различие в уровне обслуживания? Его можно было бы зафиксировать присвоением разных разрядов с существенной дифференциацией заработной платы мастеров и тарифов за пользование их услугами. Потребитель охотно оплачивает работу наиболее высокой квалификации. Так пусть это будут не чаевые, а законный заработок. Не надо стесняться подобного повышения тарифов. Ведь они уже повышены в салонах высшего класса, а хорошие и плохие мастера есть не только в салонах красоты. Действительное повышение качества услуг должно сопровождаться и увеличением их стоимости»¹⁶.

Как видим, изложенный подход к оценке услуг повышенного качества аналогичен принципу установления цен на товары сверхвысокого качества и предметы роскоши, о котором мы упоминали в статье, опубликованной в восьмом номере «Нового мира» за 1970 год. Этот принцип широко известен в практике ценообразования. Советское государство использует цены как эффективный экономический рычаг стимулирования потребления одних товаров и ограничения спроса на другие, как средство оперативного регулирования денежных доходов и расходов населения, поощрения выпуска изделий повышенного качества. Безусловно, что всякие изменения государственных цен в нашей стране могут осуществляться только в плановом порядке. О необходимости суровой борьбы с нарушителями государственной политики цен специально говорил на съезде А. Н. Косыгин.

За последнее время было осуществлено несколько плановых маневров в области ценообразования. Снижены цены на фруктовые консервы, телевизоры, стиральные машины, мотоциклы, мотороллеры, мопеды, на электробритвы, чулки и целый ряд других товаров.

В то же время «были повышены розничные цены на отдельные товары, не являющиеся предметами первой необходимости и повседневного спроса населения. Речь идет о ювелирных изделиях из драгоценных металлов, об изделиях из пушнины охотничьего промысла, об отдельных алкогольных напитках» («Известия», 1971, № 54). Гибкая политика цен осуществляется и в области установления цен на новую продукцию повышенного качества. Сущность этой политики была четко сформулирована видным теоретиком и практиком советского ценообразования председателем Государственного комитета цен Совета Министров СССР В. Ситниным: «Очевидно, что новые товары более высокого качества, затраты на производство которых оказываются выше, не могут продаваться по ценам изделий худшего качества. Трудно себе представить, чтобы цена на телевизор с большим экраном и малым экраном была бы одинаковой; не может быть одинаковой и цена верхних трикотажных изделий из тонкой меринсовой шерсти и аналогичных изделий из грубой шерсти или полушерстяных. Цены на новые товары устанавливаются с учетом их новых потребительских свойств и качественных признаков, которые эти изделия отличают от старых аналогичных видов продукции, а также с учетом экономически обоснованных затрат на их производство»¹⁷.

Однако некоторые читатели журнала (Н. Н. Белоградова из Симферополя) вы-

¹⁶ «Правда» от 13 января 1971 года.

¹⁷ «Известия» от 4 марта 1971 года.

сказывают беспокойство, что повышенная цена новинки или товара экстра-класса делает его недоступным массовому потребителю. Нам кажется, что эти возражения основаны на недоразумении. Прежде всего, поскольку речь идет о новых товарах или товарах, требующих специальной отделки и обработки, они на первых порах просто не могут выпускаться в массовых масштабах. Следовательно, такой товар все равно не может приобрести каждый. Кому же отдать предпочтение? Конечно, Советское государство стремится удовлетворить потребности всех трудящихся. Но интерпретировать основной экономический закон социализма как закон уравнительного распределения, как это, по существу, делают Я. Орлов и А. Мотылев (см. газету «Советская торговля» от 14 ноября 1970 года) было бы грубой ошибкой.

«Когда речь идет о распределении продовольствия,— подчеркивал В. И. Ленин,— думать, что нужно распределить только справедливо, нельзя, а нужно думать, что это распределение есть метод, орудие, средство для повышения производства»¹⁸.

Распределение как метод повышения производства — вот ключ к решению проблемы. Не случайно XXIV съезд подтвердил актуальность для условий развитого социализма ленинского подхода к определению потребления в соответствии с общественным значением индивидуальных усилий каждого трудоспособного члена общества. «Важная сторона хозяйственной деятельности, от которой в немалой степени зависит эффективность производства, — это совершенствование оплаты по труду, — подчеркнул Л. И. Брежнев.— Напряженный, высокопроизводительный труд должен поощряться и более высоко вознаграждаться».

Но если у нас господствует принцип распределения по труду, то почему человеку, который хорошо поработал, должно быть отказано в приобретении товара повышенного качества? Почему он должен стоять в очереди или вступать в сделку со спекулянтом?

Читатель из Горького С. М. Лось боится, что если исчезнут очереди, то лучшие товары достанутся только деятелям науки, культуры и директорам предприятий. На наш взгляд, это напрасные опасения. Средняя, подчеркиваю — именно средняя, заработная плата рабочих в промышленности в 1969 году составила, по данным ЦСУ, 171 рубль в месяц¹⁹. Нет нужды объяснять, что передовики производства уже давно зарабатывают не меньше кандидатов наук. Для справки замечу, что средний месячный заработок работника совхоза в Акчи, руководимого И. Н. Худенко, составлял 364 рубля. Но человеку-труженику важен не просто заработок, а товар, который можно приобрести на эти деньги. А о том, как зачастую обстоит дело с реализацией заработков на селе, очень образно рассказала корреспонденту «Правды» Ю. Черниченко простая труженица из Джамбульской области: «В чабанской бригаде человек живет — купить ничего нельзя, рубль легкий. В колхозе живет — сельпо близко, рубль лучше. В районе универмаг большой — дорогой рубль. В Джамбул поехал — всякий товар, в Алма-Ату — совсем хорошо. Молодежь ездит, видит. Три раза деньги отвез, в четвертый раз сам там остался. Через год в гости едет — красивый, модный. Дальше от бригады уехал — больше всего получишь на рубль. А рубль неодинаковый — разве не важно?» («Правда» от 10 марта 1971 года).

Нам представляется, что принцип, согласно которому лучший товар должен получить тот, кто лучше поработал, — единственно правильный и полностью соответствует принципам социализма. Правда, здесь возникает вопрос: а как все-таки быть людям, которые имеют относительно низкие заработки? Так и жить всю жизнь без холодильника или автомобиля? Ничего подобного. Наша промышленность должна выпускать в достаточном количестве холодильники разной емкости и отделки, а следовательно, и разной цены. Каждой семье безусловно нужен холодильник, но совсем не обязательно, чтобы у токаря высшего разряда и у продавца магазина электробытовых товаров они были одной марки. В этой связи хотелось бы посоветовать, что наша автомобильная про-

¹⁸ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 359.

¹⁹ «Народное хозяйство СССР в 1969 г.». М. «Статистика». 1970, стр. 53з.

мышленность никак не может освоить выпуск дешевых «молодежных» малолитражных автомобилей. Нам кажется, что к тезису «автомобиль не роскошь, а средство передвижения» следовало бы сделать примечание: «смотря какой».

* * *

Эти заметки, написанные по первым впечатлениям от закончившегося съезда, безусловно не претендуют на освещение и сотой доли тех крупнейших проблем, которые были подняты и решены в процессе его работы. Материалы XXIV съезда КПСС стали предметом самого пристального изучения трудящихся всего мира. Съезд подтвердил правильность избранного курса на развитие экономической реформы, на повышение научного уровня планирования, на оптимальное сочетание централизованного планирования с хозрасчетной самостоятельностью предприятий и объединений, на развитие методов материального и морального стимулирования, использование товарно-денежных отношений. Экономическая программа, выдвинутая партией на съезде, необычайно многогранна и требует большой и повседневной работы по ее претворению в жизнь.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

Д. ДРАГУНСКИЙ,
*генерал-полковник танковых войск,
дважды Герой Советского Союза*

★

ОСЕНЬЮ СОРОК ПЕРВОГО

Страницы из военного блокнота

Осень на Смоленщину пришла ранняя. Начались заморозки, над лесом кружилась пожелтевшая листва. В окопах и траншеях становилось холодно. Солдаты жались друг к другу, набрасывая на себя помятые шинели, разорванные плащ-накидки.

Позади остались тяжелые дни отступления, изнурительные контратаки, многодневные бои на Смоленском направлении. Наша 242-я стрелковая дивизия вот уже свыше двух месяцев оборонялась севернее Ярцева. Врагу так и не удалось выйти на Белый, Ржев, на Вышний Волочок и перерезать железную дорогу Москва — Ленинград.

Июльские и августовские бои измотали обе стороны. Немцы приутихли, мы заставили их прижаться к земле и перейти к обороне.

Нелегко пришлось и нам. Полки понесли большие потери. В ротах насчитывалось по несколько десятков солдат.

Тяжело раненного командира дивизии генерала Коваленко Алексея Кирилловича отправили в тыл. Участь его разделил комиссар дивизии Кабичкин. Выбыла из строя большая часть командиров рот... И все же враг, рвавшийся на север, был остановлен.

Установилось затишье. Шла обычная перестрелка. Обменивались снарядами-«гостинцами». Время от времени немцы, не выдержав, обрушивали на наши позиции шквальный огонь. Мы также не оставались в долгу — огрызались пулеметным и артиллерийским огнем. В сводках Информбюро об этих действиях сообщалось: «На Смоленском направлении идут бои местного значения».

Создавшуюся оперативную паузу мы использовали для того, чтобы уйти глубоко в землю, день и ночь продолжали совершенствовать нашу оборону.

В те дни мне пришлось исполнять обязанности начальника штаба дивизии. Сама жизнь заставила меня, танкиста, заниматься сугубо пехотными делами: организовывать противотанковый огонь, устанавливать артиллерию, определять линию боевого охранения и т. д. Признаться, во многих вопросах действий штабного механизма я не был достаточно сведущ.

Исполняющий обязанности командира дивизии Глебов, мой старый знакомый по академии и основной виновник моего перевода в пехоту, постоянно подтрунивал:

— Ты же прирожденный пехотинец: смени черный бархатный околышек на малиновый — и ты могучий царь полей.

Я отбивался:

— Все равно переметнусь в танкисты.

Огромная ответственность лежала на всех нас: потрепанной в боях, ослабевшей дивизии предстояло оборонять полосу шириною свыше двадцати километров — фронт не маленький! Положение усугублялось еще и тем, что наша 30-я армия не располагала резервами: не имела вторых эшелонов, танков.

Все свои силы и средства мы сосредоточили на главном танкоопасном направлении — на дорогах, идущих из Ярцева на Духовщину и Белый.

Во второй половине сентября на нашем участке фронта началось усиленное передвижение противника: подходили танковые части, подтягивались к фронту артиллерия и минометы, вражеская разведывательная авиация усилила активность, ежедневно парила над нами проклятая «рама» — «хейнкель», не поддающаяся никакому огневому воздействию.

Немцы упорно готовились к наступлению, и судя по всему — в недалеком будущем.

Где? В какой группировке? Когда? На эти вопросы могли ответить пленные. Два дня мы готовили поисковую группу для захвата «языка». Отобрали самых отчаянных смельчаков, и в ночь на 24 сентября, когда ливень хлестал как из ведра, мы бросили в этот крошечный ад разведывательный отряд.

Прошло несколько часов с тех пор, как болото словно поглотило разведчиков. Ни единого выстрела. Тишина. Лишь изредка разбухшее свинцовое небо освещают немецкие ракеты.

Перед утром, досыта умаявшись, я ткнулся в угол землянки и уснул мертвым сном. Пронзительный голос вывел меня из оцепенения:

— Пленные!..

Передо мной стояли два заросших рыжей щетиной верзилы, трясущиеся от страха и холода.

Сон и усталость мгновенно покинули меня.

Немецкий язык я знаю и поэтому смог тотчас же получить ответы на интересующие вопросы. К сожалению, пленные ничего нового не показали.

Старший из них, высокий узкоплечий сержант, более разговорчивый, чем его товарищ, сообщив хорошо известные данные о номере полка, подходе танков и артиллерии, добавил:

— Наш офицер говорил, что будем зимовать в русской столице, в теплых московских квартирах.

Спорить с пленными я не стал, отправил их в штаб армии, а сам занялся разведчиками. Поработали они на славу, хотелось изучить их опыт.

Вот что рассказали они. Ночью перебрались через реку Осотню, проползли на четвереньках топкое, непролазное болото. В этих местах никаких войск не стояло: чертово болото способно было засосать все живое. Смельчаки соорудили из досок фашины — нечто вроде перекидных мостиков — и, выбрасывая их вперед, ползли, отвоевывая метр за метром.

...В землянке тихо. Печурка излучала приятную теплоту. Ребята, уткнувшись в угол, прикорнули. Командир разведчиков, молоденький лейтенант, возбужденно докладывал:

— На каждом шагу спотыкались, проваливались в грязь, а темень жуткая. Только поздно ночью зацепились за клочок земли, юркнули в кустарник, залегли. Посветили лучиком кругом — видим, провода. Перерезали связь и притихли... Вдруг — веселый говор. Около нас остановились немецкие солдаты, осветили фонариком провода. Не сговариваясь друг с другом, не проронив ни единого слова, без всякой команды мы набросились на них, воткнули им в рот тряпки, потащили их в наше болото.

После выпитого горячего чая лейтенант раскраснелся, вошел в раж и продолжал возбужденно вспоминать все перипетии тяжелой ночи и утра, заставшего смельчаков далеко от переднего края.

— Колька завел разговор с пленными, немецкий он знал: почему у вас-де сапоги короткие, а голенища широкие — видите, как вода в них булькает. Немцы удивились. Один из них на полном серьезе пояснил: «Мы не собирались воевать в болоте. Сапоги рассчитаны для ходьбы по асфальту». Колька все не унимался: «Это как же — по Красной площади? А смоленскую грязь не хотите!»

Рассказ развеял усталость: с удовлетворением доложил я начальнику штаба армии о выполнении его приказа. И получил согласие представить разведчиков к прайвительственной награде.

В начале сентября мы подготовили и провели частное наступление левофлангового полка на дерсвню Жидки и взяли ее.

В те дни и занятие какой-нибудь безымянной высоты считалось успехом, а тут целая деревня. Это ли не победа! К тому же в бою мы уничтожили до сотни вражеских солдат. По этому случаю незамедлительно посыпались наши реляции во все вышестоящие инстанции.

С тех пор минуло более двух недель, пришли другие заботы. И вдруг... К нам едет комиссия из армии в составе нескольких командиров и представителя прокуратуры. Гадали: с чего бы это?

Командира дивизии и меня это взволновало, а в скором времени выяснились причины необычного визита.

В схеме обороны нашей дивизии деревня Жидки значилась в нейтральной полосе и никем не занята. Удивились в штабе армии: столько было разговоров о деревне Жидки, реляций и вдруг — не занята! Не прошло сие обстоятельство незамеченным и для штаба фронта.

Посыпались вопросы: «почему?», «кто виноват?». Наш ответ никого не удовлетворил.

Глебов, не разобравшись в существе вопроса, отстранил комбата Казаринова от должности. Да и я оказался не лучше — не взял комбата под защиту, хотя чувствовал его невиновность. Я категорически возражал против вмешательства следственных органов. Чего греха таить, в первые дни войны немцы захватывали целые селения, а тут поднят шум вокруг маленькой деревушки, не имеющей никакого военного значения. Мои доводы не возымели действия. Тогда я упросил командира дивизии включить меня в комиссию по расследованию конфликта. Глебов дал согласие.

Я предложил членам комиссии пойти на передовую и разобраться на месте.

Первые километры шли лесом. Никто нас не тревожил. Миновали КП полка. К нам присоединился его командир майор Самойлович. С началом темноты добрались до овражка, где в глубоком окопе обосновался штаб батальона.

До первой роты надо было ползти не менее километра. Представители штаба армии начали поговаривать о возвращении назад. Естественно, я на это не пошел: хотелось немного попугать их.

Наука оказалась нелегкой. Ползти долго и, окончательно выбившиеся из сил, плюхнулись в узкую глубокую траншею. В ней располагалась нужная нам рота.

Младший лейтенант, единственный уцелевший из офицеров в роте, подробно доложил о противнике, об отделении, расположенном впереди деревни Жидки.

— Почему же вы сами не находитесь в деревне? — допытывался я у офицера.

— Зачем она нужна? Отсюда все видно — держим под огнем выходы из села Чуркина, а Жидки в овраге, оттуда ничего не видно и не слышно.

— Кто дал команду оставить ее?

— Никто. Ротный отвел нас. А впереди деревни — отделение.

— Так чья же это деревня? — включился в разговор следователь.

— Наша.

— Там же никого нет.

— А зачем сидеть в яме?

Я спросил:

— Далеко расположена деревня от нас?

— Не больше километра.

— Когда лучше и безопаснее осмотреть ее?

— Лучше всего часика в четыре утра.

«Нет худа без добра», — мелькнуло у меня в голове, проверю заодно передний край батальона первого эшелона, осматрю отсечную позицию, загляну на наблюдательный пункт командира артиллерийского дивизиона.

...Настало время трогаться в путь.

Мы следовали за младшим лейтенантом, перебегающим из лощины в лощину. Достигли кладбища и оттуда одним броском добрались до деревни. Командир роты оказался прав — Жидки находились в овраге и, кроме рваных облаков, оттуда ничего не проглядывалось. Деревни, собственно, не существовало: торчали только печные трубы.

Комиссия, что называется, «визуально» убедилась в необоснованности выставленных обвинений против комбата Казаринова и штаба полка.

Таким образом, инцидент был исчерпан.

Личные переживания ушли прочь. Сам же случай дал повод осмотреть передний край обороны, воочию убедиться, как слаба здесь оборона, как трудно ей противостоять сильным танковым атакам.

Вечером докладывал командиру дивизии о минувшем дне.

До поздней ночи, склонив головы над картой, думали мы, как усилить левофланговый полк. Решили один артиллерийский дивизион из артиллерийской группы передать командиру полка майору Самойловичу, на этом же участке обороны сосредоточить и противотанковый резерв. Дивизионному инженеру дали команду заминировать противотанковыми и пехотными минами все подступы, лощины, дороги, идущие на север.

И все же оборона оставалась уязвимой — не было танков.

Несмотря на наши крайне ограниченные возможности, 2 октября во второй половине дня мы предприняли контрподготовку.

Два артиллерийских полка, несколько наших отдельных дивизионов открыли массированный огонь по противнику. Подверглась удару его танковая группировка, артиллерийские позиции, скопление пехоты. Свыше двадцати минут снаряды всех калибров летели по ту сторону фронта.

С дерева, на которое мы забрались с майором Семашко, в бинокль было видно: горели машины, летели в воздух артиллерийские орудия.

По нашим подсчетам, урон врагу нанесен немалый, и все-таки силенок не хватило сорвать его наступление, заставить отказаться от предстоящих атак.

Наступила зловещая ночь. Солдаты и командиры в окопе и траншеях, на огневых позициях и наблюдательных пунктах не смыкали глаз. Ждали — вот-вот начнется наступление гитлеровцев.

С рассветом оно началось...

Удар огромной силы, сопровождаемый каким-то невероятным шумом, обрушился на блиндаж. Заскрипели толстые бревна четырехслойного наката, обвалилась противоположная от меня стена, погасла копилка, запахло гарью. Кто-то крикнул: «Спасите!» — и вслед за этим все стихло.

С большим трудом выбрались мы из полуразрушенного блиндажа. Из соседней землянки выполз командир дивизии Глебов, жадно глотая воздух.

Над лесом пронеслась большая группа фашистских бомбардировщиков. Они спешили на север, в направлении Белый, Ржев.

Комдив распорядился занять круговую оборону вокруг КП. В его распоряжении находился сформированный сводный батальон. Офицеры штаба дивизии вытащили гранаты, бутылки с зажигательной смесью. Вокруг радиальных машин, штабных автобусов в окопчиках сидели шоферы, связисты, саперы, вооруженные карабинами и винтовками, готовые немедленно вступить в бой.

Трудный день начался. Какие сюрпризы готовит он? Выдержим ли мы натиск? Сможем ли остановить врага?

Я сидел в блиндаже комдива и непрерывно теребил командиров частей. В другом углу охрипший, оглохший и контуженный начальник связи майор Кулаков надрывно вызывал начальников штабов полков, требуя докладов о положении дел.

Разведывательная группа, а вслед за ней артиллерийские наблюдатели докладывали о тяжелых боях на нашем левом фланге. На полк Самойловича обрушилась авиация, артиллерия. Несколько десятков танков ворвалось на позиции батальонов первого эшелона.

Дивизион артиллерии, выдвинутый нами накануне на прямую наводку, включился в бой с прорвавшимися танками. С командиром этого полка телефонная связь прервана.

Комдив настоятельно просил командарма Хоменко усилить левый фланг дивизии артиллерией. Но что мог ответить командарм? Вся его армия в эти часы отражала превосходящие силы противника. Наконец заговорило радио. Кто-то дрожащим голосом кричал:

— Танки прорвались на наш КП. Убит Самойлович, бой идет на артиллерийских позициях. Помогите огнем!

Глебов связался с командиром артиллерийского полка Семашко:

— Весь огонь сосредоточить на левый фланг! Выдвигайте дивизион на Батуринскую дорогу.

Я видел, как артбатареи снялись с позиции и помчались на юг. Наша попытка придвинуть правофланговый полк Максимова ближе к центру не увенчалась успехом.

Налетевшая авиация нанесла бомбовые удары, прижав все живое к земле. Во второй половине дня на остатки подразделений полка Самойловича обрушились танки, артиллерия, авиация. Судьба этой части была предрешена.

Просто чудом на КП в Батуринский лес добрался майор штаба армии и передал распоряжение отойти в район Белый, организовать оборону на армейском оборонительном рубеже. От него мы узнали о прорыве немцами всего Западного фронта. Противник осуществил глубокий прорыв на стыке 19-й и 30-й армий.

Наша дивизия, находившаяся на левом фланге, оказалась в тяжелом положении, будучи обойденной с двух сторон.

Немецкие танки вышли нам в тыл и продолжали наступать в направлении Белый.

В эту ночь мы приняли все меры собрать дивизию в кулак и выйти на новый рубеж, указанный офицером связи.

Подтянули полк Максимова. Майор Семашко собрал остатки своей артиллерии. Нам удалось объединить разрозненные подразделения саперов, связистов, комендантскую роту. Но полностью спасти полк Самойловича не удалось. Через его боевые порядки прошли вторые эшелоны противника, которые и завершили разгром полка.

Мучительная ночь сменилась тревожным утром. С рассветом, оставив свой КП, мы взяли курс на север.

Батурино захватили гитлеровцы, разгромив наши тыловые базы. Мы лишились боеприпасов, продовольствия, медикаментов.

На путях отхода к нам присоединилась уцелевшая артиллерия двух стрелковых полков. К вечеру подошел стрелковый полк капитана Максимова. Позднее стали примыкать уцелевшие подразделения остальных частей дивизии. Мы воспрянули духом. Несмотря на большие потери, понесенные в первые дни прорыва, в дивизии насчитывалось еще около трех тысяч бойцов.

На подходе к городу Белый нас встретил сильный артиллерийский и танковый огонь. В Белом уже хозяйничали немцы. Сюда стягивалась сильная вражеская группировка. Что нам оставалось делать? Единственное решение — обойти город с востока.

Пришла ночь, полная тревог и неразберихи. Что же штаб армии? Почему он бездействует? Мы и не знали, что сам он еще в первый день подвергся уничтожающим ударам с воздуха, что на его КП прорвались танки противника и теперь генералы и офицеры полевого управления армии принимают отчаянные меры возглавить борьбу с прорвавшейся массой танков, пехоты и артиллерии.

Буквально ошеломило нас появление на КП танка «КВ». Из него вышел заместитель командующего нашей армией генерал Журавлев. Вот уж подлинно — самая радостная сенсация за все тяжелые дни боев!

Первый вопрос к генералу:

— Что нам делать?

Его звонкий голос, юношеский задор, спокойствие вселили надежду и уверенность.

— Я имею приказ добраться до 107-й мотодивизии, нанести силами этого соединения контрудар в направлении Белый, Духовщина. Вашей дивизии — немедленно выйти на рубеж Васильево, Шаниха, прочно прикрыть направление на Сычевку и обеспечить успех контрударной группировки.

День выдался на редкость тихий. К вечеру добрались до района, указанного генералом Журавлевым.

...Казалось, горел весь небосвод. На западе, востоке и севере пылали деревни, села, необрушенные поля, нескошенные луга.

Немцы шли на восток, оставляя нас во вражеском тылу.

«А как же приказ заместителя командующего: занять прочную оборону и обеспечить контрудар?» — сверлила мысль. Не шутку ли сыграл с нами генерал?

Приступили к выполнению поставленной задачи.

Единство воли, исполнительность, высокая дисциплина — вот что могло привести к осуществлению задуманных планов. В больших хлопотах прошла беспокойная ночь. А с рассветом...

Немецкая колонна, уверенная в том, что она находится в глубоком тылу, спокойно совершала марш по дороге, идущей на Шаниху. Шла без разведки, без охранения и случайно, с ходу натолкнулась на наши подразделения. Даже при наших скудных огневых средствах потребовалось не больше часа, чтобы разгромить вражеский батальон мотопехоты.

На поле боя остались подбитыми и сгоревшими несколько танков и броневиков, десяток автомашин. Удача окрылила нас. Все словно ожило вокруг. Солдаты наспех сливали бензин, демонтировали радиостанции, подбирали оружие и боеприпасы. Разведчики занялись пленными. Сообщения их оказались неутешительными: противник занял Сычевку, Белый и другие важные ключевые позиции. Гитлеровцы хлынули по тракту Белый — Ржев. Противник наступал широким фронтом в направлении Вязьма — Гжатск — Сычевка — Карамашев, Белый — Ржев.

Контрудар, о котором говорил генерал Журавлев, будучи непродуманным и неподготовленным, сорвался в самом зародыше.

Лесными топками дорогами с трудом пробирались на север.

Ночью с комиссаром штаба дивизии Храпуновым обходили штабные подразделения. Зашли к саперам. Не унывающие ни при каких обстоятельствах, прошедшие большую жизненную школу, возрастом намного старше нас, они знали что к чему. Как ухитрились они в таких условиях тащить на себе противотанковые и противопехотные мины, топоры и лопаты — уму непостижимо!

Ночью еще раз подсчитали свои ресурсы, они оказались скудными. Особое беспокойство вызвало отсутствие горючего. Иссякли продовольственные запасы. На наших плечах — раненые, больные. Эвакуировать их некуда и не на чем.

Перед утром с Храпуновым докладывали обобщенные данные Глебову. В его автобус пригласили командующего артиллерией и начальника тыла, командира полка Максимова.

— Какой же выход?

— Самый короткий путь, — размышлял вслух Глебов, — выйти на станцию Сычевка, оттуда добраться до лесов севернее Гжатска. Прорвемся — окажемся в своей армии, она где-то в этом районе.

Доводы командира дивизии на первый взгляд казались логичными. Но дойдем ли? Конная артиллерия не сегодня-завтра выйдет из строя, машины уже с пустыми баками и их рано или поздно придется поджечь, боеприпасы на исходе, люди измотаны и физически обессилены. Хроническое недосыпание, голодный паек, непрерывные бои, на руках раненые. Всему есть предел!

Несколько вражеских танковых атак — и трудно представить, что останется от нашей группы.

Не таясь высказал свои соображения.

Глебов изредка перебивал:

— Не горячись, говори понятливее.. А так ли это?

Высказали свои доводы Храпунов и Максимов.

Воцарилась тишина. Слышно было простуженное дыхание.

Молчал Глебов, уткнувшись в карту, потом встал и в упор спросил меня:

— Что же ты, в конце концов, предлагаешь?

— На восток дивизию не вести. От Сычевки держаться подальше. Там основная группировка противника.

Глебова оставила постоянная сдержанность.

— А куда ее вести?

— Только на север, только в направлении Ржева. Перережем тракт Белый — Ржев, организуем удар на вражеский тыл, запасаемся за счет фашистов оружием, боеприпасами, продовольствием и тогда рванем к своим и пойдем на соединение с войсками 29-й и 22-й армий.

Командир вспыхнул:

— Мы же подчинены 30-й армии, зачем уходить от нее?

— Виктор Семенович, согласитесь со мной: какая разница, где и у кого воевать — у генерала Хоменко или у генерала Юшкевича, нам лишь бы сразаться с врагом. Идти на Гжатск с нашими силами рискованно, и доберемся ли? Пойдем на Ржев — обязательно дойдем.

Мы стояли друг против друга разгоряченные, каждый убежденный в своей правоте.

— Ну а вы как считаете? — обратился комдив к другим.

Товарищи меня поддержали.

— Ладно, утро вечера мудренее, дайте часок-другой подумать.

По своему характеру Глебов был нетороплив, особенно когда решались важные вопросы. Он принадлежал к категории командиров, которые охотно выслушивают мнение своих подчиненных, ищут в доводах разумное, полезное. Он не терпел людей только и умеющих твердить «так точно», «слушаюсь», «есть», «никак нет».

Зная это, я несколько не удивился, когда утром он сказал мне:

— Предложение твое принимаю. Представь на утверждение план выхода дивизии на магистраль Белый — Ржев. И еще одно условие: от противника не уходить, всеми силами и средствами искать его, бить и уничтожать его группировки.

В этот день мы с боями прошли свыше тридцати километров. Понимали — дальше будет труднее. Приближался фронт, вражеские группировки уплотнялись, и ожесточенных боев не миновать.

На следующий день тронулись в путь. Утренний морозец бодрил и подгонял. Рысцой пробежали большое необработанное картофельное поле, обошли прижатую к опушке леса деревушку и вышли на широкую гравийную дорогу. Здесь нас «гостеприимно» встретили немцы: на колонну посыпались артиллерийские снаряды, не щадил минометный огонь.

Сколько раз за это лето выручал нас умный и смелый артиллерист Семашко! И на этот раз, подчиняясь его воле, наша артиллерия развернулась на огневых позициях и открыла огонь. Вражеская артиллерия постепенно умолкла.

Используя артиллерийский заслон, Глебов двинул нашу колонну на восток по дороге, ведущей на станцию Осуга.

Не успели мы выйти из зоны огня, как очутились на хвосте большой мотоколонны, шедшей впереди нас. Первым вступил в бой полк Максимова. Удар с тыла по вражеской колонне оказался внезапным и ошеломляющим. Немецкие тылы и обозы обратились в паническое бегство. Они стали обгонять свои боевые подразделения, смешались с ними, и, как обычно бывает в таких случаях, все перепуталось.

Паника перекинулась в голову вражеской колонны, и теперь вся эта масса людей и машин безостановочно катилась по единственной дороге на восток.

Вот где нужны были танки, автомашины, тягачи, подвижные средства для преследования и полного разгрома вражеской группировки! К сожалению, мы этого не имели.

Паническое бегство немцев подняло на ноги гарнизон Осуги. Гитлеровцы всполошились. Над нами закружилась «рама», предвестница недоброго. Оставалось немедленно уходить на север, скрыться в близлежащих лесах, а с наступлением ночи сделать бросок через железную дорогу, идущую из Осуги на Ржев.

Но осуществить это не пришлось. Появились «юнкеры», а затем и танки. Мой ординарец Семен насчитал их около полусотни.

У нас же — несколько «сорокапятков», всего десяток противотанковых ружей, сотня бутылок с зажигательной смесью. Все это мы на ходу расставили на обочине дороги, в кустарнике. Подоспел майор Семашко и, развернув артиллерийский дивизион на мехтяге, с ходу открыл огонь.

Опять появилась авиация. Фугасные бомбы полетели на артиллерию.

К ночи, когда угомонилась авиация, напряжение боя ослабело и вражеские танки под покровом ночи отошли на восток, нам удалось прорваться через заслон немецкой пехоты. Скрываясь от авиационных налетов, танкового огня, от преследования вражеской пехоты, всю ночь мы следовали по нехоженым лесным тропам.

Компас выводил нас на север. Только жажда жизни, неистребимое желание бороться с врагом до последнего вздоха поддерживали наши истощенные силы.

Тяжелораненых несли на палатках, легко раненые шли сами.

За ночь сделали двадцатикилометровый скачок. К утру, изможденные, добрались до заброшенной поляны, заросшей высокой пожелтевшей травой, и замертво завалились на мерзлую землю.

Мы лишились всего, нет у нас больше артиллерии и машин, нет боеприпасов и продовольствия. Идти дальше всей двухтысячной массой рискованно. Выходить мелкими группами казалось лучше — шансов на соединение с нашими войсками больше. Лесная тропинка, маленькие хутора могли приютить, спрятать, прокормить нас.

Но победил здравый смысл. Без малейшего колебания Виктор Семенович Глебов принял решение пробираться к линии фронта не разрозненными группами, а единым собранным ударным кулаком. Наличие нескольких десятков ручных и станковых пулеметов, тысяча винтовок и карабинов, сотня трофейных автоматов, несколько тысяч гранат в руках людей, готовых сражаться до последнего, — все это представляло большую силу.

В тот день мы никуда не двигались — отдыхали: выспались, отогрелись. Разведчики пригнали десяток лошадей. Жареное мясо получилось отменным. В знак уважения солдаты преподнесли нам жареную конскую печенку. До того она показалась мне вкусной, что и теперь, спустя тридцать лет, я ощущаю ее аромат.

Назавтра, набравшись сил, продолжали поход на север, к линии фронта. Одежда у многих порвалась, сапоги расползлись. Рядом со мной шли боевые друзья — врач Федорова, фельдшер Лаптев. Приходилось только удивляться, как выдерживали хрупкая Людмила Федорова и старый Лаптев невыносимое физическое напряжение. Осунувшиеся лица, опухшие ноги, горящие глаза.

Вера в грядущую победу не покидала воинов. Ее постоянно поддерживали коммунисты. Они несли на себе двойную тяжесть: их посылали в самое пекло боев, в разведку, охранение и засады. Они прикрывали отход главных сил. Личным примером и простым человеческим словом коммунисты поднимали людей в бой с врагом.

Шел десятый день наших мытарств в тылу врага.

Наконец удача нам улыбнулась. Труднопроходимое болото преодолели без особых потерь. Обогрел солнечный денек. К тому же обрадовала разведывательная группа дивизии. Посланная нами еще на второй день нашего отступления, она все это время где-то пропадала и вдруг сегодня объявилась.

Не верю глазам своим — перед нами пятерка рослых ребят. Старший из них, сержант, неторопливо отчитывается за каждый день боевой деятельности.

Мы до сих пор были уверены, что противник находится от нас далеко, чуть ли не под стенами Москвы, а теперь, основываясь на рассказах разведчиков, узнали — линия фронта проходит от нас в каких-нибудь двадцати пяти—тридцати километрах. Обнаружен район сосредоточения танков, огневых позиций артиллерии. Завороженные, слушали мы рассказ разведчиков.

Глебов и я, как мальчишки, не могли скрыть радость.

— Ну, ребята, спасибо за все!

Сержант, ободренный похвалой командира дивизии, продолжал доклад. Ткнув пальцем в карту, он радостно сообщил:

— А вот здесь, на опушке леса, находится деревня, туда проходит лежневка.

Глебов переспросил:

— Что это такое?

— Деревянная дорога наподобие железной. Зимой волокут по ней лес. А вот с этой стороны хутора подходит какая-то железнодорожная ветка.

Мы углубились в карту. На ней не было ни деревни, ни железной дороги, никакой лежневки.

— Что-то не так, — засомневался я, — не путаешь, паренек?

Разведчик развел руками:

— Что вы, товарищ капитан, да я же сам подходил к дороге. Вчера видел там

целый железнодорожный эшелон, вагонов пятнадцать, не меньше. Разведчики мои хотели вскрыть пломбы, но я не разрешил им.

Через час отряд, возглавляемый мною, пробираясь к безымянной деревне. На толкнулись на лежневку и, пройдя километр, не больше, издали сквозь обнаженные деревья увидели товарные вагоны. Стремглав побежали по широкой аллее. Она вывела на опушку леса. Действительно, на заросшей бурьяном узкоколейной железнодорожной ветке стояло с десятков грязно-коричневых товарных вагонов.

Непонятно было только, откуда взялись люди, облепившие последний вагон. Оттуда неслись пронзительные и радостные крики.

Молниеносный прыжок — и глазам моим открылась потрясающая картина: солдаты растаскивали ящики с водкой, некоторые уже были навеселе, один сержант, взмахнув бутылкой, приглашал: «Угощайтесь, капитан, вот и закуска», протягивая мне пачку цикория.

Мгновенно представил себе огромную опасность происходящего. Охрипшим голосом крикнул:

— Выходи из вагона, бросай бутылки! Иначе подорву вагон!

Все замерло.

Первым пробкой выскочил лейтенант, за ним беспорядочно стали прыгать остальные.

— Построиться!

Через несколько минут из карманов, из противогазных сумок, из вещевых мешков, из рукавов шинелей мы вытряхнули несколько сот бутылок.

Постепенно страсти улеглись. Что за люди? Кто послал? Выяснилось: один из отрядов, посланных нами еще утром на поиски продовольствия. Сильно журить я их не стал, понимая их состояние.

В железнодорожном составе оказалось несколько вагонов муки, десятков тонн разной крупы, вагон с водкой и цикорием. В остальных — железные и скобяные товары, всякая хозяйственная утварь.

С эшелоном покончили. Страсти улеглись. Любители Бахуса постепенно смирились. Котелок каши приподнял настроение. Короткий, но крепкий солдатский сон подкрепил силы. Мы приступили к подготовке последнего, решающего броска. Завтра предстояло разведать пути перехода через Ржевский тракт и в следующую ночь осуществить соединение с нашими войсками.

Тяжело заболел командир дивизии. С ним состоялась короткая беседа.

— Я тебе доверяю во всем. Надеюсь, ты доведешь части дивизии до места. За эти четыре месяца совместных боев многие тебя в дивизии стали уважать...

Эти слова меня тронули. Кто из нас не дорожит доверием старших и любовью подчиненных! За первые месяцы боев я нашел свое место в строю и в бою, а ведь когда-то боялся оставить своих танкистов, думал, что потеряюсь среди пехотных командиров, они меня не поймут, не найду с ними общий язык. На деле оказалось не так.

Прикрепив к Виктору Семеновичу врача, я занялся подготовкой к ночному броску.

Карта устарела. В этом мы убедились сегодня, когда не нашли на ней населенного пункта, железной дороги и лежневки. С небольшой группой офицеров тронулся в разведку. По проторенной дороге быстро достигли усадьбы леспромхоза. Стояла тишина, на единственной улице усадьбы вокруг разбросанных в беспорядке домов — никаких признаков жизни.

Ставни полузакрыты, и только возня во дворе кур, гусей и всякой живности показала, что на мертвом хуторе теплится жизнь.

Разослав группу офицеров по домам, вошел с ординарцем в первый попавшийся нам на пути дом. Хозяйка неохотно откликнулась на стук и только после неоднократного требования ординарца впустила нас.

Сумрачный вид женщины насторожил. В углу пугливо жались детишки.

— Что неласкова?

— А что прикажете, плясать от радости? — отрезала хозяйка. — Небось сами видите, что делается вокруг. Все пропало! Погибли мы, погибли!..

— Нельзя же казнить себя, не все еще кончено.

Женщина как ужаленная подскочила ко мне:

— Не кончено, говоришь? Немцы, сказывают, к Москве подходят, намедни слух прошел. Калинин взят, не сегодня-завтра и к нам пожалуют. Кто будет заботиться о нас? Кто защитит нас? — Слезы катились по щекам женщины.— Все отходите, отходите, отдаете нас врагу на поругание. А мы считали вас защитниками... Защитнички! Сами небось пришли дорогу спрашивать. Который день все идут, и у всех одна думка: как назад убраться, как выйти к Ржеву? Небось никто не спрашивает дорогу на запад.

Словно кнутовищем хлестала меня по лицу. Что я мог ответить ей!

А она все не унималась, и, когда в горячке дошла в своих обвинениях до упреков жестоких и несправедливых, взорвался я:

— Спрашиваешь, кто виноват? Я виноват в том, что фашисты подожгли наш дом? Солдат виноват? Что ты раньше времени хоронишь нас? Мы не покойники — мы живые! Понимаешь это? Не хорони нас, мы будем жить, воевать будем!

— Ты мне, командир, лекций не читай,— оборвала она меня.— Мой Иван хватался, все гутарил одно: сунется, мол, кто, в дым развеем,— а теперь небось скитается по лесам...

Напоследок я посулил:

— Мы еще придем к вам. Ей-богу, придем. Сегодня отходим, но мы вернемся, обязательно вернемся. Погоди, прогуляемся по самой Неметчине, по Берлину.

— Дай бог, дай бог, браточек, неужто вернется наше счастье? — как-то вдруг стихнув, обронила женщина.

Я подошел к ней, обнял ее, поцеловал в щеку и попрощался как с родным, близким человеком. Ушел, почему-то твердо уверенный, что рано или поздно когда-нибудь встречу с ней. Я не фаталист, далек от веры в какие-то чудеса, и тем не менее встреча с этой женщиной состоялась.

История ее такова: шел 45-й год. Завершался разгром фашистов в самой Германии. Я со своим адъютантом Петром Кожемяковым на «виллисе» мчался из Москвы на запад, чтобы не опоздать к последней, завершающей Берлинской операции. Ох как хотелось со своими танками войти в Берлин!. Да разве один я в ту пору мечтал об этом.

Наша легковая машина миновала Гжатск, Вязьму, Сафоново. Показалось Ярцево, до Смоленска рукой подать, а там Петро запланировал ночевку. Никак не могу оторваться от карты. Всего одна сотня километров отделяет меня от мест былых боев — Духовщины, Белого, Батурина. Тяжкие дни 1941 года встали передо мной, словно и не прошло четырех тяжелых лет. Задремал и вдруг... передо мной появилась женщина... Та самая смоленская, с которой я встретился в 1941 году, страдающие и укоряющие глаза которой меня сопровождали везде и всюду.

Дальше не стал раздумывать.

— Петро, поворачивай на север. Смоленск от нас не уйдет, едем в один хуторок.

Миновали Батурино, повернули на Белый, здесь должна выручить память. Шофер измотался в поисках нужной дороги. Лежневка вывела к хутору. Остается найти дом. Имени женщины не знал. Как разыскать ее?

И все-таки в этот дом мы попали...

Нас встретил рослый худощавый мужчина средних лет. Пустой рукав пиджака всунут в карман.

Разговорились о фронтовых новостях и, конечно, о цели моего заезда в этот заброшенный хутор.

— Каким временем располагаете?

— К утру хочу попасть на Смоленский тракт.

— Ну и хорошо, придет хозяйка — вместе поужинаем.

Петро втащил в хату чемодан-«гастроном».

Вошла старшая девочка, я сразу узнал ее. За эти годы она вытянулась и поминала стройную березку.

Я снял шинель. Заметив на моей груди Золотую Звезду Героя, хозяин забеспокоился, как бы получше принять меня.

Хозяйка вошла в дом, когда изба была полна народу. Два деда расспрашивали меня про Германию, какая-то пожилая тетка показывала мне конверт, требуя сказать ей, где находится полевая почта, указанная в письме.

Женщина поздоровалась. Вряд ли узнала она в солидном полковнике молодого капитана, которому когда-то в этом же доме высказала все пережитое в дни отступлений.

Выпили по стаканчику, кто-то предложил пропустить по второму. Гости немного захмелели, стали вспоминать довоенные годы.

Какой-то дед выкрикнул:

— Вот жизнь у нас была какая, а теперь проклятый немец все изуродовал!

Глядя на него, вспомнил своего отца. После рюмки водки любил он, вроде этого деда, гудеть на всю хату: «Сынок, вы живете в раю. За вас все делает Советская власть, а мы при Николке в лаптях ходили, голодали».

...Время перевалило за полночь, пора было собираться, а я еще не выбрал момента, чтобы «свести счеты» с хозяйкой дома,— ради нее ведь сделал я крюк свыше сотни километров.

Наконец, подняв рюмку, сказал:

— Друзья мои, хочу поведать вам одну «тайну». На вашем хуторе я не впервой, с хозяйкой этого дома мы уже однажды встречались.

Коротко восстановил тот давний эпизод, а потом обратился к стоящей против меня женщине:

— Ну, дорогая моя, настало время расплатиться со мною! Вы когда-то сказали: если вернемся, ничего не пожалеете для нас. Не уеду отсюда, пока не подадите гуся на стол.

Разразился хохот. Перекрывая невероятный шум, старик, сидящий рядом со мной, кричал:

— Настасья, режь гуся, не позорь нас!

Хозяйка подошла ко мне.

— Вспомнила, ей-богу, вспомнила и наш уговор не забыла.— Опрокинула рюмку, обняла меня, поцеловала и рванулась к двери: — Ваня, я побежала в сарай. Праздник-то какой!

Однако вернемся к печальным событиям осени 1941 года. Наши поредевшие колонны отступали в направлении Ржева. Холодный ветер сметал с деревьев пожелтевшую листву. Леса просвечивались насквозь. Далеко виднелись оголенные деревни и села. В них обосновались вражеские команды. Наступившие холода загнали немцев в избы.

С каждым днем, с каждым боем силы наши таяли. А нам предстояло совершить последний прыжок — через линию фронта. В предстоящую ночь решалась судьба двухтысячного отряда.

Движение на юг по рокадной дороге Ржев — Сычевка оказалось оживленным. Бесперывно шли танки, артиллерия, бесконечной вереницей тянулись обозы. Противник перебрасывал войска в направлении Сычевка, Гжатск, Можайск, по-видимому, для усиления главной группировки, рвущейся к Москве.

Короткий октябрьский день подходил к концу. Незаметно подкралась ночь — наш постоянный боевой спутник.

На огромном поле, примыкающем к оврагу, мы построили необычную колонну, не предусмотренную никакими уставами и наставлениями,— пятьдесят рядов по фронту и в глубину образовали непробиваемую стену. Первую и последнюю шеренги, боковые ряды вооружили гранатами, ручными пулеметами и автоматами. Образовалось нечто вроде живой крепости, неприступной для вторжения. Тысячная масса людей замерла. Нечеловеческими усилиями раненые сдерживали стоны.

По сторонам от главной колонны в двух-трех километрах должны были идти сильные боковые отряды по двести человек в каждом. Перед ними стояла задача оседлать дорогу, задержать немецкие танки и машины, дать зеленую улицу нашим главным силам.

Стрелка часов приближалась к 24.00. Отряды прикрытия тронулись в путь, за ними следовали мы.

Конечно, передвижение такого количества людей не могло пройти бесследно: шуршание травы под ногами напоминало шум прибоя; мучивший всех кашель вдруг про-

рывался наружу. Нервы были взвинчены до предела. Года жизни стоила нам эта ночь: километры казались бесконечными, время как будто остановилось.

Два часа в пути, а нужной дороги все нет. В сторону Сычевки по-прежнему двигаются немецкие танки, тягачи, мчатся машины с включенными фарами.

Казалось, войны для немцев в этом районе не существует.

И вдруг...

Автоматные очереди разрезали ночную темноту, ракеты осветили пасмурное небо. Я облегченно вздохнул: «Наконец-то».

Мощный бросок — и дорога в наших руках. Наконец ворота прорублены — в них хлынула лавина людей, измученная многодневными походами, бесперывными боями, голодная, гневная, готовая смести все на своем пути.

Весь наш отряд поднял неистовый шум — отпала необходимость сдерживать дыхание. Охваченные паникой немецкие танки повернули назад, шоферы с перепугу загнали машины в кюветы, артиллерийские расчеты оставили орудия. Мы стали полными хозяевами на этом участке дороги.

К месту боев подходили новые немецкие колонны. Мы понимали — шоковое состояние противника продержится недолго. Теперь самое главное — оторваться от гитлеровцев и до рассвета соединиться с нашими войсками.

Но осуществить это оказалось нелегко. Рассыпавшаяся колонна наших солдат не внимала команде. Поддавшись неудержимому чувству гнева, многие солдаты погнались за немцами, яростно атакуя противника.

Жажда расплаты затмила доводы рассудка. Между тем задержись мы на этой дороге час-два — и все могло обернуться непоправимой трагедией для отряда.

Пришлось приложить невероятные усилия, чтобы увлечь за собой обезумевших от ярости людей. Я во весь голос кричал:

— За мной! За мной! Вперед!

Никакого действия. Тогда мы образовали плотное ядро вокруг комдива и всей массой бросились через дорогу. Отряд последовал за нами.

Ночью леса казались призрачными, будто плыли в тумане в неведомую даль. Надвигался рассвет. Мы продолжали идти на северо-восток, хотя ноги, налитые свинцом, отказывались повиноваться.

Кто мог подумать, что ждет нас впереди!

Лесные тропы вывели отряд на широкую поляну, а на ней... стояли немецкие орудия с задранными вверх стволами. Позади артиллерии расположились машины, в стороне — ящики со снарядами. Никакой охраны, никакого движения.

Немцы не предполагали увидеть советских солдат у себя в тылу. От неожиданности растерялись, шарахнулись в сторону. Не сразу пришли в себя и мы. Только спустя некоторое время, опомнившись, набросились мы на орудия и машины, забросали гранатами снарядные ящики. Немецкие артиллеристы, застигнутые врасплох, боя не приняли, нырнули в кустарники и скрылись в лесу.

Разгром вражеских артиллерийских позиций, сопровождаемый взрывами, пожарами, оказался загадкой и для наших войск, занимавших позиции в нескольких километрах от нас. Услышав бой, наши передовые подразделения по тревоге изготовились к боевым действиям.

Расправившись с вражеским артиллерийским дивизионом, мы бросились бежать, моля судьбу, чтоб вновь она не столкнула нас с немцами.

Откуда-то с востока грянула наша артиллерия. Над нами пролетели сотни снарядов, упавшие на ту самую поляну, которую мы только что покинули.

Храпунова не покидал юмор:

— Главное, вовремя смяться.

Теперь наступила пора дать о себе знать.

Навстречу летящим снарядам и пулям мы устроили такой фейерверк, какого в жизни никому не приходилось из нас видеть. Ракеты всех цветов озарили небо, крики «ура!» сотрясали воздух.

Человеческая лавина мчалась на манящие огни:

— Братцы, мы свои! Товарищи, мы русские! Ура!

Еще один бросок — и мы в объятьях друзей...

В районе Старицы группа генерала Хоруженко в составе 220-й дивизии и уцелевших частей других соединений вела упорные оборонительные бои с фашистскими войсками. Ей и были переданы вышедшие из окружения части нашей 242-й стрелковой дивизии.

Таким образом я оказался в числе тех, кому выпала честь сражаться на северных подступах к нашей столице.

При отступлении погиб мой верный друг фельдшер Лаптев. Врач Людмила Федорова выдержала все невзгоды первых месяцев войны и осталась с нами на этом участке фронта.

Виктор Семенович Глебов стал начальником штаба группы войск генерала Хоруженко, меня назначили к ним начальником разведки.

Битва за нашу Родину и ее столицу приняла ожесточенный характер.

Бои на Смоленщине, трудные дни отступления стали для нас кузницей, в которой ковалась воля воинов.

Помню день, когда вызвал меня к себе Глебов, чтобы сообщить неожиданное-негаданное:

— Поедешь учиться в академию Генерального штаба, понял, браток?

Новость ошеломила. Мне казалось, что на учебу в те критические времена посылали командиров, без которых можно было обойтись на фронте.

— Как же это, Виктор Семенович? Что я тебе плохого сделал? Испугался, что не справлюсь?

Глебов притянул меня к себе за портупею:

— Чудак ты! Не ты ли поднимал бунт в Батуриных лесах, когда разлучили тебя с танкистами?

— Виктор Семенович, пойми меня, дружище, жизнь вносит свои поправки. Как же можно оставить фронт? Я стал разведчиком, полюбил эту опасную и сложную военную профессию. Люблю своих смелых ребят. И главное — теперь, когда фрицы не сегодня-завтра начнут драпать на запад, вы лишаете меня возможности драться за победу.

Мы присели на широкую, грубо отесанную деревенскую скамеечку. Виктор Семенович опустил голову и уже другим тоном заговорил:

— И мне нелегко с тобой расставаться. За несколько лет совместной учебы сблизился с тобой, шесть месяцев боев на Западном фронте сроднили нас. Бои на Смоленщине, отступление и окружение — разве это так легко забывается?.. Нет, дорогой мой, это останется на всю жизнь... Но надо реально смотреть на вещи. Война только начинается. Ты, я, многие тысячи, миллионы людей потребуются в решающих и завершающих сражениях за нашу Родину.

Ординарец Глебова принес завтрак, горячий чай. Разговор продолжался за столом.

— Ругай меня, не ругай — дело решенное. Твою кандидатуру я сам выдвинул, меня в этом поддержали генерал Хоруженко, бригадный комиссар Дубовской. Все мы единодушно решили, что ты заслужил право на учебу. Вчера тебе присвоили звание майора, вторично представили к ордену, что еще хочешь? В тылу тебя ни в чем не будут упрекать.

На этом разговор оборвался. Глебов торопился. Его штаб сегодня перемещался в другое место.

Расстались сурово, по-солдатски.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

НАУКА О ЛИТЕРАТУРЕ СЕГОДНЯ

Д. БЛАГОЙ,
член-корреспондент Академии наук СССР

★

ДУША В ЗАВЕТНОЙ ЛИРЕ

Какова наука о литературе сегодня? На этот важный и очень своевременно поставленный редакцией «Нового мира» вопрос для наглядности отвечу сравнением.

Лет пятнадцать тому назад на одном из общих собраний штаба нашей науки — отделения литературы и языка АН СССР, возглавлявшегося академиком В. В. Виноградовым, — я выступил с программой «больших дел» — подготовки капитальных трудов по истории литературы. Я предлагал взяться за создание, во-первых, единой истории литературы народов Советского Союза, в том числе, конечно, и русской, во-вторых, синтетической истории всех литератур мира, в-третьих, синтетической истории всех искусств сперва отдельных народов, а затем и всеобщей, включая в нее и искусство слова — художественную литературу, обычно от остальных искусств отделяемую. Предложения мои нашли весьма сочувственный отклик, в частности со стороны покойного академика А. И. Белецкого. Но как к совершенно нереальным, романтически-беспочвенным затеям отнеслось к ним тогдашнее руководство отделения. Впрочем, я и сам предвидел это, заранее назвав свои предложения «историко-литературными мечтаниями».

Ныне на наших глазах некоторые из этих «мечтаний» осуществляются. Заканчивается создание единой истории советских литератур СССР. В очередь дня поставлено написание такой же истории литератур народов дооктябрьской России. С большим подъемом и, как есть основания считать, успешно ведется возглавляемая Институтом мировой литературы имени Горького АН СССР работа над многотомной историей всемирной литературы.

Но и в то время, о котором я вспоминаю, советские литературоведы не только «мечтали». С начала 50-х годов коллектив сотрудников отдела русской литературы ИМЛИ при участии некоторых ученых Института русской литературы АН СССР (Ленинград) начал работать над трехтомной историей всей русской литературы (с древнейших времен до 1917 года), задача которой заключалась в установлении не только общецентрических, но и — главное — внутренних закономерностей ее развития и которая в соответствии с этим строилась не традиционно, а в порядке синхронного развертывания литературного процесса в целом, без выделения монографических глав об отдельных писателях. Казалось бы, не только описание отдельных явлений исторически развертывающегося ряда, но и установление законов, этим развитием управляющих, является естественной целью каждой науки. Но многие хорошо помнят, какую неожиданную и острую борьбу пришлось выдержать инициаторам этой работы, которых в разгоревшихся дискуссиях упрекали и в «культе безличности», и в том, что самое понятие закономерностей в деле искусства недопустимо, ибо наличие их нарушило бы творческую свободу писателя. Каждое великое произведение — чудо, возражал нам один из весьма авторитетных оппонентов Н. К. Гудзий. Лев Толстой, пояснил он, написал «Войну и мир» и лишь много спустя «Воскресение»; но если бы он захотел, он мог бы поступить прямо противоположным образом — в 60-е годы написать «Воскресение», а в 90-е — «Войну и мир», и в обоих произведениях ничего бы от этого не изменилось. Тем не менее трехтомную историю литературы удалось по задуманному плану осуществить. Это была

экспериментальная работа — первый и во многом недостаточный шаг. Но зато идея необходимости изучать закономерности литературного развития ныне, как и следовало ожидать, получила всеобщее признание — без осознанного стремления к этому не обходится у нас теперь ни один сколько-нибудь значительный труд по истории литературы.

Но о плодотворном поступательном движении нашей науки о литературе свидетельствует не только ее возросший теоретический уровень, обусловивший стремление к большим научным делам. Вдумываясь в сегодняшнее состояние нашей науки, есть все основания утверждать, что никогда еще за советское время она не жила такой интенсивной жизнью. Расширился, можно сказать, до своих естественных границ круг изучаемых явлений. В поле научного изучения включены все — не только «прогрессивные», но (без этого нельзя научно осмыслить литературный процесс) и противоборствующие им, «реакционные» явления литературы. В соответствии со все полнее реализуемым замыслом инициатора создания московского академического Института мировой литературы Максима Горького в нем изучается все большее число литератур земного шара — от античности и древнего Востока до современности, в том числе почти совсем еще не исследованные литературы народов Африки. Все шире охватываются явления нашей и зарубежной критической и эстетической мысли. Дают молодые побеги некоторые усохшие было ветви нашей науки и возникают новые ее ответвления. Помимо заглохшего одно время и опять усилившегося интереса к вспомогательным научным дисциплинам (текстологии, библиографии, стиховедению и т. п.), внимание исследователей снова привлечено и к таким существенным областям, как теория литературы (не догматически утверждаемая, а в ее историческом освещении), как сравнительно-исторические и типологические изучения, как стилистика, поэтика. Возникают комплексные исследования литературных явлений силами представителей других наук, предмет которых тесно связан с предметом литературоведения, таких, как лингвистика (возникновение лингвостилистики), как искусствоведение и эстетика (здесь контакты, естественно, должны быть особенно тесными), как психология (возросший интерес к психологии не только творчества, но и чита-

тельского восприятия — к неразрывному триединству: писатель — произведение — читатель). Литературоведческим проблемам начинают посвящать свои работы даже представители точных наук, в особенности математики, кибернетики.

Особенно важной чертой литературоведческих изучений последних лет является их, так сказать, «раскованность», стремление на всех путях к объективно-научной истине как основной цели, к освобождению от предвзятых схем, формул, догматически воспринятых в качестве необходимого ориентира, а порой даже заранее данного ответа на проблемы, еще подлежащие глубокому научному исследованию.

Но именно в силу этого со всей остротой встает вопрос о необходимости внутренней научной дисциплины исследователя — выбора, в качестве основного, руководящего, такого метода, который наиболее соответствует не только специфике предмета науки о литературе, а и уровню всей современной нам научной мысли вообще.

Ведь именно недостаточное владение таким методом является причиной того, что наряду с крупными достижениями в области нашей науки печатается немало книг и статей, имеющих сугубо описательный характер (это еще полбеды: предварительное описание изучаемого предмета тоже необходимо); появляются и такие (это уже беда полная), авторы которых вместо глубокого научного анализа предпочитают путь весьма эффектных, но субъективных домыслов, если не прямо измышлений (очень сложная и тонкая природа изучаемого предмета — художественной литературы — открывает этому широкий простор), а порой и прямо подменяют специфические требования и соответствующие средства и приемы научного исследования средствами и приемами, для этого совсем не предназначенными. Причем сталкиваться с подобным случается в практике не только дилетантов от литературоведения, стремящихся сделать свои опусы наиболее доступными и привлекательными для самых широких читательских кругов, но порой и видных наших ученых.

Сейчас печатается работа (в 12-м номере «Звезды» за 1970 год опубликована очередная ее часть) Б. И. Бурсова, написанная на крайне сложную и ответственную тему — «Личность Достоевского» и снабженная весьма необычным и странным подзаголовком — «роман-исследование». Подза-

головок себя не оправдал, но он толкнул автора на путь, который, надо прямо сказать, ни к чему доброму не привел. Исходя в своей работе из пресловутого положения об исконной преступности натуры Достоевского и, к великому сожалению, еще более огрубив его, Б. И. Бурсов утратил в ней присущие ему качества серьезного исследователя и вместе с тем ни в какой мере не стал романистом.

Прошу автора извинить мне резкость тона, которой я не смог избежать, поскольку веду речь именно о выборе метода, обеспечивающего подлинную научность нашей науки о литературе. Вопрос же этот исключительно важен потому, что неудовлетворенность научным уровнем литературоведческих исследований, поиски путей, следуя которым можно было бы этот уровень поднять, проходят буквально через всю историю литературоведения.

Особенной остроты отрицание основных методов и направлений дореволюционного литературоведения достигло в период начавшейся переоценки всех ценностей, в преддверии Октябрьской революции, в работах молодых ученых, объединившихся в так называемое Общество изучения теории поэтического языка (ОПОЯЗ) — колыбели новой формальной школы литературоведения, наиболее интенсивная деятельность которой приходится на 20-е годы. Сделав в отличие от своих предшественников (сторонников биографического, психологического, историко-культурного методов) именно литературу как искусство слова непосредственным предметом изучения (в этом и заключалась важнейшая заслуга школы), осуществить поставленную основную задачу — создать настоящую науку о литературе — она в силу исходных методологических позиций ее теоретиков (абсолютное замыкание литературы даже не в саму себя, а в свой материал — язык; принципиальный разрыв всех ее связей с жизнью, с реальной действительностью) не смогла. Это поняли и сами теоретики, которые в дальнейшей своей работе в большей или меньшей степени от этих позиций отошли и стали в ряды виднейших советских ученых. Казалось бы, и возвращаться к этому незачем, тем более что о формализме, как и о других этапах развития советского литературоведения, беспристрастно и точно рассказал в своей только что опубликованной на страницах «Нового мира» статье

«Октябрь и филологические науки» Н. И. Конрад.

Однако все это отнюдь не только прошлое. В наши дни снова резко обострившихся методологических исканий теория и практика формализма (и как такового, и особенно в дальнейшем его развитии) опять громко заявляет о своих преимущественных правах на создание подлинной литературоведческой науки. То, что совсем недавно были переизданы многие теоретические работы наиболее крупных деятелей ОПОЯЗа, хорошо: представляют интерес не только их очень тонкие формальные анализы, с точки зрения развития нашей науки и ошибки их имеют свое значение. Но (если это секрет, то секрет полишинеля) сам метод этих работ и его теоретические основы опять привлекают к себе повышенно сочувственное внимание в кругах нашей научной молодежи, да и не только в этих кругах.

В минувшем году вышла в свет новая книга Виктора Шкловского «Тетива. О несходстве сходного», написанная в присущей ему и по всему весьма впечатляющей научно-лирической манере и в значительной своей части посвященная ОПОЯЗу и его деятелям. Снова подчеркивая, что это давно пройденный этап, Шкловский выдвигает формулу: «мы отрицаем старое, но не отрекаемся от него». Двойственность, присущая этой формуле, обнаруживается и в самой книге. Особая глава ее посвящена шумевшей в свое время и, в сущности, программной статье Б. М. Эйхенбаума «Как сделана «Шинель» Гоголя», переизданной в вышедшем в 1969 году сборнике его статей «О прозе». «Замечательная статья...» говорится о ней в книге Шкловского. — Из нее многое выросло... Она определила очень много в будущем анализе прозы. Понятна связь метода В. В. Виноградова, его анализа «Бедных людей» с работой молодого Эйхенбаума». Однако даваемый Шкловским пересказ («перерешение», как он это называет) данной «прямолинейно-блистательной статьи» находится в полном противоречии с ее теоретическими основами, которых Шкловский вообще не касается и которые представляют собой, однако, своего рода квинтэссенцию формализма.

«Нет, весь я не умру — душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». Мы со школьных лет знаем эти пушкинские строки. А ведь если вдуматься, в них исключительно точно определена самая

суть поэзии в широком смысле этого слова — литературы-искусства. В ее созданиях запечатлена «душа», жизнь их творца — и его внутренний мир, и внешняя действительность, эстетически им преломленная. И «душа» эта продолжает жить, точнее оживает — «воскресает», — в сопереживающем внутреннем мире читателя. А вот как понимается это Эйхенбаумом в статье о «Шинели»: «Душа художника... всегда остается и должна оставаться за пределами его создания. Художественное произведение есть всегда нечто сделанное, оформленное, придуманное — не только искусное, но и искусственное в хорошем смысле этого слова, и потому в нем нет и не может быть места отражению душевной эмпирики» (разрядка автора). «Шинель», как живое произведение искусства слова, — мы знаем — сыграла исключительно видную роль в дальнейшем развитии русской классической литературы, ее гуманистических, освободительных идей и чувств. По Б. М. Эйхенбауму, ничего этого в самой повести Гоголя нет, а лишь «привносится» в нее, как и в другие произведения художественного слова, «нашими наивными и чувствительными историками литературы». Так иронически трактует Эйхенбаум «знаменитое «гуманное» место, которому так повезло в русской критике... «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете». «Он из пропавшей у чиновника шинели сделал нам ужаснейшую трагедию» — эти слова принадлежат не наивному и чувствительному историку литературы, а одному из гениальнейших ее представителей — Достоевскому. Но то, что для Достоевского — «ужаснейшая трагедия», для автора статьи не что иное, как «художественный прием, превращающий комическую новеллу в гротеск». Вся же гоголевская повесть, утверждает он, как это и подобает каждому литературному произведению, — всего лишь более или менее удачное «сцепление» приемов. Методология эта определяет собой и методику литературоведческого исследования, программно подсказываемую заглавием статьи. Изучать надо не что в литературе, то есть не сами художественные произведения с их «душой в заветной лире», ибо таковой вообще в них не существует, а как, какими приемами и каким способом «сцепления» этих приемов («игрой» с материалом искусства слова — языком и «игрой с реальностью», которая, в свою очередь, является

лишь материалом для такой литературно-словесной «игры») это сделано.

Коренным недостатком предшествовавших литературоведческих школ являлся уход из центра на периферию, отход от своего непосредственного предмета — литературы как таковой — в смежные области — биографию писателя, психологию, историю общественной мысли. Опоязовцы правильно поставили в центр изучения саму литературу, но, превратив ее автономию в абсолютную независимость от всего, что не литература, они выхолостили ее сущность, ее обездушили.

Поэтому естественно, что против теоретических основ формализма выступили тогда же не только литературоведы-«социологи» 20—30-х годов, а и писатели (например, Константин Федин в метко ироническом «фельетоне» «Мелок на шубе», 1920). Крупнейший ученый-психолог Л. С. Выготский тоже был резко не удовлетворен состоянием и уровнем науки о литературе. Острой критике наиболее популярных в то время литературоведческих направлений, в том числе (наряду с потебнианством, попытками применения к изучению литературы психоаналитических методов школы Фрейда) и понимания учеными формальной школы литературы как приема, посвящен первый большой раздел его книги «Психология искусства». Однако, справедливо оспаривая односторонний «интеллектуализм» школы Потебни с выдвинутой ею формулой «искусство как познание», сам Выготский полностью отрицает какое бы то ни было познавательное значение художественной литературы, имеющей право называться искусством слова. Литература, говорит он, конечно, оперирует жизненным материалом, но, оформляя его средствами искусства, трансформирует этот материал до такой неузнаваемости — «уничтожает формой содержание», — что «всякая попытка познать что-либо через произведение искусства является методологически ложной». Исходя из этого, автор следом за формалистами вовсе выводит историко-культурную школу за пределы науки о литературе.

Уничтожение формой содержания — этот «закон» искусства и определяет его «психологию» — «эстетическую реакцию», вызываемую литературой, ее «катарсическое», очищающее, воздействие. Оставляю психологический аспект этой концепции автора в стороне; по-настоящему судить о нем —

дело специалистов. Но утверждает он ее путем анализа различных произведений литературы, где уже выступает как ученый-литературовед и с совершенно определенных методологических позиций.

В еще большей степени, чем даже опоязовцы, отрывая — своим «законом» уничтожения формой содержания — литературу от жизни, Выготский в этой позитивной части своего труда неизбежно оказывается на том же пути обездушивающей формализации искусства слова.

Очень показательный тому пример — анализ автором пушкинского «Евгения Онегина», где он прямо опирается на ряд теоретических положений ученых формальной школы, причем использует и некоторые положения психоанализа, тоже ранее им оспаривавшиеся, хотя с оговоркой, что в теории Фрейда «заложены» «громданные теоретические ценности».

Пушкин в своем романе в стихах задумал впервые в нашей литературе развернуть широчайшую картину «века» — современной ему русской жизни первой трети XIX столетия — и «изобразить» русский же вариант «современного человека». Замысел этот был гениально осуществлен. В руки читателей была вложена художественная «энциклопедия русской жизни», явившаяся первым и великим актом самосознания русского общества (то, что эти определения Белинского стали школьно известными, никак не снимает их истинности); явлен первый блистательный образец пушкинской поэзии действительности, ставшей краеугольным камнем всего последующего русского критического реализма; создано одно из величайших творений мирового искусства слова. В интерпретации же Выготского главный герой романа — отнюдь не художественный образ огромного типического наполнения (категорию типичности как одного из существенных свойств искусства слова Выготский вообще склонен подвергать «величайшему критическому сомнению»), а всего лишь «имя», «знак героя» (слова Тынянова, пространными цитатами из высказываний которого это утверждение и подкрепляется), необходимый для того, чтобы придать иллюзию «единства» «немотивированно»-противоречивой динамике романа, являющейся его «конструктивным фактором». А все произведение оказывается лишь рассказом о «необыкновенной, безысходной и потрясающей любви» (имеется в виду вспыхнувшая страсть Онегина

к Татьяне в заключительной главе романа), рассказом, построенным на парадоксально не соответствующем этому материалу (Онегин первых глав) и именно потому нарочито выбранном Пушкиным (именно такой выбор Выготский считает еще одним законом искусства). Не много же осталось от неисчерпаемого богатства пушкинского творения!

Столь же показателен для литературоведческих приемов исследователя анализ бунинского «Легкого дыхания», который, при всей его эстетической тонкости и, можно сказать, почти художественном изяществе, ведется автором (как и в статье Эйхенбаума о «Шинели») в плане того, как сделана новелла Бунина, ее «анатомии» и «физиологии». Только Выготский идет еще далее: для наглядности прилагает геометрический чертеж «диспозиции и композиции» произведения. Все это представляет интерес, но вывод, который делается автором (на мой взгляд, весьма произвольный), ведет все к тому же — к выветриванию из произведения жизни, его одушевляющей, к его обездушиванию. В произведении — не трагедия только что начавшей расцветать чарующей юной жизни с ее таким «легким дыханием», грубо затоптанной и загубленной временем — периодом реакции после 1905 года, порой огарков, эпидемий школьных самоубийств и т. п., — а порождено оно чисто литературным заданием, представляет своего рода эстетический эксперимент: преодолеть художественной формой «трудный, сопротивляющийся материал», «заставить ужасное говорить на языке легкого дыхания».

Оригинальная и талантливая книга Л. С. Выготского написана им еще в 20-е годы, и это, конечно, наложило на нее определенный отпечаток. Очень вероятно, что в дальнейшем, подобно теоретикам ОПОЯЗа, автор во многом и многом отошел бы и от своих замкнутых только в психологию формы концепций, и от своих односторонне формальных анализов. Признаком этого словно бы является и заключительная глава книги, в которой много верных мыслей о социальном значении искусства и т. п.

Но для нас сейчас дело не в этом. Первые изданная только в 1965 году (через тридцать один год после смерти автора), книга Выготского встретила весьма сочувственный резонанс и получила чрезвычайно высокую оценку в двух статьях, сопровождающих ее второе издание (1968), что де-

лает критическое рассмотрение книги весьма актуальным и для сегодняшнего дня. Главное же, что труд Выготского, как «предшественника кибернетики» и науки о знаковых системах — семиотики, взяли на вооружение представители самой новейшей у нас литературоведческой школы, деятельность которой развернулась за последние годы и все расширяется, — так называемого структурализма.

В той же мере, что и в годы возникновения ОПОЯЗа, появление этой школы вызвано неудовлетворенностью современным литературоведением, его «приблизительностью» и стремлением придать ему возможно большую научность. Но если теоретики формальной школы стремились обрести исковую научность в сближении с лингвистикой, структуралисты считают, что она может быть достигнута путем применения к изучению литературы методов самой точной из точных наук — математики.

С подобным стремлением приходилось встречаться ранее. Полушутку, но и полу-всерьез можно сказать, что первым опоязовцем («ремесло поставил я подножием искусству»), а затем и первым «структуралистом» был поставивший своей задачей поверить «алгеброй гармонию» пушкинский Сальери. Тяготение к математике испытывали в начале XX века некоторые представители и так называемой академической науки (применение статистических методов), и ученые формальной школы, с которой в порядке преемственной связи структурализм из всех предшествовавших ему литературоведческих направлений связан наиболее. Еще в 20-е годы Выготский с основанием упрекал Эйхенбаума, что в некоторых его утверждениях «формализм, который начал с необычайного внимания к конкретной форме, вырождается в чистейшую формалистику, которая к известным алгебраическим схемам сводит отдельные индивидуальные формы». В наши дни небывалого научно-технического прогресса, когда математика, как наивысшая мера точности, играет такую колоссальную роль, не удивительно, что стремление к математизации литературоведения с целью снятия его «приблизительности» особенно возросло.

В известной степени приложение математических методов вполне допустимо и в литературоведении, но попытка математизировать всю науку о литературе как таковую абсолютно противоречит самой природе изучаемого материала, который менее

всего поддается переводу в алгебраические схемы, в котором категория качества (в математике — по словарному определению, «совокупности наук, изучающих величины, количественные отношения, а также пространственные формы», — она, в сущности, отсутствует) играет с самого начала важнейшую роль. Тот же Сальери совершенно точно, как это всегда у Пушкина, указывает и цену, которой он вынужден был оплатить проверку искусства алгеброй: «Звуки умертвив, музыку я разъял, как труп». К полнейшему обездушиванию литературы как объекта литературоведческих изучений неминуемо и повела бы последовательно примененная математизация нашей науки. Это подтверждается и практическим результатом некоторых структуральных исследований.

Помимо устремления в математику, наш литературоведческий структурализм имеет и свои с этим связанные философские корни. Во втором томе «Ученых записок» Тартуского университета «Семиотика. Труды по знаковым системам» (всего вышло пока четыре тома таких «Трудов») напечатана рецензия «на незаслуженно забытую», как указывается в предисловии редколлегии, книгу Я. Лишцбаха «Принципы философского языка. Опыт точного языкознания», изданную в Петрограде в том же 1916 году, когда начала разворачиваться и деятельность ОПОЯЗа. Основная мысль автора — утверждение, что человечество неизбежно перейдет в своем дальнейшем развитии к языку математики. Это и будет высшим этапом развития, этапом, равносильным по значению возникновению языка вообще, отделившему человека от животных. Это будет «язык без словаря и без грамматики. Ибо словарь и грамматику заменяют здесь правила математики. Этимологией является здесь геометрия, а синтаксисом — алгебра». Понятно, хотя сам автор об этом и не говорит, что при переходе на такой высший язык едва ли останется место для искусства слова, ибо не будет и самих слов — прогноз мало утешительный не только для литературоведов, а и для писателей, но, по существу, уже сохранившийся в приведенных мною словах Сальери. Свою концепцию автор этой по своему примечательной книги, над которой реют тени Фрейда и Ницше, Шопенгауэра и творцов древнеиндийской философии, опирает на тогда считавшуюся чуть ли не последним словом науки теорией энтро-

пии — постепенного уравнивания всех физических процессов, происходящих в природе, что в конечном счете приведет к так называемой «тепловой смерти» — концу всего мироздания (концепция, кстати, убедительно оспоренная Энгельсом). Правда, все это произойдет через неизмеримо большее количество времени, но со случаями «частичной энтропии» — тенденции всего сущего к сглаживанию, упрощению, нивелировке — мы постоянно и во всем встречаемся, утверждает автор. Выражением такой «частичной энтропии» в математике, говорит он, является окружность; в жизни социальной — стремление к равенству всех; в сфере же общения людей, очевидно, такой же «частичной энтропией» автором мыслится и предельно упрощенный математический язык.

О книге Линцбаха можно было бы и не упоминать, тем более что сам автор рецензии на нее скептически относится к искусственному созданию математического языка, а философских предпосылок этого просто не касается. Но в той же рецензии подчеркивается, что «книга Линцбаха должна войти в список основных трудов по общей семиотике». В частности, понятие «энтропия» прочно вошло в терминологический обиход представителей структуральной школы. Главное же, что тенденция к «энтропическому» упрощению, нивелировке стала как бы их внутренним двигателем. Разве не такой нивелировкой, резко противоречащей специфической природе эстетического восприятия, является кибернетическое обозначение того, что дает художественная литература читателю обезличивающим ее словом «информация»; или не менее обезличивающая замена понятия «произведение искусства слова» термином «текст». А к чему логически это приводит, видно из статьи Ю. Н. Чумакова «Состав художественного текста «Евгения Онегина», только что появившейся в сборнике «Пушкин и его современники» (Псков, 1970), в которой «равноправным и полноценным в художественном отношении» самому роману — наглядный пример эстетической энтропии — объявляются приложенные к нему в конце авторские примечания, которые во многих случаях носят чисто пояснительный характер (традиция, существовавшая в нашей литературе еще со времен Кантемира). Равным образом концом романа провозглашается не то, на чем с исключительной художественной выразительностью закончил его сам

поэт, а последняя строка от тоже приложенных к роману отрывков опущенной поэтом главы о путешествии Онегина: «Итак, я жил тогда в Одессе...»

Все мною сказанное отнюдь не исключает возможности и даже необходимости пристальнейшего изучения литературы и со стороны ее художественных форм. Очень много ценного внесли сюда и ученые формальной школы, и автор книги «Психология искусства», вносят подчас весьма свежие и интересные наблюдения и сегодняшние структуралисты (в частности, имеются они и в статье Чумакова). Могут быть применены здесь и математические методы вплоть до составления статистических таблиц, графических схем, геометрических чертежей. Никак не должна наука о литературе отмежевываться и от научно-технического прогресса наших дней. Наоборот, немалую помощь могут принести ей (например, в решении давно назревшей задачи — составлении серии словарей языка писателей) и электронно-вычислительные машины.

Но все это при одном непременном условии — не превращать методологию литературоведения в его методологию; не уничтожать содержание литературы «формалистикой», не подменять изучения живой сущности слова — «души в заветной лире» — анатомированием любого рода, сколь бы тонко и изощренно это порой ни производилось.

Несомненно, существуют глубиннейшие связи между художественным мышлением и мышлением научным — «алгеброй» и «гармонией» (вспомним слова того же Пушкина, что «вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии»). Мало того, эти два типа мышления порой очень сильно воздействуют друг на друга. Замечательно в этом отношении заявление одного из крупнейших ученых нашей современности Альберта Эйнштейна, что созданию своей теории относительности он в большей мере, чем научным работам физиков и математиков, обязан творчеству Достоевского. И конечно, воздействовало на Эйнштейна оно потому, что в художественной литературе есть не что такое, чего нет ни в какой другой сфере человеческого восприятия и познания, что это нечто свое, ей исключительно присущее, бесконечно ценно и нужно для человечества и что именно это — то нечто и является основным объектом науки о литературе, требующим и своего особого метода изучения.

Метод этот подсказывается самой природой ее материала как искусства слова, а значит, и искусства мысли. Только подымая и изучение литературы на тот высочайший уровень, которого достигло научное мышление наших дней — на высоту марксистско-ленинской диалектики, — можно достичь и все большей и большей научности нашего литературоведения. Только на этом уровне можно научно осознать диалектику писателя и его времени, свободы творчества и закономерностей (как общ исторических, так и специфических — «внутренних») развития литературы, преемственности — литературных связей, влияний — и индивидуального своеобразия, диалектику конкретного и общего, в художественном произведении — лица и типа, «образа писателя» и созданного им мира героев... Точно так же лишь на этом уровне можно научно понять и такие не поддававшиеся этому сложнейшие литературные явления, как, скажем, «тайну» Фета, о которой твердили его современники и какой осталась она и до нашего времени, — кричащее несоответствие его сотканной из тончайших человеческих чувств лирики природы и любви и его реакционно-воинствующего, безотрадно-пессимистического мировоззрения. На этом уровне можно найти истинный ключ и к еще более сложной «личности Достоевского», к тому, чтобы отдалить страстные философско-этические изыскания писателя, подобно Радищеву, «уязвленного страданиями человечества», вылившиеся в его единственное в своем роде творчество со всеми его высотами и глубинами, от той «достоевщины», которую декадентски только и вычитывали из него, тем самым его на нее разменивая, многие из его бесчисленных поклонников и псевдоучеников у нас и на Западе.

Стать марксистско-ленинской дисциплиной — к этому с самого начала и стремилось советское литературоведение. Это и является на всем протяжении его развития отличительной его чертой.

Порыв к овладению именно таким типом научного мышления был у «социологов» 20—30-х годов. Но тогда в силу подобной же «детской болезни левизны», которой страдали и первые — «авангардистские» — работы опоязовцев, порыв этот разрешился срывом.

И все же советское литературоведение продолжало развиваться по этому руслу и к нашему времени — в результате пятидесятилетнего опыта исканий и промахов, ошибок и достижений — добилося несомненных успехов.

Но достигнутое отнюдь не предел. В связи с этим мне хочется в заключение подчеркнуть важность еще более глубокого освоения диалектической марксистско-ленинской концепции исторического развития. «В наше время, — пишет Ленин, — идея развития, эволюции, вошла почти всецело в общественное сознание, но иными путями, не через философию Гегеля. Однако эта идея в той формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонняя, гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяющее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе («отрицание отрицания»), развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой линии...»¹.

Об этом восходящем, «так сказать, по спирали» характере развития Ленин неоднократно говорит и в своих «Философских тетрадах». Концепция эта противоречит как прямойлинейно-наивным — «метафизическим» — представлениям просветителей XVIII века (восхождение по прямой линии), так и популярной по сей час на Западе теории Вико (развитие по «энтропически» замкнутому кругу), и по существу своему имеет глубоко оптимистический характер. В то же время она еще недостаточно принимается во внимание не только литературоведами, но и вообще представителями гуманитарных наук. Между тем значение ее для историков литературы, в частности для решения проблем о прогрессе и регрессе в искусстве, трудно преувеличить. А одно из относящихся сюда положений Ленина: «Каждый оттенок мысли — круг на великом круге (спирали) развития человеческой мысли вообще»² — многое проясняет и в полувековом развитии по малому разомкнутому кругу нашей советской науки о литературе.

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 55.

² Там же, т. 29, стр. 221.

ИРАКЛИЙ АНДРОНИКОВ,
доктор филологических наук

★

ЧИТАТЕЛЬ И СТО ШЕСТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ

1

Если при вас пойдет разговор о нашем литературоведении, о его достижениях и недостатках — напомните собеседникам о существовании «Литературного наследства» и «Библиотеки поэта». И даже самый рьяный ниспровергатель вынужден будет признать высокий класс советской литературной науки.

Сорок лет исполняется в этом году со дня выхода первого сборника «Литературного наследства». И все сорок лет крохотный коллектив редакции во главе с инициатором издания И. С. Зильберштейном и С. А. Макашиным руководит огромным коллективом ученых — авторами восьмидесяти трех бесценных томов, каждый из которых, за исключением, может быть, каких-нибудь двух или трех статей, может служить эталоном обстоятельности, точности, полноты и «долговременности» научных исследований. И при этом — ясное и точное изложение, стиль научный и одновременно «приличный предмету» исследования.

А замысленная А. М. Горьким «Библиотека поэта»! Как расширились благодаря ей наши представления о русской поэзии, о поэзии народов СССР. Сколько новых, ранее неизвестных текстов введено в научный оборот и стало известно читателю. Если собрать воедино все находки, все первые публикации «Библиотеки поэта», можно было бы составить особую «Библиотеку новинок». Как серьезно, обстоятельно исследован вклад каждого из поэтов в общую сокровищницу поэзии, как убедительно определено его значение и место в ряду других. И снова — все научно и все доступно любому читателю. И надо сказать, что

весьма велик вклад в это дело В. Н. Орлова, в продолжение многих лет руководившего «Библиотекой поэта».

Или вспомним академическое издание Пушкина, для которого прочитаны все черновики, все редакции, все, что написано, перечеркнуто, переписано неутомимым пушкинским пером. Навсегда создан свод пушкинских текстов, свободный от субъективного вкуса редактора, ибо труд здесь, по существу, коллективный, отражающий согласное мнение специалистов... А девностотомный Толстой! Да разве только эти издания отражают общее высокое состояние советской литературной науки! А труды А. В. Луначарского, В. В. Воровского, В. В. Виноградова, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума, Г. А. Гуковского, Б. В. Томашевского, Н. И. Конрада, В. Б. Шкловского, Д. С. Лихачева, М. М. Бахтина, С. М. Бонди, В. Н. Орлова, Б. А. Бялика, С. С. Ланда, Б. Л. Сучкова, В. Г. Базанова, Б. И. Бурова и других, вплоть до работ Ю. М. Лотмана и его группы. Я потому называю их, что, говоря о литературной науке, имею в предмете не только книги последнего времени, но то, что накоплено за долгие годы и продолжает питать научную мысль. Нам есть что предъявить миру, не говоря о том, что наша академическая наука в лучших своих образцах свободна от академической замкнутости и обращается не только к узкой среде специалистов, но и к сравнительно широкому кругу читателей.

Чтобы судить о том, насколько широк в наши дни этот круг, надо сравнить тиражи. Если в 1929 году «Арханглы и новаторы» Ю. Н. Тынянова были изданы в количестве трех тысяч экземпляров, то в 1969 году та же работа выпущена тиражом в 70 ты-

сяч. Эту цифру можно было бы значительно увеличить, ибо книга исчезла с прилавков буквально в несколько дней. Заметьте: речь идет о теоретических работах Тынянова. Я не говорю о его романах.

Доступнее, нежели теория, историко-литературные и биографические исследования. И все же разве не удивительно, что книга И. Л. Фейнберга «Незавершенные работы Пушкина» выдержала за короткий срок пять изданий. А труд В. Б. Шкловского о Л. Н. Толстом напечатан в количестве 255 тысяч. Если же заглянуть в библиотечные формуляры и прибавить тех, кто записан на книгу в очередь,— речь пойдет о миллионах читателей. Что же касается частных историко-биографических проблем, таких, скажем, как обстоятельства гибели Пушкина или Лермонтова, то они доступны решительно всем, имеющим среднее образование и знающим имена великих поэтов.

Этим неутолимым интересом читателей пользуются иногда лица, далекие от литературной науки, протаскивающие в печать вздорные утверждения вроде того, что Лермонтова убил не Мартынов, а некто, сидевший в засаде, или что на Дантесе в день поединка с Пушкиным под мундиром была кольчуга. Просачиваясь на страницы журналов, эти писания дезинформируют огромную читательскую аудиторию. И хотя странно было бы относить дилетантские упражнения к недостаткам литературной науки, все же в какой-то мере это говорит о недостаточном научном контроле над подобными сочинениями. И надо подумать о предварительной научной экспертизе подобных «гипотез», авторы которых безответственно используют небывалый интерес читателей к истории нашей литературы.

2

Хотя, как мы видим, число читающих литературоведческие труды велико, их могло бы быть во много раз больше. Но с а м о м у ш и р о к о м у кругу читателей далеко не все работы доступны: большинство трудов предполагает знание истории предмета и литературы предмета. Поэтому, бывает, обращаясь к литературоведческой книге, читатель не может осилить ее и пишет: «трудна для понимания», «написана сложно», «специальная книга». А потребность углубиться в предмет огромная. И следует вопрос: «Что почитать?»

Предвижу законное возражение: а надо

ли уж так стараться о том, чтобы этот широкий читатель вникал в закономерности историко-литературного процесса, интересовался теоретическими вопросами? Должны ли ученые писать популярно лишь ради читателей? Никого ведь не удивляет, что существуют химические или математические журналы, доступные только специалистам. И тем, кто не изучает высшую математику или химию, незачем раскрывать эти журналы — они ничего не поймут.

С этим можно было бы согласиться, если бы дело не касалось литературы и у читателя не возникали вопросы, ответить на которые может только наука.

Недавно кто-то в школе спросил, почему нет в наши дни Пушкина. И девятиклассник сказал, что Пушкина у нас быть не может, что Пушкин рождается только один раз.

Некоторым показалось, что этот ответ умаляет достоинство советской литературы. И девятиклассник обратился ко мне с просьбой разрешить этот спор.

Должен с ним согласиться: повторений в истории не бывает. И когда рождается гений, то это уже не Пушкин, а Лермонтов, Блок, Маяковский. Он не повторяет предшественника — он открывает новое.

Еще при жизни Пушкина пробовали угадать, кто станет его преемником. Многим наиболее близким ему по стиху казался Эдуард Губер. Насколько Губер похож на Пушкина — время уже решило: стихи Губера известны теперь главным образом историкам русской поэзии, одно из них — «Новгород» — встречается в хрестоматиях. Наследником Пушкина стал не Губер, а Лермонтов, на Пушкина не похожий, но продолживший дело Пушкина, верный направлению поэзии Пушкина и означивший своим творчеством целый период в истории русской литературы, хотя жил после Пушкина только четыре года. Дело не в прямом подражании пушкинскому стиху — дело в сущности.

В одной из библиотек мне передали записку: «Зачем изучают биографии писателей и поэтов? Разве недостаточно прочесть книжку? А тут одна девушка спорит».

Да, права девушка. Любознательному читателю мало прочесть гениальные стихи и насладиться их совершенством. Он хочет знать, когда поэт жил, когда написал стихи, при каких обстоятельствах; хочет соотнести эти стихи со временем, чтобы понять, какое место занимает поэт в истории оте-

чественной литературы и в художественном развитии человечества. Вот почему нас так волнует вопрос, кто был автором «Слова о полку Игореве», так хочется знать фамилию того Шота из Рустави, который создал поэму «Витязь в тигровой шкуре» и до сих пор остается величайшей из вершин грузинской поэзии. Кто был Руставели? Какова его судьба? Где родились образы его гениальной поэмы, что видел он в жизни и где окончил свой жизненный путь? Вот почему нас так занимает вопрос, был ли Шекспиром тот, под чьим именем стали известны миру величайшие трагедии и комедии, или Шекспир — псевдоним какого-то другого лица, подлинного имени и биографии которого мы не знаем?

Кто-то однажды подошел и спросил, почему нельзя создавать великие произведения, подражая гениальным поэтам. И сослался при этом на мистификации и подделки, которые порой ставили ученых в тупик.

Действительно, в истории литературы известны подделки, вокруг которых возникали горячие споры. Но именно в советской литературной науке возник особый раздел стилистики — теория стилей, над которой много и успешно потрудились покойный академик В. В. Виноградов. В своей замечательной книге «Проблема авторства и теория стилей» он приводит немало блестящих примеров точного определения и времени создания текста, и признаков индивидуального стиля автора, в том числе анонимных и псевдонимных произведений. Так были обнаружены неподписанные статьи А. С. Пушкина, неизвестные рассказы Ф. М. Достоевского и Н. С. Лескова. И наоборот, приписанные Пушкину тексты отвергнуты. Как бы хороша ни была подделка, рано или поздно она будет раскрыта, а гениальных стихов, копируя классиков, не напишешь: в лучшем случае можно добиться внешнего сходства.

Между прочим, любопытная история произошла лет пятнадцать назад, когда какой-то мистификатор, переписав два сонета Шекспира в переводе С. Я. Маршака и поставив под ними свое никому не известное имя, послал их в областную газету. Сотрудница литературного отдела, даже и не будучи академиком В. В. Виноградовым, почувствовала несоответствие между стилем сонетов и литературой двадцатого века и ответила автору, что стихи его не отражают мировоззрения советского че-

ловека. Помнится, она получила взыскание за этот ответ. И со взысканием я, пожалуй, согласен. Литературному работнику стыдно не знать сонетов Шекспира, известных в Советском Союзе всем литературно грамотным людям. Но по существу-то ответ был правильный. Стихи Шекспира радуют нас чистотой чувств, глубиной мысли, продолжающих волновать нас спустя три с половиной столетия. Но если современный поэт станет подделываться «под Шекспира» так, чтобы нельзя было узнать автора, — стихи его будут несовременны.

Мы хотим знать литературу такую, какою она была, и литературная наука определяет закономерности историко-литературного процесса и отводит каждому явлению его место в ряду других.

3

Особо важное значение придается в нашем литературоведении именно выяснению закономерностей. А вот особенности индивидуального творчества, неповторимость поэтического слова, причины его долговременной жизни литературная наука раскрывает не с такой полнотой и не столь убедительно. «Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы» М. Б. Храпченко — книга важная, но трудная. А тот самый широкий читатель, о котором мы говорим, прежде всего интересуется именно этим — его занимает личность, индивидуальность писателя. Отчасти он находит ответы в популярных книгах из серии «Жизнь замечательных людей», в изданиях произведений русской и мировой классики, снабженных содержательными статьями и комментариями, — «Памятниках мировой литературы», «Сокровищах лирической поэзии», в собраниях сочинений с обстоятельным сопроводительным аппаратом. Доступные книги издают «Художественная литература», «Детская литература», «Книга». А «Молодая гвардия» выпускает не только серию «ЖЗЛ», но и альманахи «Прометей». Появляются статьи подобного рода в «Науке и жизни». Делается немало. И все-таки не хватает доступных талантливых книг, в которых величайшие творения литературы не только раскрывались бы во всей глубине, но и сохраняли свою художественную прелесть. Не хватает журнала, подобного «Литературной учебе», как назывался издававшийся до войны теоретический и историко-литературный журнал,

основанный А. М. Горьким. Вот создать бы такой журнал и публиковать в нем статьи, являющие образец точной и вместе с тем доступной и ясной речи.

Пишущий о литературе, пишущий о прекрасном должен и сам быть мастером слова. Как увлекательны, темпераментны, насыщены мыслью статьи А. В. Луначарского! С каким блеском написаны труды Д. С. Лихачева! Каким великолепным ученым и каким великоленным писателем был Б. М. Эйхенбаум! Изящно, интересно пишет пушкинист Т. Г. Цявловская. А при этом сколько выходит вялых и многословных работ. Это же парадокс, что о величайших творениях поэзии некоторые все еще продолжают писать в стиле, «не отвечающем теме». Прежде всего это касается диссертаций. Но тут удивляться нечему. В вузах писать не учат, а школьное сочинение — не предел литературного мастерства.

Однако мы отвлеклись...

Литературным воспитанием народа нужно руководить. Нельзя ограничиться тем, что дает средняя школа. Духовные потребности советских людей неотделимы от литературы, от книги. И достижения советской литературной науки следуют превратить в общенародное достояние.

И все же: как ни обширно число воспринимателей трудов о литературе читателей, фронт нашего обращения должен быть еще шире.

4

Каждый вечер возле телевизоров усаживается семьдесят процентов населения страны — свыше ста шестидесяти миллионов. Интерес их к литературе огромен, но в значительной степени переключен на экран. Не будем сейчас вникать в обсуждение киноинсценировок и телеинсценировок классических и современных романов, рассказов. Скажем только, что, хорошо или худо, они вызывают повышенный интерес к этим книгам и такие вопросы, на которые могут ответить только авторитетные лица. Телевизор требует ученого слова. Он ждет.

По специальной — третьей — программе Центрального телевидения читаются лекции: высшая математика, физика, химия, философия... Есть и литературный раздел. Но регулярные передачи предназначены для подростков и ведутся в соответствии со

школьной программой. Конечно, если в школьной передаче принимает участие крупный ученый, «из первых рук» сообщающий интересное, новое, такая передача увлечет решительно всех. Помню, по учебной программе шли сцены из трагедии Пушкина «Борис Годунов» в исполнении артистов Центрального Детского театра, а перед каждой сценою профессор Сергей Михайлович Бонди увлеченно и очень доступно раскрывал политическую подоплеку событий, объяснял взаимоотношения и ситуации: кто такой Шуйский и кто Воротынский, что хочет вызнать Воротынский у Шуйского, и почему Шуйский в курсе всех дел, и кто как относится к Годунову. Нельзя передать, как интересно было видеть сцены спектакля, прокомментированные этим вдохновенным ученым. Спектакль засверкал новыми красками. И прозой эти соединения театра и ученого слова не могло ни в кино, ни в театре, ни в школе, ни в университетской аудитории — нигде, только на телевидении.

По другой программе прошел цикл лекций о Пушкине. Были удачные. Но событиями назвать их нельзя. Не всякая лекция, полезная для студента, представляет собой телевизионное действие. Здесь нужна особая «драматургия», «стреляющие» сюжеты, увлекательные фабульные «пружинки», прочные, органичные сцепления фактов — передача должна увлекать, покорять, захватывать, должна открывать неизученное, вводить в существо спора, быть рассказом о судьбе писателя, его замысла или творения. Можно вести передачу о находке пропавшей рукописи, о разгадке криптограммы, рассказывать об открытиях, можно посвятить передачи эпизодам из истории советской литературы, как это живо, умно, содержательно делает поэт Алексей Сурков, участвовавший в создании советской литературы и знающий ее досконально на протяжении полувека. Итак, в основу телевизионного «представления» должен быть положен значительный, интересный, доступный для множества телезрителей историко-литературный сюжет. Конкретный сюжет. Таков закон восприятия. Разговор отвлеченный, изложение мыслей без направляющих внимание примеров, без образных представлений, простые перечисления не увлекают, не могут увлечь. Нужны новые формы общения ученых с незримой аудиторией.

5

К созданию телевизионной «драматургии» на историческую и историко-литературную тему советская литература уже подошла. За последние двадцать — двадцать пять лет возник тот научно-литературный жанр, который иногда иронически называют «занимательным» или «романтическим» литературоведением, а без иронии — «детективом без преступления» и «жанром научного поиска». Жанр этот иронии не заслуживает. У его колыбели стоят такие ученые, как академики И. Э. Грабарь и И. Ю. Крачковский. Мне уже приходилось рассказывать о том, с каким увлечением читается исследование академика И. Э. Грабаря о «Тагильской мадонне» — картине, подписанной именем Рафаэля. В 1509 году она исчезла из церкви Мария дель Пополо в Риме, затем ее видели в соборной церкви Сфондрато, сохранились ее гравюрные репродукции. Потом ее следы потерялись. Более четырех столетий спустя она обнаружилась в Нижнем Тагиле, в сарае, недалеко от бывших владений уральских миллионеров Демидовых. Что это — копия? Или работа ученика, подписанная именем великого мастера? Или подделка более позднего времени? Или подлинник Рафаэля? Грабарь сличает картину с другими Мадоннами Рафаэля, производит анализ красок, изучает происхождение доски, на которой она написана, приводит заключения химиков, рентгенологов... Академическое исследование читается как роман.

Не менее увлекательна книга академика И. Ю. Крачковского «Над арабскими рукописями». С неослабевающим интересом читаешь исследование академика Б. А. Рыбакова «Древняя Русь». Сопоставляя с летописными текстами древние наши былинны, ученый обнаруживает в них отголоски исторических происшествий и биографии реальных исторических лиц. Поэт Ираклий Абашидзе напечатал «Палестинский дневник». Вместе с двумя другими выдающимися учеными — академиком Г. В. Церетели и академиком Академии наук Грузии А. Г. Шанидзе — он побывал в Иерусалиме, чтобы проверить легенду, согласно которой Шота Руставели окончил свой жизненный путь на чужбине. И вот на одном из столбов иерусалимского Крестного монастыря — древней грузинской обители — они отмыывают верхний слой краски и обнаруживают под ним изображение старца и надпись:

Шота Руставели. Выясняется: изображение написано в те времена, вскоре после кончины поэта — открытие, приподнимающее покров над одной из самых сложных загадок в истории грузинской литературы.

Поиски, приключения исследователя — вот что увлекает читателя, который с огромным интересом воспринял книги Г. Шторма — о Радищеве, Е. Таратуты — о Войнич и Степняке-Кравчинском, Н. Эйдельмана — о русских корреспондентах Герцена.

То же относится к разысканиям С. С. Смирнова, приведшим его к созданию книги «Брестская крепость», где сопряжены времена — Великая Отечественная война и наше мирное время, прослеживаются судьбы сотен людей, восстанавливается коллективный подвиг, которому, казалось, навсегда суждено остаться подвигом безымянным. Число читателей и телезрителей С. С. Смирнова неисчислимо. С таким же напряжением слушаются его рассказы о героизме, сюжеты которых каждый раз составляют раскрытие тайн, выяснение обстоятельств, «воскрешение» подвига. К работам того же рода отнесем радиопосылки А. Л. Барто, положенные в основу ее книги «Найти человека». Героям гражданской войны посвящены разыскания А. Дунаевского. Сопричислим к этому жанру рассказы о поисках автора этой статьи, передававшиеся по радио и по телевидению и вошедшие потом в книги. У всех, кого я назвал, — строго документальный сюжет, выстраивающийся в ходе работы.

Незаметно для нас самих возник новый научно-литературный жанр. Исследовать его природу, законы его развития, связь с другими жанрами и искусствами — задача литературной науки: он граничит с приключениями, с рассказом, с очерком, с мемуарами. Он исходит из «первых рук».

Не менее важно, что этот жанр в высшей степени отвечает специфике телевидения и — что существенно для самой науки! — вызывает «обратную связь». Стоит только обратиться с экрана с просьбой помочь найти человека, адрес, документ, фотографию — приходят ответы. Десятки героев минувшей войны открыты С. С. Смирновым с помощью телевидения, около двухсот тысяч писем получены в ответ на его выступления.

6

Но попасть в число жанров, признанных литературной наукой, непросто. Освященная традицией драма составляет бесспорный предмет литературного изучения. А киносценарий, телесценарий, радиопьеса? Они в круг академических изучений не входят.

Могут сказать: есть специальный раздел изучения, называемый киноведением. Есть специалисты по телевидению.

Но если не возникает сомнений, что драматическое сочинение и драматический спектакль — явления разного рода, то ведь и телевизионный сценарий и киносценарий — не то же, что телефильм и кинокартина. Сценарий, точно так же, как драма, — явление литературного ряда, иначе — искусства словесного.

В словесном искусстве происходят сейчас серьезные сдвиги. Устное слово, которое господствовало в эпохи, предшествовавшие развитой письменности и изобретению Гуттенберга, с пятнадцатого столетия уступило первенство печатному станку. Люди перестали «слушать» литературу и научились воспринимать ее зрением. Чтение книг превратилось в уединенный процесс. Ныне, с развитием радио и телевидения, звучащее

слово все настойчивее напоминает о своем первородстве. С каждым годом этот процесс ускоряется: письменная литература начинает делить права с литературой экранной, воспринимаемой не на глаз, а на слух. Время, потребное для чтения книг, сократилось. «По совместительству» читатель становится телезрителем. Литературе надо уже считаться с наступлением на книгу звучащей речи. Но традиционные жанры не торопятся признать существование телеэкрана, и те же позиции занимает филологическая наука. Между тем уже в ближайшее время можно предвидеть воздействие телевидения едва ли не на все традиционные жанры. Пора изучать процесс.

И все же первое дело не это. Прежде всего филологам следует использовать телевидение для пропаганды собственных достижений. Нужны мастера ученых беседований с незримой аудиторией. Нужен телевизионный историко-литературный журнал. Если ученые не выйдут на телевизионный экран, телезрители ничего не узнают о замечательных успехах литературоведения нашего. Для них окажется недоступным один из важнейших разделов гуманитарных наук. Этого допустить нельзя!



В. ОЗЕРОВ,
доктор филологических наук

★

МЕРА УВАЖЕНИЯ. ВЫСОТА ТРЕБОВАНИЙ

Мы привыкли критически оценивать сделанное во всех областях нашей жизни, взыскательно проверять свои возможности. И такая неудовлетворенность понятна, она заставляет мобилизоваться на еще более интенсивную работу. Можно не сомневаться, что требовательное отношение к литературоведческой науке не даст ее деятелям почить на лаврах.

Но от подобного отношения до холодного скепсиса — дистанция огромного размера. Было бы очень неумно и совершенно не по-хозяйски забывать о масштабе, которым сейчас измеряются итоги и перспективы развития литературоведения. Мера нашей сегодняшней требовательности определяется богатейшими традициями советской науки вообще, литературоведческой в частности, предполагает глубокое уважение к труду многих десятков и сотен ученых.

Такое сочетание деловой объективности и требовательности — в духе всей атмосферы общественной жизни, которая создана XXIV съездом КПСС.

Оглядываясь на более чем пятидесятилетний путь развития советского литературоведения, мы имеем полное право без ложной скромности заявить: оно может быть законным предметом гордости нашего общества. Это наука в подлинном смысле слова. Такой науки до Октября не было и не могло быть, она сформировалась на принципиально новых методологических основах, как детище социалистической действительности, марксистско-ленинского учения.

Борьба за торжество истинно научной методологии — вот что такое история советского литературоведения, давшего свои обильные плоды. Дореволюционный период выдвинул ряд ярких имен историков литературы. Однако тогда литературоведение

в целом было оторвано от общественно-политической борьбы, изучение закономерностей историко-литературного процесса часто подменялось эмпирической описательностью и фактографизмом.

Именно изучение этих закономерностей стало главной задачей советской литературной науки. Ею творчески разработаны новые методологические принципы, опробованы новые инструменты анализа, способы интерпретации художественного текста. Вслед за революционными демократами советские ученые добивались широты обобщений, концептуальности своих работ. Вместе с тем они творчески переработали и развили наиболее плодотворные традиции академического исследования с его солидной фактической базой, обоснованностью и выверенностью выводов. Отсюда в лучших работах — органическая связь широких теоретических обобщений с вниманием к специфике художественного труда, общего взгляда на процесс литературного развития со скрупулезным рассмотрением отдельных произведений, писательских индивидуальностей. Эти работы чужды как схоластической априорности, так и плоского эмпиризма.

Все это — отличительные особенности нашего литературоведения, которые признаются ныне столь же обязательными, как классовый подход к явлениям искусства, историзм, объективность оценок и т. п. Другое дело, что достигалось это на путях не гладких и прямых. Принципы марксистско-ленинской науки утверждались в борьбе с либерально-буржуазными взглядами, с формализмом и вульгарным социологизмом. Да и в наши дни остатки старых воззрений порой дают знать о себе. К сожалению, не все критики и литературоведы заботятся о чи-

стоте и точности методологической основы своих трудов. Претенциозный, легковесный «эссеизм», «приблизительность» суждений, претендующих на особую оригинальность и смелость, — реальная болезнь, которой страдают иные молодые и не только молодые авторы. Вот почему полезны напоминания о проверенных самой жизнью методологических основах нашей науки. Одним из первых это очень своевременно сделал А. Бушмин в своих устных и печатных выступлениях, особенно в книге «Методологические вопросы литературоведческих исследований». Такие выступления помогают науке закрепиться на завоеванных позициях и обозначить круг вопросов, которые нельзя верно решить, не преодолев до конца догматическое доктринерство и субъективистскую предвзятость, идейную неразборчивость.

Прочная теоретическая база советского литературоведения, верная методология помогли раскрыть в широкой проекции облик отечественной литературы, заново прочитывать многие страницы ее истории. Следуя ленинской периодизации истории общественной мысли, удалось осветить органические связи литературы с национально-освободительным движением. Во всем величии предстал подвиг русских писателей, связавших свое творчество с народным делом, — от декабристов и Пушкина до Некрасова и великих революционных демократов, до художников борющегося пролетариата. Эта линия отечественной литературы дошла до миллионного читателя в продуманном научном освещении, тщательно подготовленных публикациях. Признак народности нашего литературоведения — серьезно прокомментированные и отлично изданные собрания сочинений классиков. Сложилось и завоевали популярность научные издания нового типа, совершенно уникальные по своему характеру, как, например, «Литературное наследство», открывающее массовому читателю сокровища архивов.

На историко-литературной карте уже почти не осталось «белых пятен» — неизученных писателей или этапов историко-литературного развития. Некоторые его периоды вырисовываются под пером советских исследователей в новом свете. Эпоха до середины XIX века наиболее подробно изучалась дореволюционным литературоведением. Но только в 30-х годах нашего столетия был всесторонне исследован русский XVIII век, показано, каким ярчайшим феноменом

является литература этого времени. А древнерусская литература! До революции ее изучали самым доскональным образом, однако трактовали чаще всего как продукт аристократической культуры. В полемике с теориями В. Келтуялы и его единомышленников советские ученые Д. Лихачев, Н. Гудзий и другие проследили действительные пути развития нашей словесности, порожденной народными талантами и пронизанной патристическими идеями.

Может возникнуть вопрос: стоит ли вспоминать о хорошо известных результатах исследований? В том-то и дело, что борьба за них не прекращается. В ее ходе происходят резкие столкновения идей и методологических принципов.

Наглядный пример — неутихающие споры о таком памятнике нашей национальной культуры, как «Слово о полку Игореве», гениальном произведении, созданном в XII веке. Французский ученый А. Мазон и некоторые другие, в том числе А. Зимин, объявляют его подражанием «Задонщине», памятнику XIV века, и тем самым оставляют русскую литературу без ее блистательного зачина. Что стоит за этим замыслом? Прочитайте недавно вышедший коллективный труд «„Слово о полку Игореве“ и памятники Куликовского цикла. К вопросу о времени написания „Слова“» — и легко убедитесь: неопровержимые данные истории, археологии, этнографии, филологии, причем не разрозненные наблюдения, а система фактов в их взаимосвязи подтверждают датировку «Слова» XII веком. Лексика памятника, его морфологическая и образная структура и синтаксис, как доказывают в этой и других работах В. Адрианова-Перетц, Ф. Филин, В. Кузьмина, находятся в полном соответствии с языковыми нормами XI—XII веков, с языком и всем строем художественного мышления Киевской Руси. У «отрицателей» же больше амбиции, чем амуниции, они занимают подгонкой фактов под предвзятую, научно несостоятельную гипотезу.

Этот специальный, по-видимости, спор носит весьма принципиальный характер, являясь предупреждением тем, кто, следуя заранее сконструированной схеме, игнорирует данные современной науки, тенденциозно истолковывает источники, пользуется порочной методикой исследования.

И вот еще чем, пожалуй, поучителен этот эпизод. Для изложения гипотезы о вторичности «Слова» А. Зимину была предоставлена возможность выступить в журнале

«Вопросы литературы». Спорная теория отстаивалась и оспаривалась, была опровергнута в открытой дискуссии, на глазах у читателей, что является единственно правильным путем искания истины.

Дискуссии стали нормой нашей научной жизни. Таким способом обсуждались многие сложные проблемы, в том числе творчество народников, взгляды ранних славянофилов. Итог? Не просто уточнение конкретных оценок. Выявилась необходимость более объективного, чем прежде, изучения этих течений в истории русской общественной мысли. И в то же время было указано на недопустимость их идеализации, рассмотрения вне общей социально-исторической перспективы, без четкого классового анализа, об историзме заставляют задуматься и другие события в литературно-общественной жизни, в их числе — подготовка к столетию со дня рождения Некрасова и Достоевского.

Юбилей Достоевского явится в какой-то степени проверкой идейно-теоретической зрелости нашего литературоведения. Творчество великого русского писателя может быть понято только с учетом своеобразия его вклада в духовные и художественные поиски русского общества, всего человечества, всей сложности и противоречивости этого художника и мыслителя. Ни былые вульгаризаторские «наскоки» на Достоевского, ни апологетический тон тут совершенно нетерпимы. Такое огромное и сложное явление можно верно раскрыть лишь во всеоружии ленинского учения о литературе, основываясь на знаменитых ленинских работах о Толстом.

Это и понятно — развитие нашего литературоведения находится в теснейшей связи с ленинской теорией наследия, с методологическим подходом к таким колоссальным фигурам переломного времени, как Толстой. Разительные, кричащие философские противоречия и «зеркало русской революции» — что может быть смелее и диалектичнее такой трактовки великого писателя и мыслителя! Недаром изучение ленинских взглядов приобретает у нас все больший размах.

Ленинское учение о литературе — наш драгоценный капитал, которым надо дорожить и который надо бережно охранять от вражеских наскоков. А такие наскоки не прекращаются. Ведя фронтальное наступление на ленинизм, «советологи» используют широкий арсенал тактических приемов, под-

чиненных одной цели — фальсификации бессмертной теории, которую уже невозможно не заметить или отвергнуть сплеча. Одни, как австрийский ренегат Э. Фишер, пытаются растворить марксизм-ленинизм в множественности философских и эстетических доктрин, провозглашая идеологический плюрализм. «Время монологов в коммунистическом мире,— вещает Э. Фишер,— кончилось. Нет больше никакой обязывающей всех «монопольной» марксистской эстетики» («Дух времени и литература»). Отсюда призывы к пресловутой конвергенции, к синтезу марксистской эстетики с... экзистенциализмом. Другие специализируются на отрицании интернационального характера ленинизма, будто бы превратившегося в «революционную доктрину для отсталых стран» (Д. Коннор, «Ленин о политике и революции»). В этих «отсталых странах» искусство якобы вырождалось, служа интересам народа, революции, а не «чистым идеям», религии, мистицизму (Дж. Биллингтон, «Икона и топор»). Третьи изображают глубоко народное, классовое учение ленинизма как доктрину узкой группы «заговорщиков» и «захватчиков» власти, своеобразной партийной элиты, которая волюнтаристски навязывает массам свои взгляды — узкие, сектантские. Ленинизм при этом подменяют троцкизмом, а троцкистские взгляды на искусство подают апологетически (Э. Карр, «1971 год: до и после»; Й. Нольте, статья «Троцкий и литература» в мюнхенском журнале «Монат»).

Разные исходные рубежи выбирают для атаки наши противники. Но во всех случаях они проявляют трогательное единство в отрицании роли и значения ленинской эстетики, принципа партийности и народности литературы, теории отражения. Тем понятнее необходимость повышать идейную мобилизованность советской литературной науки, активизировать ее в идеологических боях современности. В свете решений XXIV съезда КПСС эта задача вырисовывается как самая первостепенная. Общественным наукам предстоит решительно повернуться в сторону разработки актуальных проблем, преодолеть отрыв от непосредственных практических нужд времени, от действительных интересов научного развития. Как важно, чтобы опыт истории, выводы теории служили современному искусству, обогащали нашу сегодняшнюю художественную практику!

Это отнюдь не декларативная постановка вопроса. Изучение ленинских трудов помогает глубже вывить реальную закономерность развития литературы в новую историческую эпоху. Речь идет о целеустремленном партийном воздействии на это развитие, о гибком, умном, заботливом руководстве творческой интеллигенцией. То, что было делом сугубо индивидуальным, подверженным давлению буржуазно-торгашеских отношений, стало частью общепартийного дела. В течение десятилетий выработались и отшлифовались многообразные связи партии с художниками, искусство партийного руководства литературой. Все это заслуживает серьезного научного изучения, творческого применения в современной обстановке внутренней и международной литературной жизни.

Возьмем один только пример. Сейчас с новой остротой встал вопрос о борьбе за наших союзников из среды зарубежной художественной интеллигенции. Эта задача может показаться либо невероятно тяжелой (ведь иные писатели и художники проявили серьезные колебания), либо чрезмерно простой (открывай перед каждым дверь пошире — успех обеспечен). Между тем уроки ленинских отношений с интеллигенцией заставляют подумать о широком арсенале тактических приемов. Непримиимость к противникам, горячая поддержка соратников дополнялись у Ильича дифференцированным подходом к союзникам: опора на одних, перетягивание на свою сторону других, перевоспитание третьих, критика четвертых, причем с разной степенью остроты в зависимости от меры их колебаний, и т. д.

Это многообразие в отношениях с людьми распространялось, разумеется, не только на завоеванных или потенциальных союзников. Ленин ставил перед собой целью идейное и творческое возвышение и тех, кто уже выбрал свое место в рядах борющегося пролетариата.

Как известно, Ленин очень высоко ценил Горького, считая его крупнейшим представителем пролетарского искусства, который связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира. Владимир Ильич делал все, чтобы поддержать Горького на избранном пути, укреплять его связи с революционным движением, с передовой идеологией. Включая знаменитого писателя в практическую работу партии, ее вождь и

организатор приобщал его к животворному источнику идеологического, творческого роста (о чем наглядно свидетельствуют ленинские письма), и это было главным в его отношениях с Горьким.

Ленин пользуется в письмах любым поводом для того, чтобы высказать свой взгляд на те или иные события и проблемы. Адресуясь к Горькому как другу и единомышленнику, он охотно делится с ним возникшими у него мыслями и соображениями. Ведя в письмах разговор «на равных», он подробно останавливается на политических событиях, положении в партии, на вопросах идеологического, философского характера, пишет о задачах партийной печати и партийной литературы, о спорах большевиков с «отзовистами» и «передовцами», об оценке идеалистических философских течений, ошибок Богданова и Луначарского, об отношении к империалистической войне, об изучении «снизу» строительства новой жизни в освобожденной России и т. д. и т. п. Повлиять на своего заочного собеседника системой позитивных соображений — цель многих ленинских писем Горькому. Ильичу, замечает Н. К. Крупская, «всегда хотелось... убедить Горького в правильности своих взглядов, он горячо защищал их».

Письма отражают постоянное стремление Ленина как можно органичнее включить Горького в революционную работу, партийную деятельность, являющуюся лучшей школой для писателя, который по самому складу своего дарования черпает в живой жизни и темы и пафос своего творчества. Еще в 1907 году он советовал Горькому: «Не упускайте случая посмотреть за работой и международных социалистов,— это совсем, совсем не то, что общее знакомство и каляканье»¹. Через многие ленинские письма проходит мысль: не поддаваться тяжелым настроениям, давлению интеллигентских мнений, впечатлениям внутриэмигрантской борьбы, видеть дела, которыми занимаются рабочие, большевистская партия (как раз в письме к Горькому были сказаны слова о невозможности понять людей, не понимая их дел).

Конечно, самое важное — выполнение больших художественных замыслов. Но если есть возможность, просит Ленин Горького в 1908 году, не поможет ли он связать

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 47, стр. 111.

теснее литературную критику с партийной работой, не сможет ли выступить со статьями в партийной прессе? Возникает идея поручить Горькому литературно-критический отдел «Пролетария». В 1911—1912 годах — новые ленинские предложения: помочь партийным газетам статьей, революционной прокламацией типа «Сказок об Италии», агитацией за подписку на «Правду»... Все это не прошло бесследно в идейной эволюции писателя; памятно признание, сделанное Горьким в 1928 году: «...Подлинную революционность я почувствовал именно в большевиках, в статьях Ленина, в речах и в работе интеллигентов, которые шли за ним».

И еще не менее существенный момент: помощь Горькому в преодолении ошибок. Ленин не оставлял без реакции ни одной неверной ноты в творчестве Горького. Часто в одном и том же ленинском письме выражена солидарность с одной горьковской мыслью, горячая поддержка ее — и несогласие с другой. «Сказки об Италии» Ленин в 1912 году называет великолепными, но зато «роман» Горького с Черновыми и Амфитеатровыми вызвал «грусть». Год спустя он пишет, что его «порадовали» горьковские слова о враждебных течениях в социалистической мысли, о необходимости иметь свой журнал, а затем, имея в виду замечание, что для его организации нет «достаточного количества хорошо спевшихся людей», заявляет: «Второй части этой фразы я не принимаю»².

Взаимное обсуждение актуальных проблем — внутренняя сущность переписки Ленина и Горького. Здесь проявился принцип взаимоотношений политического руководителя и художника, который получил подтверждение на XXIV съезде КПСС в словах товарища Л. И. Брежнева: «Сила партийного руководства — в умении увлечь художника благородной задачей служения народу, сделать его убежденным и активным участником преобразования общества на коммунистических началах». Подчеркнутый на съезде принцип сочетания требовательности к художникам с большим тактом и заботливостью — также ленинская традиция. О политических ошибках Горького Ленин говорил очень прямо и резко. Его возмутил призыв к богостроительству: «Ну, разве это не ужасно, что у Вас в ы х о д и т такая штука?», «Зачем вы это делаете?»

Обидно дьявольски»³. Столь же определен Ленин и в своих печатных выступлениях. Он не склонен поддаваться раздражению и повторяет в «Дискуссионном листке» (6 марта 1910 года), что «в деле пролетарского искусства М. Горький есть громадный плюс, несмотря на его сочувствие махизму и отзовизму»⁴. Не склонен он и амнистировать новые ошибки любимого писателя, его пацифистские выступления, подпись под «шовинистски-поповским протестом против немецкого варварства» в 1914 году. Можно понять, что художник часто действует под влиянием настроения, когда это человек, чужой делу пролетариата. Но когда он отдал этому делу свой талант, когда рабочие считают его своим, как Горького, на нем лежит обязанность «беречь свое доброе имя и не давать его для подписи под всякими дешевенькими шовинистскими протестами, которые могут ввести в заблуждение малосознательных рабочих» («Автору «Песни о Соколе»»⁵).

За частными эпизодами раскрывается принципиально новое понимание роли и места писателя в обществе, специфики его труда и особенностей психологии. Художник и политик — эги два понятия были рассмотрены Лениным в их сложной взаимосвязи. История покончила с противопоставлением искусства и политики, в наши дни во всем мире идет дальнейшая политизация искусства, художники принимают непосредственное участие в борьбе за мир и социальный прогресс, за преобразование общества на коммунистических началах.

Значит ли это, однако, что, как считают вульгаризаторы, художественные произведения должны создаваться для иллюстрирования политических лозунгов? Отрицательный ответ подразумевается сам собой. В извращенном толковании взаимоотношений литературы и политики «левые» экстремисты смыкаются с правыми оппортунистами. Кризисная ситуация в Чехословакии подтвердила: если писатель, в угоду вредным и ошибочным взглядам отбрасывая свои профессиональные дела, начинает претендовать на роль мессии в жизни общества, на единоличное руководство политическими процессами, не имея при этом соответствующего опыта и знаний, идейной стойкости, это приводит к пагубным последствиям.

³ Там же, стр. 226—228.

⁴ Там же, т. 19, стр. 252.

⁵ Там же, т. 26, стр. 96.

² Там же, т. 48, стр. 47, 153—154.

Ленинская партия всегда вела курс на воспитание деятелей литературы и искусства, органически связавших свою жизнь с делом народа и служащих этому делу своим творчеством.

Забываясь о политической направленности своих произведений, об их общественном значении, писатель должен чувствовать себя не мессией, а участником общего оркестра, управляемого партией. В 1908 году Ленин учил Горького знать все философские течения, но рекомендовал «работать в *«Пролетарии»* по нейтральным (то есть ничем с философией не связанным) вопросам литературной критики, публицистики и художественного творчества и т. д.». В 1917 году Ленин публично осудил обращение Горького к Временному правительству о заключении демократического мира, вспомнил его слова о том, что «художники немногие неумяемые люди», еще раз подчеркнул значение горьковского таланта, который «принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению», и тут же добавил: «Но зачем же Горькому браться за политику?»⁶.

Как понять это заявление? За политику надо браться с позиций партии, под ее руководством, чувствуя себя ее бойцом и ни в чем не отделяясь от общепартийного курса, от рабочего дела. Лучшая дорога к этому — близкое знакомство с тем, как делается политика партии в реальной действительности, художническое наблюдение за процессами, вызванными к жизни политикой, участие во всенародной работе. Ошибки Горького первых послереволюционных лет, периода «Несвоевременных мыслей», Ленин связывал с его образом жизни, с тем, что он «изнервничался и раскис»⁷. Вначале Ленин ограничивался осторожными рекомендациями: «Ей-ей, Вы, видимо, засиделись в Питере. Нехорошо на одном месте. Устаете и надоедает. Согласитесь прокатиться, а? Мы это устроим» (письмо от 5 июля 1919 года)⁸. Вскоре стал настойчивее: «Немножечко переменить воздух, ей-ей, Вам надо. Жду ответа!» (письмо от 18 июля 1919 г.)⁹. Наконец, убедившись в болезненности горьковских впечатлений и выводов, обострившихся в обстановке озлобленных буржуазных интеллигентов, приходит к заключению о необходимости для Горького

радикально переменить среду и местожительство. Дело в том, что «в Питере можно работать политяку, но Вы не политик». Сейчас «жить надо либо активным политиком, а если не лежит к политике душа, то как художнику наблюдать, как строят жизнь по-новому там, где нет центра бешеной атаки на столицу, бешеной борьбы с заговорами, бешеной злобы столичной интеллигенции, в деревне или на провинциальной фабрике (или на фронте). Там легко простым наблюдением отделить разложение старого от ростков нового»¹⁰.

Критикуя ошибки Горького, Ленин проявлял постоянную заботу о нем, об условиях его работы, о его здоровье. Великий пролетарский писатель преодолел все сомнения, укрепился на позициях коммунистической партийности, внес новый неограниченный вклад в строительство социалистической культуры. Поднять талант к новым идейно-художественным достижениям, увлечь его на вдохновенное постижение коммунистической нови — вот смысл ленинской работы с творческой интеллигенцией, настойчиво продолжаемой нашей партией.

Нашей литературной науке предстоит сделать больше, чем сделано до сих пор, для изучения путей развития советской литературы на основе ленинских идей, под руководством Коммунистической партии. Но у нас уже есть право сказать об определенных успехах в создании научно выверенной истории советской литературы. Вышли солидные курсы, созданные Институтом мировой литературы имени Горького и Московским государственным университетом; Институт русской литературы (Пушкинский Дом) издал интересные труды об отдельных жанрах, выпускает сборники коллективных исследований. Такого рода сборники оказались под силу и ряду университетов, педагогических институтов страны. Правда, иные из них не избежали справедливой критики, но в целом это — свидетельство возможностей нашей науки широко и масштабно исследовать закономерности литературного процесса, сложившиеся в условиях социализма. Лучшие историко-литературные труды отличаются как концептуальность, так и богатый фактический материал.

Примета наших дней — пристальное внимание и к общему процессу художественного развития советской эпохи, и к писательской индивидуальности. Лет двадцать

⁶ Там же, т. 31, стр. 45—49.

⁷ Там же, т. 55, стр. 373.

⁸ Там же, т. 51, стр. 6.

⁹ Там же, стр. 16.

¹⁰ Там же, стр. 25—26.

назад у нас почти не было научных монографий, посвященных советским писателям, против их создания даже выступали публично. Исключение делалось разве что для Горького и Маяковского. Теперь трудно назвать крупного мастера, о котором не было бы написано серьезных исследований: А. Толстой, Серафимович, Фурманов, Фадеев, Шолохов, Федин — список имен грозит занять слишком много места. А главное — перед нами не портретные зарисовки, но солидные работы, всесторонне воссоздающие облик писателя, своеобразие его творчества, многообразие его связей с эпохой. Если раньше шли дебаты, как нарисовать историко-литературный «фон», то теперь это слово — «фон» — употребляют иронически как синоним беглости, эскизности. Появилось немало исследований, где художник органично «вписан» в ход истории, в литературный процесс, выражая его и вместе с тем воздействуя на общественно-эстетическое развитие своего времени. Это несомненный результат методологической зрелости нашей литературоведческой науки, достижения которой с равным успехом могут применяться при изучении и далекого прошлого, и совсем еще недавних этапов истории литературы.

В получивших общественное признание монографиях, таких, как книги В. Перцова и А. Метченко о Маяковском, Л. Якименко о Шолохове, Б. Брайниной о Федине, Л. Скорино о Катаеве, В. Щербини о А. Толстом, и других, показан вклад классиков советской литературы в формирование социалистического реализма, в выработку идейно-эстетических принципов нового творческого метода. Показано и другое: своеобразие этого вклада, неповторимость творческой индивидуальности. Анахронизмом выглядят ныне работы, в которых либо все писатели на одно лицо, как воплощение не существующих на самом деле единых эталонов социалистического реализма, либо каждый выступает сам по себе, вне своего времени, литературного окружения, стилистического направления. И это очень важная методологическая предпосылка подхода к художественному творчеству.

Большинство авторов монографий, сосредоточивая внимание на избранном ими писателе, в то же время стремятся проследить, как в его творчестве отражались исторические и эстетические потребности времени, и показать — на анализе его своеобразных произведений — вклад писателя в искус-

ство социалистического реализма. При этом приходится иметь в виду сложность реального соотношения индивидуальных творческих исканий и этапов развития художественного метода советской литературы. Новую эстетику советские писатели создавали сообща, но каждый творил по-своему, и движение нашего искусства продемонстрировало неисчерпаемость его идейно-художественных потенций. Монографическое изучение творчества мастеров советской литературы еще раз подтверждает художественное многообразие социалистического реализма с его ярко проявившейся эстетической закономерностью — щедрым взаимообогащением стилей, манер, способов изображения, раскрывающих правду жизни и противостоящих декадентским, формалистическим тенденциям.

Стремление идти вглубь, раскрывать своеобразие каждого художественного явления в лучших наших литературоведческих работах сочетается с синтетичностью изучения отечественной и мировой литературы. Недаром все чаще заходит разговор о сравнительно-типологических исследованиях. После создания курсов истории литератур русского и других народов Советского Союза началась очень интенсивная работа над единым трудом о многонациональной литературе нашей страны. Среди ученых крепнет убеждение, что от изучения отдельных периодов и национальных явлений уже пора переходить к осмыслению закономерностей литературного развития всей эпохи, всего социалистического содружества, всего мира. Пока что мы на подступах к выполнению такой задачи. Но ее контуры становятся все яснее. Начата и идет работа над рядом обобщающих трудов, в их числе над «Историей всемирной литературы», изданием, равному еще нет. Растут ряды авторов, которые все чаще выходят за пределы своей национальной литературы, сопоставляя ее с другими, стараясь выявить общие законы эстетического развития в прошлые и нынешние времена. Всегда интересны, например, выступления Г. Ломидзе, дающие цельную и многоцветную картину многонационального советского искусства с его определяющими общими чертами и специфическими особенностями. Опыт братских литератур социалистических стран — постоянно в поле внимания Д. Маркова.

Начало обнадеживающее, хотя, вероятно, эта работа могла быть начата раньше, ве-

стись большим числом ученых и целеустремленнее. К тому же могли бы лучше координироваться усилия ученых социалистических стран. Очень хорошо, что чаще стали проводиться совместные дискуссии, выходить сообща подготовленные сборники. Но все это может делаться систематичнее, продуманнее, с лучшим закреплением и пропагандой достигнутых результатов.

В самом деле. Наша наука способна первой улавливать возникающие в художественной жизни проблемы и давать им верное творческое истолкование. Но выводы и наблюдения иной раз остаются достоянием специалистов, мы не умеем ввести их в орбиту международного литературного общения. А тем временем этот же вопрос начинают по-своему, предвзято и спекулятивно трактовать буржуазные писаки или ревизионисты, они приписывают себе приоритет в его постановке, извращая при этом существо дела. Так, в частности, действовали новомодные истолкователи проблемы творческой активности искусства. Она получила обстоятельное освещение в нашей эстетике в духе ленинской теории отражения. Однако буржуазная пропаганда лезет вон из кожи, чтобы замолчать открытия марксистско-ленинской науки и всячески разрекламировать ревизионистские теории.

Руководствуясь принципом взаимосвязи социально-экономического и эстетического анализа, наша эстетика выявляет реальное соотношение объективных и субъективных факторов искусства. Это соответствует ленинской теории отражения. Подчеркивая первичность факторов объективной действительности, В. И. Ленин всегда отмечал активность всех видов познания, в том числе художественного. Зато иные современные истолкователи проблемы проявляют удивительную односторонность. Одни абсолютизируют объективный характер художественного познания вплоть до отождествления структуры художественных произведений с социальной структурой (М. Гольдман, «Социология романа»). Другие, наоборот, гипертрофируют субъективный фактор, отрицая связь перемен в искусстве с социальными переменами, познавательную роль искусства (Р. Гароди, «О реализме без берегов»).

Лживо приписывая социалистическому реализму нивелирующий, догматический характер, приверженность к пассивному натурализму, ревизионисты всех мастей объявляют себя борцами за активное иску-

во, не просто отражающее, но творчески пересоздающее мир. Печально знаменитая книга Р. Гароди «О реализме без берегов» под видом борьбы с догматической регламентацией провозглашает отказ от историзма и классовости в искусстве и эстетике, противоестественное сожительство реалистических и декадентских направлений в творчестве. Последние оказываются для Р. Гароди наиболее перспективными, так как именно у них он обнаруживает наибольшую способность активно постигать не только внешнюю сторону (удел реализма, по Гароди!), но и внутреннюю суть явления. «Методология» Р. Гароди строится на грубо-механическом противопоставлении неразрывно связанных друг с другом понятий познания и преобразования мира. «Эстетическое творчество,— уверяет он,— не является знанием, познанием, отражением уже существующих реальностей»; «Произведение искусства имеет задачей не воспроизводить мир, а выражать стремления человека...»

Этот метафизический подход, разумеется, ни в коей мере не может опровергнуть ленинскую теорию отражения. Лишь невежды или клеветники могут отождествлять ее с призывом к зеркальности отражения увиденного художником. В основе теории отражения — материалистическое положение о том, что образное познание мира обогащает нас пониманием объективной действительности и одновременно служит целям практического преобразования мира. Реалистический художественный образ не просто отражает объективную реальность — он обладает собственной эстетической реальностью, художник не просто познает действительность — он вторгается в нее. Художественное познание мира и творческая фантазия ничуть не противостоят друг другу в эстетике реализма, а тем более социалистического реализма. Положение марксистско-ленинизма о том, что сознание не только отражает мир, но и творит его, тесно связано с учением о коммунистической партийности. А она прямо предполагает общественную и эстетическую активность художника.

Б. Сучков, Е. Книпович, А. Дымшиц убедительно показали политическую и эстетическую несостоятельность ревизионистских концепций, их методологическую порочность. Вместе с тем есть смысл еще раз напомнить, что именно марксистско-ленинской литературной науке принадлежит нео-

споримый приоритет на творческую разработку выдвинутых жизнью вопросов, на подлинное новаторство. Наши ученые смело пересмотрели и отбросили догматические наслоения, мешавшие плодотворному развитию художественной и эстетической мысли, в той или иной мере ограничивавшие активную роль искусства.

В ряде дискуссий была вскрыта несостоятельность теории «реализм — антиреализм», не учитывавшей исторического характера возникновения и развития реалистического метода. Согласно этой теории, все явления искусства автоматически распределялись на две противоборствующие категории: строго реалистические по манере исполнения и, следовательно, целиком прогрессивные произведения, и их антиподы — написанные в иных манерах, а значит, антиреалистические, а то и реакционные.

На новом уровне ведется сейчас обсуждение проблем социалистического реализма. Если прежде упор делался на генезисе социалистического реализма, на исследовании его идеологических основ, то в наши дни, не прекращая этой работы, ученые стали тщательно изучать также его художественные основы. И тут вновь сказалось стремление к синтетичности, к рассмотрению социалистического реализма как принципиально новой эстетической системы. Прослеживая новые закономерности литературного процесса современности, получившие свою кульминацию в социалистическом реализме, многие ученые обратились к приемам сравнительно-типологического исследования. С их помощью, как уже говорилось, удастся обстоятельнее разобраться в особенностях развития социалистического реализма в разных национальных литературах — и нашей страны, и социалистического содружества, и всего мира.

Разобраться в этом стараются и ученые других социалистических стран. Обсуждаются самые разные эстетические теории, в том числе так называемая теория «большого реализма», выдвинутая Г. Лукачем. Объективное рассмотрение подобных теорий, критический взгляд на попытки «заслонить» художественными шедеврами прошлого достижения социалистического искусства, на негативное отношение к новаторству — все это обязывает нас серьезно и всесторонне проанализировать характер и соотношение критического реализма и социалистического реализма.

Вопрос о взаимоотношении социалистиче-

ского реализма с другими творческими методами — один из актуальнейших. Об «узости» в нашей науке опять-таки говорить не приходится. Отброшены такие крайности, как недооценка критического реализма, который будто бы оказался в начале XX века в состоянии жесточайшего кризиса. Настойчиво выдвигается другое требование: отмечая преемственность, не упускать из виду, что социалистический реализм является качественно новой ступенью художественного развития. Не все уже решено, споры продолжаются, и они — еще одно свидетельство нормального эстетического развития, немислимого без борьбы мнений. Нет, к примеру, полного совпадения точек зрения на вопрос о романтизме. Так, А. Овчаренко и некоторые другие ученые склонны считать его самостоятельной эстетической системой; их оппоненты напоминают о едином методе социалистического реализма, включающем в себя романтику как составную часть. Надо думать, дискуссия поможет всесторонне осмыслить проблему, мобилизовать новые аргументы, прояснить позиции. Хотя, на мой взгляд, ближе к истине сторонники второй точки зрения, но сама острота постановки вопроса о романтизме очень плодотворна, нам крайне нужны произведения яркой романтической окраски, героических характеров.

Отличительная особенность сегодняшних научных дискуссий — стремление подытожить споры, начинать новый этап обсуждения с достигнутой точки отсчета, а не каждый раз с нулевой отметки, как бывало еще не так давно. Поэтому совершенно отчетливо определились исходные позиции советских ученых по вопросу о соотношении социалистического реализма с разного рода модернистскими направлениями, с новоявангардистскими движениями. Отмечая сложность этих отношений, участники дискуссий не собирались упрощать существо вопроса, отбрасывать достигнутое отдельными художниками — представителями этих течений. Однако они категорически не приняли попыток размыть социалистический реализм за счет включения в него любых других творческих методов. Отстаивая подлинную широту передового искусства, наша наука высказывается за целенаправленность его развития, верность принципам народности и партийности. Этой целенаправленности не препятствует, а, наоборот, способствует национальное и стилевое многообразие.

Снова и снова звучит мысль об эстетическом богатстве социалистического искусства, подтвержденная на XXIV съезде КПСС. Наша эстетика вовсе не узаконивает, как уверяют недоброжелатели, какие-то одни приемы поэтики, она, естественно, предполагает богатство форм, стилей, творческих манер. Ныне идет все более интенсивное изучение самой поэтики социалистического реализма, это одна из тем коллективного исследования, предпринятого Институтом мировой литературы имени А. М. Горького.

Как видим, фронт нашей литературно-эстетической мысли достаточно широк. Определенность оценок различных литературных течений и эстетических концепций не только не исключает, но предполагает их знание, основательное, объективное изучение. За последние годы появились работы о таких прежде мало известных у нас философах, социологах культуры, эстетиках, как К. Г. Юнг, М. Хайдеггер, О. Шпенглер, Ж. Маритен, С. Кьеркегор и другие. Это существенно не только в познавательных целях. Ближе познакомившись со взглядами Г. Маркузе, критически разобравшись в них, наша публицистика, литературная критика и наука смогли принять более деятельное участие в борьбе с теорией и практикой «новых левых». Они сейчас стали объектом почитания для довольно широких кругов западной интеллигенции. Эти крайние экстремисты, отрицающие роль рабочего класса в современном так называемом потребительском обществе, зовут молодежь к бунту, слепому, всеразрушительному, и требуют, чтобы искусство было всегда неконформистским, отрицало всякую социальную действительность — как буржуазную, так и социалистическую. Наглядно выступает тесная связь маркузианства с маоистскими теориями, с правым ревизионизмом Р. Гароди и Э. Фишера, также изверившегося в рабочем классе и ориентирующегося на «деклассированных», на группы «юных интеллектуалов».

На поверку оказывается, что «элитарные» теории в политике и искусстве имеют сейчас немало точек соприкосновения с теми, которые выступают на Западе от имени «массового искусства». Вернее, того, что навязывается массам для их одурманивания и развращения: культ супермена, поэтизация наживы, безудержный секс — и все это в примитивно доступной форме, в виде самых низкопробных литературных поделок. Наша литературная наука и критика все

более последовательно ведет борьбу с «утонченными» проявлениями буржуазной культуры, с формалистскими, эстетскими теориями. Но, пожалуй, мы недостаточно учитываем опасность воздействия на читателей и зрителей «массовой культуры», захватившей на Западе самые крупные издательства, кинематограф и телевидение. Этому тлетворному воздействию надо активно противостоять, что невозможно без знания дела, без продуманной системы контраргументов. И здесь научное обобщение может с большой пользой послужить социальному и эстетическому прогрессу.

Словом, забот у нашей литературной мысли предостаточно. Верность марксистско-ленинской методологии — надежная предпосылка того, что она справится с ними. Отступления же от этой методологии жестоко мстят за себя. К сожалению, без них все же не обошлось. Появились за прошедшие годы и работы, содержавшие уступки чуждым взглядам, некритическое отношение к ним. Среди критиков и эстетиков нашлись сторонники некоего универсального единого «стиля времени», не зависимо от социально-исторических, классовых условий. На совести у некоторых авторов противопоставление «правды факта», выдаваемой за первооснову творчества, «правды века» как якобы чего-то риторического, абстрактного. Были и попытки подменить героический характер «маленьким человеком» — «приземленным» образом обывателя, которого аттестовали ведущей фигурой современности.

Есть нечто, объединяющее ошибки такого рода. Это — методологический субъективизм. Он порождает многие ошибки, и прежде всего забвение классового, исторического подхода к литературе. Как отказ от этого единственно правильного подхода восприняли иные товарищи борьбу против вульгарного социологизма. Классовое они стали противопоставлять нравственному, абстрактному гуманизму, национальное — интернациональному, патриархальщину — современности. Печать субъективизма лежит и на построении, на языке, терминологии таких книг и статей: велеречивость, небрежность формулировок, растрепанность стиля, аморфность композиции...

Субъективистская предвзятость нет-нет да скажется и в текущей критике и в истории литературы. В прошлом приходилось порой сталкиваться с «проработками» футуризма, Лефа, Пролеткульта. Не лучше и то

приукрашивание этих течений, которое время от времени встречается ныне. В одной из статей такого фундаментального труда, как «Очерки истории русской советской журналистики», можно прочитать, например, следующее: «Основное направление работы Лефа, намеченное в декларациях, — создание коммунистического искусства, действительного, ориентирующегося на массы и новаторского по форме» (т. 1, стр. 320). Но ведь, по сути, левовскую фактографию, отрицающую художественное обобщение, никак нельзя считать «созданием коммунистического искусства». Трудно усмотреть в нем и действительность, ориентацию на массы. А что касается «новаторства», то оно было, как показала история, совершенно ложным. К сожалению, эти моменты недостаточно отчетливо прояснены в статье.

Разумеется, тут не злой умысел автора. Чаще всего это результат вольного или невольного пренебрежения методологическими основами литературоведения и эстетики, отступления от принципа историзма в исследовании.

Внеисторический подход к художественным явлениям — причина крайностей и упрощений, дезориентирующих читателей.

Так, рассматривая в одном ряду недифференцированно писателей, стоявших на партийных позициях, и авторов ошибочных произведений, иные исследователи утрачивают критерий исторически обоснованной оценки. В результате — грубые ошибки в девятом томе «Всемирной истории», где были подняты на щит Б. Пильняк и А. Белый, но зато совсем «забыты» А. Серафимович и Д. Фурманов, а роль основоположника социалистического реализма Горького сведена к тому, что он якобы был всего лишь «представителем передовой демократической культуры». Прошло почти десять лет после появления этого труда. Но вот в 1970 году в первом томе «Истории советской многонациональной литературы», подробно говоря о писателях, не стоявших на генеральном направлении

развития, О. Михайлов нечетко определяет значение таких произведений, как «Чапаев», «Разгром», «Донские рассказы», видя в них «движение» литературы в сторону полнокровного реализма.

Наряду с апологетикой формалистических и эстетских теорий стали появляться работы, односторонне трактующие РАПП и Пролеткульт — на этот раз как целиком и полностью враждебные течения. Критическое отношение к напостовству, разумеется, справедливо, но к чему сбрасывать со счетов, умалчивать о важности борьбы входивших в него писателей с аполитичностью и троцкизмом, о непосредственно творческой практике этих писателей? Не нужно ни приукрашивание, ни зачеркивание тех или иных страниц истории нашей литературы.

Хочется думать, что антиисторические, вульгаризаторские выступления, решительно осуждаемые советской общественностью, — последние всплески субъективистских завихрений, которые чужеродны самой атмосфере нашей жизни.

В целом, повторяем, наша наука достигла многого, период между Четвертым и Пятым писательскими съездами продемонстрировал новое ее движение вперед. Но ведь стремительно шла вперед вся наша жизнь, столько перемен произошло в советской литературе, в литературах мира. Большие задачи поставил перед наукой и культурой, художественным творчеством XXIV съезд КПСС. Чтобы выполнить эти задачи, недостаточно сохранить достигнутый уровень литературоведческой работы. Необходимо критическое рассмотрение достигнутого, движение еще более высоких критериев. Сама жизнь, время развернутого строительства коммунизма потребуют самым серьезным образом форсировать нашу научную и литературно-критическую работу. База для этого есть, традиции тоже. Дело за людьми, за усилиями всех нас, работников этого важного участка духовной жизни общества.

ОТ РЕДАКЦИИ

Начиная с октября прошлого года — с дней, когда по-особому широко развернулась в стране всенародная подготовка к XXIV съезду КПСС, — и по нынешний июнь, месяц Пятого съезда советских писателей, в течение полугода с лишним, наш журнал под рубрикой «Наука о литературе сегодня» вел обсуждение проблем, касающихся общего состояния, поступательного развития, конкретных недостатков и насущных задач литературной науки. Разумеется, ни одно самое обстоятельное выступление, ни даже цикл статей не могут охватить всю сумму вопросов, возникающих в этой области сегодня.

Проведенное журналом обсуждение, в котором высказывались взгляды и мнения различные, порою спорные, дискуссионные, только наметило отдельные аспекты важной темы.

За это время были опубликованы выступления Б. Сучкова («Некоторые актуальные проблемы»), М. Бахтина («Смелее пользоваться возможностями»), Д. Маркова («Всесторонне исследовать социалистические литературы»), Ю. Барабаша («Камо грядеши?»), Н. Конрада («Октябрь и филологические науки»), В. Шкловского («Идти к миллионам»), Л. Новиченко («К новому уровню»), Л. Тимофеева («Художественный прогресс»), А. Овчаренко («Продолжение спора»). В настоящем номере публикуются статьи Д. Благого, И. Андроникова и В. Озерова, завершающие наше обсуждение.

Главная мысль выступлений в журнале касается больших возможностей нашего литературоведения и больших, исключительно ответственных его задач. В решении их советские литературоведы, критики будут опираться на положения о советском искусстве, высказанные на XXIV съезде партии. В Отчетном докладе ЦК КПСС съезду подчеркивалась необходимость в научной среде «подлинно творческой обстановки, атмосферы смелого поиска, плодотворных дискуссий, товарищеской взыскательности». Здесь залог того, что советские литературоведы — вместе со всей творческой интеллигенцией — сумеют успешно помочь партии «направлять развитие всех видов художественного творчества на участие в великом общенародном деле коммунистического строительства».



Л. ЛАЗАРЕВ

★

СОРОКОВЫЕ, ФРОНТОВЫЕ...

I

Литература о Великой Отечественной войне сейчас уже практически необозрима — это многие сотни книг, разных по жизненному материалу, по проблематике, по жанру: тоненькие сборники стихов и солидные по объему романы, лаконичные и суховатые фронтовые дневники и проникновенные лирические повести, трагедии и бытописание, пламенная публицистика и очерковая хроника. Здесь есть уже своя — и довольно богатая — классика: произведения, проверенные временем и получившие признание не одного поколения читателей... Даже в такое фундаментальное издание, как выпущенная издательством «Художественная литература» к двадцатилетию победы над фашистской Германией двенадцатитомная серия «Великая Отечественная...», вошло далеко не все из того, что может претендовать на это высокое звание. Двенадцать томов «Великой Отечественной...» — это только избранное из избранного.

И сегодня остро живы в памяти народной эти грозные и великие события, от которых нас отделяет уже четверть с лишним века, — и потому что очень тяжким было обрушившееся на нас испытание, и потому что в этом испытании с необыкновенной силой раскрылись лучшие, самые благородные черты народного характера. Именно это определяет место и значение темы войны в современном литературном процессе: Великая Отечественная, о которой написаны сотни и сотни книг, остается для литературы темой неисчерпанной. И вероятно, еще долго такой останется — уж, во всяком случае, до тех пор, пока не уйдет из жизни поколение, пережившее все это.

Каждое новое талантливое произведение на эту тему не проходит незамеченным и читателями и критикой — даже если это всего лишь рассказ или короткая повесть, даже если этот рассказ или повесть принадлежит перу человека, который еще не зарекомендовал себя в литературе. И можно только поражаться той быстроте, с какой в этом случае приходят известность и популярность: один из последних примеров такого рода — успех повести Б. Васильева «А зори здесь тихие...».

Надо ли говорить, с каким вниманием и интересом встречают читатели произведение писателя, пользующегося давней популярностью, писателя, чья творческая биография неразрывно связана с Великой Отечественной войной. Особенно если эта его новая книга продолжает повествование о героях, с которыми читатель хорошо знаком, если ею завершается цикл романов, которые все вместе представляют собой одно из самых крупных в нашей литературе полотен, воспроизводящих те незабываемые сороковые, фронтовые. Нетрудно догадаться, что в данном случае речь идет о Константине Симонове и его недавно опубликованном романе «Последнее лето»...

И вот новая встреча с героями романов «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются»...

Мы видели их в кровавой сумятице первых недель войны, почерневших от горя, но не отчаявшихся, отступавших на восток под натиском врага, но заставлявших его дорогой ценой платить за захваченную землю, готовых не только умереть — это, как

говорил в ту пору Серпилин, «самое большое полдела. Чтобы немцы помирали, вот что от нас требуется». Они продолжали драться и тогда, когда по всем правилам военной науки сопротивление уже считалось бессмысленным — они дрались в окружении, без приказа и команды, лишенные связи со своими. И это непрекращающееся сопротивление врагу, эта беззаветная самоотверженность, эта готовность сражаться до последнего патрона, до последней капли крови, до последнего дыхания сыграли поистине историческую роль, хотя все, что они, бойцы и командиры сорок первого года, тогда делали, диктовалось жестокой повседневной необходимостью и меньше всего походило на участие в тщательно отрепетированном спектакле, который иногда выдают за историю... «Подобно ему, — говорится о Серпилине в романе «Живые и мертвые», — и его подчиненным, полной цены своих дел еще не знали тысячи других людей, в тысячах других мест сражавшихся насмерть с не запланированным немцами упорством. Они не знали и не могли знать, что генералы еще победоносно наступавшей на Москву, Ленинград и Киев германской армии через пятнадцать лет назовут этот июль сорок первого года месяцем обманутых ожиданий, успехов, не ставших победой. Они не могли предвидеть этих будущих горьких признаний врага, но почти каждый из них тогда, в июле, приложил руку к тому, чтобы все это именно так и случилось».

Мы видели их затем во время битвы, которая разыгралась на берегу Волги и стала кульминацией Великой Отечественной войны, битвы, окончившейся окружением, разгромом и пленением трехсоттысячной армии Паулюса, безуспешно штурмовавшей Сталинград, битвы, которая стала не только символом негибаемого мужества, но и знаменовала собой долгожданный перелом в ходе второй мировой войны, зарю победы. Здесь, в Сталинграде — и это один из самых важных выводов, к которому приходит автор в романе «Солдатами не рождаются», — «прежнее, смешанное с ненавистью уважение» к искусству немцев воевать «надломилось... И не в ноябре, когда мы перешли в наступление, а еще раньше, в самом аду в октябре...». И когда один из первых плененных там немецких генералов сказал на допросе Серпилину: «К сожалению, мы, кажется, научим вас воевать!» — Серпилин ответил ему: «А мы вас отучим!»

Теперь — в романе «Последнее лето» — мы встречаемся с героями «Живых и мертвых» и «Солдатами не рождаются» уже в Белоруссии в 1944 году, во время подготовки и проведения операции «Багратион». Это была одна из самых крупных операций, последствия которой определили дальнейший ход войны. В своих воспоминаниях маршал Рокоссовский так характеризует поставленные перед войсками «важные стратегические и политические задачи: ликвидировать выступ противника в районе Витебск, Бобруйск, Минск, разгромить и уничтожить крупную группировку вражеских армий «Центр», освободить Белорусскую Советскую Социалистическую Республику. А далее — начать освобождение братской Польши и перенести военные действия на территорию фашистской Германии». Эти задачи были выполнены. После войны немецкий генерал Бутлар, характеризуя значение этой битвы, писал: «Разгром группы армий «Центр» положил конец организованному сопротивлению немцев на Востоке».

В общем, и для нас и для немцев наступил, как сказано в «Теркине», «срок иной, иные даты...».

Три долгих года уже отделяют героев от той роковой черты, когда «жизнь сразу разделилась на две несоединимые части: на ту, что была минуту назад, до войны, и на ту, что была теперь» — этим и начинался роман «Живые и мертвые». Но и три военных года — немислимо тяжелых, потребовавших от каждого и на фронте и в тылу предельного напряжения сил и потому казавшихся бесконечно долгими, — не были одинаковыми, не походили друг на друга: глубокие перемены произошли в людях, менялся быт, армия, сам характер войны.

Да, изменился и сам характер войны, она — находит Серпилин формулу ее нынешнего состояния — «вошла в свои рамки». Определение Серпилина выглядит неожиданным, даже неподходящим — автор на это сразу же обращает внимание читателей: «Человеку, далекому от войны, наверное, показалось бы диким само понятие: вошла или не вошла война в свои рамки. Как будто у войны могут быть какие-то

рамки. Но Серпилин думал именно так». После этого становится ясно, что речь идет о выводе, не только взвешенном и продуманном героем (Серпилин вообще не выносит приблизительности и красивого пустословия, эти же слова он повторит затем еще раз), но и очень важном для писателя. Что мысль Серпилина точна и глубока, мы не раз убедимся, читая роман «Последнее лето».

Но что это значит: война вошла в свои рамки?

Ведь и в сорок четвертом, хотя враг и отступает, оружия он складывать не собирается, защищается с ожесточением, и каждый час от его огня гибнут тысячи людей.

У Серпилина убит на фронте сын, три его сводных сестры стали вдовами — это в одной семье. А сколько таких семей! Кажется, уже нет в России дома, где бы не глядели на почтальона с надеждой и страхом — что принесет: треугольник солдатского письма или похоронную?..

Утром у переправы через Березину встретились Серпилин, Синцов и «маленькая докторша» Таня — люди, которых когда-то, в июле сорок первого, в этих местах судьба свела в окружении и которые столько раз за три года войны видели смерть в лицо. Через несколько часов Серпилин будет убит, а Таня ранена — и это во время успешно развивающегося наступления и не на передовой непосредственно..

И в тылу война давно уже стала привычным бытом — хотя, казалось, так жить не один год, постоянно недоедая, недосыпая, работая до полного изнеможения, невозможно. «Думаешь, только те военные, у которых погоны на плечах? — говорит Серпилин. — Нет. Военные — это все те, у кого война на плечах». Они и есть «Россия, натерпевшаяся горя по самое горло, нарабатывавшаяся и продолжающая работать до упаду и терпеливо ожидающая от своих сыновей только одного: чтобы рано ли, поздно ли, но так, как надо, кончили эту проклятую войну бесповоротной победой».

Так что же это все-таки значит: война вошла в свои рамки?

Оказавшись после трех лет войны в местах, где им впервые пришлось вступить в бой с немцами, герои К. Симонова очень часто вспоминают то, что было с ними здесь тогда, и сравнивают с тем, что есть теперь. Еще недавно было не до таких воспоминаний — слишком много в них горечи. Если и вспоминали, то как укор и урок. А сейчас чаще всего — с внутренним торжеством: пришел час расплаты за этот черный год. В глубине души у каждого жила глубоко спрятанная мечта: вернуться в эти места освободителем, дожить до этих дней.

По сравнению с тем, что было три года назад, сейчас все переменялось: и хотя по карте отсюда до Берлина вдвое дальше, чем до Москвы, всем — от рядовых солдат до военачальников — ясно не только то, что мы в Берлин придем, но и то, что час этот уже не за горами. «На Берлин!» — это уже не только лозунг, но и одна из ближайших практических военных целей и задач.

Если тогда, в сорок первом, немцам, обладавшим военным превосходством, удерживавшим в своих руках инициативу, не удалось нас сломить и покорить, то только потому, что мы были крепче духом, наши силы удесят�еряла благородная идея, за которую мы сражались, сознание того, что надо либо умереть, либо одолеть фашистов. Война тогда была больше подвигом, чем трудом и искусством. Теперь она стала не только подвигом, но и трудом — и трудом в не меньшей степени, чем подвигом. Все осталось: и крепость духа, и благородная идея, вдохновляющая фронт и тыл, и готовность к самопожертвованию, но к этому прибавилось и чисто военное превосходство над немцами — в качестве и количестве военной техники, в искусстве ведения войны.

А ведь даже еще в Сталинграде после окружения немцев Синцов с горечью вспоминал: «Сколько раз и какими только словами мы не проклинали себя за то, что у нас нет то того, то этого! И до сих пор еще многого нет!» И Серпилин, отвечая на вопрос Сталина об уроках Сталинградской битвы, отмечал, что еще не изжит шаблон в управлении войсками и стремление воевать по старинке.

Летом сорок четвертого года действующая армия получала уже в четыре раза больше танков и в шесть раз больше самолетов, чем три года назад. В операции «Багратион» участвовало почти полтора миллиона человек, больше тридцати тысяч артиллерийских орудий, шесть тысяч самолетов, пять тысяч танков и самоходок.

«Сама смертельная опасность,— пишет К. Симонов,— заставляет всякого воюющего человека всегда хотеть, чтобы он был как можно лучше вооружен и защищен. На третьем году войны человек на фронте все больше отвыкал думать о том, о чем так мучительно думал в начале; теперь у него уже не было чувства, что ему недодано против немца. Ему и додали все, чего не хватало раньше, и дали многое из того, что теперь, наоборот, не хватало у немца».

Это и означало, что война вступила в свои рамки.

Впрочем, были и другие не менее важные признаки. Немало страниц нового романа посвящает К. Симонов подробному (надо отметить, что с таким знанием дела и с такой степенно подробностью это делается, пожалуй, впервые в нашей литературе) описанию того, как готовились войска к проведению запланированной операции. Размах и серьезность этой подготовки, которой не одну неделю в поте лица занимались солдаты, офицеры и генералы всех родов войск, стараясь предусмотреть все, что может стать препятствием для успешного наступления, учесть даже то, что в ходе сражений бывают неожиданности, к которым надо быть готовым, но которые заранее предусмотреть нельзя,— все это тоже свидетельство того, что война вошла в свои рамки.

Весьма знаменателен также внутренний спор между Серпилиным и начальником штаба армии Бойко о том, где главным образом должен находиться командующий — в войсках или у себя, на командном пункте. Такой спор об эффективном и гибком стиле управления войсками, о полководческом искусстве мог возникнуть только тогда, когда армия превратилась в сложный и слаженный механизм, когда неизмеримо выросла по сравнению с тем, что было в начале войны, роль штабов, когда генералам уже не приходится, как случалось тогда, в сорок первом, брать в руки винтовку и действовать за командира роты или взвода. Сейчас для военачальника, привычно отмечает Серпилин, «главный и постоянный риск в том, что он принимает решения, от которых зависит успех или неудача всего дела, а не в том, что вдруг сам ненароком заедет под пули». Так и должно быть в армии, закаленной в боях, научившейся побеждать, в армии, где каждый — кем бы он ни служил,— как говорили в старину, свой маневр знает.

Даже генерал Батюк, всего полтора года назад справедливо считавшийся человеком, который после гражданской войны «ни ума, ни знаний не набрался», который, «кроме пехоты, ничего не знает и ничем управлять не умеет», для которого искусство командовать заключалось в ругани и разносах,— даже он многому научился за этот срок, набрался опыта и понял, что так, как он воевал когда-то, теперь воевать нельзя. Очень сильно он должен был измениться (иногда даже кажется, что автор кое-где здесь нарушает границы возможного), через многое переступить в себе самом, чтобы так распекать своих подчиненных: «Что вам это, понимаешь, сорок первый или сорок второй год!» И это тоже подтверждает, что война вошла в свои рамки: лучше немцев стали воевать не только очень способные военачальники, как Серпилин, но и середняки, как Батюк, не только Артемьев, за спиной которого была законченная до войны академия, но и двадцатичетырехлетний Ильин, начавший войну писарем в штабе дивизии, а нынче командующий полком.

И еще одно. Года полтора назад конец войны казался героям произведения таким далеким, что за той чертой, отделяющей войну от будущего мира, невозможно было угадать реальный облик грядущего, все расплывалось, и виделся там мир не послевоенный, а такой, каким он был до войны. Да и думали об этом редко, у всех была одна цель и одна мечта — победа, а как будет потом — не гадали, на это тогда не хватало душевных сил. «Не представляю себе, как я буду жить после войны», — в одну из редких минут затишья в Сталинграде размышлял Синцов. И думая о будущем, он тогда невольно возвращался к прошлому: «Иногда, правда, я мечтаю о времени после войны просто как о тишине. Просто вспоминаю, как покупал хлеб в булочной, и как мы с Машей приносили клубнику с базара, и как вместе с Машей ели эту клубнику со сметаной и сахаром, и как шли потом вдвоем в театр, а соседка оставалась с девочкой..»

Теперь, когда конец войны приблизился так, что можно даже прикидывать, сколько месяцев она еще продлится, нельзя было не думать о том, как будет за той

заветной чертой, и не только вообще, со всеми, но и конкретно — с тобой, с твоими близкими, с людьми, которые тебя окружают. Роман «Последнее лето» не случайно кончается внешне будничным, а на самом деле многозначительным разговором о том, «какая будет жизнь после войны», — мир, во имя которого сражались и умирали, стоял уже на пороге. Конечно, и сейчас еще нельзя загадывать, проживешь ли до того дня: смерть косит и косит... Ну, а если повезет и вернешься с войны: что ждет тебя в той мирной жизни — об этом уже невозможно не думать. И о том, чем заниматься, где работать — для большинства солдат и офицеров после победы кончится их служба в армии; и о том, что у многих не осталось ни кола ни двора — обзавестись самым необходимым будет нелегко; и о том, сколько вдов, сирот и калек останется в наследство война — надо, чтобы и у них была мало-мальски сносная жизнь...

Как-то по-новому стали вспоминаться довоенные времена, они уже не казались столь идиллически прекрасными — Синцов вдруг поймал себя на мысли, что вовсе не все из того, что было тогда, хочется вернуть в дорогой ценой завоевываемый будущий мир. И война, принесшая столько горя и бед, стоившая столько жизней, война, конца которой ждут как самого большого счастья и самой высокой награды, если взглянуть на нее из уже прозреваемых мирных дней, тоже вдруг предстает в новом, необычном свете. Оказывается, это тяжкое, кровавое время заключает в себе и нечто такое, что следовало не только во что бы то ни стало сохранить в будущем, но и взять за образец. Это лучше других понимает Серпилин — может быть, потому, что труднее всего ему досталось именно в дни, когда еще не свистели пули, а может быть, по свойственной ему привычке все додумать до конца. Так или иначе, но он, не привыкший бросать слов на ветер, говорит незадолго до смерти: «Надо и после войны жить по чести. На войне при всех своих недостатках все же честно живем. Надо и после нее не хуже жить».

Словом, пришло наконец такое время, когда можно было и оглянуться назад, и задуматься над тем, какой будет послевоенная жизнь.

Да, война вошла в свои рамки.

II

Я начал эти заметки с разговора о том, какой этап Великой Отечественной войны и какими сторонами раскрывается в романе «Последнее лето», потому что для того жанра, который выбран К. Симоновым для своего повествования, чрезвычайно важна историко-событийная сторона. Начатая в свое время «Товарищами по оружию» как роман о судьбах нескольких современников, «главная книга» К. Симонова о войне, которой он занимался на протяжении двух десятилетий, «отделилась» от этого произведения и превратилась в роман об истории, приобрела некоторые характерные черты исторической хроники¹, хотя в ней действуют — за редким исключением — вымышленные герои. И в этих заметках речь будет идти не о тетралогии, а о трилогии.

Роман «Товарищи по оружию» от последующих произведений К. Симонова отделяет такое важное событие нашей жизни, как XX съезд партии. Задачи, которые должен был решать теперь автор, по сравнению с «Товарищами по оружию» не просто усложнились, а коренным образом изменились. Конечно, и позднее, в ходе работы над «Солдатами не рождаются» и «Последним летом», первоначальный авторский замысел и уточнялся и видоизменялся (К. Симонов, например, предполагал последний роман посвятить событиям сорок пятого года, финалу войны, и думал, что этот «роман о конце войны не будет концом Серпилина. О нем еще придется писать»), но это были изменения, если воспользоваться военной терминологией, «тактического» характера, а «Живые и мертвые» отличаются от «Товарищей по оружию» иной художественной «стратегией». «Товарищи по оружию» возводились на «готовом» историческом фундаменте — автор должен был лишь к нему принаравливаться. Работа

¹ Мне уже приходилось писать о произведениях, предшествовавших «Последнему лету» (см. «В те дни мы отступали...» — «Литературная газета» от 4 апреля 1961 года; «Военные романы К. Симонова» — «Новый мир», 1964, № 8), и когда речь идет об общей структуре цикла, я вынужден повторить некоторые уже высказывавшиеся мною соображения.

же над «Живыми и мертвыми» потребовала от К. Симонова самостоятельного художественного исследования недавней истории.

Характер этих перемен можно обнаружить, обратившись к статье К. Симонова «Некоторые проблемы военного романа» («Литературная газета» от 24 февраля 1953 года), написанной через несколько месяцев после того, как были опубликованы «Товарищи по оружию», и во многом опирающейся на опыт работы над этим произведением. Правда, не все отстаиваемые в статье положения принадлежали персонально К. Симонову — некоторые были расхожими, да и в романе писатель не во всем следовал собственным теоретическим построениям. Но общее представление о позиции автора «Товарищей по оружию» статья «Некоторые проблемы военного романа» все-таки дает. Писатель в ту пору был убежден, что «семейная хроника», история одной семьи (то, что он впоследствии назвал «романом-судьбой»), если это «геронческая семья», дает возможность «показать более или менее широкую картину событий Отечественной войны», что «военное бытописание», обращение к «дневниковым записям — пусть даже самым талантливым» — мешают романсту, взявшемуся за произведение эпического масштаба, что — и это, пожалуй, самое главное — задача автора такого произведения в художественном показе, а не в художественном исследовании действительности; К. Симонов даже говорит о готовой, заранее известной «мысли», которая «должна быть художественно раскрыта писателем в образах советских людей»².

После этого не приходится удивляться, что «Живые и мертвые» давались писателю трудно: он сам говорил о «целой цепи ошибок», сделанных им в первом ва-

² Эти заметки уже были написаны, когда в журнале «Русская литература» (1971, № 1) появилась статья П. Глинкина «Эпос народного подвига (Основные тенденции развития русской прозы о Великой Отечественной войне в послевоенное десятилетие)». Ее автор тоже обращается к статье К. Симонова «Некоторые проблемы военного романа», но для того, чтобы опереться на высказанные в ней суждения и оценки. Ссылаясь на К. Симонова, критик называет его «знатоком предмета». Если это сказано не ради красного словца, то уважение к писателю и научная добросовестность требовали, чтобы П. Глинкин сообщил читателям, что ряд положений и оценок, содержащихся в статье «Некоторые проблемы военного романа», К. Симонов впоследствии пересмотрел. П. Глинкин об этом умалчивает, ибо, видимо, объективность и научная добросовестность в данном случае вовсе не его союзники. Покажу это на нескольких примерах.

П. Глинкин полемизирует с работой В. Пискунова «Повести и романы о Великой Отечественной войне (1945—1950)», появившейся в 1955 году, и книгой Л. Плоткина «Литература и война», вышедшей в 1967 году, критикуя их авторов за положительное в целом отношение к повестям В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и В. Пановой «Спутники». Это его право. Но он делает и следующий вывод: «Такая апология, разумеется, не могла не вызвать ответных реакций». И в качестве этих «ответных реакций» приводятся статьи 1947—1948 годов: не надо знать высшей математики, чтобы вычислить, что эти «ответные» статьи появились за семь-восемь лет до работы В. Пискунова и за двадцать лет до книги Л. Плоткина...

Еще один пример. П. Глинкин пишет: «Через двадцать лет после победы Эренбург-мемуарист скептически заметит, что «война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия». С такой оценкой, однако, трудно согласиться, ибо свидетельства эпохи, в частности писательские дневники, записки, мемуары полководцев, сама литература Отечественной войны, отвергают подобное упрощение. Не отсутствие душевного многообразия, а наличие морально-политического единства в грозный час определили «защитный цвет одежды» борющегося народа и его вооружившихся муз».

Цитирование — нехитрое искусство: оно требует соблюдения лишь одного обязательного условия — не искажать мыслей оппонента, изымая ту или иную фразу (или полфразу, как это делает здесь П. Глинкин) из контекста. Соблюдает ли это условие автор статьи «Эпос народного подвига»? Вот как звучит у И. Эренбурга то место, из которого извлек П. Глинкин нужные ему полфразы: «Я говорил, что в мирное время у каждого человека свой путь, свои радости и горести, а война не только все рядит в одежду защитного цвета, она не терпит и душевного многообразия, перед нею отступают и возраст, и особенности характера, и биография. В годы войны я думал и чувствовал, как все мои соотечественники». Совершенно ясно, что И. Эренбург пишет все это абсолютно серьезно, а не «скептически»; совершенно ясна и его мысль о морально-политическом единстве сражающегося народа, хотя выражена она, может быть, не в тех словах, в каких хотелось бы критику...

В числе писателей, которые в последние годы, как считает П. Глинкин, подверглись несправедливой критике, назван в статье «Эпос народного подвига» В. Вишневский.

рианте книги. И хотя относились они как будто бы к выбору героев, к композиции романа, к его сюжетным мотивировкам — дело было не просто в художественных просчетах: сами эти просчеты были следствием непреодоленной инерции того подхода к изображению действительности, который господствовал в «Товарищах по оружию».

Для того чтобы лучше понять, какие новые задачи встали перед К. Симоновым, работавшим над «Живыми и мертвыми», нелишне вспомнить о процессах, происходивших в эти годы в литературе о Великой Отечественной войне. На два явления хотелось бы обратить здесь внимание.

Первое — начавшие выходить то в одном, то в другом издательстве воспоминания участников войны. В первое послевоенное десятилетие таких книг было еще очень немного — буквально по пальцам можно перечесть; во второй половине 50-х годов это уже был мощный поток, не иссякающий по сю пору. О своей военной биографии рассказывали и известные военачальники, и прославленные герои, и партизаны, и узники фашистских концлагерей, не прекратившие сопротивления и за колючей проволокой. Мемуары, ломая некоторые утвердившиеся к тому времени каноны и схемы в освещении Великой Отечественной войны, сами одновременно служили одним из ценнейших источников для воссоздания подлинной ее истории. Они явились и стимулом для нового, более глубокого художественного осмысления событий военных лет. Вот что об этом писал К. Симонов несколько лет назад (и как существенно его наблюдение отличается от сказанного в статье «Некоторые проблемы военного романа»): «...Сила воздействия многих из этих воспоминаний (участников войны. — Л. Л.) так велика, что писателям приходится задумываться над силой воздействия собственных художественных произведений о войне. Над тем, как им нужно рабо-

Сначала это вызывает недоумение: ведь В. Вишневский, как известно, в послевоенные годы прозы не писал, не писал и произведений о Великой Отечественной войне, а статья П. Глинкина посвящена прозе, и именно прозе о Великой Отечественной войне. Но затем становится ясно, что В. Вишневский попал в статью «Эпос народного подвига» не по ошибке: критик, конечно, имеет в виду его пьесу «Незабываемый 1919-й», которая действительно в некоторых статьях последнего времени приводилась в качестве примера явного искажения исторической правды. Жаль только, что П. Глинкин не говорит о том, чем же его так привлекла эта драма на историко-революционную тему, что он вспомнил о ней, даже говоря о военной прозе.

П. Глинкин прав, утверждая, что попытки доказать «творческую бесплодность» первого послевоенного десятилетия в литературе несостоятельны. Но при этом он пытается вернуть нас к некоторым оценкам и суждениям этого периода, истинность которых не была подтверждена последующим литературным развитием, воскресить то, что временем было отброшено, и перечеркнуть то, что по прошествии времени было оценено более объективно.

Повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда» и В. Пановой «Спутники» вызвали в нашей критике дискуссию, которая, то затихая, то вспыхивая вновь, продолжалась не один год: эти произведения, как и некоторые другие, дают материал для споров. Но неслучайно, что они по праву включены в уже упоминавшуюся мною двенадцатитомную юбилейную серию «Великая Отечественная...» — это «материальное» выражение их сегодняшней оценки. А как пишет о них П. Глинкин? «Подчеркнутое бытописание не могло оплодотворить героическую по глубочайшей своей сути тему». С этим утверждением, повторяющим то, что говорилось о повестях В. Некрасова и В. Пановой в 1947—1948 годы, нельзя согласиться, но оно хотя бы по форме не выходит за рамки литературной полемики. А в некоторых случаях критик переступает и через эти рамки. Говоря о том, как изображен в повести «В окопах Сталинграда» Валега (и не только Валега, так как П. Глинкин считает, что главный герой повести «родствен Валеге»), критик переходит на язык обвинительного заключения: «Так рисовали советского воина в годы войны иностранные корреспонденты — как примитивно-естественного человека, лишённого исторической памяти, развитого социального мышления, высокой культуры».

В этой реплике я мог коснуться лишь некоторых положений статьи П. Глинкина. Она требует более подробного разбора, чтобы выяснить, верно ли определены автором тенденции развития военной прозы, — надеюсь, что это будет сделано...

Заканчивая свою статью, П. Глинкин пишет: «Мы безвозвратно ушли от тех времен, когда попытки выявить различные тенденции, скажем, в той же батальной прозе, несхожесть, а порою и противоположность приемов и методов изображения действительности квалифицировались как стремление расколоть писателей, столкнуть их между собою и создать в литературе атмосферу взаимного недоверия». В общем, это наблюдение соответствует действительности. Но сам автор работы «Эпос народного подвига» старается возродить именно такую атмосферу — вот почему нельзя было пройти мимо его выступления.

тать для того, чтобы сила их художественных обобщений не бледнела перед правдой подлинных фактов. И писатели, несомненно, думают об этом».

И второе, на что следует указать,— это появление группы молодых талантливых писателей, заявивших себя книгами о войне: Ю. Бондарев, Г. Бакланов, В. Богомолов, В. Быков, А. Адамович... Книги этих писателей в основе своей были близки мемуарам; по большей части это лирические повести, где рассказчик и автор, в сущности, являются одним лицом. Это были правдивые рассказы о том, что чувствовал, думал и видел рядовой солдат или офицер переднего края, когда на него шли немецкие танки или сам он под минометным обстрелом поднимался в атаку, когда его прижимал к земле огонь вражеского пулемета или он забрасывал этот пулемет гранатами, когда вытаскивал с нейтральной полосы раненого друга или входил в освобожденный от оккупантов город... Во всех этих книгах «военное бытописание» (кстати, до того, как К. Симонов поставил его под сомнение в статье «Некоторые проблемы военного романа», оно в годы войны было отличительной чертой его прозы) занимало большое место. И в романах К. Симонова оно тоже оказалось необходимым компонентом образной структуры: ведь писатель изображает историю в ее повседневном, «рабочем» обличье.

«Я считаю свою книгу историческим романом. А если бы персонажи ее не были вымышленными, я назвал бы ее документальной повестью» — так определил сам автор после того, как были написаны «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются», своеобразие своей «главной книги». Эти художественные принципы выдержаны им и в «Последнем лете».

Черты исторической хроники, пожалуй, наиболее осязаемо проступают во вне-сюжетных эпизодах «Последнего лета», в тех эпизодах, которые почти никакой роли в судьбах главных героев не играют и от которых, если исходить только из соображений «сюжетной целесообразности» и динамики, можно было бы и отказаться. Синцова, в сущности, никак не касается вдруг всплывшая во время боев за освобождение Белоруссии история генерала, который, как было сказано в одном давнем приказе, «бросив свои войска, перешел к немцам», а в действительности пал смертью храбрых и был тайно похоронен лесником,— история, которая и не имела начала в романе, и не получает завершения, впрочем, завершение может быть только одно — отменяет или не отменяет тот высокий приказ, порочивший — пусть по неведению — доброе имя этого человека. Этот эпизод, сюжетно не обязательный, для исторической хроники не только не лишний, но важный — здесь проступают еще одна грань времени, еще одна не лежащая на поверхности причина, объясняющая, почему люди — ну хотя бы тот же Серпилин — поступали так, а не иначе.

Или другой эпизод такого рода — с немцем из комитета «Свободная Германия», который агитировал окруженных немецких солдат и офицеров сдаваться в плен. Для движения сюжета в романе и этот эпизод не нужен. Но с точки зрения исторической хроники он мотивирован необходимостью раскрыть и моральное состояние гитлеровских войск в эту пору, и отношение к немцам в нашей армии. Подобный эпизод есть в романе «Солдатами не рождаются», и введен он с той же целью. Но повтор этот сознательный — он должен подчеркнуть происшедшие после Сталинграда изменения. Характерно, что там, в Сталинграде, с призывом сдаваться к окруженным обращался политэмигрант, коммунист, участник Гамбургского восстания, бывший командир батальона Интернациональной бригады, а здесь, под Минском, — обер-лейтенант немецкой армии, воевавший против нас в сорок первом и только в плену осознавший, куда Гитлер ведет его народ и что принесет эта война его отчизне...

Не сразу и не просто нашел К. Симонов для своей «главной книги» о войне соответствующую композиционную структуру. Пытаясь после «Живых и мертвых» определить выкристаллизовавшуюся в итоге неудач, проб, поисков жанровую форму, он назвал ее (быть может, не очень удачно, что и явилось причиной ряда полемических выступлений, опровергающих его выводы) «романом-событием», таким романом, в котором автор сосредоточивается «на главном событии в жизни своих героев, причем это главное событие чаще всего в то же время и важное событие в жизни страны», отказываясь от того, чтобы последовательно проследивать их судьбы от рождения до смерти. Вряд ли здесь есть нужда возвращаться к спору, в какой мере

этот вывод, который К. Симонов распространяет на всю современную прозу, соответствует реальной картине литературного процесса,— важнее сейчас другое: что мысль К. Симонова верно передает путь его собственных жанровых поисков, помогает обнаружить их истоки.

Разумеется, этот вывод писателя, как и все такого рода определения, не следует понимать буквально: конечно, главное в этих романах — изображение людей, постижение человеческой психологии. Но эта общая для художественной литературы задача может иметь бесчисленное количество решений. К. Симонов в «Последнем лете» стремится воссоздать духовный облик людей нашей армии и обстоятельства именно того периода, когда завершалось освобождение советской земли от гитлеровских захватчиков. Я хотел бы особо подчеркнуть слово «период», потому что для писателя в высшей степени важно все, что связано с движением истории, с общим ходом войны,— и чаще, чем в предыдущих его романах, все это становится предметом непосредственного образного исследования и изображения. И не только образного — в романе «Последнее лето» возникают и исторические отступления, которых не было в «Солдатами не рождаются». Достоверность и основательность исторического фундамента нового романа К. Симонова таковы, что «Последнее лето» может выдержать конкуренцию с самыми серьезными военно-историческими работами.

После опубликования романа «Живые и мертвые» К. Симонов писал одному из своих корреспондентов: «Мне как писателю свойственны многие художественные слабости, и я это прекрасно сознаю. Но я знаю войну и приложил все усилия к тому, чтобы в своем романе правдиво описать все подробности ее. Для меня как для писателя является предметом известной гордости то, что именно в этом отношении я почти не встречался до сих пор с упреками со стороны людей, провоевавших войну». Все это может быть отнесено и к романам «Солдатами не рождаются» и «Последнее лето».

То знание войны, о котором говорит К. Симонов и которое служит ему предметом гордости, имеет два источника.

Один из них — впечатления военного корреспондента «Красной звезды», которого за четыре года войны редакция около тридцати раз посылала в короткие и длинные командировки на фронт: в первый раз, в июле сорок первого, — под Могилев (в этих местах и разворачивается действие первых глав «Живых и мертвых» и большей части «Последнего лета») и в последний, в апреле сорок пятого, — под Берлин. Обязанности фронтového корреспондента «Красной звезды» открывали тому, кто стремился видеть побольше (а К. Симонов принадлежал к таким людям — об этом можно судить по тем страницам его военных дневников, которые были опубликованы в последние годы в книгах «Каждый день — длинный» и «Записки молодого человека»), немалые возможности: можно было встречаться и беседовать с большим количеством самых разных людей — от рядового солдата переднего края, цель которого выбить немцев из ближних траншей, до командующего фронтом, отвечающего за исход крупной операции, от летчиков до саперов, от артиллеристов до разведчиков, от пленных немцев до партизан; можно было увидеть, например, наступающую армию в «вертикальном разрезе»: отправившись из штаба армии, добраться до батальона, последовательно побывав в корпусе, дивизии, полку...

Нельзя не отметить, сколь точны наблюдения К. Симонова военных лет. Показательно, что генерал армии Батов, рассказывая в своих мемуарах («В походах и боях». Воениздат. М. 1966) об одном из эпизодов сражения в Крыму осенью сорок первого года, ссылается на дневник К. Симонова (в записной книжке генерала Батова сохранилась заметка: «Сальково взято. Там Николаев с корреспондентом»; этим корреспондентом был К. Симонов) и обильно цитирует этот дневник как материал, обладающий всеми правами и достоинствами документа.

Однако, как ни велик был запас впечатлений, приобретенных в годы войны, приступив к работе над «главной книгой», писатель почувствовал, что не может ограничиться лишь собственными воспоминаниями — даже если его герои действуют в тех же местах и воинских частях, где он был в войну. Так возник второй источник, из которого писатель черпает знание войны и на важность которого он сам указывает. «Конечно, я сейчас гораздо шире знаю войну, чем тогда (в дни войны.—

Л. Л.),— писал он несколько лет назад.— То, что я тогда знал и помнил, я и сейчас помню, но я не разговаривал тогда так подробно, как сейчас, с десятками и сотнями людей, которые провели войну на других должностях, в другой шкуре, чем я. А сейчас я это делаю уже много лет подряд. Мое осталось при мне. Но и теперь у меня точка зрения на войну находится на скрещении разных точек зрения разных людей, в разных должностях побывавших на войне. Я не хочу привести их к одному знаменателю, но это знание разных точек зрения — база для того, чтобы выработать свою собственную. И она, конечно, несколько иная, чем была моя точка зрения военного корреспондента тогда».

Все это сказалось в романе «Последнее лето» — и те живые, непосредственные наблюдения над фронтовой жизнью, которые не заменить ничем — ведь для художника особенно важно первоощущение, и то более глубокое понимание происходивших событий, которое возникло в итоге целеустремленно накапливаемых знаний и без которого невозможно создать столь широкую историческую панораму военных действий. Атмосфера наступления, которое является результатом ума, самообладания, труда множества разных по характеру, склонностям, образованию людей, усилия которых объединяет воля приказа,— эта атмосфера большого наступления передана К. Симоновым с такой выразительностью и достоверностью, с такой бездной точных, неповторимых и основательно забытых большинством из нас подробностей, что уже одно это выдвигает роман «Последнее лето» в ряд наиболее значительных произведений последнего времени о войне.

Автор поставил перед собой очень трудную задачу: показать военные действия, как они видятся командованию армии,— хочу напомнить, что армия той поры насчитывала в своих рядах сто тысяч человек — с малым или без малого. Сама попытка изображения фронтовой жизни на таком уровне, в таком масштабе — случай нечастый в литературе. Еще реже такие попытки приводят к успеху. И в этом отношении роман «Последнее лето» — удача безусловная и редкая.

Люди, управляющие армией — командарм Серпилин, член Военного совета Захаров, начальник штаба Бойко, заместитель командующего Кузьмич,— показаны здесь в деле, изнутри раскрыта их многотрудная работа, не знающая перерывов и затишья, их навыки и психология профессиональных военных. Мы видим, что предшествует тому моменту, когда командарм принимает решение, отдает приказ и на карте начальника штаба возникает стрелка, и что следует за этим, как короткие слова приказа и стрелка на штабной карте превратятся в полки, форсирующие водные преграды, в смертоносный огонь артиллерийских батарей, в танки, устремляющиеся в прорыв, в людей, которым суждено выжить или умереть, но приказ выполнить.

Серпилин и люди, вместе с ним управляющие «огромной армейской машиной», — это фокус, в котором сходятся все сюжетные линии романа, а линии эти в соответствии с тем, как это было в действительности, тянутся и в штаб фронта, а в некоторых случаях в генштаб, и в корпус, дивизии, полки. Все это написано К. Симоновым и ярко и с доскональным знанием предмета изображения, круга обязанностей и военно-профессионального кругозора персонажей — будь то командующий фронтом или начальник штаба полка, и с ясным пониманием, что взаимоотношения начальников с подчиненными определяются не только уставами и воинской дисциплиной, но и характерами этих людей, их взглядами, их самолюбиями, их человеческими достоинствами и слабостями.

Но есть в романе «Последнее лето» и один существенный пробел: в той обширной панораме войны, которую представляет собой это произведение, оказались на самом дальнем плане те, кто лицом к лицу встречается в бою с врагом, для кого и КП батальона уже тыл. Казалось бы, это естественно: слишком много ступеней служебной лестницы отделяет Серпилина — а в центре романа находится все-таки он — от солдата, поднимающегося под огнем в атаку; непосредственный контакт между ними в любом случае казался бы неправдоподобным и выглядел беллетристическим сочинительством. «...Своими глазами, как живет солдат на войне, теперь вижу реже, чем раньше,— говорит как-то Серпилин.— Армия — это уже не дивизия и не полк. Сколько я вижу его, солдата, до атаки, в которой он или живой останется,

или умрет, или попадет к тебе на стол раненый? Минуту-две. С наблюдательного пункта, в бинокль или в перископ... Перед боями, когда проводим рекогносцировки, ползаем на брюхе по переднему краю, выбираем место для прорыва, тут, конечно, вижу солдат и чаще и ближе, чем в другое время. Поговоришь с одним, со вторым, с третьим... А в разгаре боев современная война оставляет командующему армией мало возможности для прямого общения с солдатами».

Правда, Серпилина такое положение удручает, он убежден, что только тот военачальник, который хорошо представляет жизнь солдата — и не вообще, а нынче, в этой конкретной обстановке, который понимает и меру испытываемого им страха, — только такой военачальник знает точно, что можно и чего нельзя потребовать от солдата. В этом, кстати, и корень спора между Серпилиным и Бойко о том, где должен находиться командующий, этим и объясняется стремление Серпилина чаще бывать в войсках.

Все это так, но, даже часто находясь в войсках, командующий армией во время боя видит солдат только «в бинокль или в перископ» — через правду не переступишь. К тому же сорок четвертый год — год наступлений и побед, год салютов и приказов, прославляющих имена генералов; не зря Александр Твардовский тогда писал в «Теркине» о солдате:

Между прочим, при отходе,
Как сдавали города,
Больше вроде был он в моде,
Больше славился тогда.

Нет, не в укор К. Симонову вспомнились эти строки — он-то хорошо понимает, как много и в сорок четвертом году зависело от рядового солдата: основной груз войны нес на своих плечах все-таки он, рядовой солдат, и на его долю — «больше ни на чью», подчеркивает К. Симонов, — приходится больше всего повседневных опасностей. Стоит внимательно прочесть одно из авторских отступлений (я прошу читателей простить мне длинную цитату — она здесь необходима), чтобы убедиться, что дело здесь не в узости авторской мысли:

«В полученной сегодня дополнительной директиве Ставки уже прямо предусматривались и окружение всех отступавших здесь немецких войск, и срок взятия Минска.

Горсточка людей, воевавших вместе с Никулиным на пяточке за рекой Друтью, разумеется, ничего не могла знать об этом секретном документе, пришедшем глубокой ночью в штабы фронтов. Но прямая связь одного с другим состояла в том, что сама эта дополнительная директива Ставки была следствием того, как воевал Никулин и другие такие же, как он, люди здесь и во многих других местах, на всех четырех наступающих в Белоруссии фронтах.

И тот, кто не понял или не захотел бы понять этого, ничего бы не понял в том, почему одни приказы оказываются на войне исполнимыми, а другие — нет. А тем самым не понял бы и что такое война в ее конечной, солдатской реальности — одновременно и высшей и низшей. Низшей, потому что директивы спускают сверху вниз, и когда они доходят до самого низа, это и значит, что они дошли до солдата. А высшей, потому что у директив, с какой бы высоты они ни шли, нет высшего исполнителя, чем солдат. И они становятся реальностью лишь после того, как он примет задуманное к исполнению и, невзирая на опасность и страх смерти, в конце концов исполнит. И вроде бы казенное, суконное слово «исполнители», употребляемое в армии по отношению к тем, кому предстоит исполнить полученный свыше приказ, на самом деле есть слово, исполненное высокого значения и уважения к человеку, делающему на войне свое дело. «Исполнитель» — тот, от кого зависит исполнение. И если он не исполнит, то ничего и не исполнится».

Но и это отступление, воздающее должное солдату, и небольшой эпизод, который оно венчает и в котором рассказывается о рядовом Никулине, захватившем с горсточкой товарищей пяточок земли на западном берегу реки Друть и удерживающем его, отбивая ожесточенные атаки немцев, — свидетельствуют все же скорее о верном понимании, чем о полнокровной образной реализации этого понимания. Вой-

ну, как она видится солдату Никулину и его товарищам, да и их самих следовало бы показать в романе с большей степенью подробности, передвинув с заднего плана вперед, хотя бы на средний, чтобы общая панорама фронтовой жизни соответствовала авторскому пониманию войны.

Этот упрек был бы неправомерен — не следует укорять за то, чего нет в произведении, — если бы мы не имели дело с трилогией, если бы образный строй «Живых и мертвых» и «Солдатами не рождаются» не включал в себя изображения войны «в ее конечной, солдатской реальности». В «Живых и мертвых» все герои, в том числе и комбриг Серпилин — сначала командующий полком, а затем дивизией, — оказывались в таких ситуациях, когда между ними и немцами уже никого не было, поэтому в романе свое место занял и «солдатский уровень» войны. В «Солдатами не рождаются» комбату Синцову во время уличных боев приходится испытать все, что выпадает на долю рядового бойца штурмовой группы. Однако дело не только в образном строе, но и в уже определившемся в предыдущих романах пафосе «главной книги» К. Симонова: она задумана и писалась как историческая хроника нашей армии на основных этапах Великой Отечественной войны. И говоря о пробелах в панораме фронтовой жизни, нарисованной в романе «Последнее лето», я исходил не из умозрительных требований, а из тех законов, которые вывел для себя автор и которым он следовал в «Живых и мертвых» и «Солдатами не рождаются».

III

Вовсе не каждому писателю дано создать героя, который утверждался бы в сознании читателей неразрывно связанным с именем этого писателя. А вот мы произносим «симоновский герой» уже без риска быть непонятыми — в памяти каждого, кто читал книги К. Симонова, с этими словами связано представление о людях определенного склада, с которыми нас познакомил именно этот писатель. В свое время название пьесы «Парень из нашего города» стало даже широко употребляемой формулой, содержание которой составлял открытый автором характер. Конечно, в разных его произведениях действуют разные люди, с разными биографиями, но, как правило, это люди одного склада. Выражающийся в положительном герое нравственный кодекс писателя в своей основе оставался неизменным. Его симпатии отданы людям, которые не дают себе никаких поблажек, умеющим в любых обстоятельствах и все делать с толком, готовых всегда и во всем брать на себя всю полноту ответственности. Его привлекает в людях твердость, решительность, какая-то деловая, не декларативная вера в победу, убежденность, что победа зависит от стойкости, от самоотверженности, от точного и умного выполнения долга каждым.

Сейчас, когда опубликованы некоторые страницы фронтового дневника К. Симонова, можно убедиться, как часто сталкивался он на войне с людьми этой породы — занимающими разные должности, молодыми и солидного возраста, несловохотливыми и с душой нараспашку. Это и генерал Болдин, являющий собой пример умного и образованного военачальника, воспитывающего подчиненных так, что они чувствуют себя «офицерами, а не пешками»; и полковник Кутепов, «человек, не желавший отступать», благодаря твердости и мужеству которого линия обороны его полка стала для немецких танков непреодолимой; и офицер связи капитан Арапов — «маленький красноносый человек, утравший в большом полушубке. Он каждый раз долетал, каждый раз находил все, что требовалось, и каждый раз возвращался»; и бесшабашно храбрый, никогда не унывающий фотокорреспондент Михаил Бернштейн, который был человеком, «какого не забудешь всю жизнь, потому что всю жизнь хочется рядом с собой иметь именно таких товарищей»; и звукометрист сержант Данилов, великан с «круглым детским лицом и руками, в которых небольшой арбуз, наверное, выглядел бы как яблоко», рассказывающий о «почти невероятных вещах» с «детской уверенностью в том, что иначе и не могло быть»; и руководивший дерзкими операциями торпедных катеров старший лейтенант Моль, «веселый и вместе с тем сдержанный, умный, интеллигентный человек с хорошим чувством юмора»; и командир отряда пограничников майор Калеников, «всегда ровный — и во время дружеских бесед, и во время служебных разговоров с подчиненными, и, как мне го-

ворили, во время боевых операций, он со своим твердым спокойствием, сердечностью и какой-то особенной хозяйственной неторопливостью был любимцем всего отряда».

Я мог бы еще приводить примеры, но, думаю, достаточно и этих, чтобы убедиться, что тип человека, к которому принадлежат и Серпилин, и Синцов, и Ильин, и Бойко, и Никулин, и многие другие симоновские персонажи, реально существует в жизни и это тип довольно распространенный.

Люди именно такого склада больше всего привлекают К. Симонова, потому что творчество его на протяжении многих лет обращено к событиям Великой Отечественной войны. «Есть кони для войны и для парада», — писал Борис Слуцкий. Герои Симонова — не для парада. Их душевная сила и красота, не бросающиеся в глаза в обычных условиях, по-настоящему раскрываются в минуты смертельной опасности, в тяжелых испытаниях, где самоотверженность и непоказное мужество становятся главным мериллом ценности человеческой личности. Это люди тушинской закваски, о себе они думают меньше всего и в последнюю очередь.

Но при всей близости к толстовскому герою, они от него отличаются. И отличает их прежде всего воспитанное послереволюционным временем и проявляющееся не только в минуты роковые, как это было у Тушина, чувство достоинства. Им обладают и командарм Серпилин и солдат Никулин, и основа этого чувства у генерала и солдата общая. У Никулина — справедливость, проявляющаяся в вере в людей и в привычке не обманывать их веры в себя, ощущение личной причастности к тем великим событиям, которые далекая Москва отмечает торжественными салютами. И у Серпилина — справедливость; именно эта его черта казалась людям, служившим рядом с ним, самой яркой и самой привлекательной: «Не считал про себя, что всегда прав — потому что власть в руках. Ломал сопротивление подчиненных и гнул по-своему, только когда действительно был уверен, что прав. А с другой стороны, если был уверен в своей правоте, без остатка использовал все доступные возможности, чтобы доказать эту правоту тем, кто над ним». В этом выразалось и то особое чувство ответственности, та привычка мыслить по-государственному, от которых Серпилин ни при каких обстоятельствах не отказывался — чем бы это ему лично ни грозило.

Я уже писал, что предложенное К. Симоновым определение «роман-событие» не следует понимать буквально. В «Последнем лете» он, скажем, самым подробным образом живописует обстоятельства службы и личной жизни Серпилина, Синцова, Тани, что, строго говоря, противопоказано «роману-событию». И не только ход операции «Багратион», но и судьба Серпилина, который уже в «Солдатами не рождаются» завоевал себе место главного героя произведения, является сюжетной и композиционной основой романа «Последнее лето». Поэтому после гибели Серпилина (главы, рассказывающие об этом, принадлежат, на мой взгляд, к лучшим во всей трилогии), правда, совпадающей по времени с завершающимся освобождением Белоруссии от гитлеровских оккупантов, роман быстро идет к концу. И многое в этих финальных главах внутренне связано не с описанием продолжающихся боевых действий армии, а с памятью о Серпилине, — собственно, это и оправдывает их существование.

В одной из этих глав Захаров вспоминает, как однажды, еще до наступления, Серпилин сказал ему: «Когда возмещаем убыль, заменяем, перемещаем, — говорим и себе и другим, что незаменимых нет. Верно, нет — все так. Но ведь и заменимых тоже нет. Нет на свете ни одного заменимого человека. Потому что как его заменишь? Если его заменить другим — это будет уже другой человек, а не он». Высказанная Серпилиным мысль, как и его судьба, завершает одну из сквозных тем «главной книги» К. Симонова — тему невосполнимых утрат, непрожитых жизней, которыми плачено за победу. Но мысль эта может быть спроецирована и на искусство, ее можно применить и к образной структуре романа «Последнее лето». Она объясняет, почему нельзя продолжить эту книгу, даже если называть ее «романом-событием», поставив на место главного героя Бойко, так как он заменил Серпилина на посту командующего армией. В искусстве, как и в жизни, заменимых людей нет. Незаменимых нет только для штатного расписания.

Однако привязанность К. Симонова к людям одного склада — не только сила, но и слабость писателя. С одной стороны, эта привязанность, эта сосредоточенность приводят к все более углубленному исследованию характера, в котором время отразилось многими лучшими своими сторонами. С другой стороны, она ограничивает писателя, делает создаваемую им картину мира недостаточно объемной.

Известный просчет К. Симонова был уже в том, что обе линии повествования в «главной книге» — синцовскую и серпилинскую — он связал с людьми очень близкими по характеру. Правда, этот просчет в двух первых книгах не так давал себя знать, потому что, встретившись в сорок первом, Серпилин и Синцов оказались разведены войной. Но когда в «Последнем лете» они оказываются рядом, вместе — как бы их ни разделял возраст, служебное положение, жизненный опыт, — сразу же бросается в глаза, что строй мыслей и чувств у них общий; перед нами два варианта одного и того же характера, с которым автор так сжился, так сблизился, что наделил его особенностями и функциями лирического героя. Находясь рядом, Серпилин и Синцов как художественные образы мешают друг другу, причем главным образом страдает от этого соседства образ Синцова: Серпилин более интересен читателю хотя бы уж потому, что выдвинут на первый план логикой изображаемых в романе событий, находится в их эпицентре. Не спасает Синцова как художественный образ и та очень сложная ситуация, в которой он оказывается, узнав, что его жена, считавшаяся погибшей, быть может, жива. Не спасает, потому что характер героя был раскрыт — я бы даже сказал, исчерпан — до романа «Последнее лето», и это новое душевное испытание мало чем обогащает уже сложившееся о нем у читателя представление.

Вообще, трилогия К. Симонова показала, что ее автору не очень дается изображение характера развивающегося, изображение внутренней эволюции героя, изменение его нравственно-психологического облика. Толстовская «диалектика души» — а Толстой для К. Симонова был и есть, по его собственному признанию, «самый важный учитель» — воспринята им только как стремление докопаться «до причин человеческих поступков, до оснований нравственных правил человека» — конечно, и это очень хорошо и не так уж мало; но другое свойство толстовского искусства — изображение внутреннего мира человека как реки, вечно движущейся, изменяющейся, постоянно обновляющейся, — в гораздо меньшей степени отозвалось в творчестве К. Симонова. Впрочем, до поры до времени — в рассказах, в повестях «Дни и ночи» и «Дым отечества» — это не особенно ограничивало, да и не могло ограничивать писателя: для сколько-нибудь существенной эволюции героев в этих вещах просто не хватало временной протяженности, повествовательного пространства.

Иное дело трилогия, здесь это уже ощущается как недостаток, здесь и протяженность действия, и пережитые главными героями потрясения требовали изображения перемен в их духовном мире. Однако и в этих романах К. Симонова характеры, раз раскрывшись, остаются затем в принципе неизменными. Действие же длится и длится, одно событие сменяет другое, все новые и новые испытания приходится преодолевать героям, но духовный опыт, который они приобретают в этих испытаниях, не приводит к заметным переменам в их внутреннем мире — вот почему и возникает ощущение исчерпанности характеров. Ведь дело, скажем, не в том, что в «Последнем лете» слишком много места заняла любовь Серпилина и Барановой. Если бы эта поздняя любовь двух людей, которых прошлое столь многим разделяет, стала для них какой-то новой ступенью духовного развития, право же, эти главы не казались бы растянутыми.

К. Симонов чувствует себя гораздо увереннее и почти всегда достигает успеха, когда ему необходимо раскрыть характер в какой-то один определенный момент — пусть это будет даже характер очень сложный и противоречивый. Вот почему вводимый им в повествование персонаж при первом появлении, как правило, по-настоящему интересен. «Последнее лето» не только подтверждает это, — здесь введенные автором эпизодические персонажи представляют характеры такой сложности, которая прежде или не привлекала его внимания, или была ему еще не по силам. В первую очередь я имею в виду жену Пикина и члена Военного совета фронта генерал-лейтенанта Львова.

С женой Пикина в романе возникает тот слой или, вернее, угол нашей жизни, который прежде для героев К. Симонова просто не существовал. Разве мог представить себе, скажем, герой пьесы «Парень из нашего города» Луконин, что в наше время и в нашей стране верят в бога не только дряхлые, выживающие из ума, совсем темные старушки? Для него это был мир призраков. И совсем недавно для Серпилина тоже. А вот, оказывается, этот — пусть дальний — угол жизни реально существует... И то, что Серпилину кажется враждебным или нелепым, для жены его фронтового товарища, советского генерала, было естественным и само собой разумеющимся. «Но, как ни странно, с приходом этой добродушной толстухи жизнь вдруг повернулась к нему еще каким-то одним боком, и внутри ее обнаружился еще какой-то иной, плохо ему понятный, но реально существующий мир других людей, других надежд на будущее и, наверно, других взглядов на прошлое, чем у него».

Сложность открывшейся ему стороны жизни заключалась в том, что само существование этой женщины разрушало какие-то давно сложившиеся у Серпилина стереотипы: жена Пикина словно бы излучала доброту, она была патриоткой и сейчас, перед лицом врага, в ее сознании были неразделимы Советская власть и православная церковь. Жена Пикина связана с темой, которая проходит через всю трилогию К. Симонова, — это тема несостоятельности предвзятого и формально-унифицированного подхода к жизни и людям. Война в изображении К. Симонова состоит не только из доблести и подвигов, хотя его любимым героям не занимать мужества и отваги, но и из утрат, разлук, нечеловечески трудного быта, забот о хлебе насущном. И в трудное время верно служили родине и люди сильные, сформированные советским образом жизни, и даже те, кто по слабости душевной или по каким-то другим неприятным обстоятельствам уповал на бога. «И она — тоже Россия, как и я, как и все другие», — думал о жене Пикина Серпилин.

Львов как будто бы фигура, хорошо знакомая героям К. Симонова. Но раньше Львов находился в таком отдалении от них, так высоко над ними, что понять его они, конечно, не могли. Да и вообще истинная суть его характера и истинное значение его деятельности не могли не оставаться долгое время непостижимыми. Он казался всегда и во всем безупречным, демонстративно безупречным — ну, прямо живой и постоянный укор большим и малым человеческим слабостям. И не только казался. У Львова действительно немало достоинств: он неутомим, он горит на работе, он храбр. Но все эти достоинства служат не во благо окружающим людям, а во вред. Он не щадит себя, работая до полного изнеможения, на износ, но это дает ему внутренние основания быть несправедливо жестоким по отношению к другим. Он человек сильной воли, но силой этой пользуется не для того, чтобы вести людей за собой, а чтобы подавлять их. Он не любит людей, никому не доверяет, всех в чем-то подозревает, главной своей обязанностью он считает зорко подмечать человеческие слабости и промахи: «Он не придумывал отрицательных фактов, но в собирании их был тщателен и непреклонен, считая, что сами по себе факты не делаются на заслуживающие и не заслуживающие внимания, ибо любой так называемый мелкий в определенной обстановке мог приобрести крупное значение. Если у людей нет крупных, то есть всем очевидных недочетов, значит, есть мелкие, то есть не всем очевидные. Иначе не бывает. И надо искать и находить эти не всем очевидные недочеты, которые тоже могут сделаться опасными».

В сущности, как это ни странно, Львов — человек безыдейный: его аскетизм и фанатизм не от страстной приверженности идее. Личная преданность, а не верность принципам движет им. Он один из тех, чьими стараниями утверждался культ личности. С появлением Львова многое в трилогии становится яснее — и почему держались на поверхности приспособленец Баранов, «заведомых неправд глашатай», и трус Бастрюков, доносами завоевавший себе «авторитет недремлющего ока», и почему таким, как Серпилин, честным и принципиальным людям приходилось порой хлебать горячего до слез...

По мере выхода каждый из романов К. Симонова читался и оценивался большинством читателей как самостоятельная книга. Теперь их будут читать подряд как одно произведение с единой системой образов. И рассказанная, например, лишь в «Последнем лете» история детства Серпилина, появившийся здесь отец героя

восполняют то, что читателями при чтении первых книг могло ощущаться как пробел. В свое время после публикации «Живых и мертвых» я упрекал автора за то, что о прошлом Баранова, персонажа очень важного для понимания того, что происходило в армии перед войной, в романе рассказано слишком торопливо и общо. Сейчас я хочу снять этот упрек: в «Последнем лете» Баранов вновь возникает в воспоминаниях героев и многое, что было не договорено в «Живых и мертвых», здесь договаривается. С другой стороны, теперь лучше видны и излишки описательности, свойственные главным образом двум последним романам, статичность характеров главных героев. И быть может, для трилогии будет полезной авторская редактура, исходящая уже из того, что романы, написанные в разное время, представляют собой цельное произведение.

Итак, цикл романов К. Симонов закончил. Но закончена ли его «главная книга» о войне? Думаю, что нет. На мой взгляд, в нее входят не только романы, но и повести и рассказы, где действуют персонажи, с которыми мы впервые познакомились в романах. Эти повести и рассказы хоть и «отпочковались» от романов, но внутренне связаны с ними, примыкают к ним. Они дополняют и расширяют ту картину войны, которая дана в романах. Вероятно, прямое продолжение главной сюжетной линии трилогии — допустим, рассказ о том, что случилось с Синцовым, Таней, Машей, — было бы беллетристически искусственным и малоинтересным. А вот самостоятельное повествование о судьбах некоторых эпизодических персонажей, намеченных в романах по необходимости бегло, но многообещающих, могло бы послужить раскрытию новых сторон войны. «Главная книга» К. Симонова может быть пополнена за счет такого рода примыкающих к романам повестей и рассказов, сюжетно с ними не связанных.

Впрочем, не дело критика загадывать наперед. Другим я хочу закончить эти заметки.

В одной из своих статей К. Симонов привел прекрасные слова Хемингуэя: «Писать правду о войне очень опасно и очень опасно доискиваться правды... Когда человек едет на фронт искать правду, он может вместо нее найти смерть. Но если едут двенадцать, а возвращаются только двое — правда, которую они привезут с собой, будет действительно правдой, а не искаженными слухами, которые мы выдаем за историю».

Советские писатели (в том числе и К. Симонов) отправлялись на фронт не просто за тем, чтобы «доискиваться правды». В этой жестокой войне, которую вел весь наш народ против фашистов, они чувствовали себя сначала солдатами, а потом уж писателями. И именно поэтому они привезли с фронта правду о своих героях, которые с великой самоотверженностью защищали Родину и рядом с которыми они во что бы то ни стало стремились быть в дни суровых испытаний. В законченной Константином Симоновым трилогии есть недостатки, но она содержит не «искаженные слухи», а подлинную правду о Великой Отечественной войне.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

М. Кузнецов. Живая вода революции.— **А. Марченко.** Возвращение.— **Д. Биленкин.** Так что же такое фантастика?— **Н. Павлова.** Об обязанности жить.

ПОЛИТИКА И НАУКА

В. Григорьев. Наука побеждать.— **М. Соловьев.** Голос древних народов Африки.

Литература и искусство

ЖИВАЯ ВОДА РЕВОЛЮЦИИ

А. Воронский. За живой и мертвой водой. Вступительная статья **Ф. Левина.** М. «Художественная литература». 1970. 432 стр.

В июне этого года исполнилось пятьдесят лет со дня выхода первого советского толстого литературно-художественного журнала «Красная новь». У колыбели этого журнала стоял Владимир Ильич Ленин. Первое организационное собрание редакции «Красной нови» происходило на квартире Ленина, и на нем, кроме Владимира Ильича, присутствовали Н. К. Крупская, А. М. Горький и будущий редактор журнала А. К. Воронский.

Журнал, возглавляемый Воронским, сыграл важную роль в становлении молодой советской литературы, его талантливые критические статьи во многом сохранили свою ценность (несколько лет назад они были переизданы), хотя, как известно, путь Воронского-критика (особенно со второй половины 20-х годов) был противоречив, осложнен ошибками и заблуждениями.

Менее известен Воронский — автор интереснейших произведений художественно-мемуарной прозы. Не так давно была переиздана его книга «Бурса». Вышедшая в минувшем году книга А. Воронского «За живой и мертвой водой» непосредственно продолжает «Бурсу», здесь — путь в революцию молодого человека, полная отваги и

мужества деятельность большевика-подпольщика в предреволюционные годы.

И хотя это переиздание, но думаю, для многих читателей в этой книге произойдет радостное открытие талантливого, умного и — не побоимся эпитета — вдохновенного произведения. Недаром Горький писал автору из Сорренто 23 марта 1927 года: «Мне даже кажется, что я впервые услышал голос настоящего революционера, который сумел рассказать о себе как о настоящем живом человеке, а не как об инструменте или орудии истории... я Вас искренне поздравляю с хорошей книгой».

Прежде всего «За живой и мертвой водой» может претендовать на роль ценного исторического источника: скажем, страницы о знаменитой Пражской конференции нашей партии, участником которой был и Воронский, просто уникальны. Много свежих и существенных деталей в характеристиках Марии Ильиничны Ульяновой, В. Воровского, Н. Крыленко («товарищ Абрам»), Фрунзе, участников Пражской конференции — Серго Орджоникидзе, Ф. Голощекина, А. Догадова...

Современная Лениниана богата и обширна, и все равно без волнения нельзя чи-

тать эту яркую, «списанную с натуры» характеристику выступления Ленина:

«Сгущенным, напористым топом Ленин произносил речь, заложив большие пальцы рук за жилет у подмышек и наклонившись над столом так, как будто он мешал ему что-то достать. Он неизменно твердил, повторял, напоминал одно: надо составить свой большевистский Центральный Комитет, надо положить конец разброду, кустарничеству, сомнительным и бесплодным соглашениям с колеблющимися. Я следил за течением его мыслей, слова его убеждали, но еще более убедительным казалось что-то подспудное в нем. Оно выражалось во всей его крепкой фигуре, в нависшей, тяжелой лобной части головы, в привычке стремительно наклонять весь корпус и столь же быстро откидывать его назад, в нутряном картавящем голосе, в косом и узком татарском разрезе глаз, в которых играла, блестя мысль, но не холодная, а страстная и волевая. И я уже не сомневался, что конференция, объявившая себя наперекор всему съезду,— есть дело большое, огромное, историческое».

А с какой тонкой наблюдательностью и одновременно сердечностью описан в книге приезд в Финляндию А. М. Горького вместе с М. Ф. Андреевой и Скитальцем! Право же, и в горьковской мемуаристике эти страницы займут свое, им присущее место.

Бесспорна историческая ценность свидетельств Воронского, но при всем том его книга не только воспоминания, а художественная литература. Перед нами писатель, который вонистину мыслит образами, у него свой слог, у него «есть перо», как говорят о человеке, умеющем в слове выразить свою индивидуальность.

Обратите внимание хотя бы на монолог унтера Селезнева, возглавляющего конвой, ведущий революционеров в ссылку. Селезнев выслуживается перед начальством, но он и перед ссылными «хочет интеллигентность свою показать». Унтер — пьяница, забулдыга, хвастун, носит очки «для форсу», ибо в них вставлены простые стекла. После очередной попойки очки разбиты, и вот Селезнев и плачет, и одновременно «представляется» перед ссылными...

А вот уже иное — подпольщики собрались на ночную массовку где-то в загородном лесу. У одного из ораторов вырвалось:

«— И многих не будет скоро среди нас! Я не знал и не мог знать, что пройдет

пять — десять лет, и от этих молодых, здоровых и крепких людей в неравной борьбе останутся одиночки, что настанут дни, когда их поведут к перекладине, и в предутреннем свете закачаются их тела с вывороченными, с выпученными глазами, отвиснут подбородки и тяжело вывалятся языки, что замуруют их живыми в подвалах, в казематах, и загаснут и отумеют их взоры,— я не знал и не мог знать этого... Мне вспомнились слова летописца о Куликовской битве: «Аз чаю победы, а наших много падет».

У Воронского, писателя, наделенного большим чувством юмора, в его сдержанной манере повествования, казалось бы начисто чуждой всякой декламационности, может прорваться (и тем сильнее это действует!) и такая вот суровая патетика.

В книге — множество характеров. Именно характеров, то есть рукой художника вылепленных образов, наделенных самостоятельным существованием, своей логикой развития. Ну, скажем, разве не прелестна (именно это слово и надо употребить в данном случае) характеристика юной Инны, исправничкой дочери, в которую неожиданно-негаданно влюбился герой-ссылный:

«Она была прекрасна и счастлива своей молодостью восемнадцати лет. Она была молода и поэтому должна была находиться в постоянном, в непрерывном движении. Она не могла, не умела спокойно сидеть. Она каталась на коньках, кокетничала, болтала, поправляла волосы, растирала щеки, теребила косы, расспрашивала, шутила, капризничала, садилась и тут же вставала потому, что у нее была во всем этом простая потребность молодости... Она скучала и делалась вялой, если ей приходилось находиться в бездействии,— лицо ее серело, делалось старше и менее выразительным. Впрочем, во всем ее облике было много еще незаконченного, не запечатленного. Она жила свободной от докучливых житейских мыслей и забот, от напряженной, отвлеченной головной работы, от каких-либо навязчивых идей... Она бессознательно оберегала себя от всего, что требовало упорной, умственной и нравственной работы».

Тут и восхищение красотой, молодостью, непосредственностью, но здесь же беспощадный приговор трезвого аналитика — так и кажется, что соединился в некий слав талант Воронского — умного критика, тонко и точно анализирующего произ-

ведение, с талантом Воронского-художника...

Среди типов старой, предреволюционной России по-особому колоритна фигура псаломщика и... изобретателя вечного двигателя прѣстодушного и доброго дяди Сени. На самодельном велосипеде он колесит по округе, забросив свои церковные дела, покупая всякий железный хлам, попутно починяя часы, молотилки, косилки... Рядом фигура совсем иного плана — сложный, мрачный, зловещий характер женщины-провокатора Миры. Автор дает довольно широкий разрез разных слоев населения и высшего столичного общества, куда случайно на короткое время попадет герой, и быта провинциальных городков, ссылки. Особенно же широко и разнообразно представлен лагерь революционеров: большевики Ян, Вадим, Аким, меньшевики, эсеры, анархисты... Общественную атмосферу тех лет ощущаешь с какой-то особой, что ли, «материальностью», ибо она дана во всей бытовой, языковой, интеллектуальной конкретности.

Воронский назвал в одном из писем эту книгу «воспоминаниями с выдумкой». Выдумка у него весьма своеобразна и, кстати, небезынтересна для современных споров о возможностях художественно-документальной прозы, частным случаем которой является проза мемуарная. Воронский как бы «раздвоил» себя — в книге он выступает и как Александр и как Валентин (последнее имя было его подпольной кличкой). И хотя факты реальной биографии Воронского составляют основу событий в жизни как Александра, так и Валентина (в повести они друзья с общей во многом судьбой), но в то же время тут остается и поле для вымысла. Автор не хочет сводить все к чистой «исповеди», ему нужен некий простор для художественных обобщений, ему нужна известная свобода для рассказа о всех гранях жизни своего героя, и он достигает ее.

Естественно, что главное в книге — рассказ о становлении характера революционера. Революция, революционеры — вот основные герои, вот та живая вода, что преображает человека, что рождает новый крик людей, способных перевернуть мир. Горький очень точно подметил, что Воронскому удалось показать революционера-большевика многогранно, не только как функционера, но и как личность во всех проявлениях человеческой природы. Подполь-

щики у Воронского и смеются, и горюют, любят близких, родную природу, с увлечением поют русские песни, влюбляются в женщин — ничто человеческое им не чуждо. Поэтому-то они не только запомнятся читателю, но и полюбятся ему — прежде всего за их жаркую, бескорыстную, беззаветную преданность революции, за умение жить не для себя, а для других, за их отвагу, мужество и святую самоотдачу делу партии, делу революции...

Они умеют любить — они умеют и ненавидеть. С большой силой убежденности рисует писатель-большевик портрет русского живоглота, напуганного революцией: «Теперь нас не проведешь, не обманешь. Мы сами с усами: учены и переучены. Поняли и уразумели, куда все эти революции ведут. Мы соколом по поднебесью не понесемся, мы по земельке пошарим, — мы травинку к травинке, былиночку к былиночке подберем. Ничем не погнушаемся. Мы землю обсосем, обслюнявим, обгрызем ее, обкусаем... Потому — нас много, миллионы. Хотим во всю сласть пожить и больше никаких, а кому не по нраву, сгноим тех и пикнуть не дадим. Мы лет на двести отучим даже и думать об этих социализмах и терроризмах. Такое поколение воспитаем, что оно глотку звездочетам и брандахлыстам всем перегрызет безо всякой даже задумчивости. Жестоким от нас пойдет народ, милостивый государь: никаких фантазий, никаких этих самых идей!»

Это враг во всей реальности, конкретности, во всем его и свинском и страшном облике мещанина и палача свободы. Образ этот тем более дает понять читателю всю убежденность и одновременно твердое знание реальных путей к цели, которыми полнится страстная речь Валентина: «С помощью этого беднейшего демоса в городе и деревне, для них и с ними мы и установим демократическую диктатуру... И тогда мы устроим всем этим возжаждавшим всласть пожить с жирком, с навозцем, с грязцой, с законными изнасилованиями некое светопреставление... И счистим, уничтожим эту осевшую гнилую дрянь, веками накопленные нечистоты, заплывшее хамство, это утробное «житие» с его тупым равнодушием к чужому труду и горю, с остервенелой алчностью, заскорузлым себялюбием и со всеми этими нашими исконными мудростями: моя хата с краю, ничего не знаю... хоть в дерьме, да в тепле... и т. д. Вон с корнем Чичиковых, Собакевичей, Тит Титычей, Ка-

рамазовых, стяжателей, искателей теплых мест, пшютов, тунейдцев! К черту мирное прозябание у лампадок! Надо творить, работать, думать, изобретать, создать новый темп жизни».

А ведь слова эти Валентин говорит в глухие годы, когда революция разбита, реакция торжествует, из всех щелей ползет ренегатство. Бывший эсер создает кружок «служителей литургии красоты», другие откровенно трусят, цинично отшатнулись от прежних идеалов, а некий адвокат Берцев теперь без стеснения заявляет: «У меня сочувствия не ищите. Почему все — мужик и мужик, все рабочий и рабочий? А я где, а со мной что?»

Через многое идет в своем развитии большевик-подпольщик. Через удары врагов, казни, гибель друзей, каторгу и ссылку, предательство и отступничество, преодоление разброда, шатаний в собственных рядах, идет, все ближе придвигаясь, все приближая своей самоотверженной борьбой долгожданную революцию. Горький как-то сказал о двух формах жизни — тлении и горении. «За живой и мертвой водой» — это книга о горении, светлом и чистом горении человеческого духа во славу великого и благородного дела...

«За живой и мертвой водой» — явление художественной прозы. Однако порой видно и другое — что автор ее в то же время критик. Это заметно на тех страницах, которые еще сорок лет назад современники назвали «рассуждательскими», так как на них преобладают довольно-таки длинные размышления автора или героев о ряде важных проблем... Иные из этих рассуждений устарели, иные же сохраняют остроту и интерес для современного читателя. Пожалуй, можно посчитать их «длиннотами», но в то же время невольно задумаешься над вопросом: плохо ли, если в художественную прозу вторгается публицистика, притом публицистика высокого класса, умная, глубокая, вызывающая у читателя ответные мысли?

Но если эта особенность книги может показаться спорной, то бесспорно другое: современный читатель получил талантливое произведение о самом славном в нашем столетии — о том, как рождался этот изумивший мир характер — характер революционера нового типа, большевика, коммуниста, бескорыстно живущего для людей, всего себя отдающего общенародному делу.

М. КУЗНЕЦОВ.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Василий Лебедев. Наследник. Повесть. «Звезда», 1971, № 1.
Василий Лебедев. Маков цвет. Повесть. «Звезда», 1968, № 3.

Первая крупная повесть ленинградского прозаика Василия Лебедева «Маков цвет», появившаяся в журнале, прошла незамеченной. Тут был, конечно, и элемент чистой случайности, но главная причина, на мой взгляд, все-таки была в том, что внимание как критики, так и читающей публики было занято писателями, с именами которых связаны открытие и расцвет «деревенской прозы», — Федора Абрамова и Василия Белова, Евгения Носова и Василия Шукшина. Тогда, в 1968 году, «Маков цвет» восприняли как талаутливую, но вариацию на уже известную всем тему «есть женщины в русских селеньях»...

Но перечитывая повесть сейчас, три года спустя, вместе с «Пелагеей» Ф. Абрамова, «Последним сроком» В. Распутина, вместе с «Наследником» самого В. Лебедева, видишь, что первое впечатление было поверх-

ностным, что автор выбрал «бродячий сюжет» не для того, чтобы присоединиться к одному из предыдущих ораторов, что у него свой, особый взгляд и на жизнь и на современную деревню и своя, достаточно самостоятельная художественная позиция.

И Катерина из «Привычного дела» В. Белова, и Пелагея из одноименной повести Ф. Абрамова от темна до темна заняты заботами о хлебе насущном. И дается им этот хлеб трудом тяжким, превращающим и самое жизнь в «привычное дело». Ф. Абрамов исследует эту жизнь с трезвой жесткостью социолога, В. Белов — с состраданием, болью и восхищением поэта, философа, «ходока по народным делам», В. Лебедев — с удивлением перед силой сопротивления, какое способен оказать талант самым беспощадным обстоятельствам, даже если это всего лишь талант человечности,

как у героини «Макова цвета» тетки Анисьи.

Как и «Пелагея», «Маков цвет» начинается с «хлебного» эпизода:

«Жито кончилось на покров. Тетка Анисья выбрала из ларя все до зернышка, высушила на печке и смолола в жерновах. Житники вышли на славу. Когда она вынимала их из печки, в избу без стука ввалился председатель... и проковылял прямо в передний угол, к столу.

— Сразу видать — постояльца ждешь, — заметил он. — Эвона каких насдобила, а плакалась намедни, что нет ни зернышка. Ой, тетка Анисья!

— Нашлось немного, — покраснела Анисья, будто девочка, и тут же предложила: — Попробуй, удались ли?

Она безошибочно выбрала самый маленький житник... По весу и по тому, что житник не обжигал руку... она поняла: выпечка удачна. Но все же спросила:

— Ну, что?

Когда-то она была большая мастерица стряпать, недаром же она всегда была звана готовить на большие свадьбы и поминки, где и привыкла спрашивать, вкусно ли.

И там хлеб и здесь хлеб, но у Пелагеи — тяжелый, невкусный; у Анисьи — и вкусный и легкий. Он почти сказочно легок, этот наметенный по сусекам да яйцом от единственной курицы сдобренный хлеб, словно создан не жерновами, квашней и печью, а одним мастерством стряпухи. Да и назначение его почти сказочное: он испечен для сироты Проньки, определенного деревенским миром «жить у всех подряд на правах подпаска», но оставленного Анисьей навсегда вместо сына. И этот легкий, заговоренный добротой Анисьи хлеб оказался той ладанкой, которая защитила Проньку от обиды на людей, не дала жизни «обглодать» его. Недаром же житник этот Анисья щедро посыпала маком, словно запекла в нем и свою светлую, свою легкую, как маков цвет, душу.

Лирическая эта тема — макова цвета — проходит через всю повесть. «Маков цвет» — в сердцах обзывает Анисью Ольга, мачеха Проньки, обозленная тем, что соседка пригрела ее пасынка. На головки мака, развешанные по всей избе, обращает внимание и Пронька, впервые войдя в одинокий Анисьин дом. Маком же оделяет она и детдомовских ребятшек, и в подарок

сватые везет все тот же свой праздничный мак...

И при всем том ни в характере тетки Анисьи, ни в ее поведении нет ни капли убогого юродства. «Да я не святая», — объясняет она Ольге, и это серьезно. В ней вообще нет ничего из ряда вон выходящего, кроме необременительной, ненавязчивой доброты да редкого умения жить хотя и в быту (недаром она первая в округе стряпуха), но не бытом... Все — о жите, о скотине, а она — о маке: «а вот весной... посею вдоль огорода — цветку будет!..»

Звучит эта тема и в финале.

Приезжает в родную деревню Пронька — выросший, возмужавший. Анисья умерла. И от избы ее, стоявшей на самом краю деревни, не осталось даже фундамента. И жернова, на которых она когда-то смолола наметенное «по сусекам» жито, наполовину втянуло в землю. И огород крапивой зарос. И посреди запустения на высоком цементном постаменте — телеграфный столб, знамя века... Вроде бы и не осталось ничего от прожитой теткой Анисьей жизни — пепелище, и только. Но уверенный, что «душа», если она такая, какой была душа его Анисьи, «не проходит», В. Лебедев кончает этот наполненный уже привычной нам грустью эпизод почти оспаривающим его абзацем:

«Из травы и бурьяна пробился одичавший мак и весело алеет над всем. Я подхожу к нему, бережно трогаю губами его бархатные лепестки и снова шепчу:

— Мама, я пришел...»

На этот финальный эпизод «Макова цвета» невольно оглядываешься, закрывая повесть В. Распутина «Последний срок». И не для того, чтобы противопоставить человечность приемного сына Анисьи бесчеловечности кровных детей распутинской старухи, предавших мать в ее последний земной срок. Противопоставить как укор и пример и успокоиться. Оглядываешься потому, что, читая повесть В. Распутина, невольно задаешь себе вопрос: а что дала Анна своим детям, кроме жизни и прокорма? Была ли она когда-нибудь для них чем-то большим, чем «кормящей необходимостью»? Что вложила в них?

Эти два произведения невольно сравниваешь еще и потому, что и В. Лебедев и В. Распутин идут от В. Белова, но Лебедев — от самого Белова — художника и поэта, а Распутин, как мне кажется, от того Белова, каким он предстает в некоторых критических статьях, — моралиста,

проповедующего «нетронуто-естественное существование» русской деревни как единственно реальную ценность в наше «аналитическое время». На утверждении этой идеи держится и творчество самого В. Распутина. Отсюда и та многозначительность, с какой трактуется образ старухи матери в «Последнем сроке»: не просто мать, а Мать с большой буквы — хранительница земли и русских этических идеалов! Отсюда же и попытки отыскать в ее жизни некую «духовную целостность», отсюда же и многозначительные внутренние монологи, которыми В. Распутин, насылая присущий ему «такт действительности», наделяет свою героиню: «И вдруг теперь, перед самым концом, ей показалось, что до теперешней своей жизни она была на свете еще раньше. Как, чем была, ползала, ходила или летала — она не помнила, не догадывалась, но что-то подсказывало ей, что она видела землю не в первый раз... Вот и птица рождается на свете дважды: сначала в яйце, потом из яйца, такое чудо возможно, и она не богухульствует...»¹.

Конечно, и Лебедев прочитывает Белова «через себя», а это уже настоящего Белова, во всяком случае художественный опыт «Плотницких рассказов» остается как бы вне сферы его внимания, а некоторыми ситуациями интереснейшей беловской повести-притчи В. Лебедев по-своему полемизирует. И хотя литературный диалог-переключка Лебедева с Беловым — диалог единомышленников (так же, как диалог Белова с Евг. Носовым, к которому Лебедев в «Наследнике» и подключается), это не мешает ему быть настоящим спором. Спор этот о «наследстве» и «наследниках». Его кульминация — рассказ Евг. Носова «За горами, за лесами». Герой его — молодой рабочий, полноправный житель города Железнодорожска. Черный от карьерного зноя, модно, ежиком подстриженный, он и думать забыл о вскормившей его «деревянной Руси», о своей колыбельной «хоромине». И потому легко уступает ее первому нуждающемуся:

«Живи! Поезжай и живи, если нравится... Можешь и совсем остаться. Напилишь дров и живи, пописывай... А то прямо и двором топить можно. Ковыряй по бревну. Все едино погниет».

¹ О «Последнем сроке» В. Распутина в нашем журнале (в № 10 за 1970 год) была напечатана рецензия М. Рощина, дающая иную оценку образу главной героини повести. (Ред.)

С тем, что «все едино погниет», Евг. Носов согласиться никак не может и потому возводит рядом с пустующими избами терем-крепость Семена Луткова, где все, как и прежде, исправно: дети растут, рыжики засолены, самовары блестят... И верит Носов: не из одного упрямства и тихой любви к наследной земле держится Семен, а в надежде, что когда-нибудь полуднеют и заполнятся новыми избами старые посадки...

Рассказ этот Носов посвятил Белову, как бы отвечая на беловский «Бобринский угор», на его элегическую концовку: «Древний, печальный, последний наш дедовский кров... Видно, так надо, что нет нам возврата туда, видно, это приговор необратимого времени».

Этим диалогом спор о наследстве не кончился. «Реплика» Белова — вступление к «Плотницким рассказам»: история (она же оправдание) молодого хозяина заколоченной лесной «хоромины», приехавшего к развалинам своего «починка» на двадцать четыре рабочих дня, не считая воскресений. Все, что он может успеть, — это совершить символический обряд: подновить часовенку на пепелище — вековую, насквозь прокопченную баню...

Включившись в спор своей повестью «Наследник», В. Лебедев как будто принимает сторону Евг. Носова, но тут же начинает полемизировать и с ним, поскольку романтическая версия, предложенная Носовым, его не устраивает. Он видит свою задачу в том, чтобы выяснить, что же заставляет современного крестьянина держаться за землю, если исключить романтическую триаду «упрямство, надежда, любовь», а крестьянских сыновей — возвращаться и принимать обременительное наследство; из чего складывается сила центробежная, способная и в наши дни противостоят силе центростремительной. И потому обставляет возвращение своего героя, откровенно отталкиваясь от идеальных стандартов: его Архипов приезжает в деревню, отсидев пять лет за хулиганство, с «обглоданной» душой, вставными зубами и ранней лысиной... Столь же мало отвечает идеальным стандартам и описанный ему по завещанию деда дом: не памятник, не терем, не символический ковчег и не деревянная «зыбка» — колыбель славянской цивилизации, а дом, имущество; кроме дома да пустого чемодана, наскоро купленного на выданные при выходе на волю деньги, купленного для солидности, у

двадцативосьмилетнего Архипова буквально ничего нет. И стоит этот дом не где-то «во глубине» исконной России, а посреди конкретной русской деревни — Зарубина.

«Дом стоял заколоченный... Поржавевший амбарный замок выпятился, как рыжий кулак. Генка решил попасть со двора. Он подошел к воротам, сунул в их притвор руку и выдернул из скоб старый гладкий кол, на который были заперты ворота... Вдохнул слабый запах выветрившегося навоза, окинул взглядом пустые заклети. На минуту вспомнился шорох скотины на мягкой подстилке — это еще из тех, довоенных лет, когда отец и дед, два мужика, с легкостью вели большое хозяйство: Было... И дом был полон веселых шагов, сытных запахов, тепла... Теперь со двора можно было попасть в дом через мост — черным ходом, но Генка заметил у воротни шкворень и решил снять замок с двери, не дожидаясь ключа... Вошел и остановился сразу у порога. Внутри стоял тяжелый, нежилой запах, и темнота по-амбарному пахла мышами... От большой русской печи, промерзшей за зиму, тянуло холодом и сырой глиной. Потолок... лавки вдоль стен, стол, квадратная рама с фотографиями — все было покрыто пылью. На переборке, что отделяла передний угол от кухни, оборвался толстый слой обоев...»

Намного сложнее и отношение Генки Архипова к своему наследному крову. Герой Носова разрешает чужому «топить двором». Герой Лебедева сам, собственноручно, проснувшись в одно похмельное утро и обнаружив, что дрова кончились, «снял со стены ножовку и стал опиливать углы у сарая». К тому же он куда практичнее белобрисого носовского парня. Не дожидаясь, пока построенный дедом Никифором дом «погниет», и поняв, что продать не удастся, Генка решает «сничтожить» его и получить деньги по страховке. И дается ему решение это как будто бы без всякой внутренней борьбы: «Генка кусал прямо от целой буханки. Хлеб тяжело и плотно ложился в голодный желудок. Голова, переварившая шальную мысль о поджоге дедовского дома, была легкой и принимала в себя только то, что не могло заслонить эту главную, хорошо сложившуюся мысль, что было совсем незначительным или казалось ему таким. «Порядок! — жестко думал он и тут же весело ухмыльнулся: — Пожарник подожжет, государство деньги заплатит».

Но при всем при этом и Генкина связь

с дедовским домом, и его зависимость от него — и не только материальная! — куда более весомы и основательны, чем привязанность героя «Плотницких рассказов» к «древнему и печальному» своему крову.

На первый взгляд, архиповская вотчина уцелела по чистой случайности. Василий Окатов, пожарник и верный Генкин собутыльник, согласился помочь «сничтожить» «дедушкин домик». И даже совсем было решился. Но тут разразилась гроза, молния ударила в антенну, прикрученную к крыше часовни, приспособленной под правление, и Василий, увидев в этом знамение, отступил: слово словом, а дом домом... Так и Генке объясняет — «дом ведь»... И Генку уговаривает: «Жить начинай — у тебя дом». Но обращается не к тому Генке, с которым вчера пил, и не к тому, что набычившись стоит сейчас перед ним весь во власти хоть и «шальной», но хорошо «сложившейся мысли». Не к разуму его обращается — к совести.

Однако мотив этот — мотив борьбы корысти и совести, долга и выгоды — боковой, второстепенный. Основной конфликт повести значительнее и глубже, поскольку «спалить дом» Генку заставляет не одна корысть. Ведь ему надо не просто избавиться от обременительного наследства, не просто сбежать из неприглянувшегося Зарубина. И деньги нужны не для того, чтобы пропить их или, наоборот, поудобнее устроиться на новом месте... Да, он возвращается в деревню с легким чувством гостя, уже безразличного к насущной нужде односельчан, как будто только для того, чтобы сравнить, взвесить и выбрать, весь наполненный впечатлениями от больших городов, которых «коснулся проездом». Но, приехав в деревню, неожиданно обнаруживает, что его связь с ней хотя и надорвана, но еще достаточно крепка. Нет, не с землей, не с укладом, не с делом, от которого оторвался, а с миром, с людьми, помнившими его еще «Гекой». Оказалось также, что, не восстановив себя в их глазах, не доказав, что он тоже Архипов, Генка не сможет обрести прежней уверенности в себе... А доказать, так Генке кажется, можно, только уехав из Зарубина, и не как-нибудь, а с деньгами, и уехать не для того, чтобы сгинуть без возврата в одном из бездонных городов, а чтобы осесть при земле, при доме таким же шумным и умелым хозяином, каким был в его дед.

Драматизм положения усугубляется еще

тем, что Генке надо не только доказать, но и отомстить и не дождавшейся его Гутьке, и своим бывшим одноклассникам, у которых теперь «своя компания», да и вообще всей деревне, которая сначала наивно и простодушно обрадовалась Генкиному возвращению — и его умелым рабочим рукам, и возможным устроить за «своего» одну из деревенских невест — и очень быстро против него же и ошетинилась, ибо Генка вел себя «чудно» и «непонятно». И чем настороженнее следит за ним его «родимая сторонущка», тем откровеннее Архипов Геннадий чудит...

И все-таки Генка так никуда и не уехал. Подробный и тщательный анализ как внешних, так и внутренних обстоятельств, помешавших ему осуществить это намерение, и составляет сюжет повести В. Лебедева. Анализ этот не только очень тщателен и подробен, но и предельно объективен: В. Лебедев не торопится ни оправдать, ни осудить своих героев, и не по причине прекраснодушия, а потому что уверен: в жизни человеческой бывают такие ситуации, когда поступок, даже если он и противоречит абстрактным нормам человечности, еще не доказывает низости души, особенно если душа эта — «как осина обглоданная»... Поэтому же он и не лишает своего героя права приводить аргументы в свою защиту; ведь В. Лебедеву важно не просто осудить шалопутного парня, но разобраться в сложной «неразберихе» его душевного состояния, где все так тесно переплелось: деньги и самолюбие, трезвый расчет и привычка, соблазн новой, более удобной и легкой жизни и страх перед неизвестностью, любовь и обида, прошлое и будущее...

Очень медленно и осторожно подводит нас В. Лебедев к мысли, что Генка Архипов «не хочет того, что он хочет». Мы только к самому концу повести начинаем догадываться, что своими выходками Генка старается скрыть, и прежде всего от себя самого, с каким нетерпением, болью, страхом ждет он, что ответит его родная деревня на заданный им вопрос, заданный на миру — всему миру сразу:

Я на тракторе проеду
И оставлю в поле след.
Ты, родимая сторонущка,
Я нужен или нет?

Ждет и сам не знает, что ждет. И для того чтобы догадаться об этом, чтобы открыть в себе себя, Генке надо вообще про-

зреть, прозреть, чтобы сквозь внешнее рассмотреть суть.

Прежде чем отказаться от своих чудачеств, надо и за чудачествами Тоньки Кило-с-ботинками, крикуньи и шальной девки, увидеть не просто оскорбленное бабье самолюбие, помноженное на дурной характер, но безнадежную, отчаянную любовь к нему, Генке... И за внешней самонадеянностью Тольки-председателя ощутить растерянность человека, чувствующего себя не совсем на месте. Надо также понять, что не только Гутька виновата перед ним, но и Генка перед ней за то, что заставил ее ждать без достаточного на то повода (и не месяц, не год, а целых пять безнадежных лет) семью, ребенка, дом — все то, в чем только и видела Гутька смысл своей жизни. Но самое главное Генкино открытие состояло в том, что он, как и его дед Никифор Архипов, о котором все говорили «умеет человек жить», «жить умел только здесь» — в своей деревне, при своем деле и в своем доме.

Внимательно анализируя обстоятельства как социальные, так и психологические, удерживающие Генку, даже вопреки его воле в Зарубине, В. Лебедев особенно выделяет одно и даже находит для него почти «формулу»:

«Как только приезжаешь в то место, где родился, организм чувствует себя много лучше. Что это? Я думаю — нераскрытый закон дивной природы, единожды и навсегда запрограммировавшей расположение организма к данной среде».

Умные эти слова произносит окатовский дачник, старый архитектор, сидя на крыльце архиповского дома и обращаясь к хозяину. Генка из вежливости поддакивает, но голос его звучит неискренне — отвлеченный этот разговор ему и неинтересен и непонятен. И потому с облегчением прерывает его, чтобы прогнать мальчишек, кидавших камнями в березы, насаженные его дедом. Но это не просто предлог, чтобы перевести разговор. Слов про запрограммированное расположение к данной среде он не понимает, но самое это расположение, хотя и не в том узком смысле, какой вкладывает в него окатовский дачник, очень даже чувствует.

В повести есть такой эпизод. Генка по вызову своего дружка Мишки Бушмина приезжает к нему — устраиваться. И все вроде бы как нельзя лучше складывается: колхоз богатый, заработки твердые, в пер-

спективе — квартира в доме с удобствами. И председатель не в пример зарубинскому — мужик деловой и умный и к тому же достаточно широкий, чтобы взять на работу парня «с прошлым». Жить, правда, пока негде, но и это может устроиться, если продать «дедушкин домик». И все-таки что-то в Генке упирается: «Глаз искал деревьев, но их не было видно...

— Мишка, а у вас тут с лесом-то неважно, я смотрю.

— Ничего, живем! — отмахнулся хозяин. — Лес есть, только надо сесть на электричку и чесать четыре остановки.

Генка вроде бы тут же забывает об этом маленьком разочаровании, но оно совсем не случайно, как не случайна и настойчивость, с какой В. Лебедев проводит лирический «березовый мотив» через свое сугубо аналитическое, трезво-объективное повествование.

Звучит он здесь гораздо тише, чем в «Маковом цветке», как бы в аккомпанементе, но не менее настойчиво, а в финале, как мне кажется, даже чересчур настойчиво: усомнившись в читателе, В. Лебедев взял «на два тона выше» и при этом сфальшивил. Я имею в виду заключающий повесть абзац: «Непривычно и страшно видеть голую обугленную березу в конце мая. Страшно. Но Генке почему-то кажется, что она должна еще выжить, раз корни в земле».

Но это, пожалуй, единственный явный пережим...

«Березовая музыка» начинает звучать с самой первой страницы, со встречи со старой березой, росшей далеко за околицей, которой Генка обрадовался, как «верному другу».

На березовую аллею, посаженную еще его дедом, прежде всего обращает Геннадий внимание и, войдя в деревню, узнает и свою березку — ту самую, что когда-то, поленившись, отбросил, а дед подобрал и, выпорвав внука ее гибкой вершиной, заставил посадить у самого края... Эта самая береза и пострадает во время ночного пожара, спасшего от поджога Генкин «починок», словно ценой собственной жизни удержит Генкину душу от последнего падения...

И первая фраза, которой Архипов-младший начнет свой рассказ про то, что повидал и пережил за пять лет вынужденного отсутствия, опять же про лес: «Ну, сначала я был на самом Севере, там, где от холода и леса не растут».

И это не просто тихая, бессловесная лю-

бовь к родной земле, поскольку любить родную землю, и притом очень остро, можно и в «добровольном изгнании», а крепь, связь, или, как говорил Есенин, «узловая завязь», с миром природы. «Узловая» эта «завязь» для Генки нарушится только однажды, когда, утвердившись в своем решении уехать из Зарубина, он заставит себя оглохнуть ко всему, что может помешать этому решению. Вот тогда-то, глядя на молодые березки, один-единственный раз он подумает о них холодно и трезво: «Хорошие дрова».

Эта лирическая тема явно перекликается с темой «макова цвета» из первой повести, но там это только прием — сквозная метафора, позволяющая композиционно «замкнуть» повествование. В «Наследнике» — больше чем композиционный прием. Согласно замыслу В. Лебедева, «березовая музыка» — своеобразный «тест», как бы созданный самой природой; если человек слышит ее, значит, душа его больна не смертельно, ведь «чутье откликаться живо на всякий предмет в природе, изумляясь на всяком шагу красоте» (Гоголь), — естественная реакция всякого душевно здорового человека.

Но дело не только в эстетике: ведь Генка Архипов реагирует на пейзаж без дерева не просто как на нечто некрасивое, но и как на что-то неправильное, ненормальное, и это для В. Лебедева вернейшее доказательство того, что в Архипове-младшем все еще жив крестьянин с его врожденной, наследственной экологической культурой.

Стремлению добраться до истоков народного мироощущения подчинены, на мой взгляд, и языковые поиски В. Лебедева. Отказавшись от обыгрывания фонетической необычности народного бытового говора, он не отыскивает слово редкое, экзотическое, узорное, а стремится так повернуть вроде бы всем известные слова, чтобы обнажилась их образная природа, их яркая, органическая «фигуральность», самый тип «живописного соображенья» (Гоголь), присущий народному мироощущению:

«За кустами, подхватив длинный подол, переходила ручей старуха, мать Кило-с-ботинками, мелкоглазая, подслеповатая, коротенькая и быстрая, как моль».

«Он сладко потянулся, раскинув босые ноги, подставил солнцу спину, словно прислонился к печке...»

Не чурается В. Лебедев и более терпких,

более характерных выражений и характеристик, но это главным образом в прямой речи. Но и здесь очень строго следит за тем, чтобы эти особые слова не торчали, не бросались в глаза своей нарочитой нарядностью, не превращались в чистое художество, не отвлекали от главного — от исследования души человеческой. И это именно исследование, анализ, а не просто картина сельской жизни, и анализ объективный, опирающийся на глубоко личное знание современной деревни, ее быта и бытия, ее поэзии и прозы, на трезвое понимание ее реальных нужд, возможностей, противоречий.

В преимущественном внимании к «диалектике души человеческой» (а не только

к внутреннему миру крестьянина), в полемическом отталкивании и от модного умиления «нетронутым существованием русской деревни», и от тенденции прямо противоположной, ограничивающей это существование заботами о хлебе насущном, видится мне своеобразие писательской позиции В. Лебедева. Даже самый стиль его повестей — простой, скромный, серьезный, но с ярко выраженным «элементом искусства» — воспринимается как художественное противодействие и преувеличенной яркоцветности романтического, и преувеличенному аскетизму «делового» направлений в современной деревенской прозе.

А. МАРЧЕНКО.

★

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ФАНТАСТИКА?

А. Ф. Б р и т и к о в. Русский советский научно-фантастический роман.
Л. «Наука». 1970. 448 стр.

Изыскания на тему «Что есть фантастика?» долгое время походили скорей на поиск Грааля в марк-твенновской интерпретации, чем на научное изучение. В поход отправлялись и случайные рецензенты, с детства кое-что помнившие о Жюле Верне, и сами фантасты, и доктора физико-математических наук — кто только не седлал коней! Результаты оказались непропорциональны усилиям: определения мало что определяли, формулы рассыпались при малейшем дуновении, требования звучали как заклинания.

Были, конечно, и вдумчивые работы, их число, особенно в последние годы, множилось, но нужда в цельных исследованиях не удовлетворялась. Мощный всплеск советской фантастики в 50—60-х годах, обилие новых имен и произведений, жанровая и тематическая пестрота, своеобразие языка, стиля, сюжета — все требовало глубокого осмысления.

Книга А. Бритикова «Русский советский научно-фантастический роман» — по существу, первая крупная литературоведческая работа о фантастике.

Автор справедливо озабочен тем странным положением, в котором до сих пор находится фантастика, когда для читателя это обширный материк, а для литературоведения — малопримечательный островок.

«Такое положение,— замечает А. Бритиков,— объясняется, по нашему мнению, непониманием специфики научной фантастики, но непониманием, которое не равнозначно капризам вкуса или непросвещенности присяжных «реалистов» в научно-технических вопросах (хотя и это, конечно, сказывается)... под нею подразумевается не совсем то, а порой и вовсе не то, чем она является...»

Анализируя становление и развитие научной фантастики, А. Бритиков на обширном материале показывает, чем она была и чем стала. Хотя произведение, от которого отечественная фантастика может вести свою родословную («4338 год. Петербургские письма» В. Ф. Одоевского), появилось в 1840 году, подлинное ее становление произошло в 20-х годах нашего века; мы вправе даже сказать, что она детище Великой Октябрьской революции. Очень быстро молодая советская фантастика обрела свое лицо, ее издания перешагнули границу и оказали заметное влияние на зарубежного читателя. Но развитие фантастики не всегда шло гладко и не всегда по восходящей.

Исследуя спад в советской фантастике, завершившийся к концу 40-х годов торжеством теории «ближнего прицела», А. Бритиков аргументированно раскрывает, как

мелкотемье, бескрылость, привязанность к микростинам здравого смысла в канун научно-технической революции разрослись в серьезный мировоззренческий изъян. Были в ее истории периоды, не столь уж давние, когда она являла собой нечто вроде «занимательной науки в фантастическом исполнении». В таком качестве она, понятно, не отличалась художественностью. Доказательства, приводимые автором, таковы, что видишь: да, временная слабость нашей фантастики шла вразрез с требованиями эпохи, и сменивший ее взлет был вызван глубокими побудительными причинами.

А. Бритиков прав, когда говорит, что сейчас мы недооцениваем тот идеологический потенциал, который аккумулирован в произведениях советских фантастов последнего времени.

Приступая к анализу современной советской фантастики, исследователь пишет: «Такого пестрого смешения «одежд и лиц, племен, наречий, состояний» наша фантастика не знала даже в урожайные на эксперименты 20-е годы». И далее: «...может быть, это несколько извинит в глазах читателя неполноту обзора имен и явлений и субъективность суждений автора...»

Охотно принимаем извинения, поскольку быть неизменно объективным, когда идешь «по горячим следам», очень не просто. Не буду поэтому спорить с А. Бритиковым в тех случаях, когда его оценка конкретных произведений расходится с моей. И все же субъективизм автора порой превышает меру, а иной раз он усугубляется и фактическими ошибками. А. Бритиков то ставит, по существу, на одну доску такие плохо сопоставляемые вещи, как роман И. Ефремова «Туманность Андромеды» и роман С. Снегова «Люди как боги», то, спутав время действия ранних повестей А. и Б. Стругацких, строит на этом свою критику, то совсем уж неточно излагает рассказ Гансовского. Иллюстрируя мысль о том, что советская фантастика последнего периода борется с собственными издержками оружием самопародии, автор без всяких оснований фактически превращает в «антифантастическое», пародийное все, что написано таким непростым фантастом, как И. Варшавский. К этой категории он относит и «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, а ведь произведение явно не укладывается в предложенную схему. Такие случаи тем досадней, что рядом А. Бритиков демонстрирует примеры дей-

ствительно вдумчивого анализа (при исследовании творчества И. Ефремова, Г. Гора, например).

Существенное место в книге отводится проблемам теории. Сам автор, впрочем, оговаривает, что разработка проблем для него не главное, что теоретическая часть призвана лишь ориентировать читателя в специфике фантастики. Это не совсем так хотя бы потому, что А. Бритиков выводит из своих теоретических построений некое мерило, уклонением от норм которого он объясняет творческие неудачи ряда произведений. Автор здесь делает больше того, что обещает,— прекрасно! Остается лишь выяснить, насколько он справился с задачей.

В разработке проблем теории могло быть два пути. Как ни скуден урожай добротных литературоведческих работ, имеются все же достойные серьезного внимания книги, статьи, материалы дискуссий — есть что сопоставлять, обобщать, осмысливать. Но, разумеется, интересней оригинальный подход, свое слово в решении трудных проблем. Затрудняюсь охарактеризовать путь, который избрал А. Бритиков. Это как будто не обобщение накопленного, ибо некоторые прежние гипотезы затронуты вскользь. С другой стороны... Впрочем, давайте подробно разберем хотя бы один ключевой узел построений и посмотрим, с чем мы имеем дело.

«Научно-фантастическая литература,— утверждает А. Бритиков свою точку зрения,— не изобрела предвидения — она лишь обособила и развила его элементы, присущие почти любой науке, дополнив и обогатив их художественной фантазией. С другой стороны, тем самым была придана большая строгость художественной фантазии. Специфика научной фантастики прежде всего в этой интеграции методов, а не в том, что она включила в себя научный материал и направила предвиденья на науку и технику.

Научная фантастика по сей день сохраняет промежуточную или, точнее сказать, двойную природу, ибо наряду с научным мышлением включает отличное от него художественное... И как раз прогностическая функция, которая выводит ее как из художественного познания, так и из научного, в то же время связывает с тем и другим».

Что ж, мысль не слишком новая, но в общем, видимо, правильная. Не ясна только заключительная фраза о «прогностической функции», которая, «выводя» фантастику

как из науки, так и из литературы, в то же время их «связывает». Ждем пояснения.

«Ни один род человеческой деятельности — наука, практика или искусство — не ставил своей прямой задачей приподнять завесу грядущего. А ведь в этом — сущность познания. Только предвидя будущее, можно переделать настоящее. Предвидение на девять десятых объясняет популярность фантастики во все времена. А с того момента, когда она стала поэтическим спутником науки, фантастика приобрела качество, которого не имела и не может иметь родственная ей волшебная сказка, — коэффициент достоверности».

Своеобразное разъяснение... Если сущность познания — предвидение (наконец-то нам однозначно сформулировали, в чем его сущность!), а ни один род человеческой деятельности не ставил это своей прямой задачей, то, выходит, бедное человечество до сих пор занималось не совсем тем, чем следовало бы. А наука уж и вовсе не тем. Ладно, пойдем дальше. «Предвидение... объясняет популярность фантастики во все времена...» Допустим. Во все времена? Да, даже и в те времена, когда она не имела «коэффициента научной достоверности», тоже. Каким же предвидением тогда занималась фантастика? Ненаучным, видимо. Не важно, популярность ей все равно была обеспечена!

Автор явно клонит к тому, что фантастика — инструмент предвидения. Верно ли мы его поняли?

Читаем дальше: «Марксизм впервые достоверно предсказал общие тенденции развития общества. Но во времена К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина наука не могла еще достаточно точно прогнозировать конкретные явления (даже в астрономии и механике? — Д. Б.). Конкретное прогнозирование... как отрасль науки сложилось совсем недавно (верно, хотя и наводит на некоторые грустные размышления, — см. мысль о том, что без предвидения будущего никак нельзя переделывать настоящее. — Д. Б.). Научно-фантастическая литература поэтизирует возможность управлять будущим (всегда, во всех произведениях? — Д. Б.) и в то же время является массовой формой практического прогнозирования...»

Мы верно поняли автора. Возникает, однако, такой вопрос: если фантастика —

форма массового и к тому же практического прогнозирования, то зачем еще нужна какая-то наука прогнозистика? Почему фантасты пишут какие-то там романы, а не работают в Госплане? И до каких пор Академия наук будет медлить с открытием Института фантастики?

Конечно, жизнь показывает, что чем дальше, тем фантастика все более начинает интересовать естествовников, экономистов, социологов, потому что, размышляя о перспективах, они находят в ней кое-что ценное для себя — и с практической точки зрения тоже. Все это верно, ибо тому есть факты. Но зачем наделять фантастику свойствами, которыми она все же не обладает?

Зря мы, однако, спорим. Был же случай убедиться, что А. Бритиков иногда говорит не совсем то, что, очевидно, хотел бы сказать. Здесь то же самое. Не снимая тезиса о фантастике как форме «практического прогнозирования», несколькими абзацами далее он поясняет, что «прогноз в художественной фантастике (а в нехудожественной? — Д. Б.) менее точен, чем в науке, но зато менее односторонен и психологически убедительней...». И что вообще наука есть наука, а искусство есть искусство.

А на странице 195 он зачеркивает сам себя фразой о том, что «теория предела возникла из крайне одностороннего представления, будто чуть ли не единственная задача научной фантастики — строить прогнозы...».

Да, нелегко понять теоретические построения А. Бритикова — что он сказал, что он хотел сказать и что же он в конце концов считает правильным. Не все страницы, правда, написаны в такой вот зыбкой и противоречивой манере, но они задают тон, и от этого никуда не денешься. Разъяснения специфики фантастики получились изрядно путаными, да и историко-литературный анализ, как видим, не лишен изъянов.

Все же я склонен думать, что в целом работа проделана не напрасно. Есть в ней достоинства, а что касается неудач в разработке определений «что такое фантастика»... Один видный советский ученый как-то заметил, что существует около десятка определений кибернетики, но это не мешает ей развиваться. Фантастике тоже.

Д. БИЛЕНКИН.

ОБ ОБЯЗАННОСТИ ЖИТЬ

Макс Фриш. Пьесы. Переводы с немецкого. М. «Искусство». 1970. 576 стр.

Вслед за однотомниками Т. Уильямса, Сартра, Дюрренматта, сборником «Семь английских пьес» (называю лишь самые важные из книг этой серии) издательство «Искусство» выпустило в свет пьесы Макса Фриша. Только две из них — «Бидерман и поджигатели» и «Дон Жуан, или Любовь к геометрии» — были опубликованы раньше (журналом «Иностранная литература» и тем же издательством «Искусство»). Четыре пьесы появились в русском переводе впервые, чем существенно восполнен пробел в знакомстве наших читателей и театров с творчеством швейцарского драматурга.

Теперь, имея на полке роман Фриша «Ното Фабер» и сценарий «Цюрих-транзитный», читатель может судить о некоторых законах его творчества. Становится, в частности, ясной не только естественная оригинальность Фриша, но также место его пьес в ряду важных явлений предшествовавшей и современной ему мировой драматургии.

Первые произведения Макса Фриша были опубликованы еще в 30-е годы. Однако широкую известность его творчество — вместе с творчеством его соотечественника Дюрренматта — получило только в 50-е годы.

В мировой драматургии пьесы Фриша, несомненно, продолжают линию так называемой «интеллектуальной драмы» с присущей ей условностью формы и обнаженностью идейной конструкции. Вслед за Брехтом, оказавшим на него значительное влияние, Фриш склонен рассматривать действительность прежде всего как определенную социально-политическую структуру. И для Фриша важна нравственная идея, прозвучавшая в антифашистских пьесах Сартра: в конце концов, история складывается из личных решений миллионов отдельных людей. (Как говорит в пьесе Фриша 1946 года «Они поют снова» дезертировавший с фронта немецкий солдат: «Никто не должен уходить от груза личной свободы — как раз это мы попытались сделать, и в этом наша вина».)

И все-таки в развитие «интеллектуальной драмы» Фриш вносит особый взгляд на мир и возможности человека.

Вероятно, и без напутствий литературоведов читатель заметит пристрастие Фриша к одной и той же повторяющейся от

произведения к произведению и лишь по-разному варьируемой теме — теме изменчивости человеческого сознания. Ей соответствует совершенно особая роль, которая отведена в драматургии Фриша (так же, как, кстати сказать, и Дюрренматта) неожиданным поворотам действия, случайностям, случаю. Человек и мир поданы в большинстве произведений Фриша в состоянии непредвиденного взаимодействия друг с другом. Вычислить результат их вероятных столкновений невозможно, ибо этот результат многовариантен.

Свои «исследования» Фриш начинает с малого, как будто бы с самого простого.

В остроумной парафразе сюжета о Дон Жуане (пьеса «Дон Жуан, или Любовь к геометрии», 1958) молодой человек, наделенный мягкой гуманностью (ему крайне неприятно жестокое обращение крестоносцев с иноверцами) и вполне определенной склонностью к точным знаниям (геометрия), становится исполнителем своей легендарной роли отнюдь не по собственному желанию. Горя любовью к своей невесте, скачет этот изящный всадник к замку, где уже начинается свадебное торжество. Однако, как следует из смятенного рассказа, по пути с ним случается маленькое происшествие, собственно, даже и не происшествие — просто взгляд задержался совсем ненадолго на фигуре женщины, появившейся в каком-то окне: «Я понял, что мог бы полюбить ее — первую встречную». Событие, как это обычно в пьесах Фриша, не столько приводит героев в столкновение друг с другом, не столько ставит их в конфликт с обстоятельствами, сколько заставляет неожиданно вступить в вынужденные взаимоотношения с совершенно незнакомым человеком — самим собой, каким ты стал в изменившихся условиях. Ум и душа жениха-геометра не могут вместить непоследовательность собственных чувств и смуту желаний. Человек делит себя на две половины, нехотя прощаясь с одной, поневоле приравливаясь к другой. Перед нами «усеченный» Дон Жуан, Дон Жуан, с испугу перед самим собой, наверно, прикидывающий в уме решение очередной задачи во время мигов любви...

«Любовь к геометрии» — веселая комедия из эпохи «красивых костюмов». Однако внутренняя ее тема серьезна. И раньше

и позже она разрабатывалась Фришем далеко не в таком веселом варианте.

С малого, со сферы личного Фриш начинает свой анализ двух противосил — человек и «другой человек» в нем самом; человек и бытующее мнение о нем (легенда о Дон Жуане). И дальше — шире: человек и общество; человек и официальная идеология, государство.

В своих «Дневниках с Марион» (части большой книги «Дневники 1946—1949») Фриш записал тривиальное наблюдение, поразившее, однако, наивного деревенского парня: человек, когда он сидит за столом с несколькими людьми, начинает вдруг думать и говорить не так, как если бы он рассуждал наедине с собой. В дальнейшем, «не отпуская» человека, Фриш исследует в своих пьесах способность частного сознания к трансформации, внезапным взрывам, эксцессам, отчетливо соотнося их с давлением на человека извне — давлением общества, социальных обстоятельств, как будто бы мирной буржуазной действительности.

Некогда в антифашистских пьесах Сартра действующие лица ставились автором в отчетливо очерченные, «пограничные» ситуации, требовавшие решительного выбора. Близкие автору герои, совершив этот выбор, вступали в борьбу против диктатуры и террора. Личность человека мыслилась как в итоге цельная. Колебания совершались между «да» и «нет»: их амплитуда конечна и определена.

От многих героев Фриша жизнь как будто не требует никаких решений. Ее гладкая поверхность внушает как раз обратное — атрофию желаний и воли. Однако и персонажи Фриша совершают весьма решительные поступки, правда, руководствуясь при этом какими-то неведомыми, «случайными», непредопределимыми мотивами.

В сборник, выпущенный «Искусством», включена пьеса «Граф Эдерланд» (1951). Сказочно-фантастические мотивы переплетаются в ней с реальностью, невероятной только потому, что она взята в своем крайнем, почти неправдоподобном проявлении. Дикая случайность переворачивает всю жизнь преуспевающего судебного чиновника-прокурора. Почти неожиданно для себя он повторяет преступление своего обвиняемого (тоже совершенное по внезапному импульсу) — берет в руки топор, а потом становится главой разбойничьей шайки. Мотивы преступления в обоих случаях неуло-

вимы. Их нельзя выстроить в цепочку обстоятельств, которые помогли бы понять происшедшее как «кособый случай», выходящий за пределы «нормального хода вещей». Единственная причина преступления — выхолощенность существования, его внутренняя бессмысленность, скука, отсутствие ответа на вопрос — зачем жить? «Бывают мгновения, — вдруг понимает герой Фриша, — когда невольно удивляешься всем тем, кто не берет в руки топор». Как точно отмечает в послесловии к сборнику Ю. Архипов, пьеса Фриша как будто предвещала столь же «немотивированные» выступления молодежи и студентов, прокатившиеся по Европе десятилетием позже, в 60-е годы. «Частное» сознание обнаружило себя как социально значимое.

В мировой литературе Фриш имеет многих предшественников. Напомним хотя бы знаменитую повесть Р. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886). В ней рассказывалось о способности, обретенной ученым доктором в результате химических опытов, выделять в «чистом виде» злое начало в себе самом, превращаться в «другого человека» — мистера Хайда, преступника, над сознанием которого не властны никакие моральные запреты. Превращения доктора Джекила невероятны. Однако фантастичен только их способ и степень (вплоть до физического перевоплощения). По существу же второй лик Джекила вполне реален: он лишь до поры до времени таился за благопристойной маской этого джентльмена. Как писал Стивенсон: «Наружу вырвался тот, кто стоял у двери».

Повесть Стивенсона, несомненно, близка темам Фриша — раздвоение личности, изменчивость сознания. Но то, что рассказывалось в конце прошлого века как социально-философская притча о безднах внутреннего мира человека, скрывающихся под личиной благопристойности, выведено Фришем на просторы истории и рассмотрено как широкий социальный процесс¹. Поэто-

¹ В этом отношении Фриш имеет только одного предшественника (в литературе наших дней можно, напротив, найти множество параллелей его творчеству): еще до 1933 года, до фашистского переворота, была написана пьеса Врехта «Что тот солдат, что этот», раскрывавшая ту огромную социальную опасность, которая таилась в способности непросвещенной массы меняться под воздействием человеконенавистнической демагогии.

му превращения его героев часто так подчеркнута будничны и обыденны, а происходящие с ними случайности по видимости заурядны. Поэтому его пьесы, построенные как обобщенные модели современного ему мира, в то же время могут порой читаться почти как бытовая драма.

В 1953 году появилась одна из самых острых политических комедий Фриша — сатира «Бидерман и поджигатели».

Обыватель, владелец небольшого парфюмерного заведения, соглашается в ней ради надежды уцелеть самому сначала пустить в свой дом преступников, собирающихся поджечь город, потом уговорить себя, что это мирные люди, несмотря на то, что к нему на чердак перетащены цистерны с бензином, потом дать им в руки спички. В пьесе действует хор пожарников, иронически уподобленный хору в античных трагедиях. Он торжественно призывает Бидермана к бдительности и исполнению долга гражданина. Но куда там! Обывателя не удержать сентенциями, когда на карту поставлена его личная безопасность и когда она может быть куплена ценой, над которой сам Бидерман даже не задумывается, — ценой гибели других.

Пьеса о Бидермане была задумана как пьеса о взаимоотношениях множества ему подобных с историей. Именно в ее тексте есть мимоходом оброненная фраза, которая, вероятно, может служить концентрированным выражением собственного подхода Фриша к давно замеченным писателями проблемам, а вместе с тем и выражением его представления о состоянии современного мира: «Ведь все происходит не так, как ожидаешь, господа, а постепенно и в то же время внезапно».

Постепенно и в то же время внезапно для человека происходят превращения его собственной души. Никогда еще, точно заметил Фриш, этот процесс не был для множества людей таким «естественным», незамечным и неотвратимым. Современники Фриша в его родной Швейцарии (да и только ли в Швейцарии?) в самом деле не замечают исчезновения из человеческого существования его собственного смысла и цели. Постепенно, без ясного и четкого проявления вовне накапливаются внутренние мощности, готовые внезапно сотрясти общество. Не случайно Фриша в такой степени занимает проблема фашизма. Ведь фашизм может существовать до поры до вре-

мени и не вылившись в массовые движения. Это фашизм, так сказать, рассредоточенный в орде индивидуумов. Рассуждая о судьбе своей родины Швейцарии, Фриш писал о реально проявившейся в годы мировой войны готовности соотечественников воспринять фашистскую идеологию (публицистическая книга «Общественность как партнер», 1967) и о столь же явном нежелании сознаться в этом впоследствии. «Люди, — писал в дневнике Макс Фриш, — постоянно хотят найти локальную точную причину каждого происшествя. Они стремятся все поставить в ряд и радуются достигнутой ясности... Не потому ли, — спрашивал Фриш, — мы так любим рассуждать о фашизме в Германии и его причинах: немецкие «причины» не соответствуют нашим, и это успокаивает».

Постепенно и в то же время внезапно совершается превращение обыкновенных людей в преступников в пьесе Фриша «Андорра» (1961), не вошедшей в предложенный советскому читателю сборник. Действие в пьесе разворачивается в некой условной маленькой стране Андорра, соседствующей с могущественной диктаторской державой.

Перед началом каждого действия в пьесе кто-нибудь из действующих лиц произносит речь в свое оправдание: нет, не он виноват в убийстве иностранки и казни еврейского мальчика Андри — событиях, пока еще не происшедших в пьесе.

Еще ничто не предвещает дальнейших трагических событий, но на главной площади города уже врывают в землю столб. Может быть, это тянут телефон? — предполагает один из персонажей. Но зритель уже догадался — он знает: строят виселицу. (Как в написанной приблизительно в те же годы пьесе Дюрренматта «Визит старой дамы», никто из жителей маленького городка Гюллена еще не признается даже самому себе в намерении выдать и предать смерти ради награды в миллион долларов своего согражданина Илла. Но каждый почему-то смотрит вниз, все чего-то стесняются, любой мужчина зачем-то носит с собой ружье.) В конце концов, когда завоеватели врываются в Андорру, жители, пытаясь выгородить себя, выдают в качестве жертвы и козла отпущения изгоя Андри.

В пьесе «Андорра» Фриша интересует не только психология социального преступления, но и психология жертвы. Даже узнав,

что он не еврей, мальчик Андри не может в это поверить: он уже сжился с тем, что ему внушили зараженные антисемитизмом жители Андорры, сжился с положением преследуемого. Однако Андри у Фриша остается в положении жертвы, не только согнувшись под тяжестью внушенной ему неподноценности. Постепенно в нем зреет решение — он сознательно принимает сторону преследуемых. Так еще раз — в остром политическом аспекте — всплывает для Фриша тема изменчивости человеческого сознания, тема маски, которую ненависть людей насильственно надевает на человека, роли, которую ему приписывают и заставляют играть, — и тема сознательной жизненной позиции, которая может и должна заменить искусственность роли.

Далекий от легковесного оптимизма, Фриш часто рисует человека в замкнутом кругу: для того чтобы стать личностью, человеку нужно совершить значительный, общезначимый поступок; но для того, чтобы совершить такой поступок, ему необходимо быть личностью... Истории, в которые отливаются поступки фришевских героев, как отчетливо видит сам автор, игрушечны — в них нет дыхания подлинной жизни, больших чувств, соприкосновения с существованием множества других людей и большой общечеловеческой историей.

Не в силах «выскочить» из своей сложившейся жизненной истории некто Кюрман — герой последней пока пьесы Фриша «Биография» (1968). Не в силах, несмотря на то, что ему предоставлена возможность, как в театре на репетициях недописанной пьесы, неоднократно и по-разному «переигрывать» свою жизнь (пьеса и по форме уподоблена театральной репетиции с таинственной фигурой режиссера-регистратора, позволяющего актерам начать все сначала).

И все-таки произведения Фриша исходят из признания возможности разных поступков человека; действие в них всегда

развивается под знаком «все могло бы быть иначе...».

Логика капитуляции, отказа от самой возможности иного поведения как будто бы абсолютно неколебима в комедии «Бидерман и поджигатели». И все-таки и в этой пьесе для зрителя все время маячит перспектива иного развития сюжета: слишком уж противоестественно поведение героя! Все могло бы быть иначе...

В связи с творчеством Фриша в критике много писалось об отчуждении человека в буржуазном обществе, о нереализованности его возможностей, расщеплении личности.

Гораздо реже писали о не менее важной особенности фришевского творчества — его антифатализме. В пьесе «Андорра» эта идея определяет саму художественную структуру произведения. Строя драматическую фабулу, Фриш стремится достичь впечатления, что это не единственный и не обязательный ее вариант, а один, по крайней мере, из двух. Каждый из героев мог поступить иначе, и это существенно изменило бы ход событий. История человечества не фатальна. Для нее, как и для каждого из нас, могут быть проложены разные пути.

Своим творчеством, в частности пьесами, Фриш не предлагает собственные ответы на поставленные жизнью вопросы. Его позицию до сих пор можно считать позицией «неприсоединения», если иметь в виду выбор между осмеянной в сатирах Фриша буржуазной действительностью и идеями социализма, которые писатель приемлет не вполне. Однако в другом, более общем смысле выбор Фриша сделан. Всем своим творчеством он предупреждает об опасности успокоенности. И еще напоминает, что понятие «жизнь» не есть то полумеханическое, неодоухотворенное и общественно опасное состояние, с которым порой склонны отождествлять ее люди.

Н. ПАВЛОВА.

Политика и наука

НАУКА ПОБЕЖДАТЬ

Б. В. Бычевский. Маршал Говоров. М. Воениздат. 1970. 175 стр.

Килограмм хлеба стоил в те апрельские дни шестьсот рублей (месячная зарплата санитарки в госпитале — пятьсот).

Под сугробами таявшего снега на улицах лежали незахороненные трупы. В городе появились случаи сыпняка. Обессиленные голодной зимой люди вышли на уборку.

4 апреля Гитлер подписал директиву № 21: к сентябрю покончить с Ленинградом.

15 апреля по ржавым рельсам прогремел первый трамвай, и звонку его обрадовались едва ли не больше, чем недавней прибавке хлеба по карточкам. Снова ходят трамваи — значит, город выжил!

24 апреля проскочила по ледовой Дороге жизни последняя трехтонка с продовольствием для осажденного города. Радиатор наполовину в воде, дверца кабины распахнута: если машина начнет уходить под лед, шофер успеет выскочить...

Именно в эти апрельские дни 1942 года прилетел в Ленинград новый командующий группой войск генерал Леонид Александрович Говоров. Три года командовал он Ленинградским фронтом. С его именем связаны решающие победы наших войск на северо-западе: прорыв кольца блокады в январе 1943 года, полное снятие блокады в январе 1944-го, разгром Маннергейма и взятие Выборга в июне того же года, изгнание фашистских войск из Эстонии в сентябре 1944 года.

Говоров был не просто полководцем, умевшим побеждать, но полководцем глубокой военной культуры, полководцем новой формации. Артиллерист по профессии, он, командуя общевойсковыми соединениями, не на словах, а на деле, каждым своим шагом, каждым решением доказывал, что умение управлять войсками — это наука и прежде всего наука. Сам по себе тезис этот кажется бесспорным. Но ведь были в войну генералы, полагавшиеся более на свою удачу, на риск, на свой авторитет в войсках, чем на умение подготовить победу.

Говоров тоже умел рисковать, и авторитет его был огромен. Но он именно го-

товил победу, готовил медленно, кропотливо, часто вызывая даже нарекания излишней строгостью, придирчивостью, «мелочностью».

По сравнению с громкими именами многих советских военачальников, чьи победы подробно описаны в исторических трудах и в мемуарной литературе, имя Говорова сравнительно мало известно широкому читателю. Вот почему так радует появление книги о нем, принадлежащей перу генерал-лейтенанта Б. В. Бычевского. Читается она, как и выпущенная несколько лет назад мемуарная книга этого же автора «Город-фронт»¹, с огромным интересом. Бычевский — сам активнейший участник описываемых событий, близкий помощник Говорова. Всю Ленинградскую эпопею он командовал инженерными войсками фронта. На его плечи ложились труднейшие задачи: форсирование Невы по воде и по льду, ледовая переправа тяжелых танков во время прорыва блокады, уничтожение немецких и финских минных полей, заграждений и бетонных укреплений (а за годы блокады противник создал невиданную по мощи систему обороны: достаточно сказать, что одни лишь укрепления Маннергейма в Карелии располагались на сто километров в глубь обороны!).

Саперам Бычевского приходилось выполнять и трагические обязанности — в самый тяжелый период блокады, зимой 1941 года, они взрывами готовили братские могилы для тысяч погибших от голода ленинградцев.

Товарищ Бычевского по боям, начальник артиллерии фронта Г. Ф. Одинцов пишет, вспоминая драматические сентябрьские дни 1942 года, когда наши войска во второй раз покидали крошечный плацдарм у Московской Дубровки — обгаренный кровью и перепаханный снарядами клочок земли на левом берегу Невы:

«Выделялся среди нас всегда озабоченный, по горло погруженный в свои дела начальник инженерного управления полковник Б. В. Бычевский... Со своего НП я наблюдал Б. В. Бычевского у переправы

¹ Лениздат, 1967.

танков. Весь берег около Бычевского был в разрывах немецких снарядов и мин. Пали убитыми и ранеными его саперы, понтонеры. Контужен был и сам Б. В. Бычевский, но продолжал переправу танков. Было понятно, что, спасая защитников малого плацдарма (700×300 м), он никому эту работу не мог поручить».

Естественно, что воспоминания и свидетельства человека, находившегося всегда в самой гуще событий, представляют особый интерес. К тому же у автора зоркий глаз, хорошая память, умение кратко и живо передать психологический накал событий. И что очень важно — всю войну он вел дневник. Вот почему книга его «Город-фронт» по правдивости описания событий, по живости характеристик, охвату материала (несмотря на сравнительно небольшой объем — 4:30 страниц) представляется мне значительным явлением военно-мемуарной литературы.

В отличие от многих книг этого жанра, часто повторяющих общеизвестные данные, почерпнутые из военных сводок, книга Бычевского рассказывает о том, что он пережил сам.

А какое обилие лиц и характеров (именно характеров!) предстает в ней: маршал Г. К. Жуков в период своего краткого (менее месяца) пребывания в Ленинграде, секретарь ЦК и Ленинградского обкома А. А. Жданов, секретарь горкома партии А. А. Кузнецов — один из тех, кому город особенно многим обязан, маршал К. Е. Ворошилов, товарищи Бычевского по фронту — бойцы, офицеры, генералы. И конечно же, генерал Говоров. В «Городе-фронте» ему уделено, пожалуй, наибольшее внимание.

И вот новая книга Бычевского, целиком посвященная Говорову. От первой ее отличается жанр. Это уже не мемуары, а биография полководца, жизнеописание, исторический труд (книга вышла в Воениздат в серии «Советские полководцы и военачальники»). Но и здесь солидное место уделено воспоминаниям, личным впечатлениям и мыслям автора о полководческих и человеческих качествах Говорова, о проведенных им операциях.

Истины ради следует сразу оговориться, что, поддавшись ли традиции или боясь повторить уже описанное в «Городе-фронте», автор в своей новой работе местами все же перенасытил книгу хроникой и статистикой (к счастью, не так уж часто).

В результате на первом плане у него порой не Говоров со своими решениями, сомнениями, приказами, а дивизия номер такой-то и армия номер такой-то. Конечно, в биографическом труде о полководце не обойтись без таких сведений, но думается, многое заинтересованный читатель мог бы без труда найти в исторической литературе о прорыве блокады. В биографии же Говорова, написанной очевидцем его боевых дел, самое ценное — это именно дела и дни крупного полководца. Там, где Бычевский идет по этому пути, где он не боится отослать читателя за хроникой боев к специальной литературе, там автор выигрывает в главном: мы видим деятельность полководца во всех ее сложностях, во всем ее многообразии.

Говоров принял командование Ленинградским фронтом в очень трудный период, когда немцы считали судьбу голодающего города предрешенной. Он был шестым по счету командующим, и уже один тот факт, что в Ленинграде в силу сложившихся обстоятельств менее чем за год войны сменилось пять командующих, ни один из которых — по разным причинам — не смог или не успел решить проблему прорыва блокады, свидетельствовал об особой напряженности на этом участке войны.

Было бы логичным ожидать, что в книге, посвященной деятельности Говорова, точка зрения автора на события, предшествовавшие появлению нового командующего в Ленинграде, выраженная так энергично в сборнике «Оборона Ленинграда», найдет еще более последовательное воплощение. Бычевский, к сожалению, ограничился лишь фразой, что «в послевоенных исторических трудах достаточно детально раскрыты причины, помешавшие деблокировать Ленинград в 1941—1942 годах».

Как мы уже говорили, автор вправе обращаться в своей книге общеизвестный материал. Но здесь дело касается принципиальных вопросов — выработки новой программы, нового лица фронта. Это коренные проблемы деятельности Говорова на первом этапе его командования, и потому нам кажется, что отсылка читателя к другим работам (к тому же не названным в книге) неправомерна.

Чрезвычайно интересна полемика Бычевского по поводу тактики проведенных Говоровым операций, — полемика с теми, кто

считал эту тактику малоинтересной, поскольку в основном это были силовые удары в лоб по глубокой обороне противника, без сложных обходных маневров, без внезапных прорывов в тыл противника, без создания больших котлов окружения.

Бычевский последовательно опровергает эту точку зрения, показывая вначале, какого искусства, какого глубокого расчета требовала первая крупная операция Говорова под Ленинградом — прорыв кольца блокады, когда на крошечном оперативном пространстве (всего 13 километров), где немислим был маневр силами, полководец сумел, насколько это было возможно, обмануть врага (немцы ожидали главного удара правее, чем он был нанесен Говоровым, — на месте старых боев у Московской Дубровки); как затем, когда успеху ударной дивизии стала серьезной помехой неудача флангов (слева войскам не удалось даже форсировать по льду семисотметровую Неву, они залегли на зеркальном льду под убийственным огнем пулеметов), Говоров сумел ввести в бой деморализованные первой неудачей войска на новом месте — на участке прорыва основной, ударной дивизии.

Во второй крупной операции Говорова по снятию блокады Бычевский подчеркивает умелое применение сдвоенного удара с двух плацдармов на вновь-таки крошечном оперативном пространстве. И если в этом случае Говоров лишь частично выполнил свой замысел поймать фашистские войска, блокировавшие город, в котел, то лишь потому, что немцы бежали быстрее, чем продвигались наши танковые части в условиях бездорожья.

Наконец, в третьей и четвертой своих крупных операциях (разгром Маннергейма и освобождение Эстонии) Говоров нашел в каждой блистательное тактическое решение. В одной из них он использовал молниеносную массовую переброску главных сил удара уже в процессе наступления из центра на левый фланг, что обеспечило невиданные темпы наступления в Карелии и быстрый выход Финляндии из войны (эпизод этот с большим драматизмом описан также в очень интересных мемуарах Главного маршала авиации А. Новикова «В небе Ленинграда» в «Новом мире» № 3 за 1970 год), а в другой операции — обманную переброску войск и скрытое их сосредоточение, а затем фланговый удар, настолько неожиданный для немцев, что темпы их

бегства вновь едва ли не превышали темпы нашего наступления.

В книге ярко предстает перед нами Говоров-человек, а добиться этого было задачей тяжелой даже для автора, который бок о бок воевал с маршалом, ибо Говоров был человек нелегкий, необщительный, чрезвычайно молчаливый и суровый. Почти никто, пишет автор, не видел его улыбки, зато все знали, как строго (правда, всегда по существу, без ненужной грубости) умел он спрашивать с подчиненных. Воссоздать портрет такого человека необычайно трудно, во всяком случае гораздо труднее, чем облик человека веселого, открытого, улыбчивого.

Бычевский вспоминает очень характерный эпизод, когда Говоров вспылит, узнав, что один командир корпуса дал заявку на бомбовый удар авиации, но свою атаку задержал, не использовав результаты налета. Говоров тут же отдал приказ удержать с генерала стоимость вылета авиаполка:

— Пусть не тратит зря народные деньги!

С большим трудом удалось А. А. Жданову и начальнику штаба фронта М. М. Попову убедить Говорова отменить распоряжение: ведь генерал за всю жизнь не смог бы расплатиться за горючее и бомбы.

Несмотря на эту строгость, несмотря на доходившие даже в Москву, в Ставку слухи о «свирепости» Говорова, Бычевский подчеркивает, что эта строгость никогда не оборачивалась своеволием. И не случайно именно в штабе Ленинградского фронта годами работали одни и те же люди, никого не отстраняли по первому поводу (как это бывало в других штабах в нервные, напряженные месяцы неудач). Штаб был дружный, сработавшийся, и Говоров умел ценить своих людей и доверять им. О людях штаба, о фронтовой спайке тоже немало написано у Бычевского, и страницы эти принадлежат к числу лучших.

Обе книги генерал-лейтенанта Б. В. Бычевского, дополняя одна другую, станут важным источником для историков и специалистов, занимающихся Великой Отечественной войной. Но думается, что и массового читателя заинтересуют характеры, судьбы и события, описанные в этих книгах.

В. ГРИГОРЬЕВ.

ГОЛОС ДРЕВНИХ НАРОДОВ АФРИКИ

К. Моисеева. Дочь Эхнатона. М. «Детская литература». 1970. 270 стр.

Никогда так много не говорили об Африке, как в наши дни. Газеты, радио, телевидение сообщают нам о строительстве высотной Асуанской плотины в Египте, о планах экономического развития Нигерии, о культурном подъеме в Судане, о выставке художников Конго.

Современные средства связи и транспорта приблизили к нам далекий и еще так мало изученный нами африканский континент. Стремление к миру и прогрессу год от года все больше объединяет советских людей и многие народы Африки, борющиеся за свою свободу и независимость, против колониального ига. Само время требует от нас узнать как можно больше о современной жизни африканских народов, их великом прошлом.

Книга детской писательницы К. Моисеевой «Дочь Эхнатона», вышедшая недавно вторым изданием, посвящена далекому прошлому Египта, Нигерии, Сахары и Судана, древние народы которых оставили глубокий след в истории человеческой культуры.

Писательница К. Моисеева хорошо известна советским школьникам. Ее исторические повести и рассказы о людях древнего царства Уругу, о средневековых странах Средней Азии, о народах древней Африки давно уже завоевали признательность советской детворы. Я обращаюсь к этим книгам сейчас скорее как историк, признательный автору за образное открытие мира прошлого, за воспитание в детях любви к исторической науке.

Главные герои ее повестей — ремесленники, художники, пастухи, охотники — люди труда, голос которых дошел до нас через тысячелетия. Его донесли до наших дней непреодоленные памятники древней культуры, произведения искусства, архитектуры, предметы быта, сделанные искусными руками гончаров, плотников, резчиков по дереву, кости и камню.

В книге «Дочь Эхнатона» содержится четыре небольших новеллы, посвященных древним народам Африки. К их достоинству следует отнести достоверность повествования, умение автора органично вплести в художественную ткань новелл исторические факты, увлекательно рассказать о ценнейших предметах культуры и искусства,

найденных археологами в 1922 году в пышной гробнице фараона Тутанхамона, умершего 35 веков назад. В отличие от многих других египетских захоронений эта гробница оказалась не тронутой грабителями в древние и средние века, и поэтому в ней полностью сохранился богатый комплекс всех предметов древнего ритуального обряда египтян.

Одна из новелл — «Праздничный костер Макеры» — показывает жизнь небольшого средневекового государства Бенин, или — как оно еще называлось — Эдо, располагавшегося на реке Нигер в нынешней Южной Нигерии. Поразительны памятники многообразной и самобытной культуры этого рабовладельческого государства, особенно скульптуры и бронзового литья, зародившихся здесь в глубокой древности. Культура государства Бенин погибла под ударами появившихся здесь в XV веке португальских, а за ними английских, голландских, французских и других европейских работорговцев. В 1897 году английские колонизаторы начисто уничтожили столицу южнонигерийского государства. Так исчезла и была забыта эта древняя культура, которая только сейчас, но уже на иной, новой основе получила свое дальнейшее развитие в свободном, независимом Нигерийском государстве.

Открытие превосходных выразительных наскальных росписей в Тассили-Адджер — труднодоступном горном районе Центральной Сахары — вдохновило автора на новеллу «Волшебная Антилопа». В ней изображена жизнь пастухов, обитавших здесь в эпоху неолита. Автор поддерживает точку зрения ученых-археологов, утверждающих, что Сахара не всегда была мертвой пустыней, что в глубокой древности здесь зелели леса, текли реки.

Новелла «Роковая строка Помеджай» возвращает нас в древний Египет, в царствование фараона Рамзеса II (XIII век до н. э.). В этот период в Нижней Нубии был построен, точнее высечен в скале, грандиозный даже по современным масштабам пещерный храм Абу-Симбел. Более двух тысяч лет этот храм, признанный сейчас величайшим творением в истории культуры человечества, был скрыт под песками.

Расположенный в 240 километрах к югу

от Асуана, Абу-Симбел оказался в зоне затопления при строительстве Асуанской плотины. Решено было спасти храм, разрезав его на части и собрав воедино на другом месте. Сейчас храм вновь возвышается над мутными водами Нила, по-прежнему обращенный фасадом на восток, как и при Рамзесе II.

Эта подлинная история послужила автору основой для написания новеллы о резчике по камню, выдающемся скульпторе рабе Помеджаи, который украшал и рисовал этот храм.

Книга К. Моисеевой, как и другие ее произведения на исторические сюжеты, не только дает художественные картины жизни людей далекого прошлого, но и глубоко познавательна, основана на подлинных фактах и сведениях истории и археологии. В этом и состоит ее непреходящая ценность и привлекательность.

М. СОЛОВЬЕВ,

*доктор исторических наук,
профессор МЭИ.*



КОРОТКО О КНИГАХ

★

ФОНД ДОКУМЕНТОВ В. И. ЛЕНИНА.
М. Политиздат. 1970. 307 стр.

Такая книга издана впервые. В ней рассказывается о собирании и хранении документального наследия основателя Коммунистической партии и Советского государства Владимира Ильича Ленина.

30 тысяч рукописей книг, брошюр, статей Ленина, написанных им проектов декретов и постановлений, писем, записок (в том числе более тысячи документов на девяти иностранных языках: немецком, французском, английском, итальянском, голландском, латинском, датском, норвежском и шведском), 396 фотографий Владимира Ильича, 870 метров киноленты, на которой он снят при жизни, 15 граммофонных пластинок с записями четырнадцати его речей! Эти драгоценные реликвии Коммунистической партии, советского народа хранятся ныне в Центральном партийном архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС.

Красноречивые цифры! За ними — многолетний труд ученых, старых коммунистов, родных и соратников Ленина, работников архивов, музеев, библиотек, дипломатов, писателей, журналистов, которые искали, собирали, систематизировали, изучали ленинские документы и создавали условия для долговечного хранения их.

Перед работниками Центрального партархива стояла важнейшая и трудоемкая задача — собрать документальное наследие Владимира Ильича, накопившееся за сорок два года. «Самый ранний документ Ленина, — читаем в книге, — относится к марту 1881 г. — это расписка Володи Ульянова в списке учеников второго класса Симбирской гимназии; последний документ — телеграмма В. И. Ленина П. Г. Мдивани, Ф. Е. Махарадзе и другим, продиктованная уже больным Лениным стенографистке М. А. Володичевой 6 марта 1923 г.»

В книге приводятся сведения о дореволюционных хранилищах ленинских документов — Женевской библиотеке и архиве РСДРП, библиотеке имени Г. А. Куклина, Парижском архиве, Краковско-Поронинском архиве В. И. Ленина, описывается собрание и поиск ленинских документов в годы Советской власти. Далеко не все поступило в архив сразу: так, если рукопись книги Ленина «Шаг вперед, два шага назад» была передана в архив Н. К. Крупской в 1923 году, то, например, рукопись ленинской статьи

«О «левом» ребячестве и мелкобуржуазности» поступила туда совсем недавно — в декабре 1968 года. И в последующие два года ЦПА продолжал пополняться ленинскими документами — и такими, о которых было известно, что они написаны, и такими, о существовании которых исследователи не знали.

Собирание и систематизирование ленинских документов сделало возможным широкое обнародование их. Около 17 тысяч документов В. И. Ленина, хранящихся в Центральном партийном архиве, опубликовано! 17 тысяч! А рядом с этой цифрой в книге приводится другая, которая также заинтересует читателя: 13 тысяч документов, хранящихся в фонде Ленина, еще не опубликованы. Это главным образом краткие резолюции Ленина на письмах, телеграммах, докладах, пометки на книгах (таких книг — около восьмисот), а также не опубликованные пока официальные документы высших органов государственной власти, автором которых Ленин не является, но подписанные им как председателем этих органов (законодательные акты СНК, СТО, предписания, мандаты и другие).

Много любопытного узнает читатель о кино-, фото- и фонодокументах Ленина и об условиях, которые созданы для долговечного хранения ленинских документов, о реставрации их в специальной лаборатории (очень убедительны фотоснимки документов до и после реставрации).

Коллективный автор — сотрудники Центрального партийного архива, рассказав (к сожалению, иногда несколько скупо, что, видимо, объясняется ограниченным объемом книги) и сообщив, что сотни ленинских документов еще не разысканы, как бы обращаются к читателям с призывом принять участие в дальнейших поисках: сообщать в Институт марксизма-ленинизма о каждом случае обнаружения ленинских документов в государственных и личных архивах.

Б. Исаев.

★

Н. НЕКРАСОВ. По следам некрасовских героев. М. «Советская Россия». 1970. 175 стр.

Эта книга относится к становящемуся все более популярным жанру — литературному краеведению. Интерес читателя к подобным книгам вполне объясним. Рассказ о местах,

связанных с жизнью и творчеством большого писателя, о людях, которые его окружали, о каких-то мелких, на первый взгляд незначительных чертах быта прошлой эпохи — все это добавляет к облику, который был, в общем-то, известен, сугубо индивидуальные, конкретные черты. Они помогают вдохнуть жизнь в образ писателя, лучше узнать его творчество.

Такого рода исследования всегда привлекательны, тем более что они часто сопровождаются повествованием о литературных находках — неизвестных письмах, записках, забытых фотографиях, мемориальных вещах. Пристальное внимание исследователи к мельчайшей, казалось бы незначительной, детали приводит порой к подлинно литературоведческим открытиям.

Все вышесказанное справедливо и по отношению к книге «По следам некрасовских героев». Задуманная поначалу как очерк о путешествии по местам, связанным с творчеством великого русского поэта, книга эта по мере изучения автором обширного, вновь найденного или полузабытого материала превратилась в сборник увлекательных этюдов о поэте, его семье, друзьях, о среде, окружавшей Некрасова, о любимых им местах северной России.

«Места, связанные с Некрасовым, имеют особую власть над русским человеком, — пишет автор. — Они приближают к нам ушедшую эпоху, позволяют коснуться неизведанных сторон души поэта, дают почувствовать его близость к народу». Земля костромская, село Грешнево, Карабиха — их обитатели сохранили память о Некрасове. К этой памяти обратился в своих разысканиях автор книги и не ошибся. Он собрал интересные сведения об истории некоторых стихотворений и поэм Некрасова, рассказал о простых крестьянах — «друзьях-приятелях» поэта, с которыми связывала его долготелая искренняя дружба.

И теперь, читая написанное Некрасовым посвящение поэмы «Коробейники»: «Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу (крестьянину деревни Шоды Костромской губернии)», мы как бы воочию видим затерявшуюся среди болот и глухих лесов деревеньку Шода, куда часто приезжал охотиться Некрасов, останавливаясь у крестьянина Гаврилы Яковлевича Захарова, рассказы которого легли в основу поэмы «Коробейники» и которому посвятил ее благодарный поэт.

Интересно написана глава книги, рассказывающая об усадьбе Н. А. Некрасова Карабиха. Поэт любил это место. С ним и его окрестностями связаны многие произведения, включая и самое значительное — поэму «Кому на Руси жить хорошо». Именно эта «столбовая дороженька», по которой не раз ездил в свою усадьбу Некрасов, повела по Руси в поисках счастья семерых мужиков, героев поэмы. Рассказывая о Карабихе, автор рецензируемой книги говорит и об истории усадьбы, рисует портреты ее обитателей, рассказывает и об организованном в усадьбе мемориальном музее Некрасова, о поисках в окрестностях усадьбы подлинных вещей поэта.

К сказанному остается лишь добавить, что написал книгу «По следам некрасовских героев» внучатный племянник поэта Николай Константинович Некрасов, написал искренне, с большой любовью и вниманием к памяти великого русского поэта.

Эта небольшая книга не затеряется среди многих посвященных Некрасову и выпущенных в год его столетия десятилетия юбилея.

В. Енишерлов.



Н. СТРАХОВ. Александр Неверов. Жизнь и творчество. Куйбышевское книжное издательство. 1970. 368 стр.

Творческий опыт писателей, проложивших главный путь развития советской литературы — путь социалистического реализма, представляет особый интерес. К таким писателям относится и Александр Неверов, человек яркого и самобытного таланта, один из зачинателей советской литературы. Вместе с Д. Фурмановым, А. Серафимовичем, Д. Бедным, В. Маяковским, Л. Сейфуллиной, Ю. Либединым он внес немалый вклад в ее развитие, в утверждение ее ведущего художественного метода. На широкой документальной основе, в тесной связи с общественной обстановкой и историко-литературным процессом автор книги Н. Страхов прослеживает сложную, исполненную подчас драматических коллизий эволюцию писателя.

Помимо того, что Н. Страхов привлек все известные произведения Неверова и почти все литературно-критические работы о нем, созданные за несколько десятилетий, он обследовал также фонды двенадцати государственных и личных архивов, разыскал свыше ста неизвестных читателям и историкам литературы рассказов, очерков, статей, фельетонов и писем Неверова, собрал воспоминания современников о нем. Это позволило ему в значительной степени по-новому осветить ряд моментов биографии, творчества и литературно-критической деятельности А. Неверова.

Неверов радостно встретил Октябрьскую революцию, но в ее социалистической природе разобрался не сразу. Это объясняется и неполнотой его представлений о революции, воспринимавшейся «по-крестьянски», и тем, что он в 1918 году оказался на территории самарской «учредилки» и испытал воздействие ложных идей мелкобуржуазного демократизма. Н. Страхов впервые широко и детально анализирует истоки духовного кризиса писателя, показывая, как сама действительность помогла Неверову преодолеть заблуждения. В этой связи Н. Страхов по-новому подходит и к анализу романа Неверова «Гуси-лебеди», рисуя классовую борьбу в самарской деревне в 1918 году. Он считает, что содержание романа определяется задачей разоблачения иллюзий «третьего пути» в революции и утверждения исторической правотности крутого поворота трудового крестьянства на сторону Советов.

Н. Страхов показывает в своей книге, что

именно Неверову принадлежит почин в разработке темы коллективизации, надолго определившей содержание нашей литературы о деревне. В 1919 году он выступил с рассказом «По-новому», в котором изобразил коллективный труд крестьян на общем поле. И лучшее произведение Неверова — повесть «Ташкент — город хлебный» — проникнуто ощущением великой будущности братского объединения сил трудового крестьянства во имя одоления нужды, голода, кулацкой кабалы. Чуткостью к жгучим проблемам современности отмечена и повесть «Андрон непутевый». Образом Андрона, человека, безраздельно преданного революции, но применяющего неправильные методы воздействия на крестьян, Неверов осудил практику левацкого администрирования в отношении среднего крестьянства и, в сущности, еще в первые советские годы уловил в жизни черты того типа, который впоследствии найдет более совершенное воплощение в образе шолоховского Макара Нагульнова.

Послеоктябрьское творчество Неверова знаменовало приход его к эстетике социалистического реализма. Используя литературно-критические выступления писателя, в том числе неизвестные, автор книги восстанавливает систему эстетических воззрений Неверова последнего периода. Он приходит к выводу о том, что усилиями Неверова, как и некоторых других художников первых советских лет, было положено начало совершенно новому направлению «деревенской» литературы, которое, отвергая идеализацию деревни, выражало главную закономерность крестьянской жизни — ее развитие по пути социализма.

Автору книги можно предъявить и некоторые претензии. Следовало бы, как мне кажется, несколько шире показать жизнь писателя в самарские и московские годы. Говоря о «неверовской традиции» в литературе о деревне, автор лишь упоминает о ее дальнейшем развитии, но не конкретизирует, в чем оно выразилось.

В 1925 году М. Горький писал А. Воронскому из-за рубежа: «С великой жадностью слежу, как расцветает наша литература, памятуя, что Петрарки и Данты не явились бы, не будь прежде их трубадуров Прованса». Неверов был одним из первых «трубадуров революции» в нашей литературе, и его опыт оказал на ее будущее заметное влияние.

И. Кирюшкин.

★

Т. МОТЫЛЕВА. Роман Анны Зегерс «Седьмой крест». М. «Художественная литература». 1970. 103 стр.

Об этом романе Т. Мотылева писала еще в 1953 году в критико-биографическом очерке, посвященном Анне Зегерс. Но «Седьмой крест» принадлежит к числу произведений, смысл которых с течением времени раскрывается все с большей полнотой. Новая книга Т. Мотылевой содержит свежее прочтение романа, обогащенное историческим и человеческим опытом прошедших лет. Стало

яснее видно, что главный пафос произведения Зегерс — в исследовании социально-психологических истоков явления, названного М. Роммом «обыкновенным фашизмом». В поиске возможностей демократического возрождения народа, придавленного фашистским гнетом, деморализованного условиями деспотического тоталитарного режима. «Обыкновенный фашизм» — одна из самых острых тем послевоенного прогрессивного искусства. Т. Мотылева справедливо подчеркивает, что в немецкой литературе эти вопросы по понятным причинам возникли раньше, чем где бы то ни было, и что Анна Зегерс обратилась к ним в свое время одной из первых.

Т. Мотылева выявляет аналитический смысл сложной образной системы романа, воплощающего мир «среднего немца» в большом разнообразии лиц, «в глухих подспудных антагонизмах» его сюжетных сплетений, где за частными решениями и судьбами просматривается движение истории, его отдельных сцен, подчас кажущихся лишь бытовыми зарисовками (например, сцена традиционного праздника в крестьянской семье Марнетов), его исторических ассоциаций, размыкающих рамки времени и пространства и подчеркивающих тем самым обреченность гитлеровского господства.

Интересны наблюдения над особенностями поэтики романа — над языком, изобилующим диалектизмами и просторечиями, над манерой повествования, объективированного, но и окрытого лирического, над лейтмотивными деталями, направляющими внимание читателя на «острые, поворотные моменты действия». Когда читаешь у Т. Мотылевой о символическом образе седьмого креста, кажется странным, что ранее в критике не замечалась явная связь этого образа, переосмысленного писательницей, и с евангельской легендой, и с воспоминаниями о тех, кто в далекой древности восставал против поработителей.

Т. Мотылева показывает, как всеми средствами своего романа Анна Зегерс вводит читателей в мир простых людей Германии, их забот, их представлений, их предрассудков, их надежд, как обнаруживает она в людях этого мира, значительная часть которых была обманута нацистской пропагандой или придавлена страхом, затаенные резервы благородства и героизма, способные проявиться в ответственный момент. Пристальное внимание романистки к психологии ее многочисленных персонажей во многом обусловлено живущей в «Седьмом кресте» идеей ответственности каждого за судьбы народа и страны. Ведь даже в условиях, когда внутри страны не было реальных возможностей свергнуть фашистский режим, борьба против него была необходима во имя будущего, во имя спасения чести нации и народа и сохранения тех его здоровых сил, которые были бы способны построить демократическую Германию.

Роман «Седьмой крест» предстает в книге Т. Мотылевой со всей его яркой и сложной судьбой и во всей полноте его связей с предшествующим и последующим творче-

ством Зегерс, с антифашистской немецкой литературой 30-х годов, с национальной литературной и фольклорной традициями. На страницах книги вырисовывается вместе с тем живой образ Анны Зегерс с перипетиями ее биографии коммунистки и эмигрантки, с ее творческими исканиями и человеческими тревогами,— этому немало способствуют и яркие документы— письма к Зегерс ее друзей-писателей,— и очень непосредственные эмоциональные воспоминания Т. Мотылевой о многих ее встречах с писательницей, начиная со времени форума революционных писателей-антифашистов, состоявшегося в Харькове в начале 30-х годов.

Н. Лейтес.

Пермь.



КАМИЛ ИКРАМОВ. *Круглая печать.* Повести. М. «Детская литература». 1970. 399 стр.

В новой книге писателя К. Икрамова помещены две повести, первая из которых, «Улица Оружейников», увидела свет три года назад. Критика отмечала тогда, что повесть и увлекательна и достоверна, что далекие события времен гражданской войны в Средней Азии одухотворены серьезным пониманием исторического опыта нашей жизни. В новой книге два произведения — по времени, а отчасти и по сюжету — продолжают одно другое. Нужно заметить, что приключения и злоключения маленького героя «Улицы Оружейников» Талиба, давшие возможность автору вплотную приблизиться к противоречиям и живым конфликтам тех лет, порой настолько увлекают писателя, что его герой оказывается просто в роли поводыря в разветвленном лабиринте той беспокойной жизни. Конечно, и сам двенадцатилетний мальчик не остается внутренне инертным к нравственной стороне событий, он старается ответить себе на известный детский вопрос, насколько хорошее хорошо, а дурное дурно, но все-таки взрослый мир подавляет детский неумолимо.

Иная картина в «Круглой печати», повести, так же как и первая, приключенческой. Тут мир детства — отнюдь не приложение к миру взрослых, тут он живет по своим законам и нравам.

В доме уехавшего учиться в Москву Талиба играет и озорует компания из пяти мальчишек. Это кружок единомышленников, которых объединяет фантазия и бурная деятельность, позволяющая им проявить свои духовные возможности. Учитель Касым приходит к детям добрым другом. Он стремится разбудить у ребят вкус к настоящей литературе, приохотить их к чтению Толстого и Навои, но находит для этого особенные формы, «организует» нечто вроде тайной школы. Бухгалтер же Таджикиевов для этих пятерых — почти как персонаж сказки, Злой Человек. Он грубо и безжалостно растаптывает игру; замечая следы политического преступления, убийство басмачами председателя исполкома, он пытается оклеветать Касыма. И тут пролегают последняя черта между детской игрой и взрослой борьбой, наступает проверка. Ребята стойко и как-то по-особому достойно ведут себя в трудной ситуации, но каждый сообразно своему характеру. Полнее проявляется то, что сквозило в индивидуальности каждого уже во время игры: наклонность Садыка к размышлению, фантазерство Кудрата, бесхитростная доверчивость Закира, боевитость Эсона, совсем еще детская чистота Рахима.

Повесть «Круглая печать» завершается счастливым финалом: добро торжествует, зло повержено. Но это не благостный, сентиментальный конец, который заставляет выбросить из головы пережитое. Первый серьезный опыт пятерых друзей как бы закрепляет посвяляющийся на последних страницах повести геолог Талиб, который говорит: «Но поверьте мне, главное не то, что бывают плохие люди, главное, что хорошие люди бывают всегда». Эта справедливая и глубокая мысль вложена в уста герою, а по сути является сокровенным убеждением самого автора. К такому итогу естественно подводит весь строй рассказа, весь ход событий, организованный в духе сюжетов той самой детской игры, которая изнутри сплачивает и растит маленьких героев произведения. И еще одна особенность повести снимает возможность дидактики — юмор. Юмор, ненавязчиво присутствующий в разговоре автора и в различных ситуациях, создающий привлекательный тон всего повествования.

Л. Антопольский.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Апрельские тезисы. О задачах пролетариата в данной революции. 16 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Письмо к американским рабочим. 24 стр. Цена 3 к.

В. И. Ленин. Две тактики социал-демократии в демократической революции. 152 стр. Цена 17 к.

В. И. Ленин. О лозунге Соединенных Штатов Европы.— Военная программа пролетарской революции.— О карикатуре на марксизм и об «империалистическом экономизме».— О брошюре Юннуса. 104 стр. Цена 11 к.

В. И. Ленин. Что делать? 240 стр. Цена 30 к.

В. И. Ленин. Большевики должны взять власть.— Марксизм и восстание. 16 стр. Цена 3 к.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест Коммунистической партии. 64 стр. Цена 7 к.

Л. Брежнев. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского Союза 30 марта 1971 г. 136 стр. Цена 15 к.

М. Горький. В. И. Ленин. 64 стр. Цена 9 к.

А. Громыко. 1036 дней президента Кеннеди. 279 стр. Цена 68 к.

Идейный арсенал коммунистов. 168 стр. Цена 31 к.

А. Микоян. Дорогой борьбы. Книга I. 590 стр. Цена 1 р. 82 к.

Партия большевиков в Февральской революции 1917 года. 256 стр. Цена 1 р. 6 к.

СССР в борьбе за мир накануне второй мировой войны. (Сентябрь 1938 г.— август 1939 г.) Документы и материалы (Министерство иностранных дел СССР). 736 стр. Цена 1 р. 44 к.

М. Ярошевский. Психология в XX столетии. 368 стр. Цена 83 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Бондарин. Златая цепь. Записки, повести, рассказы, воспоминания. 334 стр. Цена 57 к.

Т. Глушкова. Белая улица. Стихи. 135 стр. Цена 31 к.

М. Дильбази. Жаворонок. Стихи. Перевод с азербайджанского. 78 стр. Цена 27 к.

Г. Матюновский. Дуб и молния. Стихи и поэма-сказка. Перевод с марийского. 78 стр. Цена 27 к.

М. Олейник. Дочь Прометея. Повести. Перевод с украинского. 448 стр. Цена 87 к.

С. Тхоржевский. Жизнь и раздумья Александра Пальма. Документальная повесть. 263 стр. Цена 39 к.

М. Шамхалов. Отец мой. Повести и рассказы. Перевод с аварского. 360 стр. Цена 58 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Адамович. Война под крышами. Сыновья уходят в бой. Романы. Диалогия. Вступительная статья Л. Лазарева. 608 стр. Цена 1 р. 17 к.

П. Антокольский. Собрание сочинений. В четырех томах. Том I. Стихотворения и поэмы. 1915—1940. 528 стр. Цена 1 р. 80 к.

А. Блок. Стихотворения и поэмы. Составление, предисловие и примечания Вл. Орлова. 184 стр. Цена 23 к.

Вольтер. Орлеанская девственница.— Магомет.— Философские повести. Переводы с французского. Вступительная статья С. Артамонова. 720 стр. Цена 1 р. 93 к.

Ж. Кессель. Армия теней. Перевод с французского М. Баксмахера и Н. Кудрявцевой. Предисловие Е. Евниной. 176 стр. Цена 46 к.

И. Ле. Хмельницкий. Роман. Перевод с украинского. Том I. 736 стр. Цена 1 р. 48 к. Том II. 688 стр. Цена 1 р. 40 к.

Абу-ль-Аля Маарри. Стихотворения. В переводе с арабского Арсения Тарковского. Статья, подстрочный перевод и примечания Н. Фильштинского. 144 стр. Цена 12 к.

С. Маркиш. Знакомство с Эразмом из Роттердама. 224 стр. Цена 77 к.

Март. 1919. Сборник стихотворений венгерских поэтов. Перевод с венгерского. Составление, предисловие О. Россиянова. 179 стр. Цена 2 р. 20 к.

Ф. Прешерн. Лирика. Перевод со словенского. 167 стр. Цена 36 к.

М. Тани. Избранные произведения. В двух томах. Перевод с белорусского. Вступительная статья Я. Хелемского. Том I. Стихотворения и поэмы. 384 стр. Цена 1 р. 33 к. Том II. Стихотворения. 446 стр. Цена 1 р. 35 к.

А. Твардовский. Стихотворения. Поэмы. Вступительная статья и примечания А. Мачедонова. Иллюстрации О. Верейского («Библиотека всемирной литературы»), 688 стр. Цена 1 р. 70 к.

С. Тудор. День отца Сойки. Повесть. Перевод с украинского и примечания Б. Яковлева. Послесловие М. Пархоменко. 352 стр. Цена 78 к.

Б. Шаховский. Стихи о нашей любви. Предисловие М. Луконина. 304 стр. Цена 1 р. 4 к.

Б. Шоу. Новеллы. Переводы с английского. 224 стр. Цена 82 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М. Герман. Хогарт («Жизнь замечательных людей»). 208 стр. Цена 62 к.

Моя белая гитара. Рассказы участников V Всесоюзного совещания молодых писателей. Перевод с латышского. 256 стр. Цена 36 к.

С. Сартаков. Философский камень. Роман. Книга II. 335 стр. Цена 98 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Н. Артюхова. Светлана. Повести. 511 стр. Цена 95 к.

М. Басина. Там, где шумят михайловские рощи («По дорогим местам»). 239 стр. Цена 1 р. 63 к.

В. Бахревский. Мальчик с Веселого. Повести и рассказы. 223 стр. Цена 52 к.

И. Василенко. Артемка. Послесловие А. Туркова. 368 стр. Цена 60 к.

В. Незвал. Золотая пора. Избранные стихи. Перевод с чешского И. Токмаковой. 32 стр. Цена 22 к.

В. Орлов. Чудеса приходят на рассвете. Стихи. 47 стр. Цена 13 к.

Р. Погодин. Ожидание. Три повести об одном и том же. 127 стр. Цена 40 к.

Л. Соболев. Батальон четверых. Рассказы. 63 стр. Цена 13 к.
Х. Теунов. На перевале. Повесть. 190 стр. Цена 42 к.
О. Тихомиров. Зеленое окно. Лирическая повесть. 207 стр. Цена 42 к.
З. Шишова. Джек-Соломинка. Роман. Предисловие В. Шкловского. 304 стр. Цена 68 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Ю. Аренкова и Г. Мехова. Донской монастырь. Историко-архитектурный очерк. 32 стр. Цена 1 р. 1 к.
И. Кобзев. Витязи. Избранное. 239 стр. Цена 95 к.
Л. Степанова. Танцы народов СССР. 128 стр. Цена 25 к.
С тобой, партия. Документальные очерки и рассказы. Сборник. 237 стр. Цена 69 к.
Б. Филиппов. Актеры без грима. Предисловие Б. Полевого. 383 стр. Цена 1 р. 49 к.

«ИСКУССТВО»

Проблемы романтизма. Сборник статей. Выпуск 2. Составитель А. Гуревич. 304 стр. Цена 1 р. 84 к.
В. Рафалович. Весна театральная. Воспоминания. Предисловие М. Янковского. 222 стр. Цена 1 р. 11 к.
В. Чельцов, А. Симонов и В. Хоменко. Цветное фотографирование. 135 стр. Цена 30 к.

«МЫСЛЬ»

К. Маркс и Ф. Энгельс. Об атеизме, религии и церкви. 584 стр. Цена 88 к.
А. Гангнус. Ритмы нашего мира. 142 стр. Цена 32 к.
В. Жамин. Наука и экономика социализма. 253 стр. Цена 1 р. 2 к.
И. Зенушкина. Советская национальная политика и буржуазные историки. 285 стр. Цена 1 р. 39 к.
А. Зиновьев. Логика науки. 276 стр. Цена 1 р. 6 к.
П. Игнатовский. Крестьянство и экономическая политика партии в деревне. 287 стр. Цена 1 р. 9 к.
З. Каменский. Философские идеи русского просвещения. 396 стр. Цена 1 р. 68 к.
Производительность труда: факторы и резервы роста. 311 стр. Цена 1 р. 16 к.
В. Стелицкий. Массы в борьбе за рабочий контроль. 236 стр. Цена 1 р. 18 к.
Д. Чумичев. Монгольская Народная Республика. 63 стр. Цена 9 к.
Экономическое учение В. И. Ленина и современность. 319 стр. Цена 1 р. 26 к.
Это и есть советская жизнь. 384 стр. Цена 2 р. 45 к.

«ЭКОНОМИКА»

П. Маслов. Измерение потребительского спроса. Теоретические очерки. 159 стр. Цена 48 к.
Основные направления научно-технического прогресса. 206 стр. Цена 1 р. 8 к.

«НАУКА»

Е. Борисова и Т. Каждан. Русская архитектура конца XIX — начала XX века. 239 стр. Цена 1 р. 80 к.
История Парижской Коммуны 1871 года. Коллектив авторов. 803 стр. Цена 3 р. 57 к.
Б. Итенберг. Россия и Парижская Коммуна. 202 стр. Цена 67 к.
Б. Колкер и И. Левит. Внешняя политика Румынии и румыно-советские отношения (Сентябрь 1939 — июнь 1941). 199 стр. Цена 2 р.
Г. Лот. Вторжение в Восточную Африку («Библиотека зарубежной африканистики»). 195 стр. Цена 67 к.
Э. Онан. Идеологическая деятельность независимых государств Африки. 205 стр. Цена 73 к.
Г. Скоров. Развивающиеся страны: образование, занятость, экономический рост. 368 стр. Цена 1 р. 58 к.
А. Соймонов. Киреевский и его Собрание народных песен. 360 стр. Цена 1 р. 49 к.
Х. Танер. Рассказы. Переводы с турецкого. Составитель Л. Старостов. 144 стр. Цена 37 к.
Художественное восприятие. Сборник I. Под редакцией Б. С. Мейлаха. 387 стр. Цена 1 р. 83 к.
В. Ясный. Бегство в действительность. Современный испанский роман. 240 стр. Цена 74 к.

«ЮРИДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

А. Бойнов. Роль защитника в предупреждении преступлений. 112 стр. Цена 29 к.
Вопросы уголовного права и процесса в практике Верховных Судов СССР и РСФСР. 1938—1969 гг. 448 стр. Цена 1 р. 38 к.
А. Первушин и Н. Синицын. Права и обязанности членов колхоза. 104 стр. Цена 16 к.
Н. Селиванов. Вещественные доказательства. Криминалистическое и уголовно-процессуальное исследование. 200 стр. Цена 52 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

С. Ковалев и В. Куприков. На новом этапе экономической реформы. 96 стр. Цена 13 к.
И. Кычанов. Тринадцать. 128 стр. Цена 15 к.

Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большов (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер. д. 1/2. Тел. 299-81-77.
 Почтовый адрес: Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 4/V 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 8/VI 1971 г.
 Формат бумаги 70×108¹/₈. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум л. (25,2 усл. печ. л.)
 А 05787. Зак. 1789 Тираж 178 000 экз.

Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени Ленинградской типографии № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, г. Ленинград, Гатчинская ул., 26 с матриц типографии «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.
 Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636